8.1977

Иностранная литература

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 1977 АВГУСТ

Содержание

МИРОСЛАВ ВАЛЕК — Стихи *(Перевод со словацкого Риммы Казаковой. Предисловие Ю. Богданова)* 3

Рассказы вьетнамских писателей.

ХОАНГ ФУ НГАУК ТЫОНГ. ТО ХОАЙ. НГУЕН КОНГ ХОАН *(Переводы с вьетнамского Мариана Ткачева и Николая Никулина)* 12

ГОР ВИДАЛ — Бэрр *(Роман. Продолжение. Перевод с английского М. Брука и А. Файнгара под редакцией Е. Суриц)* 26

КРИСТИАН БАРНАРД И ЗИГФРИД СТЭНДЕР — Нежелательные элементы *(Роман. Окончание. Перевод с английского А. Клышко)* 84

Литературное наследие

Из древнеиндийской антологической лирики *(Перевод с санскрита Веры Потаповой. Предисловие И. Серебрякова)* 187

Критика

КАРОЛ РОЗЕНБАУМ — Диалог с эпохой. Три книги трех словацких поэтов *(Перевод со словацкого И. Богдановой)* 198

Н. ЯКОВЛЕВ — Гор Видал и Аарон Бэрр 203

Интервью

Имре Добози: «Я родился в год Великого Октября» *(Перевод с венгерского Л. Васильевой)* 211

Публицистика

Международная встреча писателей в Софии 218

К 60-летию Великого Октября

Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе: ИМРЕ ДОБОЗИ. ЭЛЕН ПАРМЕЛЕН *(Продолжение)* 229

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ — Немного об Анголе (Фрагменты книги. *Перевод с польского С. Ларина. Предисловие В. Иорданского)* 239

Антирубрика

Румынская эпиграмма вчера и сегодня *(Перевод с румынского Михаила Хазина)* 251

Писатели рисуют себя 253

СТЕФАНИЯ ГРОДЗЕНЬСКА — Рассказы *(Перевод с польского Леонида Ленча)* 255

Из нашей почты 258

Среди книг

Издано в СССР

Илья Фоняков — Черты поколения ◇ Эса де Кейрош — в прошлом и настоящем. Мариу Невиш — Всегда живое наследие. ◇ А. Чанцев — Позиция писателя ◇ Л. Левыкина — Открытие красоты 261

Издано за рубежом

Татьяна Николеску — С верой в будущее ◇ В. Хорев — Новые книги Анджея Брауна ◇ Н. Стрижевская — «Дней связующая нить...» ◇ В. Перехватов — Рождественские приключения африканцев 267

Из месяца в месяц 275

Авторы этого номера 286

На обложке: картина югославского художника МИРКО ВИРИУСА «Жатва».

© «Иностранная литература», 1977 г.

МИРОСЛАВ ВАЛЕК

Перевод со словацкого РИММЫ КАЗАКОВОЙ

Когда в 1959 году в Словакии вышел первый сборник стихотворений Мирослава Валека «Прикосновения», критика сразу же отметила необычную зрелость дебютанта: без позерства, но и без робкой юношеской угловатости поэт спокойно и «по-взрослому» серьезно говорил о себе, из себя, в своей, не взятой напрокат интонации:

Откуда эти удивительные слова
безо всякой связи и логики,
невидимые, носящиеся в воздухе?..
Вы тут, в нас, непонятные вещи.
Голос вещий.
Я тихонько произношу слова
И жду, пока вы не засветитесь изнутри,
Как зажженные фонари.

(«Непонятные вещи». Перевод Э. Котляр)

В этой развернутой метафоре, кстати говоря типичной для разветвленно ассоциативной образности Валека, в единый узел сплетены некие отправные константы его поэтики: пестрая, хаотически «непонятная» дифференцированность мира, пропущенная сквозь чуткую, преобразующую мембрану творческой личности, призвана вернуться к нам в просветленной, очищенной от случайных примесей форме, сохранив непременно, однако, естественную многомерность реально существующей действительности. Коротко говоря, девизом творчества здесь изначально служило стремление к сложной передаче сложного многоголосья жизни, к своего рода «полифонизму» в поэзии.

Мирослава Валека несомненно можно назвать поэтом второй половины XX века. Это не похвала, а простая констатация факта. И дело не только в датировке вышедших сборников: «Притяжение» (1961), «Беспокойство» (1963), «Любовь в гусиной коже» (1965). И даже не в таких реалиях, словно бы напоказ преломляющихся в его стихах, как «нервные пальцы антенн» или «реактивный гул воскресных колоколов». Дело в новом содержательном наполнении, в особом качестве и атмосфере его произведений.

Валек вступал в словацкую литературу в ту пору, когда, отшатнувшись от очевидных — а заодно и от мнимых — штампов, от скомпрометированной дежурным пафосом высокой гражданской темы, многие молодые поэты ринулись в противоположную крайность — экспериментальных «технологических» тенденций. О бесплодности как

© Miroslav Válek, 1976.

раз таких формотворческих увлечений иронически отозвался в 1967 г. классик словацкой социалистической поэзии Лацо Новомеский: «Разве не является гораздо более современной поэзией, в том числе словацкой, любая строфа из Дантова «Ада» или монолог Гамлета, чем слова, слова, слова, тщательно избегающие мысли и вразумительности, даже если их написал благополучно здравствующий поэт; и даже будучи написаны сегодня, они лишь формально представляют современную словацкую поэзию».

Мирослав Валек тоже по-своему отшатнулся от «конвейерной» практики, получившей распространение в словацкой литературе 50-х годов. Но он сводил с ней счеты иначе — просто учился писать другие стихи. В 1971 году в книге избранных сочинений он опубликовал цикл «Спички» — девятнадцать стихотворений из рукописей конца 40-х — начала 50-х годов: «Когда поэзия утрачивает чары, то от себя, от самого, с великой радостью ты б скрылся» («Сонет для повторения»). Зрелая самостоятельность первого сборника Валека явилась, таким образом, результатом «скрытого» до поры его предшествующего внутреннего самоопределения.

Поэтический диалог Валека с самим собой и эпохой никогда не был легким. В 60—70-е годы, активно участвуя в общественной и культурной жизни страны, он всегда оставлял на долю своей поэзии, пожалуй, самое трудное: выражение напряженного драматизма борьбы, происходящей в человеке, во всей духовно-эмоциональной сфере личности. «Я выхожу из себя, как река из берегов, и несу слово, еще раскаленное, слово, еще не родившееся и слепое» — так в стихотворении «Эстетика» передан этот мучительно трудный процесс поиска поэтического эквивалента времени.

«Искусство — далеко не единственное средство воспитания человека, воспитания масс,— писал недавно М. Валек в своем эссе «Искусство иметь искусство»,— но оно осуществляет это своим специфическим способом, поистине ничем не заменимым». Можно, пожалуй, сказать, что для Валека-поэта незаменимость искусства всегда связана с внутренней ответственностью художника за свою исповедь. В прощальной траурной присяге над гробом Ладислава Новомеского, скончавшегося 4 сентября 1976 г., Валек сказал: «И вы могли бы быть заклинателем красоты, жонглером слова, и вы могли бы менять прическу поэзии по своему усмотрению. Но ваши жизненные убеждения были иными, и правда во имя которой вы жили, требовала, чтобы о серьезных вещах говорилось серьезно».

Символично, что поэтическая композиция «Слово» [1], с фрагментами из которой знакомит советских читателей «Иностранная литература» (полностью «Слово» будет опубликовано издательством «Прогресс»), была опубликована как раз осенью 1976 г. Валек и здесь остается верен своему принципу сложной передачи сложного мироощущения современного человека. «Слово» — это серьезное размышление о «смертельно серьезных» вещах: о судьбах нашей цивилизации на Земле, об ответственности людей за себя и за жизнь грядущих поколений, о месте и миссии поэзии в великом альтернативном выборе, предложенном человеку историей, XX веком.

Это я чуть свечу в полутьме
мән ардЫ забытой.
Это я рыдаю тебе
ритмами жестокого «бита».
Это ты – слово «любовь»,
написанное белым мелом
на чистой скрижали вселенной.

(Перевод Риммы Казаковой)

В «Слове» с однозначной, выстраданной определенностью поэт выразил свой символ веры, глубочайшую убежденность в историческом предназначении социализма — главного завоевания творческого гения человека. Программное для Мирослава Валека, это произведение в общем контексте развития интернационального социалистического творчества воспринимается как еще одно важное звено в извечном диалоге искусства со временем. Добавим: в диалоге подлинно равноправном, взаимно ответственном, «незаменимом»...

Ю. БОГДАНОВ

---

[1] См. подробнее об этом произведении статью словацкого критика К. Розенбаума «Диалог с эпохой» в настоящем номере журнала стр. 198.

Слово

Коммунистической
партии,
которая учит меня
быть человеком

ФРАГМЕНТЫ

6

■ ■ ■

Молния в темной ночи меня пронзила багрово,
в пламени и в дыму мне явилось Слово.
И небо надо мною каиновым было,
но оно брата во мне не убило.
Не нужна мне аплодисментов лесть.
Просто человека узнал я таким, какой он есть.

С тех пор милосердным временем храним,
я подчас размышляю о зверях — просто им!
Они постигают мир. Ибо живут в нем,
а человек живет — если познавать его начал.

В человечьей натуре заблудишься днем с огнем!
Все я видел там. И верность собачью.
И злобу я видел, и фальшь, и ложь.
В самом себе. И шептал чей-то голос: «Себя не тревожь,
не вникай во все это, живи нормально!
Не заглядывая в себя, как в чужую спальню».

■ ■ ■

И в горле поэмы восстало слово.
Ложь правду попрала, опередила жизнь и смерть
как всегда, на кусочек свинца...
Но слово это значило: «будь!»
Мы были сразу — слово и я —
и слитно и порознь — особняком.
И тогда ощутил я тягость бытия.
И ты в поэму вошла босиком.

Тогда? Нет, это было с давних пор.
Я падал, как метеор,
с тобой разминулся всего на волосок,
мир любовей, посеребривших висок.

■ ■ ■

Теперь возвращаюсь — возвращаюсь словно из палеозоя,
творенье первозданное и нагое.
Что имею, тем делюсь. Тебе? Мне?
Нет, все другим. А личным будет — всего
лишь то, что в стихах: моление
о милости понимания твоего.

Дай мне его, как подарок в день рождения,
как сокровища, откопанные в курганах,
дай мне его.
Всегда хватает
переменчивых, непостоянных.
Но во мне не изменится уже ничего.
И время течет слюны целительней...
И земли продолжается круговерть.
Я всегда буду ласков с тобой. И безжалостен,
только когда наступит смерть.

■ ■ ■

За окном
сад.

В саду звездопад.
Человек все ходит, ищет.
Что? И в ком?
Не зная покоя.

И за то, какой я,
кого благодарить?

Коммунистическую партию, которая учит меня
человеком быть?

8

Словно разматывается белая холстинка —
болят глаза от круговерти белой...
Остановись, город. Город и хотел бы,
да Красная площадь крутится, как пластинка,—
вихрем вьется в пляске.

Сколько снега зима намела!
и на нем, как пятно масляной краски,
сияет лицо чернокожего посла.

■ ■ ■

На мотоциклах пролетая,
на высокое «до» настроив внимание,
ловит людей, словно зайцев — волчья стая,
стеклами очков заграничная компания.

Но их глаза, холодные как лед,
смягчает постепенно «Столичная» водка.
Они смиряются кротко.
Только кто этот мусор уберет?

В туристах свечами пламенеет грог —
от такого свалился бы и слон.
Языки смешались. О, этот Вавилон!
Камера у каждого ворчит, как дог.

■ ■ ■

У Мавзолея — зимних елей тишь.
Строгий караул. Бодрствует почивший Ленин.
Смычков зимы серебряное пенье
зазвучало нежно в воздухе морозном,
как литавры, зазвенели звезды.

Постой, Москва, куда ты спешишь?
Как время летит!
Пока я в толпе второе дыханье вбираю грудью,
Ленин, живой в советских людях,
повсюду превращает невозможное в возможное.

Не понять, где я и чей я.
Над головою низко висит
луна, бледное ночное мороженое.

Как летит за часом час!
В переулках рокочущих, под кружением крыш,
твои ночи я пил, как из горлышка — квас;
постой, Москва, куда ты спешишь?

■ ■ ■

О, Москва!

Ты еще масло делишь на доли уверенно,
чтобы где-то дети тоже счастливы были и сыты.
Ведь именно так, скажи ты,
умножается то, что разделено?

Напрасно ей под блузку заглядывал пытливо:
ничего не выражал ее лик.
Модель мира, как часовщик,
она собирала несуетливо.

■ ■ ■

Под звездами
деревья в темном саду
качались, как пьяницы.
Я шел и не знал, куда я иду.
Исходил все бульвары
и на Киевской,
спрятав в ладони лицо, усталый,
как потерпевший аварию, встал я
автомобилем на эстакаде.
И на щеке моей, к стыду и досаде,
уличным фонарем горела слеза.
И я опустил глаза,
стесняясь — отчего, не знаю теперь —
внезапной печали своей,
как приступа хронического кашля.

Так и нашла меня утренняя Москва:
как сверток
в бюро находок и потерь.

■ ■ ■

Еще день был коротким,
и на плач походил сырой снег.

А потом я услышал:
«Фиалки, фиалочки...» —
журчащее, как счастливый смех,
обволакивающее улицы и дома.

Это городу надушенные конверты
посылала русская зима.
Все понимали — это весна веселится.
И жалели, что оставили дома
свои весенние лица.
И московские воробьи, порхающие невесомо,
затеяли свару в чаще голых веток.

■ ■ ■

А мне показалось, что я — дома.
Я словно видел: липтовские гетушки на площади в Праге
продают оштепок.
И тотчас же стали дороже
купола пражских башен
и словацкие песни, пробирающие до дрожи.

И почувствовал я,
как во мне морем снежным
колышется нежность
и тихая жалость моя.

И воздух в Москве тотчас
стал как топаз.
Мерцали в нем женщины,
грациозны, нежны,
и все красотою были больны.

■ ■ ■

Ужас,
до чего мне захотелось быть нежным к одной даме.
«Извините, но мы не знакомы с вами».
Милая моя,
я — тот бедный конь, что растерял подковы,
скиталец бывалый и бестолковый,
что сутулится в поисках нужной улицы,
переулка со знакомыми домами —
откуда отыщется дорога к маме,
чтобы бродяге она невзначай

заварила
крепкий, хороший чай,
который шумит и грустит в самоваре,
как русская душа,
постоянством и силой дыша

■ ■ ■

Ах, Москва! Быть полным тобою до края
означало — в сторону не отводить глаз.
Нет, я не слышал того, что услышал сейчас:

что все чаще вращается
по московскому времени
наша Земля.

Где только были глаза у меня?
Трепещут ли в них по-прежнему
огоньки твоих рубиновых звезд?

Миру голодных приелся пост.
Миру униженных свобода нужна.
Бедняцкая правда кровава и обнажена,
у капитала другая она.

Отсюда твое «нет»,
Отсюда твое «да».
И потому ты в движенье всегда

■ ■ ■

Знаю, мы шли не на бал и не с бала
(тяжкий шарик земной вздыхает устало).
Но коммунизм и молод, и силен.
Отважный бегун, во что бы то ни стало
бег с препятствиями выиграет он!

Не нужна ему слава
и ничьих советов не надо.
Не отставать, быть первым —
его награда.

Он хочет,
чтобы не лилась больше
кровь рабочих!

■ ■ ■

Знаю, земля бывает грязной,
усталой, потрепанной,
но отсель
врачевать мировые язвы —
партии благородная цель.

Знаю,
русская земля лесная,
куда взгляд ни бросьте,
засеяна мертвыми, словно зерном,
и в забытых окопах белеют кости.

О, Москва!
глаза мне протри,
чтобы лучше я видел свет будущей зари!

9

■ ■ ■

Вы ждете гостей? Кто сегодня придет?
Смерть. Она радуется, что пошла с козырей.
На груди ее прекрасная черная роза.
Вы откладываете шпагу. Что это, поза?
Мудро ль отказаться от выгоды своей?

Просто не принимаете ее в расчет
или в лицо ей боитесь посмотреть?
Этот дом — ваш Это ваша жизнь течет.
Но в иные мгновенья благословенна и смерть.

■ ■ ■

Давайте поменяем траурный глянец
на краски живые — непостоянные...
Что вы читаете, мой принц?
Слова, слова, слова. Сладкие, дурманные...

Так пугливую серну охотники приманкой добывают.
А что, собственно, словам этим надо?
В каждом есть и щепотка яда?
И существуют слова, которые убивают?

За дверями спальни была тишина.
Лишь два чистых аккорда ее нарушили.
Наверное, когда вы скрестили оружие.
Так решили вы, и все разрешили сполна

■ ■ ■

Меньше, меньше и меньше
становилось у тех, что мало имели,
видно, по воле того, кто владел всем на деле,
а другие лишь горе пожинали одно.
Или все, что свершилось, миновало давно?

И был вечер. И мертвый Гамлет стоял у перил.

Бедный принц. Нет, не почил
вместе с вами проклятый вопрос.
В мире полно предательств и слез,
мир себя от них не излечил.

Вы так и не сумели ничего решить,
хоть читали книги на разные темы.
Станет делом класса — быть или не быть? —
универсальность вашей проблемы.

■ ■ ■

Судьбы мира висят на волоске?
И человек, что беззащитен, наг и бос?
У слепой справедливости нет весов в руке,
и она не ответит на Гамлетов вопрос.

Время летит, летит. Миллионы нас
и с нами партия Ленина.
Вся жизнь живая с нею сплелась,
отвечая на вопрос, поставленный временем.

Что это? Как будто рокот прибоя.
Водопадная лавина тишину рассекла.
Это даже мертвым не дает покоя.
Что это? Всего лишь колокола.

■ ■ ■

Но звонят они так, как еще им не звонилось,
прямо в спину бьет их крик.
Так эта песнь все же возвратилась,
возвратилась, хоть и в предпоследний миг.

Времени мало. Свечи догорят.
Ты побледнел. Тоской душа объята.
Вслушайся, о чем колокола говорят:
может, будет снова жизнь нова.

Слова, слова, слова...
Но совсем другие, чем когда-то.

■

Рассказы вьетнамских писателей

ХОАНГ ФУ НГАУК ТЫОНГ

Как много огней...

К концу дня в Хюэ наступает обычно какое-то странное затишье. Временами мне чудится даже, будто улицы обволакивает загадочное беззвучие, требующее от человека особой сосредоточенности. А ведь город и без того весь день спокоен и тих. Осенью ветер гонит облака к речному устью. Вода ниже моста Чыонгтиен становится темной, а вверх по течению, до самого Кимлаунга,— прозрачной; и гладь реки, серебристо-белая, как цветы кананги, отражает бегущие по вечернему небу багряные тучи. Должно быть, Ароматную реку со светом соединяют какие-то свои, особые узы: даже в самую темную ночь, глядя с моста, можно увидеть смутные багровые отсветы, словно задержавшиеся на черной воде неясные призраки дня.

Первыми в городе начинают готовить ужин здесь, у реки, жители Устричной отмели, и вечерние дымы заволакивают прибрежный бамбук. Откуда-то из-за притихшей излучины слышится плеск весел — возвращаются последние рыбачьи баркасы.

В это время оживает вечерняя школа Устричной отмели. Единственный класс ее помещается в старой, давно заброшенной часовне, под раскидистой кроной стиракса, ветви которого свисают почти до самой воды. Стены ее сделаны из обмазанных глиной бамбуковых матов, сколоченная на скорую руку железная кровля громыхает на ветру. Приметный издалека беловатый свет калильных ламп и звенящий над рекой гомон людских голосов вызывают у горожан ощущение необычности и новизны — что-то явно меняется в их жизни. Многие люди, уходившие бог весть куда, на чужбину, возвращались на Устричную отмель, укрытую туманами и дымами; и зажженные рыбаками огни вместе со звоном, долетавшим по вечерам из пагоды, стали одной из примет песчаного острова, возвышавшегося из воды прямо против старой столицы[1],— примет долгого военного времени.

[1] Хюэ с 1803 по 1945 год был официальной столицей Вьетнама. *(Здесь и далее — примечания переводчиков).*

Пристань, где я нахожусь, это как бы преддверие школы — сюда в легких плетеных челнах, подмигивающих издалека крохотными огоньками керосиновых ламп, один за другим приплывают из разветвленных речных протоков ученики, оставляя — нос к носу — свои челноки на береговом скосе. Потом откуда-то со стороны Дапда появляется большая деревянная лодка, неторопливо пристающая к берегу. И толпа, собравшаяся на пристани, вдруг разражается приветствиями:

— Здравствуйте, учитель!..

— Добрый вечер, учитель...

— Доброго здоровья...

Вот и сегодня молодой человек в военной форме, стоя на носу лодки и придерживая рукой велосипед, высматривает, где бы ему сойти на берег. Какой-то здоровяк из местных рыбаков отдал стоявшему рядом мальчишке трезубую острогу и книги с тетрадками, подбежал к лодке и протянул руки за велосипедом.

— Ничего-ничего, дядюшка Мой... Я сам.

И учитель (а это был именно он) спрыгнул на берег. Звали его Тхи. Опустив в воду сандалии из автомобильной резины — сполоснуть их от налипших песчинок,— он спросил рыбака:

— Вы тоже ходили на лов с фонарями? Ну как, много взяли рыбы?

— Да ничего. Как говорится, намахались веслами. В общем, вытащили полтора десятка здоровенных рыбин... А вы наконец-то и к нам пожаловали.

— У меня на той неделе дел по району набежало — невпроворот. Пришлось пропустить занятия. В молодежном комитете нашли мне временную замену. Разве к вам не приезжал другой учитель?

— Был, как же! С учебой все в порядке. Просто мы вас ждали.

К учителю подошла какая-то девушка и, от смущенья прикрывая тетрадкой рот, сказала:

— Здравствуйте, учитель. А вы привезли ростки бататов?

— Ох, чуть не позабыл! — рассмеялся, взглянув на нее, Тхи.— Скажите, Хыонг, тетушка Эм пришла сегодня на занятия?

Женщина — в летах уже — выглянула из-за спины Хыонг и тоже подошла к учителю.

— Здесь, здесь я, уважаемый.

— Говорят, у вас бататы совсем пропали? Мне бабушка Лань прислала для вас проросшие клубни. Сажайте их поскорее, а то не поспеют к осени. И выбирайте песчаную почву, чтобы ботва не горела.

— Ай да бататы — сущее заглядение! — скороговоркой заладила женщина.— Таких на базаре и не сыскать... Кто б мог подумать, уважаемый... Беда, да и только!..

Учитель опять рассмеялся:

— Ладно... Время-то бежит. Прошу всех в класс!

Я молча отправился следом за ними к раскидистому старому стираксу. Кроме тетрадей и книг каждый принес какую-то вещь, весьма далекую от учебных пособий: кто сети — иногда с плетейной иглой (должно быть, продрались во время лова), кто — острогу или не прошитую до конца шляпу из пальмовых листьев, надетую на основу... Жаль, видно, было терять время в перерывах между занятиями; да и трудовой день здесь, на реке, длился иногда до полуночи. Мне нравился их шутливый разговор. Послушаешь, вроде явились они сюда вовсе не обучаться грамоте и счету, а посудачить о своей многотрудной жизни, протекавшей меж песчаными и галечными отмелями в верховьях и соленым морским прибоем да диковин-

ными ветрами в устье... У одних волосы до плеч, другие обриты наголо, словно монахи в пагоде. На ком-то пестреют маскировочные костюмы — бывшая форма сайгонских солдат, рядом поблескивают автоматические винтовки ополченцев... Мужчины, женщины, старухи. Тут же снуют малыши в куцых рубашонках, дергают матерей за подол: «Мама, давай мою тетрадку!..» Короче, аудитория необычная, зато многолюдная. В белом свете калильных ламп тени их ползут по песку длинными темными полосами, расплывающимися чуть подальше от стиракса под лучами новорожденной осенней луны.

Минут через десять начинается первый урок — письмо. Учитель выводит на доске прописи. А преподавательница, совсем еще молодая, судя по виду — студентка, расхаживает по комнате, помогая начинающим вывести первые буквы. У самого входа, во втором ряду, я вижу дядюшку Моя и замечаю при свете, что рубашка его с короткими рукавами здорово полиняла и ворот распахнут. Сильной, мускулистой рукой он придерживает небольшую доску, выписывая непослушные буквы. Мел трещит; кажется, будто короткие и толстые, как бананы, пальцы его пожирают белый сыпучий камень. Рядом мальчишка лет десяти усердно выводит буквы в тетрадке — довольно похожие и ровные. Левой рукой он прижимает страницу, которую то и дело норовит перевернуть ветер. Парту ему, как, впрочем, и всем, заменяет мешок с песком. Обритая голова, растопыренные локти и широко расставленные ноги его, обтянутые тесноватыми шортами, делают мальчугана похожим на ящерку, распластавшуюся по стене... Впалые щеки, наморщенные лбы, неловко согнутые пальцы людей словно источают какую-то неведомую могучую силу. Тишина стоит такая, что слышно, как неподалеку от школы мерно вздыхает прибой.

Взрыв смеха возвращает меня к действительности. Дядюшка Мой, уставясь на доску, читает:

— У-тэ-эр-эн-я-я... э-э... утренняя... Дэ-а-рэ-я... даря...

Все снова хохочут. Учитель тоже смеется. Потом стучит указкой по доске, призывая класс к порядку. Он поправляет дядюшку Моя; но тот, смутившись вконец, опять путает буквы.

Мальчуган заливается смехом.

— Ты чего ржешь, грамотей? — хмурится Мой.

— Да вот... интересно... утренняя «даря», она бывает в какое время?..— не успокаивается мальчишка.— До петухов или после?..

Оглушительный взрыв хохота.

— Ну,— восклицает кто-то,— послушать папашу Моя с сыночком — живот надорвешь!

Мальчик, потупясь, отвернулся и стал грызть кончик карандаша. А сам Мой вдруг разражается смехом; затем, совладав с собой, читает громко и внятно:

— Ут-рен-няя за-ря... Зэ... Заря...

В перемену учитель подсаживается к дядюшке Мою, берет из его кисета табак, ловко сминает пальцами и, свернув самокрутку, закуривает. Потом, попыхивая дымом, объясняет разницу между звуками «д» и «з».

А я подхожу к беззубой старушке. Седые волосы ее повязаны синей косынкой. На вопрос о ее возрасте она отвечает:

— Под семьдесят...

— А вы, матушка, регулярно посещаете занятия? — снова спрашиваю я.

— Да как сказать... Меня сперва всем миром уговаривали: пойди, мол, учиться. Ну, я и пошла... Поначалу болела, пришлось поси-

деть дома. А сейчас думаю, пока есть силы, занятий пропускать не буду...

Заинтересовавшись, я решил расспросить ее поподробней:

— Хлопотное небось дело — учеба?.. А как по-вашему, матушка, есть ли от ученья какая-то польза?

Вдруг в разговор наш вмешались сидевшие рядом парни:

— Польза, конечно, есть... Как не быть?..

— Старик у нее плотничает в Донгха. Вот она и учится грамоте, желает отписать ему письмо.

— Ясное дело,— подхватила старуха,— не зря говорится: книжник хитрее черта.

Подойдя к крыльцу, она выплюнула разжеванный бетель и сказала, обращаясь ко мне:

— Не думайте только, будто я собралась с юнцами тягаться. И ничего тут смешного нет. Я хочу выучиться грамоте, чтобы читать газеты. Иначе в жизни не разберешься; теперь ведь, после революции, все пошло по-другому, по-новому. Если не научусь читать, внуки совсем, глядишь, от меня оторвутся... А вы что, тоже учитель? — вдруг спросила она.— Честно скажу вам, такого умницы, как он, я отродясь не встречала...

— Вы это о ком, матушка?

— О нашем учителе Тхи, о ком же еще...

Она принялась рассказывать, как Тхи убеждал людей идти учиться. Сперва соседи, кого ни возьми, отказывались от учения: некогда, мол, да и не с руки. Тхи тогда взялся за дело с другого конца. Вместе с ребятами из молодежной бригады обошел каждую лодку, каждый дом. Они приглядывали за детишками, окучивали вместе с соседями бататы, тянули сети — словом, помогали людям пораньше управиться с ловом и по хозяйству и выкроить время для учебы...

— Я поняла тогда,— сказала она,— что Тхи старается ради нашего же блага. И порешила: кто как, а я, хоть и стара уж, первая пойду учиться. Тхи сразу занес меня в список.

Училась старуха с превеликим усердием. Вскоре все соседи с Устричной отмели последовали ее примеру и, после дневных трудов и забот, стали посещать вечернюю школу. Немудрено, что именно здесь достигнуты были лучшие в городе результаты по ликвидации неграмотности...

Я и не заметил, как в классе воцарилось молчание. Тхи, стоя по-прежнему подле дядюшки Моя, читал вслух стихи, написанные в прошлую войну [1]. Все внимательно слушали.

...Есть солдаты — добрые,
как сама земля;
Дороги им и близки
горы, реки, поля...[2]

Я пригляделся к учителю повнимательнее. Годы его, как мне теперь казалось, перевалили за третий десяток. Редкие волосы он стриг под гребенку. На худом лице, бледном, как у всех, кто долго болел малярией, виднелся — в углу лба — небольшой шрам. И я вдруг поймал себя на ощущении, будто человек этот мне давно уже знаком. Сперва я решил, что встречал его в джунглях,— но где и когда? И кто он, собственно, такой? А Тхи стоял себе, легко опершись плечом о колонну. Левую руку он заложил за спину, правой взмахивал плавно в такт стихам. Глядя на него, никто б не подумал, что он так

[1] Имеется в виду война Сопротивления 1946—1954 гг.

[2] Цитируются написанные в годы войны Сопротивления 1946—1954 гг. стихи поэта Тинь Хыу.

здорово читает стихи и способен увлечь столько народу. Передо мной, перед всей вечерней школой Тхи выступал сейчас как бы в двух ипостасях: он казался молодым бойцом Освободительных войск, только что вернувшимся с фронта; но было в нем и нечто от ветерана первых частей Народной армии, три с лишним десятилетья назад начавшего в старой, потрепанной форме свой долгий и многотрудный путь. Добрая улыбка, точно утренний свет над уходящим вдаль большаком, озарившая стихотворение, вроде и не померкла за все эти годы. Отсвет ее согревал лицо учителя, когда он читал стихи, хотя временами голос его, словно теряясь в дебрях прошлого, звучал негромко и глухо.

И слушая голос, выводивший строки стихов, я узнал учителя. Нет, сомнений быть не могло...

Перемена близилась к концу. Я подошел, положил руку на плечо Тхи и тихонько спросил:

— Зан, ты?..

Он обернулся и, увидав меня, обнял вдруг и крепко прижал к груди.

— Ну и дела! Учитель!.. Учитель Хай!..

Я молчал.

— Вот уж не думал снова увидеться с вами! А вы вроде и не изменились вовсе. Разве что похудели немного. Значит, узнали меня? Чудеса!..

Я стиснул его плечи.

— Как не помнить! — Голос мой прозвучал странно, будто я обращался к кому-то другому, отделенному непомерной далью.— Нгуен Хоанг Зан... Выпускной класс... Год шестьдесят... шестьдесят... Который же?..

Да, у Тхи было тогда другое имя — Зан. Среди всех своих учеников не припомню, пожалуй, такого лентяя. Но именно он преподал мне урок, запомнившийся на всю жизнь. Случилось это лет десять назад или чуть раньше.

■

Тогдашнее учительство мое и доныне я вспоминаю с разочарованием и горечью. Бомбежки и перестрелки в пригородах; американская солдатня на улицах; угон людей в армию; демонстрации, кончавшиеся кровопролитьем; бесчисленные аресты...

На каждом уроке я видел перед собой шестьдесят или семьдесят лиц — усталых, озабоченных, безразличных, а порой явно презрительных. И на всех этих лицах читал я один и тот же немой вопрос; пусть никогда он не облекался в слова, я чувствовал, что его задают мне снова и снова, и страшился, не зная, как уклониться от неизбежного ответа. И, чтоб избавиться от одолевавшего меня смутного беспокойства, я, начиная учебный год, произносил каждый раз одну и ту же краткую речь:

— Запомните, преподавание сводится к изложению некоторых необходимых сведений, которые вы должны усвоить. В этом и заключается моя работа. За вами — полная свобода выбора, на вас ответственность за то, с каким багажом начнете вы самостоятельную жизнь. Нельзя во всем слепо полагаться на чужой авторитет, будь это даже авторитет учителя. Я, разумеется, не делаю исключения для себя самого. Отвечать за вас я вовсе не собираюсь...

Зан проучился у меня два года, и отношения наши — отношения учителя с учеником — целиком исчерпывались моими «вступительными тезисами». В последнем классе второй ступени он не выдержал

экзаменов, и ему пришлось остаться на второй год. Сидел он всегда на последнем ряду, который мы, учителя, прозвали «шалашным». Здесь были освященные традицией места второгодников. Их передавали друг дружке по наследству и теснились, бывало, по пять или шесть человек за одним столом, хотя в первых рядах пустовало множество мест. К занятиям «шалашники» относились безо всякого интереса. Болтали вслух на уроках или, рассовав по карманам тетради — что строго возбранялось школьными правилами,— сидели с отсутствующим видом. И меня при одном лишь взгляде на их безучастные, словно состарившиеся лица, признаюсь, даже брала оторопь. Я, правда, старался обходиться с «шалашниками» помягче, хотя и не говорил об этом ни слова. Я понимал, у каждого из них в кармане лежит призывная повестка, и, провались они на экзаменах — что было почти неизбежно,— судьба тотчас сорвет их с места и погонит из дома прямо в пекло.

Однажды, переписывая какое-то задание, Зан уснул во время урока и выронил на пол карандаш. Я окликнул его раз, и другой, и третий — он не просыпался. Лишь когда сосед, сидевший рядом, стукнул его по плечу, он вскочил, как манекен на пружине.

— Интересно,— спросил я,— чем ты был занят всю ночь, что теперь отсыпаешься в школе?

— Да...— смутился он.— Ночью я... Нет-нет, ночью я спал, лег с вечера пораньше!..

— Неправда! Если рано лег спать, чего ж ты, скажи на милость, все время клюешь носом? Небось прохлаждался в злачных местах?!

— Нет! — ответил он резко, как будто озлившись.— У меня, господин учитель, нет денег на развлеченья... Ночью была облава; всех, кто попался, загребли в солдаты. Пришлось мне...

— О боже! — невольно воскликнул я. Потом, взяв себя в руки, сказал уже спокойней: — Сходи-ка в спортзал — умойся, да поскорее...

Весь год меня мучили опасенья, что Зан не сдаст экзаменов. В душе я чувствовал к нему какую-то симпатию, сам не пойму отчего. Может быть, потому, что Зан остался теперь единственным из тех учеников, которых я встретил когда-то впервые в этом классе? Нет, скорее, мне просто удалось разглядеть в нем, сквозь все наносное и чуждое, такие достоинства, как скромность, честность и добродушие. И я понимал, что нерадивость его имеет какое-то — пусть для меня покуда еще неясное — объяснение.

Однажды я засиделся за полночь, проверяя тетради. Раскрыв тетрадку Зана, я огорчился. В каждом упражнении было полно ошибок; переписывал все он, должно быть, на скорую руку, пропуская целые страницы, иногда я не мог даже сразу понять, где начало текста и где конец. Ко всему вдобавок, он свалил, как говорится, в одну кучу задания по разным предметам. Нет, не было ни малейшей надежды на то, что Зан выдержит экзамены. Значит, его заберут в солдаты; я уже ничем помочь не мог: он все равно не успеет подтянуть свои «хвосты»...

Представив себе сонную, вялую физиономию Зана, я в сердцах швырнул тетрадь на пол. И вдруг из нее выпорхнул крохотный листок бумаги и улетел на середину комнаты. Я встал, поднял его и поднес поближе к свету. До сих пор еще, словно это случилось только вчера, помню я буквы, разбегавшиеся вкривь и вкось по листку,— так первоклассники запоминают на всю жизнь свой первый урок. На бумажке этой я прочитал короткое стихотворение:

Четверо было нас, одногодков-дружков;
Первый на остров глухой уплыл,

Второй укрепленья строит в чаще лесов,
Третий среди смертоносного огня,
Сон по ночам бежит от меня...

Под ним виднелись еще несколько строк: «А — все выполнено отлично. В — взаимовыручка на высоте. С = Х — 1».

Я перечитывал их, вглядываясь в каждую букву. Почерк Зана — в этом не было сомнений. Но что же все это значило?.. Передо мною в туманной дымке вспыхнуло вдруг виденье: Ночной бой... Бойцы в сандалиях из автомобильных покрышек несут по полю раненого товарища... Нет, я не мог понять, ранен он или убит?.. Ясно было только одно — бой выигран, и Зан командовал в этом бою... Память подсказывала мне: стычка у сторожевого поста Анкыу — месяц назад?.. Нападение на контрольно-пропускной пункт янки в Митхюи — на прошлой неделе?.. Значит, Зан — человек Фронта Освобождения, легально работающий в городе, как работал когда-то схваченный потом охранкой подпольщик Чан Ван Он?!

Первым моим побуждением было сжечь столь опасную для Зана улику. Но вряд ли я пользовался у него доверием; и, обнаружив пропажу листка, он решил бы, что запись попала в чужие руки, а это наполнило бы его жизнь ненужными опасеньями. Я положил бумажку на старое место и упрятал тетрадь Зана на самое дно портфеля.

...Закончив работу, я опустил пониже лампу под колпаком, так что остался лишь небольшой круг света на столе, и долго сидел неподвижно, спрятав лицо в ладонях. Ночь тянулась, тоскливая и беспокойная, где-то вокруг города громыхала канонада. Из памяти у меня не шли немудреные стихи Зана, они словно приоткрыли завесу над миром, так хорошо мне известным и таким загадочным. Передо мной проплывали знакомые лица, и я — неожиданно для самого себя — вспомнил почти все имена...

«Первый на остров глухой уплыл...» Кто же он — первый?.. «Второй укрепленья строит в чаще лесов...» Как зовут его? Кто он?.. Уж не Донг ли, самый усердный из моих ребят? Он всегда был лучшим учеником в классе. Мог ли я думать, что однажды полицейские ворвутся в класс во время урока и заберут его прямо из школы?! След его потом затерялся. Слышал я, правда, будто его отправили в каторжную тюрьму, на остров Пулокондор... А может, это Фыонг? Недели две назад, проходя по улице, я успел разглядеть его за решеткой полицейского фургона. Он улыбнулся мне сквозь крохотное окошко. Улыбался он всегда застенчиво и робко, как девушка... Нет! Нет, ведь минуло дней пять, как его изуродованный труп выдали родственникам у ворот тюрьмы Тхыафу. И разве сам я не стоял потом у его могилы возле горы Нгыбинь, снедаемый нахлынувшим вдруг чувством вины?! О ком же тогда идет речь? Не о Чан Тхы ли, единственном из учеников моего класса, которого я и в глаза не видел? Каждый раз, когда я во время переклички называл его имя, дежурный отвечал: «Нет!» А однажды кто-то из класса сказал: «Да он бросил школу! Ушел во Вьетконг...» Я не поверил, отругал тогда парня за «неуместные шутки» и погрозился выгнать Тхы из школы, если он не явится и на следующей неделе. Но исключать его не пришлось: он так ни разу и не объявился в классе...

Да, Зан, теперь-то я понял, отчего тебя вечно клонило в сон. Ведь в те самые ночи, когда я слонялся без толку по опустевшим улицам, ты пробирался вдоль пригородных дорог, подстерегая врага... Я не понял, не поддержал тебя. Но только ли в этом дело? Точно так же не понимал я и всего, что свершилось и совершается на нашей земле. Хуже, позорней всего была моя привычка избегать, сторониться всех и вся — боязнь принять на себя ответственность, сделать вы-

бор!.. Стыд и гнев тугим комом подступили к горлу. Ведь теперь именно я выглядел рядом с Заном слепым глупцом, пустым и никчемным человеком. Я знал, мне даже не хватит смелости признаться ему в этом...

Ночью я спал очень плохо.

Придя поутру в класс, я вызвал Зана к доске и попросил ответить заданный на дом урок. Потом, крепко сжав пальцами тетрадь, возвратил ее Зану и предупредил, чтобы впредь он не делал в школьной тетрадке посторонних записей. Удивленно взглянув на меня, он минуту спустя вроде сообразил, о чем речь, и торопливо забрал тетрадь, сказав негромко: «Спасибо, учитель...»

Увы, в положенный срок Зан не явился ко мне на экзамен. Формально я не имел теперь права аттестовать его, а значит, у него не осталось никаких шансов получить свидетельство об окончании школы. Узнав от ребят адрес, я отыскал Зана и велел ему во что бы то ни стало явиться через неделю, когда будет экзаменоваться параллельный класс. Но он не пришел и через неделю, хоть я еще битых три часа прождал его после экзамена. С тех пор, заходя в класс, я невольно бросал взгляд на «шалаш». Место Зана пустовало; и я всякий раз задавал себе мысленно один и тот же вопрос...

■

Дядюшка Мой с железной палкой в руке подошел к висевшему на толстой ветке стиракса обломку какой-то чугунной станины и, стуча по нему, словно в гонг, закричал:

— Эй, народ! Утренняя «даря» кончилась!.. Прошу всех в класс...

Тут он расхохотался от души. «Однокашники» его вереницей потянулись к дверям.

Я протянул Тхи руку и обещал как-нибудь заглянуть в гости.

— А ты молодец,— сказал я.— Знаю, дел в комитете по горло, и все же умудряешься преподавать.

— Стараюсь, как могу. Вы ведь не хуже меня знаете, сколько я потерял дорогого времени, так потом всего и не наверстал. Пусть теперь у земляков не пропадет зря ни минуты...

Маленькая плетеная лодка, словно упавший на воду лист, легко понесла меня к городу.

Голоса, вторившие движеньям длинной указки Тхи, громко звучали над рекой. Обернувшись, я глядел на уплывавшую вдаль Устричную отмель. Калильные лампы горели уже вполсилы, и каждый из учеников зажег свою свечку, прилепив ее к заменявшим парты мешкам с песком. Позади меня в тумане мерцали огни, как будто кто-то устроил праздничную иллюминацию, и свет их плясал на тронутой рябью воде.

ТО ХОАЙ

Завтра — Новый год [1]

Нет-нет, завтра и в самом деле Новый год. Значит. Малыш скоро станет на целый год старше. Вспомнив об этом, он почувствовал себя совсем взрослым и степенно огляделся вокруг.

[1] Имеется в виду Новый год по лунному календарю, главный традиционный праздник вьетнамцев.

Листья банга, что рос у самого пруда, стали пунцовыми и багряными и медленно — друг за дружкой — осыпались с ветвей наземь. А сами ветки, черные, словно обгорелые, застыли в ожидании теплого весеннего дождика, ведь после дождя на них распустятся молодые зеленые почки. Так уж случалось с этим деревом и этими листьями из года в год. Просто Малыш только сейчас впервые обратил на них внимание.

И птиц налетело откуда-то видимо-невидимо. Так и скачут повсюду.

Братцы-дрозды, черноперые с синим отливом, целыми стаями опускаются в заросли бамбука на берегу, где полным-полно червяков.

Длиннющая дамба тянулась вдаль расплывчатой зеленой чертой. Бык с увлечением щипал на ее скате едва поднявшуюся над землей траву. Деловито и важно хрустел он своей жвачкой, словно не замечая, как на спину к нему уселась стайка желтоклювых дроздов. А они расхаживали по широченной бычьей спине, выклевывая меж рыжеватых щетинок клещей и оводов. Только вот бык, увлеченный едою, забывал их за это поблагодарить.

Малыш глядел и глядел вокруг...

От деревенских ворот и с дальней околицы слышалось верещанье свиней. Вдруг из-за живой бамбуковой изгороди, окружавшей деревню, появился заведующий свинофермой и, кивнув стоявшим на перекрестке соседям и, конечно, Малышу тоже, возгласил торжественно, как на королевском совете:

— Спокойствие и порядок! На ферме никаких новогодних жертв. Все поголовье в целости и сохранности...

Но это и так было всем известно. Он просто хотел повеселить народ. Теперь уж никто не откармливал дома свиней. Да и зачем? Куда проще купить перед праздником свинью в складчину. Ешь — не хочу!..

Вон как раз принесли на носилках к пруду здоровенную свиную тушу, ошпаренную крутым кипятком, уже без щетины. Соседи сбились вокруг — присмотреть за разделкой туши. Советы так и сыплются: который кусок пожирнее, какую часть ножек пустить на студень, где оставить мясо на ребрышках, из чего сделать фарш для пирогов... Всех послушать — голова кругом пойдет!

Малыш уставился на белоглазок, порхавших в ветвях высокой мелии. Так уж всегда — чуть станет посуше, белоглазки летают на солнышке и щебечут вовсю. Наряд у них хоть куда: зеленовато-синий с золотистым и белым отливом; а вокруг глаз белые колечки — точь-в-точь очки, хоть сейчас сажай их за книгу. Голоса звонкие — издалека слыхать...

Вдруг Малыш увидал, что на площади собирается народ. И солдаты тут как тут: все, кто приехал на побывку. А ведь в деревне есть и такие, что отслужили в армии целых двенадцать лет. И куда их ни заносила война! Как начнут рассказывать, так и слушал бы без конца: тут тебе и сражения с самолетами под Ханоем и в Тэйбаке, и бои на юге, в Куангчи, Тэйнгуене и даже на мысе Камау. Односельчане Малыша дрались с янки повсюду. Здорово было, когда солдаты пришли в школу. Наслушался тогда Малыш про взятие Кхесаня и про танковый рейд на Танкань, о партизанах в Бенлюке и штурме Сайгона...

Теплынь почему-то кончилась, и снова стало прохладно. Под Новый год всегда такая погода. Вчера вон еще дул знаменитый ном [1]. Листья гуайявы сделались красные-прекрасные, потом свернулись ду-

[1] Влажный юго-восточный ветер.

гой и попáдали в пруд. Тут уж и стар и мал встревожились: не перестанет дуть ном — беда: новогодние пироги, что готовятся на парý в листьях, того и гляди, протухнут! И цветы в вазах разом осыплются. Когда год на исходе, надо купаться в воде, настоянной на кориандре. Вода эта пахучая и полезная; так мама сказала.

А сегодня поутру ветер переменился. Роса серебристой паутиной заблестела на листьях. Желтым цветом зацвела капуста на грядках. И опять же похолодало. Все новогодние приметы налицо.

А с автобусной остановки подошли мужчины — уже в летах,— на одних длинные стеганые ватники, на других монгольские кожаные пальто или новехонькие куртки со стоячим воротом и накладными карманами, цвета прелой соломы. Откуда они, интересно, такие нарядные? Не иначе как из Ханоя...

Солдаты пригласили приезжих выпить чаю.

— Вот спасибо! Как раз кстати!..— громко сказал один из приезжих, поднимаясь на крыльцо.

Все засмеялись. И тут Малыш узнал в разодетых пассажирах старых своих соседей.

За чаем, конечно, завязалась беседа.

Кто-то из вновь приехавших сказал:

— Слыхали, наш-то тысячелетник, который мы послали на выставку декоративных растений, стоит теперь у входа в Мавзолей Хо Ши Мина! Он дал новый побег с листьями. Теперь на нем уже тридцать семь листьев — все один к одному: круглые, на красных черенках. Прямо загляденье!..

— Да уж,— кивнул сосед,— тысячелетник, он ежегодно выпускает отросток — в самый канун Нового года. Здорово, что наше деревце украшает вход в Мавзолей!..

А Малыш уже углядел почтальона, въезжавшего на своем знаменитом велосипеде прямо в деревенские ворота. На багажнике велосипеда покоилась пузатая сумка. Больше этой его сумки не было во всей деревне. На что уж у счетовода портфель внушительнейших размеров, но и ему далеко до почтовой сумки.

Кто бы ни встретил почтальона, все задавали ему один и тот же вопрос:

— Ну как, есть письма из Сайгона? О-о, вот это да!.. Совсем не то, что раньше...

Сегодня за спиной у почтальона висел еще сверток газет — новогодние номера, разноцветные, с большими красивыми буквами. А в сумке виднелась целая стопка красных конвертов; каждому ясно, письма эти — с Юга. Раньше, до того как Юг был освобожден, таких конвертов никто и в глаза не видел. Сколько раз, бывало, праздновали Новый год, а вот поздравления из Сайгона пришли сюда впервые. Об этом сказал Малышу дедушка. Он когда-то и сам был в Сайгоне.

Малыш подбежал к очагу, сложенному посреди двора. Там зрели на пару новогодние пироги. Мальчишки постарше, собравшись у огня, играли в пуговицы. Сегодня, ради праздника, им разрешат небось заночевать у огня, раскалявшего котел с пирогами. А ведь как интересно глядеть на багровые угли, извергающие фейерверки летучих искр!

И тут вдруг Малыш учуял сладковатый дух кориандра: кто-то, наверно, уже кипятил за стеной долговязых хризантем воду для новогодней бани. Он вспомнил мамины наставленья. Да, к празднику надо быть не просто отмытым дочиста, но еще и приятно пахнуть! Душатся ведь люди, собираясь в гости, покупными духами...

Притащив большущий алюминиевый бак, Малыш наполнил его до краев водой и поставил на огонь возле котла с пирогами.

Потом он вошел в дом, отыскал свой ножик и отправился в сад. Там распустилась повсюду свежая зелень, испещренная светлыми пятнышками. Старые побеги кориандра высились у самой изгороди. Он нарезал их, стараясь, чтобы побеги были в длину один к одному, зеленые и непременно с гроздьями белых цветов.

Мама возилась на кухне, делая вид, будто вовсе не замечает, как Малыш ставит на огонь воду и орудует в саду. Она только улыбалась про себя, довольная его прилежанием. Потом она, как бы невзначай, спросила:

— Что ты там делаешь, Малыш?

— Да вот, нарезаю ветки,— солидно ответил он.— Время уже купаться.

— Ай молодец! — засмеялась мама.— И вода уже вроде вскипела. Мне бы без тебя не управиться до ночи. Ты прямо стал совсем взрослый...

Усевшись за стол, Малыш вдруг увидел чашки с налипшими на дне чаинками. «Непорядок,— подумал он,— чашки к Новому году должны быть чистыми». И, сложив их на поднос, отправился к чану с водой.

Листья банга, пунцовые и багряные, ярким ковром устлали всю землю вокруг дерева. «Надо бы их сгрести в кучу и сжечь»,— снова подумал Малыш и побежал за метлой. Он и сам, наконец, почувствовал себя взрослым. Оно и понятно, скоро ведь Новый год.

Перевод с вьетнамского МАРИАНА ТКАЧЕВА

НГУЕН КОНГ ХОАН

В пути

В сторону Сайгона по шоссе бойко катилось маршрутное такси. Все пассажиры с откровенной неприязнью косились на человека, который сосредоточенно курил, не давая покоя ни себе, ни соседям. Он нервно швырял за окно недокуренную сигарету и тут же доставал новую. С ожесточением стряхивал пепел. Резкими движениями зажигал спички. Он явно был не в духе. В машине стоял сизый дым. Пепел от сигарет летел на соседей. Один раз головка спички вспыхнула от удара и, неожиданно подпрыгнув, отскочила куда-то в сторону. То ли это получилось нечаянно, то ли курильщик хотел показать свое полное презрение к спутникам.

На вид ему было лет пятьдесят. Кряжистый, полный. Без седины. Одет по-старинному: черный со стоячим воротником халат и легкие штаны. Глаза скрыты за дымчатыми очками. Холеное лицо и чуть гемноватая кожа, лоснящаяся, будто сдобренная кремами. На небритых щеках пробивалась черная щетина. Не обращая ни на кого внимания, он развалился на сиденье, закинув ногу на ногу и подбоченясь. Он один занимал в тесной «маршрутке» почти два места.

Временами пассажир застывал без движения, запрокинув голову; казалось, что он дремлет. Но он не дремал. Потому что все так же непрестанно курил одну сигарету за другой. Да иногда слышно было, как он тяжело вздыхал. И держал он себя так не потому, что был не в духе,— он решал для себя какой-то жизненно важный вопрос.

В самом деле, полковник Дон из несуществующей теперь сайгонской армии, служивший сбежавшему проходимцу Нгуен Ван Тхиеу [1],

[1] Президент марионеточного сайгонского режима.

определял сейчас свое будущее. И все же вид у него был надменный. Это и понятно: ведь когда мерзавец Тхиеу улизнул на Тайвань, у полковника Дона шевельнулась было надежда: в один прекрасный день занять президентское кресло.

Когда длинноносые господа американцы поспешили унести ноги в свои родные Соединенные Штаты, полковник Дон загоревал. Но он вовсе впал в отчаяние, узнав, что генерал Зыонг Ван Минь [1] объявил о безоговорочной капитуляции. Еще страшнее и тоскливее стало на душе у полковника, как только он прочитал призыв революционных властей: всем, кто служил в сайгонской армии или бывшей сайгонской администрации, надлежало явиться с повинной. Дон испугался не на шутку. Еще бы! Перед ним неотступно маячила весьма незавидная перспектива: арест, тюрьма, «промывание мозгов». Это крах. Полный и окончательный. Все летит к чертовой бабушке: и власть, и огромное жалованье, и обильные доходы. Ничего не останется от трех роскошных особняков (а один особнячок в отличном месте у моря в Вунгтау!), от двух шикарных автомобилей.

Кончились для него хмельные пиры, царские яства, ни слуг тебе, ни служаночек!

Нет, Дон не дурак! Он решил на время затаиться, потом начать борьбу. Борьбу до конца!

Он не один, у него есть друзья. Надо повидаться с ними. Срок явки с повинной еще не кончился. Еще есть время что-нибудь придумать. Уже больше недели Дон скрывался. А сегодня условился встретиться с теми, кто с ним заодно, в местечке Говэп, кодированное название — пункт Н. Потому и трясся сейчас как простой смертный в «маршрутке», надев самую обыкновенную одежонку. Конечно, никто бы не признал в нем богача и недавнего вершителя людских судеб.

■

А «маршрутка» все так же бойко бежала по шоссе. Сияло жаркое солнце. Вдруг налетел сильный шквал, нагоняя с востока черные тучи. Того и гляди, хлынет страшный ливень. Водитель сбавил скорость, а потом и вовсе остановился. Пассажиры увидели, как к машине подошли двое бойцов Народной армии.

— Сколько возьмете за проезд до Сайгона? — спросил один из них. Водитель назвал цену. Бойцы о чем-то поговорили между собой, старший достал кошелек, пересчитал деньги и протянул их тому, который был помоложе. А тот, в свою очередь, вынул что-то из ранца и передал старшему. Потом молодой протиснулся в машину.

Боец поздоровался с пассажирами и застенчиво огляделся, ища места. Девушка лет двадцати потеснилась, чтобы освободить ему место рядом с собой. Никто не понял, взглянул ли Дон на вошедшего или нет, потому что на носу у полковника все так же красовались дымчатые очки. Он не подвинулся, и презрительная мина по-прежнему не сходила с его лица.

Мотор затарахтел, машина тронулась.

Пожилая женщина, видя, что боец все еще стоит в нерешительности, указала на краешек сиденья, который освободила девушка:

— Садись, не то дернет машину, долго ли до беды.

Боец смущенно опустился рядом с девушкой. Пожилая пассажирка, приметив это, улыбнулась:

[1] Сменил Нгуен Ван Тхиеу на посту марионеточного президента за 48 часов до безоговорочной капитуляции, состоявшейся 30 апреля 1975 года.

— Скажи, пожалуйста, почему твой приятель не сел в машину? Ведь вы же вдвоем были.

— У нас, тетушка, на двоих денег не хватило.

— Ну и что ж? Поторговались бы с шофером, небось уступил бы.

— Ничего. Тот товарищ — мой командир, он отдал мне свои деньги, чтобы хоть одному хватило на весь путь до Сайгона. Командир мой пройдет немного пешком, а дальше подъедет на попутной машине.

— Вот оно что! — удивленно протянула женщина.— А то видишь, какой страшенный ливень собирается.

— Командира от ливня плащ убережет, я ведь ему и свой плащ отдал.

Пассажирка засмеялась:

— Я смотрю, все-то у вас обговорено.

— Рана у меня на ноге еще не совсем зажила,— как бы оправдываясь, сказал боец.— А тут ливень собирается, поэтому командир приказал, чтобы я ехал сейчас. А он на попутную сядет потом, ближе к Сайгону.

— Вот вы как друг о друге заботитесь,— восхищенно произнесла словоохотливая пассажирка.

— Вы ведь и понятия не имеете, как раньше здесь было заведено,— повернулась к бойцу девушка-соседка.— Раньше сайгонский солдат и не подумал бы платить. Бывало, помашет рукой — машина тут же должна остановиться. Даже если битком набита. Нет мест — кого-нибудь ссадят, а солдатня поедет.

Боец усмехнулся. Пожилая пассажирка спросила:

— Ты небось недавно с Севера, о таких порядках и не слыхивал. Родом-то ты из каких краев?

— Я, тетушка, из провинции Хайхынг.

— А в солдаты тебя давно забрили?

— Меня не забривали, я в армию добровольцем пошел.

— То есть как это добровольцем?

— Ну, пришел и попросил сам, чтобы меня приняли на военную службу. Дело в том, что у меня два старших брата уже в армии, поэтому мне полагалось освобождение от службы. Но когда один мой брат погиб, я пришел проситься добровольцем, чтобы отомстить. Только комитет общины стал возражать. Мы с отцом прямо в уезд поехали. Уезд разрешил.

— Чудно как-то,— пожилая пассажирка с уважением посмотрела на бойца.— А отец с матерью живы?

— Да, дома пока все в порядке.

— Кто же они у тебя, чем занимаются?

— Крестьянствуют.

— А братья, сестры дома остались?

— Есть у меня еще старшая сестра, в сельскохозяйственном кооперативе работает и в отряде самообороны состоит.

— Вот так-то,— пассажирка растроганно оглядела всех сидящих в машине.— Слово дяди Хо людей добру учит. Смотрите, какие славные, какие добрые ребята выросли.

— Это вам не солдатня господина Тхиеу. Те, как один, наглецы, грубияны, простому человеку «вы» ни за что не скажут, «тыкали» и старому и малому. Ту солдатню никто терпеть не мог,— покачала головой девушка.

— Словом, прохудились, продырявились их порядки насквозь: сверху донизу! — решительно проговорила пожилая пассажирка.

Полковник Дон прислушивался к разговору, но не подавал вида,

что заинтересован, и сидел, все так же запрокинув голову и попыхивая сигаретой. Дон всячески показывал, что ему нет дела до этой болтовни. Но было ясно, что он слушает, и слушает внимательно.

Хлынул дождь, зашумел по крыше. Пассажиры примолкли. Боец минуту всматривался в потоки дождя, потом полез в ранец, вынул книгу и стал читать.

— Что это, забавное чего-нибудь? — опять поинтересовалась пожилая женщина.

— Да, это повесть одного французского писателя.

— Французского? — пассажирка изумилась.— А я-то думала, что вы французов ненавидите?

— Мы ненавидим не французов, а французских колонизаторов,— улыбнулся боец.— Французскую культуру мы уважаем.

Пожилая пассажирка, вроде бы не расслышав бойца, спросила опять:

— Ты, видно, силен в грамоте-то?

— Десять классов окончил.

— Вон оно как! — женщина раскрыла рот.— Еще два класса кончить осталось и в университеты пойдешь?

— На Севере, мамаша, по-другому, не как у нас было,— вставила слово девушка.— Кончил десять классов — поступай в университет либо в институт.

— Милый,— все не унималась женщина,— вот и шел бы ты учиться дальше, в люди бы вышел. Все лучше, чем в солдатах маяться. Ах да, ты же ведь добровольцем...— вдруг спохватилась она.

— Я, тетушка, даже вступительные экзамены в институт сдал,— весело сказал боец.— Комиссия определила: послать меня учиться за границу. Но я решил пойти в армию: отслужу срок, и тогда еще учиться не поздно будет.

Пассажирка вздохнула:

— Если у вас все такие, то немудрено, что Север над Югом победу одержал.

— Тетушка, да не Север победу над Югом одержал,— вместе с бойцом смеялись и девушка и другие пассажиры.— Это наш народ побил американских империалистов, разгромил захватчиков.

Услышав эту фразу, полковник Дон обернулся и пристально посмотрел на бойца. Дон вынул изо рта сигарету, но на сей раз не швырнул ее небрежным жестом, а осторожно высунул руку в окно и только потом выпустил ее из пальцев. Затем весь как-то подобрался, снял руку с бедра, сел прямо. Он больше не курил. С него мигом слетела надменность. Но он все вздыхал, на лбу стал вдруг проступать пот, который он утирал платком. Он напряженно думал.

Небо тем временем посветлело, «маршрутка» въехала в город и остановилась. Боец простился с попутчиками и зашагал своей дорогой. Полковник Дон долго смотрел ему вслед. Потом и он выбрался из машины. Взмахом руки подозвал такси. Затарахтел мотор, но Дон не поехал в сторону Говэпа. Такси поворачивало то влево, то вправо и, наконец, затормозило возле неприметного с виду дома. В нем помещались новые власти. Было время приема посетителей.

Посреди зала стоял стол. За ним сидел молодой человек, почти мальчик, и что-то сосредоточенно писал. В зале Дон встретил много знакомых — своих бывших сослуживцев. Сдержанные улыбки. Рукопожатия. Дона пропустили вперед как старшего по чину. Переговаривались тихо, двигались бесшумно. Молодой человек принимал офицеров, явившихся с повинной.

Перевод с вьетнамского НИКОЛАЯ НИКУЛИНА

■

ГОР ВИДАЛ

Бэрр

РОМАН

Перевод с английского М. БРУКА и А. ФАЙНГАРА под редакцией Е. СУРИЦ

XII

Я только что вернулся из особняка, где провел два дня. Все прощено. Мадам в своей стихии.

— Мой храбрый воин! Свет Америки! Наконец ты бросил якорь в спокойной гавани!

Мадам стоит возле пылающего камина у изголовья наполеоновской софы, на которой лежит полковник Бэрр. На нем стеганый халат. Лицо гладкое и глаза лукавые, как у ребенка. Удивляя доктора (но не меня), он быстро оправляется от удара. Левая нога еще частично парализована, но он может уже кое-как передвигаться без посторонней помощи — в тех редких случаях, когда мадам ему это позволяет. Она проводит с ним дни и ночи, ей помогает племянница. Предателя Нелсона Чейза нигде не видно.

Я провел в особняке две ночи. С шестнадцати лет я жил в ночлежках, а потом в Колумбийском университете и теперь наслаждаюсь тем, что за мной ухаживают восемь слуг, а в моей спальне день и ночь горит камин. Ясно, почему все в Нью-Йорке только и думают о том, как бы разбогатеть.

На столике возле своей постели я нахожу пакет и записку, написанную рукой полковника:

«Для Ч. С. Хотя наше веселое приключение на Бродвее имело — по положению на сегодняшний день (до обеда) — счастливый конец — или продолжение?.. Почему я ставлю такое количество тире? Как школьник. Тире — признак плохого стиля. Джефферсон метал их как дротики по странице. Да. Я теряю нить. Все же я п о л а г а ю, что мой ум никак не пострадал от припадка, а нога — с каждым часом лучше. Тем не менее в о з м о ж н о, что я умру внезапно. Поэтому передаю тебе остаток моих записок о Революции. Они не окончены.

Когда я был в сенате, мне на короткое время предоставили свободный доступ ко всем официальным документам, относящимся к Революции. Со мной был клерк-переписчик, я работал с пяти до десяти утра в госдепартаменте. Мне удалось раскрыть немало секретов. За-

П р о д о л ж е н и е. Начало см. в № 7.

тем, на том смехотворном основании, что американский сенатор не должен иметь доступа к «переписке министров, находящихся в должности», архив от меня припрятали. То, что мне удалось собрать из документов, затем погибло в море вместе с моей дочерью.

Может быть, тебе пригодятся эти фрагменты. Мэтт Дэвис знает, что они у тебя, и если меня призовут свыше, передай ему все. Нерушимая договоренность, Чарли, ничего не попишешь».

Я просматриваю записки. Начинаю их переписывать.

■

Генерал Нокс

«Из всех приближенных к Вашингтону людей Генри Нокс был самым преданным. Толстый, неповоротливый, хитрый, незаменимый для руководства штабом, он был начисто лишен военного дарования и хотя командовал нашей артиллерией с 1776 года и до завершения войны, так и не знал точно, с какого конца заряжают пушку. Зато из чего только не ухитрялся он лить пушки—из церковных колоколов в Литчфилде, из остатков статуи Георга III в Баулинг-Грине, а то просто крал их ночью у англичан.

Бывший книготорговец в Бостоне, Нокс был одним из немногих, кто вообще прикасался к книгам (или хотя бы к переплетам) и с кем ладил Вашингтон. Он преданно служил в первом кабинете Вашингтона.

Я видел Нокса в деле — если можно так сказать — 15 сентября 1776 года, в тот день, когда континентальная армия потерпела сокрушительное поражение у Кипс-Бэя и бежала (или, по словам Вашингтона, «отступила») к деревне Гарлем. Я участвовал в рукопашной схватке вместе с двумя младшими офицерами. Мы поскакали в Ричмонд-хилл, думая найти там Вашингтона. Связь была полностью нарушена, если новые приказы и поступили, о них никто не знал. Сражались как всегда — каждый за себя.

Покрыв половину пути, мы наткнулись на кое-как, в спешке сооруженное земляное укрепление, за которым укрылась целая бригада. Я предположил, что они либо не слыхали, либо не поняли приказа об отступлении к Гарлему.

«Кто здесь командует?» — крикнул я часовому.

«Полковник Нокс!» — последовал ответ.

И тут же он сам, подобно жирному земляному червю, вылез из грязи. Я представился. Спросил, почему не отходит бригада.

«Невозможно, майор. Англичане перерезали остров. Но мы выполним свой долг. Мы будем удерживать форт до конца». Молодой голос дрожал. Штабные офицеры нервно глядели на нас. Кому охота удерживать форт до конца, тем более если это не форт.

«Сэр,— сказал я уважительно, но настойчиво,— это укрепление не устоит и против одной гаубицы».

«Мы окопались, майор».

На мгновение мне пришло в голову, что Нокс не хочет быстро отвести бригаду просто потому, что он слишком толст и неповоротлив. Я обратился к капитану:

«У вас есть вода? Продовольствие?»

«Нет, сэр, мы только что окопались».

«Тогда, полковник, я предлагаю вам подчиниться приказу его превосходительства и отступить к Гарлему».

«Это невозможно! — его всегда пронзительный голос перешел теперь в визг.— Англичане уже отрезали нас от Гарлема!»

«Ничего подобного, сэр». Офицеры Нокса окружили нас на пре-

лестной осенней просеке, солнце сочилось сквозь желтые листья. Прохладный ветерок шумел ветками у нас над головами и доносил до моего носа запах — его ни с чем не спутаешь — напуганных мужчин: кому охота быть убитым. А смерть была совсем рядом.

«Моя разведка сообщает, что сегодня с трех часов пополудни англичане в полумиле от нас заняли позицию, протянувшуюся через остров Нью-Йорк. Прислушайтесь. Вы услышите, как они стреляют».

Нокс изо всех сил хорохорился перед офицерами своего штаба, но его слова не произвели никакого впечатления. Мы прислушались. С юга доносились отдельные мушкетные выстрелы. И все.

«Сэр,— сказал я,— я не могу определить, кто это стреляет, но я предлагаю вам уходить отсюда со всей поспешностью».

«Сэр, здесь я командую». Круглое лицо надулось, как у лягушки в брачную пору.

Я обратился к офицерам:

«Джентльмены, если вы останетесь здесь, вы будете уничтожены врагом. У него больше людей и пушек. Тех, кто останется в живых, возьмут в плен и вздернут, как солдата Хики». Я импровизировал, но ради благого дела. Офицеры заговорили все разом. Нокс не мог их перекричать. Стали голосовать. Бригада решила идти к Гарлему.

«Мы не можем идти! — бушевал Нокс.— Мы не знаем острова. Мы из Массачусетса».

«Я знаю здесь каждую тропку от Бауэри до Холмов.— Что правда, то правда: мальчиком я охотился на острове.— Я покажу дорогу».

Несмотря на протесты Нокса, бригада собралась, и мы двинулись прямо на позиции английской пехоты, которая без единого выстрела бросилась от нас врассыпную, как от стаи диких зверей.

Две мили я проскакал впереди бригады. Нокс не разговаривал со мной, когда я вел людей через густые леса, глубокие болота и ручьи, столь характерные для острова, что теперь так любовно зовется Манхэттеном.

В одном месте нас обстреляли. Нокс растерялся. Но я не стал ждать, пока он отдаст какой-нибудь глупый приказ, и поскакал с двумя офицерами в направлении огня. На скалистом возвышении стояла рота английских пехотинцев. С дикими криками мы помчались прямо на них, изображая авангард крупной части. Они убежали в лес. С полмили мы их преследовали, нескольких убили.

Солнце уже садилось, когда мы вернулись на дорогу и обнаружили, что бригада исчезла. Я боялся, что Нокс сдался первому же английскому патрулю, но, к счастью, он просто заблудился. Наконец, мы нашли бригаду. Она торжественно шагала на запад.

Нокс был до смерти напуган, когда я сказал ему, что эта дорога в сторону заката неизбежно привела бы его в город Нью-Йорк и на английскую виселицу.

День угасал, когда мы увидели перед собой одинокий церковный шпиль деревни Гарлем, окруженной огнями американского лагеря. Нас встретили радостными криками. Полковник Нокс, введя бригаду в лагерь, не проронил ни слова.

Хотя о моем подвиге немедленно доложили Вашингтону, о нем никогда официально не упоминалось.

Через три месяца (в декабре 1776 года) полковника Нокса произвели в бригадные генералы и назначили командующим артиллерией».

Ночные атаки

«В июле 1777 года я был в Пикскилле с генералом Путнемом, когда поступил приказ генерала Вашингтона о моем производстве в подпол-

ковники. С большим запозданием, на мой взгляд. Об этом я и написал в письме его превосходительству. Как и все, я тогда придавал этим вещам большое значение. В те дни все жаждали почестей.

Ответ Вашингтона был составлен в высокопарных выражениях и не касался существа дела. Дело в том, что уже тогда стало известно о моей дружбе с командирами, которых он недолюбливал, особенно с блистательным, хотя и неуравновешенным генералом Чарльзом Ли. Вашингтон взял за правило неуклонно возвышать тупиц, которые, как Нокс, его боготворили, и безжалостно принижать людей, подобных Ли.

Меня назначили заместителем командира полка, стоявшего на реке Рамапо в округе Орейндж в Нью-Джерси. Полк был детищем богатого добродушного нью-йоркского купца Малкольма. Этот джентльмен лишь хотел, чтобы ему отдавали должное как отцу полка, и держался подальше от административных или военных обязанностей. У нас с ним сложились прекраснейшие отношения. Он (по-отечески заботливо) уехал на двадцать миль от нашего лагеря, снял громадный дом и жил в нем счастливо со своей семьей, пока я командовал полком.

Солдаты отличались недисциплинированностью, потому что офицеры — нью-йоркские джентльмены — больше интересовались вечеринками, чем учениями. Я был строг, но редко прибегал к порке. Всегда приходилось быть начеку. Спал одетый, если вообще удавалось спать. Про меня говорили, что я все насквозь вижу. И это в двадцать один год. Славное было время!

А между тем Вашингтон вел войну в своей загадочной манере. Проиграв сражение за Лонг-Айленд, он был захвачен врасплох у Кипс-Бэя и оставил Нью-Йорк англичанам. Затем он потерпел поражение под Уайт-Плейнсом, после чего большая часть континентальной армии разбрелась по домам. С теми, кто остался, Вашингтон поспешно переправился через Северную реку. И все же, даже если бы Вашингтон в августе 1776 года отдал англичанам всю территорию к востоку от Гудзона, он смог бы сохранить армию, окопавшись под Филадельфией, и удержать город. Вместо этого он за целый год только и сделал, что потерял остров и город Нью-Йорк, продемонстрировав, что у него нет ни средств, ни способностей победить англичан. К зиме 1777 года Революция, в сущности, кончилась: она просто выдохлась.

Многие молодые офицеры молили о смещении Вашингтона. Одни хотели Ли. Другие — Гейтса. Никто, кроме штабных подхалимов, не желал еще одной зимы под началом Вашингтона, неминуемо приближавшей нас к краху. Если бы англичане знали, до какой степени мы беспомощны и слабы, они тотчас навязали бы нам мир, тем более что руководство Вашингтона порождало тори тысячами, в том числе немало влиятельных, хоть и тайных — в самом конгрессе.

В сентябре 1777 года я всеми силами старался заставить врагов пожалеть о том, что они не американцы. Думаю, тут я преуспел. Что и говорить, они так и не сумели приспособиться к нашим по-индейски лихим наскокам под покровом темноты, основанным на внезапности. Мы знали дикие леса вокруг Парамуса. Они их не знали. Мы никогда не вступали с ними в сражение. Но мы всегда были тут как тут, готовые перестрелять их поодиночке.

Наши ночные атаки прогремели на весь Нью-Джерси, и уж один-то из молодых командиров определенно считал их приятным времяпрепровождением. Следует добавить, что тогда я встретил в «Эрмитаже», великолепном доме недалеко от Парамуса, женщину, которой суждено было в один прекрасный день стать моей женой.

С какой радостью крался я подобно индейцу через темные сосновые леса, обходя вражеские пикеты, чтобы попасть на блестящий прием в «Эрмитаже», а потом, по сигналу слуги, выпрыгивал в окно и исчезал, подобно тени после захода луны».

Зима 1777—1778 гг. Вэлли-Фордж

«Ах, эти «кровавые следы на снегу» в Вэлли-Фордже! Ничто меня так не позабавило, как мемуары Джеймса Уилкинсона, изобретшего этот прелестный образ. Но в то время Джейми просто не мог писать правду, даже если бы это послужило к его выгоде. В Вэлли-Фордже ходили в лохмотьях, в разбитой обуви, но никакой крови на снегу я не припоминаю. Я вспоминаю бесчисленные неудачи, которые привели нас на продуваемые ветром склоны гор в Пенсильвании, где мы пережили самые мрачные часы войны.

В сентябре 1777 года англичане снова искусно запутали Вашингтона и заняли Филадельфию (бремя содержания конгресса переместилось на Балтимор). Вопреки общепринятой легенде филадельфийцы вовсе не возражали против присутствия в их городе английской армии: на самом деле многие из них надеялись, что скоро Вашингтона поймают и повесят, чем будет положен конец разрухе.

Незадолго до рождества 1777 года я прибыл с докладом к генералу Вашингтону в Вэлли-Фордж, милях в сорока от Вифлеема в Пенсильвании. У командующего, как обычно, была комфортабельная штабквартира (в феврале приехала и мадам Вашингтон, чтобы править при дворе).

Я ждал один в холодной приемной. Входили и выходили адъютанты, в их числе и генерал Нокс, уставившийся на меня рыбьими глазами с порога кабинета. Я узнал полковника Гамильтона, который рад был встрече со мной, увидел старого друга и соратника полковника Траупа, который сказал: «Заходите, ваш приход его развлечет. Его превосходительство гневается».

Я вошел в комнату, ранее служившую, видимо, столовой. Вашингтон стоял возле камина, повернувшись к двум джентльменам в штатском.

Не отрывая от них взгляда, он ответил на мое приветствие.

«Джентльмены, вы, без сомнения, узнаете полковника Бэрра, который сражался под Квебеком вместе с генералом Монтгомери». Мое имя действительно было знакомо этим двум членам пенсильванской ассамблеи, по совместительству поставщикам армии — иными словами, жуликам. Один был крупный, другой небольшого роста. Их имена в истории Пенсильвании ныне окружены уважением, и я не хочу ставить в неловкое положение их потомков, которые, вне сомнения, чтут как благородных патриотов и злодея мощного сложения, и его тщедушного сообщника.

Крупный сказал, как бы оправдываясь:

«Согласитесь, ваше превосходительство, что это место идеально отвечает вашей цели. Обилие воды, мельница, лес можно пустить на постройку хижин. Новая партия гвоздей в вашем распоряжении...»

«Надо полагать, пенсильванская ассамблея уже заплатила за эти гвозди». Вряд ли стоило упрекать Вашингтона за дурное настроение: он хотел пойти на зимние квартиры в Уилмингтон в Делавэре, но пенсильванские делегаты в конгрессе пригрозили, что прекратят всякую финансовую поддержку конгресса и армии, если Вашингтон не останется в Пенсильвании. Итак, ради наживы кучки торговцев наша полуголодная армия разместилась на ветреном склоне горы, и те немногие, кто держался на ногах, должны были построить лагерь и без продовольствия протянуть до весны.

Коротышка отвлек внимание Вашингтона от гвоздей:

«У нас под рукой все виды припасов. Или почти под рукой. Разумеется, вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Благодарная колония... то есть штат...»

Раздалось оглушительное карканье. Коротышка замолк. Унылое выражение на лице Вашингтона сменилось ужасом. Карканье стало громче. Тысяча, нет, две тысячи ворон оглашали криками зимнюю тишину. К а р р. к а р р, к а р р!

Вошел полковник Трауп.

«Это солдаты, ваше превосходительство».

К а р р, к а р р, к а р р!

«Они требуют пищи, ваше превосходительство».

Вашингтон повернулся к пенсильванцам:

«В лагере осталось только двадцать пять баррелей муки. Солдаты бунтуют. Если завтра продовольствие не будет доставлено, никто не защитит вас от британского вешателя. И никто, джентльмены, не защитит вас от меня».

Полковник Трауп вытолкал потрясенных пенсильванцев за дверь.

Вашингтон повернулся ко мне:

«Я слышал о ваших ночных вылазках в Джерси. Мы их оценили».

«Спасибо, ваше превосходительство.— Я подумал, не следует ли мне припасть на одно колено. С каждым годом, с каждым поражением церемониал при дворе Вашингтона становился все более торжественным.— Надеюсь, что смогу и здесь заняться тем же».

«В Пенсильвании?» — Вашингтон показал перепачканной чернилами рукой на окно.

«Нет, сэр. На Статен-Айленде. Я знаю там каждый дюйм и уверен, что мы сможем весьма досадить англичанам. Главным образом ночными вылазками».

«Сколько вам потребуется людей?

«Двести человек, сэр. Из моего полка».

«Вы хотите сказать: из полка полковника Малкольма?» Так он поставил меня на место. Нам было суждено невзлюбить друг друга. Меня раздражал его медлительный ум, не говоря уже о его потрясающей способности терпеть поражения на поле боя. За три года он проиграл все сражения, выиграв лишь стычку под Трентоном, да и то случайно: гессенцы не выставили часовых в ночь атаки. К тому времени победа Гейтса у Саратоги и Ли у Чарльстона были единственными победами американцев. Естественно, многие офицеры желали смещения Вашингтона. Я разделял их желания.

К а р р, к а р р, к а р р!

Пока Вашингтон придумывал, под каким предлогом лучше оставить меня зимовать в бездействии, карканье продолжалось, и я видел, что оно его выводило из себя. В конце концов он отпустил меня с напутствием:

«Используйте людей Малкольма для постройки хижин».

Так меня принудили к оседлости. Около штаба я встретил полковника Гамильтона. Он смотрел, как у подножия холма возле обтрепанных палаток каркали и хлопали в ладоши патриоты. Карканье перемежалось скандированием: «Мяса, мяса!»

«Что-то надо делать, Бэрр». Гамильтон против обыкновения начал разговор без галантных приветствий.

«Да,— согласился я.— Надо найти солдатам еду. И это не так уж трудно...»

«Вы не знаете пенсильванцев». Он покачал красивой головой — худенький, невысокий, в залатанных штанах, как мы все.

«Я бы поехал в ближайший город и взял, что требуется».

Гамильтон посмотрел на меня с осуждением:

«Но тогда все эти «бизнесмены» до единого присягнут в верности королю».

На меня это не произвело впечатления.

«А мы их вздернем». Мне нравилось шокировать Гамильтона или, верней, давать ему возможность притворяться шокированным. На самом деле он был гораздо более склонен к force majeure [1], чем я. Не без ехидства я спросил, доволен ли он своим положением при штабе Вашингтона. Мне оно было бы непереносимо.

«Положение мое трудное,— ответил Гамильтон уклончиво.— Между дураками в конгрессе и предателями здесь — есть среди наших генералов и такие...— Он яростно обрушился на Гейтса: — Злобный интриган, постоянно обращается к конгрессу за спиной его превосходительства, плетет заговор с офицерами прямо здесь, в лагере».

Тогда я впервые узнал о так называемом «заговоре Конвея», целью которого было смещение Вашингтона и замена его Гейтсом. Хотя Гамильтон не был поклонником Вашингтона, он намеревался возвыситься через его посредство и потому не принял участия в заговоре, которым руководил только что прибывший французский офицер Конвей. Умный, но вспыльчивый, Конвей каким-то образом убедил конгресс назначить его генерал-инспектором армии. Это был удар для Вашингтона. К счастью для его превосходительства, это был удар и для всех старших офицеров армии, и их ожесточение по поводу незаслуженного возвышения Конвея позволило Вашингтону изолировать Конвея, сыграв на всеобщей зависти.

Но француз был изобретателен. Переписка Конвея с Гейтсом убедила последнего (как будто его нужно было убеждать), что он один в состоянии нанести поражение англичанам. Да, то была необыкновенная зима! В бревенчатых хижинах в полураздетой и голодной армии плелись такие интриги, какие не снились и султанскому двору; сотни шифрованных писем летали во всех направлениях. И чуть не в центре всего этого находился — кто бы вы думали? — Джеймс Уилкинсон.

Я увидел Джейми на рождество, когда он во всем великолепии проезжал мимо моей хижины. В октябре Гейтс послал его в конгресс с известием о нашей первой и единственной настоящей победе — капитуляции английского генерала Бургойна на севере. К доброму известию Гейтс приложил ходатайство о производстве гонца в бригадные генералы. По этой своеобразной логике, если бы Джейми привез печальное известие, его, очевидно, понизили бы до майора. Без колебаний и размышлений торжествующий конгресс согласился. Возвышение Конвея уже было достаточно нелепо, но после абсурдного повышения Уилкинсона не менее двадцати полковников отправили в конгресс письма с протестом. Я письма не посылал: Джейми оставался еще моим другом. А я все еще был его «идолом».

Мы обнялись, стоя в снегу. Безбородый юноша превратился в мужчину. Он выглядел старше своих двадцати лет — счастливое обстоятельство, учитывая его нелепое возвышение. Рука об руку мы отправились к нему. Он рассказал мне про отступление из Канады (он присоединился к Арнольду через неделю после моего отъезда). Я рассказал ему про отступление с Лонг-Айленда.

---

[1] Здесь: к насильственным действиям *(франц.)*.

Мы осторожно пробирались между пней, валунов, замерзших луж. Отовсюду несся стук топоров и солдатская ругань. Среди тысячи костров строились тысячи хижин. Там и сям к небу взвивались оранжевые сполохи, глаза слезились от смолистого дыма.

Ветераны обычно вспоминают юность как бесконечное цветущее лето. Не знаю, как для других, но для меня то была бесконечная зима. Я и сейчас еще ежусь от холода, которого не забыли мои кости, мне все время хочется огня, жары; с содроганием вспоминаю я жестокие, крутые горы Пенсильвании, где полуголодные люди теснились вокруг костров; кое-кому приходилось нагишом кутаться в одеяла, потому что так называемые поставщики крали все деньги, отпущенные на нас конгрессом. Мы чувствовали себя покинутыми. Да так оно и было. А где-то, между прочим, основатели страны преспокойно коротали зиму, Джефферсон же в «Монтичелло» в обстановке полного комфорта и безмятежности, зарывшись в свои книги, предавался утонченным размышлениям.

Джейми нашел отдельный флигель, тщательно промазанный глиной. В очаге горел огонь. Два младших офицера (старше нас лет на пять!) отдали честь и оставили нас одних.

Мы сели у огня и принялись с остервенением чесаться, чем занимались все, если поблизости не было начальства или подчиненных. Наверное, мы все, кроме Вашингтона и его супруги, завшивели в Вэлли-Фордже.

«Бэрр, вы дурак, каких свет не видывал.— Это было сказано с любовью.— Вы были бы сейчас бригадным генералом, если бы остались при Вашингтоне». Джейми угостил меня жареными хлебцами (лепешки на воде, испеченные на горячем камне).

Я жадно ел.

«Психология писаря не по мне».

«Тогда придумали бы себе другие обязанности. Трауп или Гамильтон не занимаются перепиской писем».

«Я предпочитаю свой полк».

«А я предпочитаю штаб». Никак я не мог привыкнуть к возмужавшему Джейми, то есть к его новому виду. Характер у него остался прежний — смесь вспыльчивого юноши и хитрого интригана. Я часто размышлял над тем, как это странно, что Джеймс Уилкинсон, прирожденный политик, поднялся на самую верхнюю ступеньку в американской армии [1], а я, прирожденный солдат,— к вершинам американской политики. Нам бы с ним поменяться жизнями.

Политик Уилкинсон быстро окунул солдата Бэрра в самую гущу сложной интриги.

«Гейтс должен стать во главе армии. Больше некому».

Я обомлел. Я полагал, что Уилкинсон на стороне Вашингтона и против заговора.

«Большинство в конгрессе нас поддержит.— Джейми глубоко вобрал в себя воздух.— Но в данный момент никто не решается сместить полубога».

«Никто никогда и не решится». Я был достаточно сведущ в революционных делах, чтобы понимать: как ни плох Вашингтон, без него на Баулинг-Грине красовалась бы статуя Георга III куда больших размеров.

В тот момент конгресс был поставлен перед истинной дилеммой. Всем уже стало ясно, что Вашингтон не может — и никогда не сможет — победить англичан. Скорей либо Гейтс, либо Ли. Но ни Гейтс,

[1] Впоследствии (уже после Войны за независимость) Дж. Уилкинсон дослужился до поста командующего американской армией.

ни Ли и никто другой не пользовался достаточным авторитетом, чтобы держать в руках остатки армии и одновременно набросить узду на шайку жуликов и краснобаев, которая именовала себя конгрессом».

Я просмотрел все записки полковника Бэрра, но нигде больше ничего не нашел про Уилкинсона или заговор Конвея.

В следующей записи говорится о том, как Вашингтон назначил Бэрра в мятежный полк в Вэлли-Фордж.

Инцидент в заливе

«Генерал Макдугалл заверил меня, что вы умеете наводить дисциплину, полковник Бэрр. Поэтому я вверяю вам командование этим самым беспокойным полком». Вашингтон отдыхал у камина после обеда. Напротив сидела леди Вашингтон. Милое и лукавое личико смотрело на нас из-под широкого чепца, вроде тех, какие носили девушки Литчфилда, когда я учился там в юридической школе.

Несколько членов военного окружения генерала сидели в комнате и делали вид, что работают, просматривая депеши. Один Гамильтон просто читал книгу. У него была такая же страсть к чтению, как и у меня. Как и я, он часто читал книги по истории или философии. Однако втайне (если мне позволительно злословить на его счет и разоблачать его перед всем светом) он обожал дамские романы.

Я старался держаться как можно непринужденнее в присутствии полубога.

«Полк стоит на берегу залива.— То был путь, по которому могли подойти англичане, если бы решились на это.— Солдаты недисциплинированы. Часовых не выставляют. Вдобавок они подвержены панике и то и дело поднимают ложную тревогу».

Миссис Вашингтон отчаянно закивала головой, точно хотела сказать: чем больше ложных тревог, тем лучше.

«Я сделаю все, что в моих силах, ваше превосходительство». Только так следовало отвечать генералу Вашингтону.

Через десять дней я принял командование небоеспособной и разложившейся частью (раньше ею командовал бригадный генерал) и строжайшей круглосуточной муштрой довел кое-кого до бунта.

На десятый день утром я узнал, что кто-то поклялся убить меня на следующем построении. Днем я принял меры предосторожности. А в полночь приказал всем выйти и построиться.

Холодная ночь. Яркая луна. Барабанная дробь. Я начал смотр. Когда я дошел до середины строя, один солдат рванулся вперед и, указывая на меня, крикнул:

«Пробил твой час!»

Несколько мушкетов были направлены на меня.

«Огонь!» — скомандовал он. Раздались пустые щелчки: мушкеты были заблаговременно разряжены.

Я выхватил саблю и изо всех сил ударил солдата по руке, все еще вытянутой в мою сторону. Послышался глухой треск перерубаемой кости. Он закричал. Рука, точно у сломанной куклы, безжизненно повисла вдоль тела.

«Станьте в строй, сэр». Он повиновался, и я приказал полку разойтись. Руку ампутировали, солдата отправили домой. Ложных тревог больше не было.

Генерал Вашингтон, рассказывали мне, серьезно подумывал, не

отдать ли меня под трибунал за то, что я покалечил солдата. Его отговорили.

Следует заметить, что Вашингтон в конце концов принял мой план наскоков на Статен-Айленд и возложил эту задачу на пропойцу-генерала, шотландского пэра лорда Стирлинга. Не зная местности, тот потерпел неудачу».

Монмусский суд

«Хотя Революцию я вспоминаю как страшно холодное время, моя беда приключилась чуть не в самый жаркий день моей долгой жизни — 28 июня 1778 года. Чего не добился холод, едва не совершила убийственная жара. Я потерял здоровье на пять лет и после битвы у Монмусского суда не мог уже принести пользы в качестве боевого офицера.

Хотя я не был генералом, мне поручили командовать бригадой, в которую входил мой собственный полк и части двух других полков из Пенсильвании. У меня оказался отличный заместитель, подполковник Баннер, и, в общем, я был им доволен. Однако к утру 27 июня, когда я сел на коня — без преувеличения, под обжигающим дождем,— я почуял беду. С солдатами так бывает. Воздух будто наэлектризован и за много часов предвещает победу, поражение или смерть.

Моя бригада входила в дивизию лорда Стирлинга, которая составляла левый фланг американцев, к западу от Монмусского суда, где окопалась английская армия. По приказу Стирлинга мы провели весь день и всю ночь 27 июня под открытым небом, и палящее солнце причинило нам больший ущерб, чем английские пушки. У всех слегка помутилось в голове. Многие теряли сознание. На нас тучами налетали джерсийские москиты — гигантские изобретательнейшие твари.

Перед восходом солнца 28 числа я вел свою бригаду по песчаной дороге к юго-западу от Монмусского суда. В голове у меня звенело. И все же сознание оставалось ясным, и я до сего дня помню хилые, как будто побелевшие от жары сосны, окаймлявшие дорогу, скорее — тропу; помню, как позади меня сержант насвистывал снова и снова две одни и те же фразы из песни «Все вверх тормашками летит», популярной в английской армии.

К полудню мы оказались на возвышенности западнее оврага, на другой стороне которого авангард нашего крыла армии должен был, согласно замыслу, нанести первый удар. Я приказал остановиться в ожидании дальнейших приказов.

Под нами лежало болото, кишевшее москитами; через него был переброшен пешеходный мостик. По ту сторону болота был лес — где-то там засел противник. Я приказал солдатам занять боевую позицию. Это было нелегко — чуть не каждую минуту кто-нибудь падал в обморок. Термометр полковника Баннера показывал девяносто четыре градуса[1].

Я предупреждал солдат, чтобы пили поменьше воды, но не мог уследить за всеми, и у многих раздулись животы и начались колики. Я тоже расстроил себе желудок, и целых пять лет потом мне не помогала и строжайшая диета.

Вскоре после полудня мы услышали первый глухой звук артиллерийского залпа. Со стороны Монмусского суда донеслось пять залпов. Потом наступила тишина. Прошел еще час. Я встревожился и послал лейтенанта к лорду Стирлингу за указаниями.

Примерно в три часа пополудни, когда солнце над сосновым лесом висело как раскаленное пушечное ядро, битва докатилась до нас.

[1] По Цельсию — около 40°.

Справа, вне пределов видимости, трещали мушкетные выстрелы, свистели и рвались пушечные ядра. Значит, дивизия Лафайета — Ли после странного бездействия все же начала бой.

Вдруг я увидел в лесу напротив алые вспышки. Лазутчики доложили, что английский отряд продвигается через лес, обходя передовые части генерала Ли с фланга.

Я дал приказ наступать. Солдаты гуськом начали переходить по мосту, я прикрывал их огнем. В считанные минуты бригада была бы на той стороне и в безопасности. Но вмешался рок.

Появился адъютант Вашингтона.

«Остановите этих людей, полковник!» Он смотрел на меня дикими глазами.

Я решил, что он сошел с ума.

«Я не могу их остановить. Они должны двигаться вперед, пока их не накрыл огонь англичан».

«Остановите их! Прикажите им повернуть назад! Это приказ генерала Вашингтона».

Я рванул коня, притворился, будто ничего не слышал, и поскакал к мосту. Треть бригады была уже на другой стороне. Английские стрелки из-за сосен уже доставали американцев.

Адъютант следовал за мной.

«Полковник, именем командующего я приказываю вам отвести людей».

Обалдевший от жары адъютант слово в слово повторил приказ Вашингтона, вызванный незнанием обстановки и ужасом при мысли о новом поражении; мы, находясь на краю болота, не знали, что генерал Ли внезапно начал отводить войска с позиции,— к тому же американскому солдату почему-то кажется, что отступать лучше всего бегом.

Вашингтон сам преградил им дорогу и, осыпав генерала Ли чудовищной бранью, приказал ему вернуться на поле боя. Так мы упустили инициативу из-за внезапного отхода Ли и отказа Вашингтона предпринять что-то серьезное. Возможная победа обернулась всего лишь жалкой стычкой, в конечном счете даже выгодной для уступавших нам в численности англичан, которых при нормальном ходе событий мы бы уничтожили.

«Их перебьют!» — закричал я адъютанту, но он стоял на своем: прав Вашингтон или неправ, ему надо подчиняться.

Мне пришлось остановить переход через болото. Надежно укрытый лесом, неприятель теперь методично расстреливал наших солдат по одному.

Я скакал по нашему краю болота, крича солдатам, чтобы они укрылись и ответили огнем на огонь противника, как вдруг почувствовал, что лечу по воздуху. Мир перед моими глазами перевернулся: помню, как сосны вдруг встали верхушками вниз.

Я рухнул в песок, оглушенный, но не раненый; мой конь был убит.

Поднявшись на ноги, я увидел, что полковник Баннер убит на мосту. Треть бригады полегла, столько же было раненых.

Ночь была такая же жаркая, как день. Медная луна висела над сосновым лесом, где спали измученные солдаты и стонали раненые.

Я ухаживал за ранеными почти до самой зари, а потом рухнул на землю и проспал, пока солнце не поднялось уже высоко.

К своему огорчению — хотя и без особого удивления,— я узнал, что (как всегда, неведомо для Вашингтона, проспавшего ночь рядом с Лафайетом на подстилке под звездами) английская армия снялась с места и благополучно направляется к Статен-Айленду. План пере-

хватить англичан полностью провалился; мы напрасно понесли тяжелые потери у Монмусского суда. Такова была «победа» Джорджа Вашингтона.

Узнав об отходе английской армии, Вашингтон арестовал генерала Ли за ослушание и приказал предать его военно-полевому суду. Я, в числе многих, открыто встал на сторону Ли. Вашингтон всех нас взял на заметку, и мало кто из сторонников Ли получил повышение.

Пока Ли находился под арестом, я довольно часто с ним переписывался. Однажды он написал, что, каким бы ни оказался приговор (его на год отстранили от должности), он намеревается уйти из армии и «удалиться на покой в Виргинию выращивать табак, что, как выяснилось, наилучший способ стать безукоризненным генералом».

Сломив Ли, Вашингтон в глазах штатов стал высшим военным гением. Хотя Вашингтону так и не было суждено разгромить английскую армию, он добился победы в куда более важной войне — в войне против соперников.

«Какая главная черта Вашингтона?» — спросил я однажды у Гамильтона, когда мы вместе работали над судебным делом.

Улыбка мелькнула на лучезарном лице, злые голубые глаза сверкнули: «О, Бэрр, себялюбие! Себялюбие! Что еще создает бога?»

Вест-Пойнт

«Я взял на два дня отпуск по болезни и провел их около Парамуса в «Эрмитаже» с моей будущей женой Теодосией Прево. Затем, все еще больной, я принял предложение Вашингтона вести разведку английских речных перевозок.

С небольшой группой мы патрулировали Северную реку вверх и вниз по течению от Уихока до Бергена и собирали сплетни, иной раз полезные.

Затем на меня возложили задачу сопровождать на барже богатых тори от Фишкила до занятого англичанами Нью-Йорка. Работа моя была бы куда приятнее, если бы не безумные головные боли и расстройство желудка.

В октябре я попросил отпуск по болезни без сохранения содержания. Мою просьбу Вашингтон удовлетворил, но настаивал на том, чтобы за мной сохранилось жалованье. Я не счел это возможным и вернулся в свой полк в Вест-Пойнте, где какой-то местный фермер принял меня за сына полковника Бэрра».

■

Тут записи обрываются.

■

Вестчестерская линия

«13 января 1779 года я прибыл в Уайт-Плейнс, чтобы принять командование Вестчестерской линией, которая тянулась примерно на четырнадцать миль между рекой Гудзон и проливом Лонг-Айленд. По ту сторону линии находились Нью-Йорк, английская армия и друзья англичан — американские тори.

Я должен был регулировать движение и сообщение между нью-йоркскими тори и вестчестерскими вигами. Подлинная моя задача состояла в том, чтобы прекратить грабеж гражданского населения. Мародерство стало основным занятием не только солдат, но и офицеров. В общем-то мародерствовала половина населения Вестчестера. Тех, кто грабил тори и англичан, называли «живодерами». Тех, кто

грабил нас, называли «ковбоями». К весне 1779 года с живодерами и ковбоями было в основном покончено; с моим здоровьем — тоже.

10 марта я послал генералу Вашингтону прошение об отставке, и он удовлетворил его, наложив следующую чувствительную резолюцию: он сожалеет не только об отставке хорошего офицера, но и о причине, вынудившей его подать в отставку».

Через линию фронта

«В конце мая 1779 года я навестил в Вест-Пойнте генерала Макдугалла.

Мы сидели на дворе под высокими вязами, откуда открывался вид на Гудзон. Из большого дома, отданного под штаб, то и дело выходили адъютанты. В тот день поднялась серьезная паника: шеститысячная английская армия только что вышла из Нью-Йорка и заняла оба берега реки ниже Пикскилла. Вот уже несколько дней Макдугалл пытался сообщить об этом Вашингтону в Нью-Джерси. Но ни одному из посыльных не удалось до него добраться.

Макдугалл метал громы и молнии по поводу ведения — или, скорее, неведения — войны.

«Ох уж этот конгресс! — Он говорил с заметным шотландским акцентом.— И откуда только понабрали таких мерзавцев!» Этого мнения придерживалась вся армия. Все знали, что те немногие делегаты, которые утруждали себя присутствием на заседаниях Континентального конгресса, больше думали о спекуляции валютой, чем об интересах армии. Конгресс уже поверил, что война благополучно закончилась. Сам Вашингтон убедил их, что прибытие французского флота обеспечит нам победу.

Французский флот действительно прибыл, и Вашингтон смог, наконец, нанести долгожданный удар по Нью-Йорку. Казалось бы, зажатые французским флотом и американской армией, англичане обречены — так, во всяком случае, все думали, но особый талант Вашингтона терпеть поражения вновь восторжествовал.

Начать с того, что никто не счел нужным ознакомить французского адмирала д'Эстена с ловушками нью-йоркской гавани, и когда настал час битвы, французский флот не смог миновать отмель у входа в нью-йоркскую гавань; тем временем на суше любимец Вашингтона генерал Джон Салливен, проводя в жизнь стратегию своего начальника, позорно отступил перед английским гарнизоном. Французский флот ни с чем отплыл на юг.

Мы огорчились бы еще больше, если бы знали, что эта несуразная война продлится еще три года и Вашингтон будет избегать военных действий всеми возможными способами. Бездействие стало свойством его натуры, да к тому же четырнадцатитысячную армию, которой он командовал во время знаменитой «победы» у Монмусского суда, почти полностью распустили из-за безденежья и таинственной веры конгресса в победу, которую якобы должен был нам неизбежно принести один лишь союз с Францией.

В конце войны, когда Вашингтон пришел в Виргинию для осады Йорктауна, под его командованием оставалось всего 2500 солдат, а у французов под Йорктауном было 3000, не говоря уже о флоте в тридцать линейных кораблей. Так что в конечном счете конгресс оказался прав. Французы и в самом деле победили за нас англичан. Без них мы, конечно, так и остались бы английской колонией; мы давно уже забыли об этом грустном факте, точно так же, как ныне пытаемся забыть, с какой легкостью небольшой английский отряд выгнал из Бело-

го дома президента Мэдисона и поджег город Вашингтон[1]. К счастью, наш народ всегда предпочитал легенду реальности. Кому же это знать, как не мне: ведь я стал чуть ли не самой мрачной легендой республики, человеком почти нереальным.

К Макдугаллу подошел адъютант и шепнул ему что-то. Макдугалл выругался.

«Вы поедете к Вашингтону, Бэрр. Вы знаете местность».

■

На этом обрывается рассказ полковника Бэрра. А вот другой отрывок, на другой бумаге, написанный недавно, судя по дате.

■

Бенедикт Арнольд. Записано 4 июня 1833 года

«Осенью 1780 года я находился в «Эрмитаже» у миссис Прево, которая любезно взялась за нелегкий труд сохранить мне жизнь. По ее настоянию я выпивал в день галлон ключевой воды и от этого чувствовал себя еще хуже.

Как раз тогда всю страну взволновало предательство Бенедикта Арнольда. Некоторое время Арнольд был не у дел. Его несправедливо обошли с повышением. Из-за поврежденной ноги его сочли непригодным для роли командира в действующей армии. И Вашингтон назначил его военным губернатором Филадельфии — после ухода англичан.

На этом посту Арнольд вел себя словно римский проконсул — не хватало только ликторов по бокам. Властный, вздорный характер стал еще хуже из-за бесконечного пьянства. Тем не менее ему удалось жениться на самой красивой девушке в городе — Пегги Шиппен, чья семья пригревала меня в дни сиротского детства. Как большинство мелких американских дворян, Шиппены были тори и настроены проанглийски. Когда англичане заняли Филадельфию, Пегги чуть не вышла замуж за красивого английского офицера майора Андре.

Беспечный, продажный, грубый Арнольд все время вздорил не только с ассамблеей Пенсильвании, но и с конгрессом,— правда, эта группа жуликов вполне могла признать Арнольда за своего, но с ней надо было держать ухо востро. Против него выдвигали разные обвинения. В конечном счете его оправдали, но сутяжничество еще больше озлобило его. И вот, чтобы умиротворить Арнольда, Вашингтон предложил ему пост в армии. Арнольд это предложение отклонил: у него плохо со здоровьем. Он брался за командование в Вест-Пойнте — ничтожный пост для важного генерала. Пораженный Вашингтон заметил Арнольду, что гарнизон Вест-Пойнта состоит из инвалидов и вся работа там — наблюдение за рекой и информационная служба. Но именно поэтому Арнольд и рвался в Вест-Пойнт.

Оказывается, Арнольд стал английским шпионом и собирался сдать Вест-Пойнт врагу. Он бы в этом вполне преуспел, если бы мы не поймали английского шпиона майора Андре, с компрометирующими Арнольда документами. Вашингтон, Лафайет и Гамильтон прибыли в Вест-Пойнт. Арнольд в панике бросил прекрасную Пегги и укрылся на борту английского корабля «Ястреб».

Пегги обезумела: она неистово кричала на Вашингтона, обвиняла его в убийстве ее ребенка, объявила, что отец ребенка Гамильтон — к явному замешательству молодого сатира. В конце концов Вашинг-

[1] Во время англо-американской войны 1812—1814 гг.

тон отправил Пегги под военным эскортом домой в Филадельфию. Вот и все, что мы знали, когда сидели в Парамусе осенним вечером и услышали у подъезда шум подъехавшего экипажа и стук конских копыт.

Слуги открыли дверь. Теодосия встревожилась. Я тоже. Не англичане ли это?

Из залы донесся пронзительный крик. В дверях появилась женщина под вуалью.

«Утюг! Горячий утюг!» — звенел ее голос. Она качнулась.

Теодосия бросилась поддержать давнюю свою подругу Пегги Шиппен-Арнольд.

Слуги и дети смотрели, широко открыв глаза, как Пегги, пошатываясь, подошла к дивану у камина.

«Мое дитя! Они убили мое дитя!»

В эту минуту в комнату заглянула няня с ребенком и сказала:

«Ребенок у меня. Он хочет спать».

Теодосия велела слуге приготовить постели для матери и ребенка.

Пегги тем временем расположилась у камина. Она была прелестна, несмотря на растрепанные волосы и горящий, безумный взгляд. Теодосию она знала всю жизнь и относилась к ней как к старшей сестре.

«Вот он, убийца!— Пегги показала на меня длинным пальцем. Брови ее взметнулись.— Утюг! Горячий! Горячий!»

Это было слишком, даже в устах безумной. Теодосия приложила палец к губам и выслала всех, кроме меня, из комнаты.

Пегги, не снимая вуали, долго рыдала. Затем быстро вытерла глаза.

«Все в порядке, Пегги?»

«Конечно, в порядке. Она устроила нам спектакль». Я это заподозрил с минуты ее появления.

«Лучше спектакль, чем тюрьма.— Пегги холодно посмотрела на меня.— А как Аарон — в порядке?»

«В каком смысле?» Теодосия ничего не понимала в таких вещах.

«Она имеет в виду — не расскажу ли я генералу Вашингтону, что она его одурачила. Нет, не расскажу. То есть не расскажу, если Пегги не попытается и нас одурачить».

«Никогда! Разве что это будет необходимо. Вы ведь не тори, нет?»

Я сказал, что я не тори. Я был предан Революции с первого дня — значит, был настоящим вигом.

Пегги скорчила гримасу.

«А я ненавидела вашу Революцию с первого дня».

«Очевидно, генерал Арнольд тоже?» Это было дерзко, но и Пегги была сама дерзость.

«С первого ли дня — не знаю,— ответила она спокойно.— Мы встретились позже. Но я знаю, как плохо с ним обошелся конгресс, и мистер Вашингтон, который... — Она вдруг расхохоталась.— Видели бы вы его превосходительство! Когда я поняла, что муж в опасности, я бросилась на постель. Мне нужно было убедить всех, что я ничего не знаю о том, что происходит. И я закричала, что полковник Вэрик хотел убить моего ребенка, и что раскаленный утюг жжет мне голову, и...»

«Откуда ты взяла этот несчастный утюг?» — полюбопытствовала Теодосия.

«Вычитала где-то. Я притворилась, что не узнала генерала Вашингтона, а он напугался до смерти и послал за мистером Гамильтоном, эдаким молодым красавцем, гусаком...»

«Пегги!» Теодосию, очевидно, смутило сравнение наших бесценных полковников с гусаками.

«О, настоящий гусак, поверь. С ним я вела себя по-другому. Мы были tête-a-tête. И я говорила с ним заговорщически. На мне была красивая кружевная ночная рубашка, только из Лондона. Мне ее прислал прошлым летом майор Андре.— Пегги нахмурилась.— Его ведь не расстреляют?»

Мы тогда не знали, что майора Андре уже повесили как шпиона.

«Думаю, что расстреляют.— Я сам не сознавал своей жестокости: потом мне рассказали, что Пегги и майор были любовниками до ее замужества, и что их связь продолжалась и позже, и что Пегги помогла Андре совратить мужа.— Конечно, майора Андре можно обменять на генерала Арнольда». Я не удержался от искушения поддразнить несчастную Пегги.

«Англичане никогда его не отдадут. Даже за майора».

Мы с Теодосией нередко вспоминали потом эту сцену, размышляя над сложной дилеммой, перед которой очутилась Пегги. Жизнь давнего любовника и жизнь нового мужа вдруг оказались на разных чашах весов.

Пегги была необыкновенная умница. Тому свидетельство быстрота, с какой она одурачила сразу Вашингтона, Гамильтона и Лафайета. Но уже тогда она была профессиональной шпионкой. Потом, в Лондоне, я узнал, что в 1782 году она получила около 400 фунтов от английского правительства за оказанные услуги. Главной из этих услуг было то, что она вышла замуж за Бенедикта Арнольда и превратила мятежника в чудовищного предателя.

В ту ночь в Парамусе Пегги рассказала о своем разговоре с полковником Гамильтоном в Вест-Пойнте:

«Я сказала, что ничего не знаю о деятельности мужа. И разрыдалась, правда не громко, прижимая его руку к своей груди. Он очень влюбчивый, да?»

Я вежливо взглянул на нее. Я тогда не знал о «влюбчивости» Гамильтона. Потом-то он прогремел своим — чуть не написал «распутством», но мне ли клеймить главное наслаждение в жизни? Надо сказать, Гамильтон с женщинами вел себя глупо, часто ставил в затруднительное положение своих сторонников, не говоря уже о благородной многострадальной жене из семьи Скайлеров.

«Ну вот, я убедила его, что просто хочу вернуться домой в Филадельфию, к своей семье. Я сказала ему, что боюсь толпы. Что боюсь за свою жизнь.— Она нахмурилась.— И я действительно боюсь. Что сделают со мной виги в Пенсильвании?»

«Будут приглашать тебя на все свои балы и попросят исполнить роль Офелии». Теодосию все это развлекло гораздо меньше, чем меня.

«Полковник Гамильтон пообещал добиться для меня прощения у генерала Вашингтона и сдержал слово. Потом у меня состоялся почти такой же разговор с маркизом де Лафайетом. По-французски!»

Вошел слуга и вызвал хозяйку дома. Когда Теодосия вышла, Пегги потянулась, как кошка. И посмотрела мне прямо в глаза — как в детстве, когда хотела чего-то добиться.

«Ну?» — сказала она.

«Что «ну»?» Я не откликнулся на призыв.

Она подошла ко мне. Взяла мои руки в свои и заглянула мне в глаза.

«Я ненавижу врагов Англии! — в ее голосе была неподдельная страстность.— Во что ваш виргинский болван превращает наш мир!»

Я уверил ее, что, когда война кончится, мир будет по-прежнему

н а ш и м,— исчезнет только неприятная необходимость платить налоги Англии. Но она мне не поверила.

«Он будет не наш, его приберут к рукам лесные дикари и городской сброд. Они заберут в с е!» Пегги говорила ну прямо как современные нью-йоркские дамы, осуждающие Эндрю Джексона. Только она-то не просто осуждала: она всем пожертвовала.

«Кто бы ни владел страной, Пегги, вам в ней не будет места. Англичане уйдут домой, и вы уедете с ними и не вернетесь».

«Я верю в победу. Но если мы не победим, конечно, я уеду». Она стояла так близко, что я слышал запах ее дыхания, тот женский запах, оттенки которого я еще тогда научился соотносить с лунными фазами. Она попыталась привлечь меня к себе, но я высвободился.

«Я женюсь на Теодосии».

Пегги метнула на меня взбешенный взгляд и плюхнулась в кресло у камина.

«Она вам в матери годится!»

«Не думаю». Теодосия была старше меня на десять лет. Ее покойный муж служил полковником в английской армии. У нее не было состояния. Я понимал, что в глазах общества это для меня совершеннейший мезальянс. Но в Теодосии я нашел все, что мечтал найти в женщине, вернее — почти все. Перед смертью же она подарила мне вторую Теодосию и — на короткое время — сделала мое счастье полным.

1834

I

Около полудня дверь в контору распахнулась. Леденящий воздух наполнил комнату. Резюме дела, только что написанное мистером Крафтом, спланировало к камину. Один из молодых клерков рванулся захлопнуть дверь, но обнаружил в ее проеме раскрасневшегося Аарона Бэрра с двумя плотного сложения мужчинами. Руки и щеки у них горели от холода.

Полковник же просто выглядел посвежевшим.

— Вот и я! — приветствовал он нас.— Как видите, вернулся!

Бодр, как всегда: даже ходит без палки.

Бэрр провел людей к себе в кабинет, на ходу распорядившись, чтоб ему принесли нужные бумаги.

— И м не сломить полковника,— заметил Крафт.

— Вы имеете в виду мадам и Нелсона Чейза?

Мистер Крафт покачал головой. Мрачное, многозначительное выражение лица — видимо, его способ скрывать тайное злорадство, хотя мне не часто приходилось наблюдать такое за пять лет совместной работы с ним. Он редко вступает со мной в разговоры, и то лишь о делах или о погоде. От погоды, по его мнению, многое зависит.

— Сама жизнь! — воскликнул мистер Крафт. То есть, по-видимому, «сама жизнь» не сломила Аарона Бэрра.— Постарайтесь изучить его... — мистер Крафт понизил голос, чтобы его не услышали два клерка,— стиль. В свое время он был первым джентльменом Нью-Йорка. И одним из первых джентльменов в стране.

— Он был вице-президентом...

— Д ж е н т л ь м е н о м, мистер Скайлер, а не чиновным жуликом! Его отец, его дед, его прадед — все предки были великими богословами и ректорами колледжей. Вот почему ему так завидовал

Гамильтон, этот... — зашептал он мне в ухо,— этот у б л ю д о к из Вест-Индии!

Только теперь, после долгих лет совместной работы, я понял, что мистер Крафт — классический нью-йоркский сноб. Я-то всегда считал, что самое привлекательное в Александре Гамильтоне — его незаконнорожденность.

Из соседней комнаты послышались раздраженные голоса. Затем я услышал свое имя: полковник Бэрр звал меня. Я вошел.

— Я хочу,— резко заявил один из мужчин,— чтобы мне заплатили деньги.

— А я больше всего на свете хочу заплатить вам эти деньги,— сказал полковник Бэрр учтивейшим тоном, отработанным пятью поколениями богословов.— Но пока я не могу этого сделать. Мистер Скайлер, сейчас я займусь вами. Джентльмены, всего вам наилучшего.

Полковник Бэрр в веселом расположении духа закрыл дверь за своими кредиторами.

— Ты читаешь Гиббона?

— Уже третий том,— соврал я.

— Вечером буду тебя по нему гонять. В Парковом театре. Я купил билеты, чтобы посмотреть неповторимую мисс Фэнни Кэмбл и ее отца в пьеске под названием «Горбун».

Полковник Бэрр закурил сигару и протанцевал какое-то замысловатое па.

— Свободен! — пропел он.— Свободен! — Затем он доверительно сообщил мне, что покинул Холмы «окончательно и бесповоротно».— Золотое сердце у мадам. Ей-богу! Можно даже сказать, что то, чем набит ее кошелек, бьется в ее прекрасной, благородной груди. Тук-тук, это стучит золото, Чарли, ах, какой звук! Мир пляшет под этот перестук.

Я вдруг подумал, что вижу счастливого человека. Но чему он так радуется?

— Мы не сошлись характерами и решили пожить врозь. Временное прекращение брака. Мне нужна городская жизнь. Мадам счастлива лишь в резиденции, принимая Бонапартов. Возможно, она попытается развестись со мной, хотя не думаю. Я обещал возместить ей потерю четырех кляч. Да, не забыть бы послать ей бочонок лососины. Она ее очень любит. Моя первая жена тоже ее любила.— Полковник закрыл глаза. Взгрустнулось? Предался воспоминаниям? Ничуть.— Ты подготовил подробную справку по делу Пейстеров?

— Я начал, только...

Сквозь дым сигары он послал мне типично бэрровский афоризм:

— Великолепно, Чарли. Не делай сегодня того, что можно отложить на завтра, ибо кто знает, что еще может подвернуться.

Мисс Кэмбл была превосходна в роли Джулии. Ее отец эффектно играл Горбуна.

Разочаровывала только публика. В полупустых ложах сидела знать, в том числе мы с полковником. Партер же кишел шумными пьяницами, завербованными у Пяти Углов, чтобы освистать — не актеров, нет, это вызвало бы просто бунт,— но администратора, мистера Эдмунда Симпсона, который якобы предпочитает английских актеров американским; вот уж чепуха, ибо он больше всего носится с нашим собственным Эдвином Форрестом. И все из-за глупого соперничества между Парковым театром и театром на Бауэри. Тамошний администратор Том Хамблин и нанял этих хулиганов, чтобы они орали и блеяли, особенно во время оркестровых интерлюдий. Театр на Бауэри заручился и поддержкой «Ивнинг пост». Сам Леггет принялся нападать

на Парковый театр. Понятно, мистер Симпсон не пускает его в зал. Театр же на Бауэри в поисках дешевой популярности стал теперь называться Американским театром, полагая, что никто не посмеет нападать на то, что прикрыто звездно-полосатым флагом.

Во время антракта я стою с полковником Бэрром у выхода на Бродвей и к церкви св. Павла. Полковник, как всегда, делает вид, что внимательно меня слушает, не отрываясь смотрит на мои губы, будто ловит каждое слово, чтобы обезопасить себя на случай чьей-нибудь выходки.

Разговаривая, я оглядывал зал. Те, кто постарше, заметили полковника и смотрели на него как зачарованные, а некоторые даже с ужасом. Молодым же не было до него никакого дела. Ложи в Парковом театре занимают главным образом богачи. Они ненавидят президента, обожают Клея и Уэбстера. Я пишу сейчас о политике потому, что меня дважды толкнул бородач в очках с толстыми стеклами. Первый раз я просто отодвинулся. Второй раз, когда он наступил мне на ногу, я гневно повернулся и в ту же минуту узнал под темной окладистой фальшивой бородой Уильяма Леггета.

— Ну, чем я не пророк Исайя?

— Не знаю, как выглядел пророк Исайя.

Он здорово отдавил мне палец. Затем я представил его полковнику Бэрру. Тот был милостив и величав, как лорд Честерфилд в сопровождении пажа.

— Меня здесь нет,— прошептал Леггет.— Симпсон пригрозил мне дуэлью. Я буду драться тростью. Он — глаголом.

— Очень разумный выбор оружия,— невозмутимо сказал полковник.— Лично я всегда ненавидел дуэли.

— Еще бы. Варварство. Но... — Леггет запнулся. Фальшивые бакенбарды сдвинулись, усы сползли на нижнюю губу.

— Но в давние варварские времена у нас не было выбора. Это считалось делом чести.

Леггет поправил бороду.

— Однако вам везло, полковник. Вы прекрасно стреляли, и поэтому в те варварские времена преимущество было всегда на вашей стороне.

Леггет хватил через край, но полковник обошелся с ним в своей обычной любезной манере:

— Я редко делаю попытки опровергнуть легенду. Да это и невозможно. Но вам я открою одну тайну.

Глаза у Леггета загорелись. Он наклонился к полковнику.

Бэрр выдержал таинственную паузу.

— Несмотря на годы, проведенные в армии, мистер Леггет, я с двадцати шагов не попаду и в амбарную дверь.

— Вы скромничаете, сэр.

Бэрр засмеялся.

— Вовсе нет. Просто мне, наверное, очень везло. Несколько лет назад в Утике, в одной компании меня попросили показать свое искусство. Я сослался на нездоровье. Они н а с т а и в а л и, чтобы Аарон Бэрр продемонстрировал свою меткость. Я показал им зарубку на дереве поодаль. Хотите, мол, попаду в нее? Еще бы! — Глаза у Бэрра засверкали.— Так вот, почти не целясь, с первого же выстрела я попал в самую середину зарубки.

— Вот видите... — начал Леггет.

— Дело в том,— закончил Бэрр,— что мне повезло. Не более. Зрители были в восторге. Они приготовили еще одну мишень, но я отговорился. И в Утике до сих пор есть люди, которые об заклад будут биться, что я самый меткий стрелок на свете.

— Но ведь вы и в других не менее примечательных случаях попадали в цель?

Я чуть не задушил Леггета тут же в вестибюле.

На лице полковника все еще блуждала мягкая улыбка, но голос как-то поскучнел, хотя и не утратил дружелюбия.

— Мистер Леггет, главное различие между моим другом Гамильтоном и мной состояло в том, что в роковой момент у него дрогнула рука, со мной же этого не случается.

За зеленым суконным занавесом прозвенел колокольчик. Мы вернулись на свои места. Но я думал не о спектакле, а об удивительной прямоте полковника Бэрра. Сегодня он впервые заговорил о дуэли.

После спектакля полковник колебался, не зная, стоит ли ему засвидетельствовать свое почтение папаше Кэмблу, которого он знал, дабы познакомиться с дочкой Кэмбл, с которой он знаком не был. В конце концов он решил не ходить за кулисы.

— Слишком поздно, да и потом мне нужно ехать в Джерси-сити.

Я помог ему надеть пальто. Легкий снегопад сменился холодным сильным ветром, он дул с Северной реки и хлопал ставнями расположенного по соседству музея. На Бродвее скопились кареты, ожидавшие театралов. Мы с полковником подошли к св. Павлу (служба кончилась). На углу Фултон-стрит мы почему-то увидели уже безбородого Леггета, которого, оказывается, собирался подвезти какой-то приятель.

— Не понимаю, что произошло.

— Возможно,— сказал полковник ровным голосом,— он не узнал вас без бороды.

Леггет засмеялся, закашлялся.

— Ну, как в а м понравились Кэмблы? — переменил я тему.

Леггет сказал, что Кэмблы ему очень понравились, а я сказал, что мне кажется позорным, что «Ивнинг пост» продолжает нападать на них из-за распри между администраторами.

Пока мы спорили, полковник быстрым шагом направился по Фултон-стрит к пристани. Мы поспешили за ним.

Узнав, что полковник едет в Джерси-сити, Леггет удивился:

— Но ведь поздно. Паромы уже не ходят. И надвигается буря.

Миновав мрачную громаду Вашингтонского рынка, мы вышли на Вест-стрит.

— Эфраим! — крикнул Бэрр.

— Здесь, полковник.

Мы спустились к небольшой лодке, где нас ждал сын одного из друзей полковника по Революции.

— Чудесный вечер, Эфраим.

— Лучше не бывает, полковник.

Эфраим встал во весь свой огромный рост в темной лодке и потянул за причальный канат; лодка, подпрыгивая в бурлящей воде, пристала к сходням.

— Боже праведный, ну и холод! — Леггет не мог справиться с ознобом.

Полковник оперся на руку Эфраима и ловко прыгнул в лодку. Эфраим отчалил, полковник нам помахал.

— Ну что, мальчики, теперь видите, в ч е м радость жизни?

— Я замерзаю.— Леггет до ушей закутался в плащ.

Полковник Бэрр услыхал его, несмотря на ветер.

— Нацепите снова бороду, мистер Леггет. Она вас согреет.

В следующее мгновение лодка с полковником растворилась в промозглой тьме, а мы с Леггетом галопом промчались до самой То-

мас-стрит, и миссис Таунсенд отпаивала нас в гостиной яблочной настойкой «Округ Колумбия», пока мы не отогрелись.

Леггет с невольным восхищением говорил о полковнике Бэрре.

Миссис Таунсенд раздвинула высохшие губы в улыбку, открыв желтые зубы, и позвонила прислуге.

— Джентльмены, мы вас порадуем кое-чем новеньким.— Но тут же вспомнила: — А для вас, мистер Скайлер, у нас припасена «старая» новинка. Так наслаждайтесь же... в этом мире.

Элен очаровательна, но зиму она ненавидит. Ждет не дождется весны, хочет уйти от миссис Таунсенд. Я обещаю помочь ей найти работу и не лгу: обещаю навести справки у друзей, у которых есть знакомые портные. Она сказала, что хочет посмотреть Воксхолл-Гарденс. Я обещаю повести ее туда, как только будет хорошая погода.

Мы с Леггетом покинули Томас-стрит в хорошем расположении духа. Он немного проводил меня. Яблочная настойка и девушки согрели нас, да и северный ветер утих.

— Вот не думал, что полковник так хорошо сохранился.

— Просто удивительно!

— Тебе удалось что-нибудь обнаружить?

Признаюсь ему, что улов небогат. Про записки о Революции я умолчал.

— А как насчет мистера Ирвинга?

— Он не очень-то разговорчив, осторожничает. Особенно когда речь идет о Ван Бюрене.

— Хитрый старый кот. Терпеть не могу его мещанские истории. Нет, это уж слишком!

— Он лучший из наших писателей...

— Быть может, однако не бог весть что. Знаешь, мы только что договорились с Купером, он будет писать для «Ивнинг пост» под псевдонимом.

Месяц назад Джеймс Фенимор Купер возвратился в Нью-Йорк после многих лет, проведенных за границей. Его прибытие осталось почти незамеченным, Ирвинг в отличие от него взял город приступом. Но Ирвинг деликатен, а Купер рад ткнуть своих земляков носом в их недостатки. Чересчур уж он хлесткий для наших ура-патриотов.

— Ты знаешь,— сказал Леггет, — я тщательнейшим образом изучил строение головы полковника Бэрра и теперь совершенно уверен, что он отец Ван Бюрена.

Леггет помешался на новой науке — френологии. Если ей верить, то все черты характера можно определить по шишкам на голове. Он даже предложил мне написать о френологии для «Ивнинг пост». Но сейчас последнее слово за мной.

— Мне интересней изучать, что происходит в н у т р и, в голове полковника. Это единственный способ узнать, кто он и кем приходится Ван Бюрену.

— Ага, ты перенял стиль полковника.— Он попал в точку.— Надеюсь, и у тебя рука не дрогнет.

И Леггет помчался по улице, фальшивая борода выпала у него из кармана на заиндевевшие булыжники, где и осталась лежать, словно дохлая кошка.

II

На дворе апрель. У меня все не было времени — нет, время-то было, но не было охоты — продолжать эту летопись.

Полковник живет то в Джерси-сити, то в конторе. Насколько я могу судить, от мадам нет никаких вестей. Нелсон Чейз перешел в

другую адвокатскую контору. Не знаю в какую. Говорят, он работает у Александра Гамильтона-младшего.

У полковника превосходное настроение. Он взялся за несколько новых дел. Но стал несколько рассеян. Недавно клиентка заплатила ему 50 долларов, он положил деньги в словарь. Уходя из конторы, он стал шарить у себя по карманам:

— Чарли, у меня нет денег. Ни цента. И банк закрыт. У тебя не найдется десяти долларов?

— Нет, сэр. Но у в а с пятьдесят долларов в словаре.

Он вздрогнул, открыл словарь и вынул деньги, которые недавно туда положил.

Но память полковника на прошлое остра, как всегда. Вскоре после Нового года он сказал, что собирается диктовать мне свои воспоминания.

— Пока они еще живы в моей памяти.

Что ж, я готов, я жажду их, но он никак не начнет — все тянет.

Леггет пригласил меня на ленч в гостиницу «Вашингтон-холл». За нашим столом были Вашингтон Ирвинг, конгрессмен-литератор Гулиан К. Верплэнк (в данный момент кандидат в мэры от антитаммановской группировки) и Фитц-Грин Халлек. Мистер Купер и мистер Брайант тоже хотели прийти, но не смогли.

— Купер не переносит Ирвинга,— шепнул мне на ухо Леггет, когда мы рассаживались,— а Ирвинг не переносит никого, но он великолепный актер.

— Я так хотел встретиться с моим старым другом Купером.— Ирвинг был сама искренность.— Он не только великий — он хороший человек.

Верплэнк заговорил о нападках на Ирвинга в «Норт американ ревью». Ирвинг сделал вид, что не читал статьи.

— Они утверждают, что вы черните Америку и хвалите все английское. Надо же! И это вы, вы, которому Америка обязана своей литературой.— Верплэнк — человек прямой и язвительный.

— Мне кларета.— Ирвинг, наконец, привлек внимание официанта и тотчас отшатнулся, когда тот плеснул вино в пыльный бокал.

Верплэнк, наслаждаясь подробностями, рассказывал об ужасных нападках на Ирвинга. Но наш литературный лев лишь кивал головой и бормотал для истории:

— Я всегда представлял мою страну за границей. Но теперь я дома... я вижу перемены... успехи... и счастлив... представлять...

— «Ивнинг пост» скоро начнет печатать мистера Купера. Когда же вы будете писать для нас? — почтительно, хотя и не без вызова спросил Леггет Ирвинга.— Мы подозреваем вас в склонности к демократизму, мистер Ирвинг.

Ирвинг ответил кривой усмешкой. В глубине души он стопроцентный тори. Это видно по его манерам, по любви к прошлому, к изысканному и традиционному, не говоря уже о том, что он дружит со всеми богатыми купцами в городе. Но демократия — веяние времени, если верить Леггету. Я-то лично думаю, что Ирвинг ненавидит то, что происходит, и тем не менее вот что я слышу:

— Зиму я провел в Вашингтоне. Не выходил из Капитолия. Слышал все дебаты — удачные и неудачные. Какие у нас великие ораторы! Клей, Уэбстер, Кэлхун.

— Все тори,— не сдавался Леггет.

— Все блестящие мужи. Но...— Ирвинг огляделся по сторонам, не слышно ли его в зале,— но заблуждающиеся, мне думается. Южане, знаете ли... когда понаблюдаешь за ними в конгрессе или побеседуешь с глазу на глаз... оказывается, они, как бы это сказать, в извест-

ной степени правы. И в то же время мне ясно, что, если они настоят на своем, наш общий союз развалится.

— А это плохо или хорошо?

Хотя Халлек и славится умом, сегодня он не в ударе. Исподтишка поглядывает на меня. Очевидно, не может взять в толк, как я сюда попал.

— Пожалуй, плохо.— Ирвинг говорит это сухо.— Но Югу, возможно, будет лучше без нас.

Легтет попытался выведать что-нибудь о Ван Бюрене, но Ирвинг сделал вид, что ничего не знает о планах вице-президента.

Когда мы поднялись из-за стола, Халлек что-то сказал Ирвингу, тот повернулся, посмотрел на меня и утвердительно кивнул. У двери ресторана я посторонился, чтобы пропустить знаменитостей. Но Ирвинг взял меня под руку и вместе со мной вышел в холл.

— Вы произвели сильное впечатление на бедного Халлека.

— Да? — пробормотал я, не понимая, почему Халлек «бедный».

— Вы так похожи на Джозефа Родмана Дрейка. Он был самым близким другом Халлека. Кстати, я не забыл вашего интереса к полковнику Бэрру. Хотите взглянуть на «Ричмонд-хилл»?

Я сказал, что очень хочу. Полковник Бэрр в Олбани, а мистер Крафт привык во второй половине дня обходиться без меня.

Я сел в коляску Ирвинга. Великий человек кивнул джентльменам, и карета затряслась по Уолл-стриту.

— Я не был в «Ричмонд-хилле» двадцать лет. Но думаю... Кучер, стой! Стой! — Ирвинг, оказывается, умеет кричать. Кучер осадил лошадей вовремя — из остановившейся впереди кареты величественно ступил на тротуар мистер Астор в горностаях, недавно прибывший из Европы на похороны жены. Он и сам-то чуть жив, но, кажется, дела у него идут неплохо.

Поговорив с ним, Ирвинг пошел назад к коляске, медленно, как и подобает великому и грузному человеку.

— Мне нужен совет по финансовым вопросам.— Он откинулся на сиденье и вздохнул.— Я питаю слабость к денежным операциям. Результаты всегда убийственные. Бедный, вернее, б о г а т ы й мистер Астор пытается мне помочь. Вы знаете, он ведь стал владельцем «Ричмонд-хилла» после того, как полковник Бэрр его потерял. Процветание Астора в Нью-Йорке как раз и началось с того, что он разделил это поместье на участки. Как, кажется, просто, а? Взял и нажил состояние.

Ирвинг долго говорил о домах, о собственности и деньгах. Я слушал внимательно.

— Вот здесь мы, бывало, на уток охотились.— Он указал на ряд домов.— Вон там, сразу за домами, и сейчас еще тянутся Лиспенардские луга. А за ними был «Ричмонд-хилл».

Когда мы поравнялись с проемом между домами, Ирвинг вдруг заволновался:

— Вон он! Видите — колодец?

Я не видел ничего, кроме пустого поля. Но Ирвинг силой воображения способен создавать ландшафты.

— М а н х э т т е н с к и й к о л о д е ц! Ранней весной тысяча восьмисотого года некую Элму Сэндс нашли мертвой на дне этого колодца.— Щеки его порозовели Маленькие глазки сверкали.— Некоего юношу по имени Леви Викс обвинили в убийстве. Он заявил, что в убийстве невиновен, а виноват лишь в том, что пользовался добротой Элмы Сэндс. Город волновался. Два самых блестящих адвоката того времени защищали Викса — Аарон Бэрр и Александр Гамильтон. Я был в зале суда во время выступления полковника Бэрра. Когда он

закончил, присяжные и судьи — да и сам дьявол тоже — поверили, что Элма Сэндс безнравственная женщина, а Леви Викс чуть ли не юный Галахад.

— Ну, а как на самом-то деле? — Я знаю, как хороший адвокат может влиять на присяжных. Полуденное солнце превращается в полуночную луну, если полковник Бэрр решил, что такое превращение в интересах клиента.

— Кто же знает? Викса освободили. Затем... — Ирвинг даже губы облизнул, смакуя воспоминания.— Когда судья, Бэрр и Гамильтон разговаривали у здания суда, к ним подошла родственница Элмы Сэндс и сказала: «Будьте вы все трое прокляты за то, что сделали с памятью Элмы Сэндс». Вскоре судья исчез из отеля, где жил, и больше его никогда не видели. Потом Бэрр убил Гамильтона, а сам вот живет, и живет под страшным знаком Каина.— Ненаписанный рассказ Вашингтона Ирвинга глубоко тронул меня. Надо спросить полковника, что это за история.

Город все больше и больше наступает на Лиспенардские луга и на земли «Ричмонд-хилла» (который теперь обрамляют улицы Вэрик и Чарлтон). Но здание осталось, хотя и несколько изменилось с тех пор, как я ребенком тут играл.

Холма, на котором стояло здание, больше нет. Оно теперь на одном уровне с улицами и уже не возвышается над Гудзоном. Просто большая старая постройка с флигелями. Вывеска над парадной дверью гласит: «Ричмонд-хилл тиэтр». Буквы поменьше гласят: «Виргиний, или Освободитель Рима», с участием Ингерсола».

Ирвинг оглядел новые дома слева и справа. Грустно покачал головой.

— Я впервые переступил порог этого дома, когда полковник Бэрр был вице-президентом. Меня привел сюда мой брат Питер. Треть столетия назад.

Ирвинг подошел к парадной двери, постучал. Молчание. Он открыл дверь, и мы вошли. Часть бывшего вестибюля была отгорожена и теперь служила фойе. Стены расцвечены афишами на дешевой бумаге.

Ирвинг открыл следующую дверь, и мы очутились в центре запущенного здания. Главную залу превратили в партер, в дальнем конце устроили сцену; на заднике намалевана декорация замка. Бывшая площадка второго этажа разгорожена под ложи.

— Это была Голубая комната.— Ирвинг указал в партер.— Знаете, я впервые увидел жалюзи у полковника Бэрра. О! — возликовал он, обнаружив под побелкой очертания камина.— Вот здесь он стоял, когда мы с братом пришли после ужина.— Ирвинг помолчал, взглянул на грязный пол.— Помню красный турецкий ковер. Мебели было немного. Полковнику пришлось продать все имущество незадолго до отъезда в Вашингтон. Он вечно был в долгах.— Ирвинг взмахнул рукой.— Подумать только, какие здесь бывали замечательные люди.

Я посмотрел на сцену, на ложи, на ряды скамей.

— Во время Революции — Вашингтон. Адамс жил здесь, когда был вице-президентом. А гости! Талейран, Жером Бонапарт, король Луи-Филипп.— Ирвинг произносил знаменитые имена, словно ведьма, творящая заклинания, и мне казалось, что вот-вот на сцене появится сам генерал Вашингтон и запоет «Янки дудль».

Ирвинг шагнул к нише слева от камина. Там стояли стремянка и ведро с затвердевшими белилами.

— О н а сидела здесь на изящной кушетке, вся в бархате.

Ирвинг на цыпочках приблизился к стремянке. Нежно улыбнулся ведру с белилами.

— Теодосия,— прошептал он,— вы все еще здесь?

Но Теодосия давным-давно нашла могилу на дне морском, и кроме нас в бывшем «Ричмонд-хилле» никого не было, если не считать пьяного швейцара, который вдруг появился из боковой двери.

— Что вы тут делаете?

— Простите,— начал Ирвинг.— Дверь была открыта. Я бывал здесь, когда это был частный дом.

— Не видишь, что ли? Тут театр. Читать не умеешь? Если хочешь войти, купи билет, как все.

Он надвигался на нас. И хотя Ирвинг всячески старался задобрить швейцара, тот и слушать ничего не хотел: он твердо знал, что перед ним воры. И выпроводил нас.

Ирвинг ни на минуту не замолкал всю дорогу до самого города. Вероятно, Теодосия была несравненна. Образованная, умная, красивая, она играла роль хозяйки за столом отца, когда ей было всего четырнадцать лет.

— Полковник больше никогда никого не любил. Он пришел просто в отчаяние, когда она вышла замуж за мистера Олстона и тот увез ее в Южную Каролину. По-моему, в последний раз они виделись в Ричмонде, в штате Виргиния, когда его судили по обвинению в государственной измене. Признаюсь, он был великолепен! Герой дня. Теодосия была рядом с ним словно... словно царственная супруга! А как мы все, молодые, ему поклонялись!

Лишь упомянув имя Леггета, я сумел вернуть Ирвинга от блестящего прошлого к скучному, но важному для меня настоящему.

— Мистер Леггет — резкий молодой человек. Но образованный. Очень образованный. Конечно, его политические взгляды, так сказать... — Ирвинг сделал движение кистью, словно обмахивался веером.

— Я думаю, Леггет будет противником мистера Ван Бюрена.

— Два года в политике — большой срок. Я убежден, что в конце концов «Ивнинг пост» выполнит свой долг, не так ли?

Я в этом не был убежден и заговорил о политических разногласиях. Ирвинг сделал вид, будто ничего в таких делах не понимает, и отделался замечанием, что демократы за оставшиеся два года вряд ли сумеют подыскать кого-нибудь другого.

— Полковник Бэрр очень хорошо отзывается о мистере Ван Бюрене.

— Да ну? — Ирвинг посмотрел на меня, и взгляд его, казалось, проникал не только сквозь мою одежду, но забирался под кожу. На губах его застыло подобие улыбки.

— О да,— сказал я.— Он считает его чуть ли не своим сыном.

Дело сделано.

Ирвинг продолжал улыбаться, но он уже пересчитывал мои ребра в лучах первоапрельского солнца.

— Я бы этой версии... не верил.— К моему облегчению, Ирвинг тут отвел от меня взгляд.— Мать мистера Ван Бюрена была наипорядочнейшая женщина, да и на много лет старше полковника Бэрра...

— Который женился на женщине лет на десять старше себя.— Нападение —лучший способ защиты.

Ирвинга покоробило. Я был доволен. Наконец-то я поколебал его добропорядочную невозмутимость.

— Я знал ее, мистер Скайлер, и знаю, что она была неспособна на такое.

— И все же полковник взял мистера Ван Бюрена на службу, помогал ему, продвигал...

— Полковник Бэрр — вы знаете это лучше меня — врожденный педагог. Он любит молодых. Любит учить их. Ведь не зря он — сын и внук ректоров Принстонского колледжа.

Я вдруг испугался, что Ирвинг, как огромное речное чудовище, снова плюхнется в трясину прошлого и наговорит мне о Принстонском колледже с три короба. Но, к счастью, он почуял опасность и стал лаконичен.

— Помочь карьере блестящего молодого человека — совершенно в духе полковника Бэрра.

— Когда полковник вернулся из Франции, мистер Ван Бюрен пригласил его к себе и полковник жил у него в Олбани.

— Мистер Ван Бюрен добрый и щедрый человек — даже, говорят, чересчур.

— И полковник Бэрр помог ему провести один закон в ассамблее.— Какой именно — я не мог вспомнить, но что-то важное.

Ирвинг встревожился:

— Полковник — старый человек, склонный, очевидно, к преувеличениям.

— Нет. Он всегда точен. Он все еще прекрасный юрист. И во всем руководствуется ф а к т а м и.— Я не удержался и подпустил шпильку мастеру фантазии.

Ирвинг парировал мой выпад:

— При случае полковник Бэрр так же вольно обращался с истиной, как любой другой политик или авантюрист.

— Но раз он с восхищением говорит о мистере Ван Бюрене...

— Мой милый мальчик, кое-кто готов уничтожить мистера Ван Бюрена л ю б ы м оружием. Почему бы не с помощью любви? Поцелуй в Гефсиманском саду. Долгие годы враги вице-президента распространяли слух, будто он родной сын полковника Бэрра и его побочный политический отпрыск. И то и другое — ложь.

Наконец-то я его расшевелил!

— Если так, зачем мистеру Ван Бюрену понадобилось встречаться с полковником прошлым летом?

— Ну вот мы и приехали. Рид-стрит.

Коляска остановилась. Ирвинг показал на водонапорную башню в дальнем конце улицы.

— Памятник полковнику Бэрру. Знаете, он основал Манхэттенскую водопроводную компанию для того, чтобы под шумок открыть банк.

— Но вода-то до сих пор идет.

Ирвинг рассмеялся:

— Да, а у банкиров есть Манхэттенский банк. Спасибо, я сегодня славно развлекся. Всегда приятно встретить молодого человека, который интересуется прошлым.

Я пространно поблагодарил его за доброту. Он похлопал меня по колену.

— Ваше расследование может вас бог весть куда завести. Будьте осторожны. Вас подстерегают западни... Надеюсь, никто не попытается опорочить былую с л у ч а й н у ю дружбу между полковником и вице-президентом. Ибо мистер Ван Бюрен, конечно, станет нашим следующим президентом и запомнит недругов так же хорошо, как помнит друзей.

Теперь я уже был абсолютно убежден в том, что Ван Бюрен — незаконнорожденный и, таким образом, исход выборов зависит от Аарона Бэрра.

III

Вот уже три дня на улицах беспорядки. Мы переживаем что-то вроде революции. Никогда еще не было такой ожесточенной предвыборной борьбы.

Сегодня утром (третий и последний день выборов) полковник Бэрр дал мне кое-какой материал для Мэттью Дэвиса.

— Ничего серьезного.— Он похлопал по папке в моих руках.— Просто хитрость: хочу узнать, что происходит.

Полковник Бэрр поправил на шее шарф (в конторе жарко; погода стоит теплая). Он всегда возбужден во время выборов.

— В мое время все происходило просто. Всего тысяча избирателей участвовала в выборах.

— Не очень-то демократично, а?

— Не очень. А теперь любой мужчина, едва ему исполнится двадцать один год, может голосовать. Удивительно.— Бэрр задумчиво поглядел на золу в камине.— Никто, даже Джефферсон, не мечтал о такой демократии. Думаю, ничего хорошего из этого не выйдет. Но раньше было еще хуже, хотя, видит бог, все, что ни делается,— к лучшему...

С Дуэйн-стрит неслись крики.

— Вперед! На разведку! Надо видеть этих санкюлотов! Скажи Мэтту Дэвису, что душой я, как всегда, с ним. Но и только. Джексон — лучший из наших президентов... вот и все.

На Дуэйн-стрит я впервые увидел баталию.

Все утро процессия вигов таскала по городу модель фрегата под названием «Конституция», и вот наконец они опустили ее перед Масонским залом. А сами вошли внутрь посовещаться. Около полудня банда пьяных ирландцев атаковала фрегат, но была рассеяна вигами.

Когда я прибыл на место происшествия, там толпилось несколько сотен злющих вигов (странная смесь сброда и богатых торговцев): подбитые глаза, проломленные головы.

Я увидел мистера Дэвиса у входа в Зал. С ним был солидный мужчина с гневным лицом.

— Чарли Скайлер! Мой коллега историк.— Одно стекло в очках мистера Дэвиса было разбито, и он выглядел из-за этого несколько странно, зато казался веселым.

— Дэвис, я настаиваю, вызовите мэра,— нервничал солидный мужчина.— Нам нужна охрана.

— Подумаешь, кучка подгулявших ребят! Зачем еще мэра вызывать!

Мистер Дэвис повернулся ко мне:

— Голосование идет как надо, Чарли! Мы получили большинство и, главное, обязательно изберем Верплэнка.

К нашим ногам упал брошенный откуда-то булыжник. Солидный мужчина вскрикнул.

Мистер Дэвис и бровью не повел.

— Если сегодня мы выберем Верплэнка мэром, через два года выберем Генри Клея президентом.

На этой пророческой ноте демократия нас поглотила.

Размахивая дубинками, швыряя булыжники, несколько тысяч пьяных дикарей из шестого округа заполонили Дуэйн-стрит.

Булыжник попал мне в плечо, меня отбросило к стене. Какой-то негодяй молотил солидного мужчину до тех пор, пока мистер Дэвис не поднял трость и со смачным хрустом не перебил негодяю нос.

Уворачиваясь от ударов, я кое-как выбрался из гущи драки.

Мистер Дэвис, весьма довольный этой дракой, несмотря на урон, понесенный вигами, повел нас в неуютный «Бродвей-хаус». Его вместительный бар — неофициальная ставка партии вигов.

Мистеру Дэвису подали чай, а нам пиво — мне и солидному человеку, который оказался пресловутым Мордекаем Ноем. Ной — существо удивительное. Он пишет мелодрамы для театра, редактирует газеты и является — или являлся — одним из лидеров Таммани. Президент Мэдисон назначил его консулом в Тунис, а президент Джексон — инспектором нью-йоркского порта, и только недавно он покинул этот пост, поссорившись с президентом из-за Банка Соединенных Штатов. До последних выборов он был соредактором газеты «Курьер энд инкуайерер», поддерживавшей Джексона до тех пор, пока не возникла «проблема банка мистера Биддла». Тогда Ной и его газета развернулись на сто восемьдесят градусов и стали нападать на правительство. Во время выборов открылось, что Ной и второй редактор тайно получали деньги от мистера Биддла. Скандал был на руку властям и нанес урон мистеру Биддлу, развратителю прессы.

Сейчас Ной редактирует «Ивнинг стар», открыто поддерживая банк и вигов. Отдав чуть не всю жизнь Таммани и рабочему люду, Ной переметнулся к богатому мистеру Биддлу и его ставленнику Генри Клею.

Сколько ни стараюсь, никак не могу понять, почему людей вроде Дэвиса и Ноя волнует вопрос, кого выберут или не выберут в президенты или еще куда-то. Мне наплевать, кто будет править в первом округе или кто будет президентом в Белом доме. Дело-то не в этом. Настоящего и активного сторонника Джексона в двадцать восьмом или тридцать втором привлекали денежки, или должность, или то и другое вместе. Сейчас половина деятелей из Таммани-холла — директора новых банков, возникших после того, как Джексон нанес удар Николасу Биддлу и Банку Соединенных Штатов. Кстати, никто — даже Леггет — еще не разъяснил, почему банк, находящийся под контролем федеральных властей, хуже, чем тысяча банков, которые никто не контролирует. И уж совершенно неясно, почему Банк Соединенных Штатов считается «аристократическим», а банки — «демократическими». Ведь все вместе они будут обдирать бедных ничуть не хуже, чем их обдирал один из них.

— Что же мне прислал полковник Бэрр? — мистер Дэвис развязал папку.

Наконец-то Ной обратил на меня внимание: спросил, действительно ли я — посланный Аарона Бэрра.

— Не просто посланный,— ответил за меня мистер Дэвис,— но и летописец жизни человека, которого так обижают.

— Ей-богу, мне все больше нравится Бэрр.— Ной вдруг оживился.— Что вам известно о его делах на Западе?

И снова мистер Дэвис ответил за меня:

— По-моему, мы все знаем: полковник ни в чем не виноват.

— Да, да. Ну, а как насчет роли президента Джексона?

— Он в этом замешан не больше, чем...

— Не больше, чем... — Я решил перейти в наступление: — Генри Клей.

Мистер Дэвис хмыкнул, то есть издал сухой шелестящий звук, словно потерли один о другой тома «Свода законов».

— А здорово он вас, Мордекай.

Ной был невозмутим.

— Клей просто защищал Бэрра в суде. Не более. А Джексон хотел ехать с ним в Мексику. Все об этом знают.

— Все, кроме двух его биографов. Нет, Мордекай, такая тактика нам ничего не даст. С Эндрю Джексоном нельзя так обращаться, его слишком любят. Кроме того, через два года, а то и раньше, он уже не будет президентом... Кстати, почему ваш Чарли работает у полковника Бэрра?

— И в самом деле — почему? — Мистер Дэвис кинул на меня взгляд, как бы говоривший: «Внутри ведь все иначе, чем снаружи».

— Я восхищаюсь им как адвокатом.— Я приготовился к обороне, но напрасно.

— Чарли подбирается к золотой жиле.— Голос мистера Дэвиса звучал так торжественно, словно он только что подкупил судью и договорился с ним о приговоре.— Он пишет истинную историю жизни полковника Бэрра, покуда я тут строчу официальные мемуары. Чарли положит меня на обе лопатки.

Так, значит, мне предстоит конкуренция с Мэттью Л. Дэвисом? Я забеспокоился.

— А вы уже договорились о публикации? — поинтересовался Ной.

— Да,— ответил за меня мистер Дэвис.— Чарли имеет дело с Уильямом Леггетом.

Мне стало не по себе. Откуда мистер Дэвис все знает?

— Но я не пишу для «Ивнинг пост»...

— Леггет! — Ной стал нещадно костить Леггета. А в заключение сказал: — Слава богу, Уэбб отделал его как следует! На улице! Тростью.

Я сказал, что, наоборот, Леггет избил Уэбба. Вдруг с улицы донесся цокот копыт, бряцанье оружия, крики: «Народное ополчение!».

— Будем надеяться, они доберутся до избирательных урн раньше, чем наши друзья из «Таммани».— Мистер Дэвис впервые встревожился.

И не встревожился ничуть, когда несколько мгновений спустя булыжник пробил окно у него над головой, грохнул по столу, слегка качнул мою кружку и скатился на пол. Мы с Ноем вскочили. А мистер Дэвис собрал осколки оконного стекла в аккуратную кучку. Затем положил послание Бэрра в карман пальто и повернулся ко мне: — Полковник просит передать вам все записи, какие я только найду.

— Мне ничего не надо, неужели вы думаете, я собираюсь...

— Чарли, Чарли! Читайте себе на здоровье, я пошлю вам все, что у меня есть.— Он поднялся.— И поторопитесь с публикацией.

Я поблагодарил мистера Дэвиса. Он такой любезный. Но ведь он сам уже несколько лет не может опубликовать свою книгу — так неужели он рассчитывает, что мои усилия возбудят интерес публики к этой старой истории? Да, сложную я себе задал задачу.

IV

Верплэнк не прошел в мэры — он недобрал 179 голосов примерно из 35 000. Таммани-холл победил, но дорогой ценой, ибо виги заполучили совет общин города. Мистер Дэвис, наверно, счастлив. Полковник Бэрр — тоже, а впрочем, нет, его это скорее забавляет.

— Это новые люди, Чарли. В один прекрасный день они захватят все.

— Мистер Дэвис считает, что Клей будет президентом.

— Бедный Мэтт! В больших делах ему не хватает мудрости, но он силен в мелочах. Ван Бюрена выдвинут, и он побьет Клея, побьет любого республиканца, нет-нет, в и г а. Пора привыкнуть называть их так. Все вверх тормашками! Те, кто за Революцию, были виги, а те,

кто за Англию,— тори. Затем началась борьба за федеральную конституцию. В нашем штате губернатор Клинтон был за слабое федеральное правительство. Так вот, некоторые виги стали антифедералистами, а некоторые, как Гамильтон, стали федералистами. Затем тори-федералисты стали республиканцами. А теперь тори-федералисты-республиканцы называют себя вигами, хотя на самом деле они антивиги. Республиканцы же антифедералисты теперь демократы-джексоновцы. Вот она — магия названий.

— А кем были вы после Революции?

— Да никем. Хотя склонялся к антифедералистам, но не принимал участия в затянувшемся споре. Помню, впервые прочитав конституцию, я решил, что она и пятидесяти лет не протянет. Видно, ошибся в сроке. Но все равно я прав. Эта конституция не годится для такой страны. Между прочим, сегодня утром, сойдя с парома, я увидел на Вест-стрит мертвеца. Его убили вчера вечером на избирательном участке, и никто даже не подумал убрать труп.

— А вы за Ван Бюрена? — спросил я. Капля пота скатилась у меня по спине. Жарко сегодня.

— Да.

— Это из-за вашей старой связи?

Он закрыл глаза; уперся маленькими ногами в край каминной решетки.

— Я стар, а потому умерен. Из всех стариков, каких я знаю, опасности и неожиданности любит один только Эндрю Джексон. Но думаю, что объяснить это может лишь медицина. У него высокое кровяное давление. Что до меня, то я предпочитаю, чтобы люди действовали красиво и пристойно — как Мэтти Ван Бюрен. Он лишен свирепости, тогда как Клей переменчив и нечестен.

— А мистер Дэвис знает, что вы отдаете предпочтение Ван Бюрену?

— О да. Но он на меня внимания не обращает. Он знает, что Аарон Бэрр — не тот, бывший, а теперешний — в бэрритах не числится.

V

Город взбаламучен беспорядками. В некоторых домах нет ни единого целого окна. А кому до этого дело? Погода прекрасная, народное ополчение разошлось по домам, у ирландцев с похмелья раскалываются головы, а я отправлюсь с Элен Джьюет в Воксхолл-Гарденс.

Мы доехали на извозчике до перекрестка, где Бауэри сливается с Бродвеем. Элен радовалась как ребенок. С тех пор, как она поступила в заведение миссис Таунсенд, ей ни разу не удалось пройтись пешком больше чем один-два квартала по Томас-стрит. На ней закрытое платье, и она ничем не отличается от тех дам, что распивают чай в Дамском зале гостиницы «Сити».

— Ах, я часами ей втолковывала, что у меня тут есть тетка, и что один... ну, словом, один гость с ней знаком, и она часто обо мне спрашивает, а потом я ей говорю: «Миссис Таунсенд, надо мне доложиться тетушке, что я жива, здорова, а то вдруг она станет меня через полицию разыскивать».— Улыбка у Элен — как лежащий на боку треугольник.— Ну, она меня и отпустила на денек, хотя ворчала и говорила, что бог, мол, правду видит. Видит он, как ты думаешь?

Я сказал, что сомневаюсь. Но заверил ее, что если ад существует, там в один прекрасный день появится на редкость образованная леди, которая сведет с ума сатану знанием Евангелия и теологии.

Вечер теплый, в парке много парочек. Казалось, никому нет дела до того, что Леггет именует «революцией».

Мы погуляли под цветными фонарями, усердно вдыхая чистый загородный воздух, напоенный запахом гиацинтов, а затем устроились в беседке — достаточно близко от оркестра, чтобы слушать музыку, и в то же время достаточно далеко, чтобы, разговаривая, не кричать. Официант-негр принес нам ванильное мороженое и торт. Я почему-то очень нервничал, непонятно почему.

Элен совсем притихла, даже погрустнела.

— Какая радость от прогулки, раз нужно возвращаться.

Кажется, я был к этому готов. Какая собака, вкусив свободу, сама вернется в конуру и сядет на цепь? Жестоко, наверное, показывать ей мир за стенами ее каморки на Томас-стрит! Или просто глупо? Скорее, и то и другое.

— Я думал, тебе... ну, что тебе там не так уж не нравится.

— Мне там мерзко.

Она неприятно крошит торт. Надеюсь, мне не придется дотрагиваться до ее липкой руки.

— Воды горячей никогда нет.— Элен нахмурилась.— Меня не любит негритянка. Другим дают горячую воду два раза в день. А мне — чуть теплую и только о д и н раз. А зимой — ледяную. — Элен смахнула крошки на землю.— Вот видишь. Нам с тобой и поговорить-то не о чем.

Я сказал, что она все равно мне нравится, о чем бы она ни говорила. И был искренен. Но ее этим не тронул.

Музыка стала медленнее, одинокий скрипач фальшиво играл печальную мелодию. И все равно мне было хорошо: гиацинты, цветные фонарики и скрытое темнотой обиженное хорошенькое личико пленницы, которую я освободил лишь на один вечер. Как в сказке про Золушку — ведь к полуночи ей нужно вернуться на Томас-стрит к злой волшебнице Розанне Таунсенд. А почему бы не освободить ее навсегда? Поднатужиться, снять ей комнату. Она бы зарабатывала шитьем. Я поделился с ней своими мыслями.

Элен улыбнулась, повеселела.

— Это было бы чудесно!

Я встревожился. Одно дело говорить такое под фальшивое пиликанье скрипача, а другое — проснуться утром и увидеть, что рядом с тобой лежит еще кто-то и это уже на всю жизнь.

То ли Элен угадала мой страх, то ли она и в самом деле необыкновенная.

— Нет, так нельзя. Мы же не обручены.— Она сказала то, что думала.— Нет, я не из таких.

— Ну, а как же... как же у миссис Таунсенд?

— То дело другое.— Элен была непреклонна.— Ты ведь на мне не женишься? — Она рассмеялась, прежде чем я нашелся, что ответить.— Конечно же нет. Да и какая из меня жена! С детьми я не умею обращаться. Я их боюсь. Так что у миссис Таунсенд мне не так уж и плохо. Если бы только горничная была другая...— Лицо ее омрачилось, стало злым, но еще более привлекательным.— Мама говорит, я кончу свои дни в приюте для бедных, она, бедняжка, сама там живет.

— А отец?

Такого веселого смеха я не слышал с тех пор, как один из клиентов миссис Таунсенд перепрыгнул через забор на заднем дворе и рухнул в соседский свинарник.

— Отец? Спроси что-нибудь полегче. Я его и не знала. И мама, небось, тоже. Она пила, когда была молодая и швеей работала. Крои-

ла только, а не шила. У нее глаза были плохие. И таланта не было. Лучше ты расскажи про своих родителей — если хочешь, конечно.

Наконец мы перешли на личные темы; впервые за семнадцать встреч. Я веду им счет.

— Отец держал бар в Гринич-Вилледжe. Мама тоже там работала. Он, верно, такой же пьяница, как твоя мать.

— Небось, богатые были? — последовал долгий вздох.

— Нет, но бар был доходный.

— Ну, а братья, сестры?

— Все умерли. Их, кажется, было пятеро. Я единственный остался.

— Матери твоей, небось, нелегко приходилось.

— Еще бы. Отца она ненавидела. Чего уж хорошего.

Я рассказал Элен все или почти все. Она слушала, как ребенок, которому читают книжку.

— Ну и денек! — сказала она наконец.— Ты прелесть, Чарли! — и поцеловала меня в щеку, как сестра.

Я положительно опешил. Ведь я думал, что у нас будет такое грустное расставание.

VI

Я прочитал сотни страниц воспоминаний М. Л. Дэвиса об Аароне Бэрре и не почерпнул из них ничего нового.

Только что я отослал ему рукопись с благодарственным письмом. Ладно, пора браться за работу всерьез: докопаться до истины, а если не удастся найти факты подлинные, то хоть что-то, чем можно воспользоваться.

Кстати, в рукописи Дэвиса есть одна важная деталь. Он воспроизводит письмо, написанное полковником Бэрром из поместья Ван Нессов в округе Колумбия. Текст письма (какому-то полковнику Клейпулу) не представляет интереса. Важны дата и место.

Дом Ван Нессов, где гостил Бэрр, находился всего в нескольких милях от Киндерхука, где 5 декабря 1782 года родился Мартин Ван Бюрен.

Письмо датировано 11 марта 1782 года (да-с, я отсчитал срок на пальцах!).

Последняя строчка загадочна: «Развлекаюсь как могу в этом захолустье. Ты понимаешь, что я имею в виду».

VII

Леггет рассказал мне последний анекдот о Ван Бюрене. Один сенатор заключил пари с другим сенатором, что заставит Ван Бюрена публично себя скомпрометировать. «Мэтт,— сказал сенатор,— говорят, солнце встает на востоке. А вы как думаете?» — «Я слыхал про это, сенатор, но сам я встаю после рассвета, и у меня нет своего мнения на этот счет».

VIII

Полковник Бэрр и я с поистине детским восторгом наблюдали, как сносили целый квартал на Бродвее, точно напротив Паркового театра. Мы были не одни. Казалось, полгорода пришло сюда посмотреть, как огромный железный шар, подвешенный к подъемному кра-

ну, проломит стену первого дома. Мистер Астор намеревается построить на этом месте отель, который затмит гостиницу «Сити». Ему это, конечно, удастся. Ему всегда все удается.

— Потрясающе! — Полковник захлопал в ладоши, когда узкое на голландский манер здание рухнуло с глухим грохотом. Громадное облако серой пыли рассеялось, и публика начала расходиться.

Мы с полковником перешли на другую сторону и направились в городской сад. Нам надо было в контору, но полковнику работать не хотелось. И мы уселись на скамью под кустом сирени.

Бэрр умиротворенно посапывал, созерцая ухоженный парк.

— Раньше это называлось «Полями».— Он указал на такой же холм, как и тот, где стояла ратуша.— А вот там была виселица. Но не просто виселица. О нет! Нью-йоркцы всегда любили экзотические удовольствия. Так вот, наша виселица была сконструирована в виде китайской пагоды. Да к тому же красивой. И сколько там несчастных перевешали! В первый год федеральной власти, когда Нью-Йорк был столицей, в день вешали по пять человек. Публика ликовала. Президент Вашингтон тоже не оставался равнодушным.

— Тогда было столько же убийц, как сейчас?

— Убийц? Да нет. В те дни мы вешали только взломщиков. Убийств тогда, пожалуй, не было совсем.

— Мне так хочется побольше узнать про те времена.

— Ну, конечно.— Бэрр рисовал тростью в пыли у своих ног солнце. Герб своей мексиканской империи?

— Я начал читать книжку мистера Дэвиса.

— Про нее мне лучше не говори. Ты знаешь, Чарли, я допустил большую ошибку. То есть из всех моих ошибок самая большая та, что я решил, будто человеку нельзя повредить ложью. Поэтому я никогда не опровергал клеветы. Я просто полагал, что на свете достаточно порядочных людей, которые знают меня, и время все поставит на свое место. Но я ошибался. С друзьями расстаются, они умирают. А клевета никогда не умирает, никогда!

Бэрр проговорил это с удивлением. Я не заметил горечи в его словах.

— Когда была жива дочь, я делал все, чтобы обелить свое имя ради нее, ради внука.— Он снял шляпу, словно сидел у могилы, нет, у края бездны морской.— Долгие годы мне было все безразлично. И вдруг...— Он взглянул на меня (наверняка все знает!) и улыбнулся.— Если хочешь, я даже рад пополнить твое образование, хотя предпочел бы любую другую тему, а не историю своей карьеры, несмотря на всю ее поучительность. Итак, мы будем беседовать и, если тебя это забавляет, записывай все, что я скажу, стенографируй — твой лаконический стиль только украсит мой рассказ.

Так и порешили.

Теперь я начал подгонять полковника, но время поджимает, так что приходится опускать детали. Леггет хочет, чтобы прояснилась связь полковника с Ван Бюреном, насколько это возможно для анонимного памфлета. Позже, уже под собственной фамилией, я напишу всю биографию, предвосхитив мистера Дэвиса. Планы эти увлекают меня, хотя Леггет полон дурных предчувствий.

— Ты попытаешься обелить Бэрра и провалишься, ибо американский читатель терпеть не может неожиданностей. Он знает, что его страна — самая великая страна на земле, Вашингтон — самый великий из когда-либо живших людей, Бэрр — самый плохой, и все иное — неприемлемо. Стало быть, никаких фактов, никакой информации. Если хочешь завоевать внимание читателя, надо ему льстить.

Разделять его предрассудки. Говорить ему о вещах, о которых он давно знает. И он оценит твою мудрость.

— Тогда объясни успех «Ивнинг пост». Вы каждый день нападаете на предрассудки собственных рекламодателей...

— И каждый день мы теряем рекламодателей из-за того, что Брайант называет моей свирепостью. К тому же я рискую получить нож под ребро. Не окрыляйся моим «успехом».

— Постараюсь.

IX

Нам с полковником понадобилось несколько дней, чтобы приспособиться к совместной работе. Он не привык диктовать и отнюдь не полагается на память. «Я ведь юрист. А посему мне нужны доказательства — книги, письма, газеты, чтоб было от чего отталкиваться».

Сперва у нас мало что получалось. Полковнику не удавалось соединить отдельные эпизоды. Он все время отклонялся от темы. Но теперь (в середине мая) мы работаем хорошо и от серии анекдотов и всяких историй перешли к последовательному повествованию, поток его несет нас от года к году, и я уже не сомневаюсь, что раз я снял подробную карту леса, то непременно найду зверя, как бы ни было замаскировано его логовище!

X

Полковник сегодня что-то особенно нервничает. «Я как актер, не выучивший роли». Он сидит, разложив перед собой на столе письма, вырезки из старых газет и открытую, испещренную пометками «Жизнь Александра Гамильтона», недавно опубликованную сыном Гамильтона — Джоном.

— Иногда, Чарли, я жалею, что не произвел на свет достойного сына. Сыновняя любовь всегда приносит радость. Естественно, я полагаю, что каким бы ни уродился мой сын, он писал бы лучше этого субъекта, объединившего многословие своего отца с путаностью мыслей своего деда Скайлера. Ну да ладно, буду сам себе сыном, с твоей помощью.

Полковник кладет ноги на каминную решетку, закрывает глаза, словно ожидая, когда поднимется занавес и вновь начнется давно разыгранный спектакль.

— Ты спрашивал меня о Гамильтоне.— Я спрашивал его о Ван Бюрене.— Ну что ж, я расскажу тебе несколько эпизодов...

XI

Полковник Бэрр в восторге от наших занятий, особенно когда перечитывает то, что надиктовал, и вносит изменения в текст:

— Все равно что готовить речь — защитительную, конечно!

Он все еще читает «Жизнь Александра Гамильтона» и делает пометки. Старое соперничество не дает ему покоя.

— Вот как,— говорит он,— оказывается, мой друг Гамильтон полагал, что у меня были «сомнения» по поводу конституции. Наконец-то он попал в точку. Я сомневался — и с о м н е в а ю с ь до сих пор. Я тебе уже говорил, я считал, что в своем первоначальном варианте

конституция не просуществует и пятидесяти лет. Так и вышло. Бесконечные поправки продолжают изменять ее суть — и все же недостаточно.

Он открыл том сочинений Гамильтона, полистал.

— Никто не скажет, что конституцию писали простаки. Я знал их почти всех — очень способные, ловкие адвокаты, не одного клиента спасли от верной петли. Законченные циники.

Он отложил книгу. И мы начали работать.

Воспоминания Аарона Бэрра (1)

В 1787 году я не принимал никакого участия в дебатах, не высказывался ни «за», ни «против» конституции. Как и прочие, я читал «Публия» в газетах. Как и прочие, я очень скоро сообразил, когда за «Публием» скрывался Гамильтон, когда Джей, когда Мэдисон. Как и прочие, я знал Гоббса и его непоколебимую уверенность (разделяемую Гамильтоном) в том, что л ю б а я форма правления, даже тирания, лучше анархии. Читал я и Монтескье, чьи труды оказали большое влияние на трех «Публиев». Но в глубине души мне больше нравилась свободная конфедерация штатов, которая существовала в период между 1783 и 1787 годом. В конце концов Нью-Йорком вполне сносно управляла фракция губернатора Клинтона. И если кое-где в других штатах правители были менее удачные — это уж их дело; пусть бы сами о себе заботились, а не полагались на кучку умников адвокатов из Филадельфии. Словом, некоторая анархичность — не такая уж плохая штука.

Вопреки принятому мнению, движение за прочную конституцию и федеральное правительство начал не Гамильтон, а генерал Вашингтон. Его обычно изображают добропорядочным тугодумом, этаким Цинциннатом, который счастлив лишь на своей ферме, когда толкает тяжеленный плуг собственного изобретения. Да, конечно, он был человек достойный (хотя и крайне тщеславный) и тугодум. Но не было его умней, когда дело касалось бизнеса и коммерции. Из соображений чисто практических он решил создать сильное централизованное правительство и его возглавить. С самого начала он был законченным федералистом, и Гамильтон был ему куда нужнее, чем он Гамильтону, чтобы обеспечить безопасность капиталов, вложенных в земельную собственность.

Джефферсон мне рассказывал, что, несмотря на бесчисленные жалобы Вашингтона на тяжкое бремя общественной деятельности, тот после Революции умирал от тоски. Следует заметить, что когда Вашингтона избрали, он как всегда сидел без денег и свою деятельность в качестве президента начал с того, что взял аванс из государственной казны в счет будущего жалованья.

Помню одну неофициальную встречу с Вашингтоном после Революции. Это было в октябре 1791 года, вскоре после того, как я приехал в Филадельфию, став сенатором от штата Нью-Йорк. В то время я мечтал написать подлинную историю Революции. Я вставал каждый день в пять утра и отправлялся в государственный департамент в сопровождении писаря. Вместе с ним до десяти часов мы просматривали и переписывали документы, а потом я шел на заседание сената.

Желая разобраться в некоторых военных вопросах, я попросил аудиенции у Всесильной Особы. Согласие я получил так быстро, что мне следовало бы насторожиться. Ведь я занял место гамильтоновского тестя в сенате. Но началась французская революция, и, признаюсь, я решил, что настала новая эра в истории человечества. Потом-то я понял, конечно, что на старую дурную эру всего лишь на-

пялили маску и в улыбке вот-вот обнажатся окровавленные клыки. Но в 1791 году я, как и Джефферсон, был предан другой Революции, посему меня кляла федералистская фракция.

Президент принял меня в роскошном кабинете. Он совершенно переделал дом Морриса, превратив его в королевский дворец. Почтительный молодой секретарь, склонясь, распахнул дверь, и я вошел.

Вашингтон стоял у камина, словно позируя для портрета. Хорошо известное желтое лицо его сильно состарилось. К тому же Вашингтона замучили фурункулы. Он торжественно со мной поздоровался и продолжал стоять в той же позе — так что мы и стояли с ним у камина словно две непарных каминных подставки.

Я расспрашивал его о Революции; он давал уклончивые ответы.

— Вы предприняли весьма полезное дело, сенатор Бэрр.— Ему не льстили мои вопросы: они подчеркивали его поражения.

Секретарь подал ему депеши, он взглянул на них, отпустил секретаря и предложил мне присесть. Медленно, осторожно, морщась от боли, Вашингтон опустился в троноподобное кресло, выставив громадную ягодицу: проклятый фурункул выскочил прямо на этом чувствительном месте. Я выразил ему сочувствие в связи с вестями с Запада, где его любимец, генерал Сент-Клер, потерял чуть не тысячу солдат в боях с индейцами.

Вашингтон был холоден и мрачен.

— Я готовлю послание конгрессу в связи с этим трагическим событием. Я совершенно уверен, что если мы не уничтожим воинственные дикарские племена, мы потеряем все наши новые земли к западу от Огайо.— Тут он подвинулся в кресле. Вскрикнул от боли, грубо выругался. Поняв, что в моих глазах он уже не царственная особа, а просто плантатор из Виргинии с нарывом на заду, он сказал: — Разваливаюсь, а?

— По-моему, вы полны сил, сэр.

— В моей семье долго не живут. Я не жалуюсь. Судьба. Но не думал я, что конец окажется таким унизительным.

В первый и единственный раз он заговорил со мной почти как простой смертный — необычная снисходительность: ведь я был не влюбленный в него офицеришка, а сенатор-антифедералист, и меня терпеть не мог его обожаемый Гамильтон.

— Слава — хорошее лекарство, сэр.

— Паллиатив.— Бледная холодная улыбка приоткрыла плохие зубы.— Но, конечно, я не соглашусь на второй срок.

Как мы теперь видим, все президенты говорят одно и то же. Но тогда никто еще не понял, что это болезнь исполнительной власти; тогда все только начиналось.

— Полковник Бэрр, мне не нравится дух раскола. Я не могу понять, почему люди благородного происхождения, с общими интересами, так жестоко ссорятся друг с другом, в то время как им необходимо объединяться перед лицом толпы.

— Разногласия, сэр, могут объясняться честным стремлением понять, как управлять лучше...

— Мне стало известно, полковник Бэрр, что вы восхищаетесь кое-чем из того, что происходит сейчас во Франции.

— Я думаю, сэр, причины их революции понятны и принципы, которые они утверждают, прекрасны.

— И тем не менее, если бы не король Луи, англичане все еще были бы на этих берегах.

— Согласен, с ним обошлись скверно.

— Когда мне доложили о предательстве некоего капитана Даниэля Шейса — я когда-то знал его, он негодяй,— я понял, что нам

нужно твердое правительство, способное защитить нашу собственность. Мистер Гамильтон со мной согласился, и мы созвали конституционное собрание, на котором я председательствовал — не скрою, это было самопожертвованием. Я считаю это собрание, сэр, самым значительным этапом в своей карьере. Ибо если бы мы не придумали федерального правительства, о н и отняли бы у нас в с е.— Лицо его вдруг густо покраснело. Руки, протянутые к камину, задрожали.— Массачусетское отребье поделило бы всю собственность между недостойными. Даже ваши французы не заходят так далеко. Я тогда сказал, что это неестественно. Это надо пресечь. Не для того мы воевали с заморским деспотом и выиграли войну, чтобы страдать от собственного народа, сделавшего для победы, разрешите вам заметить, куда меньше, чем те джентльмены, которые отдали все во имя нашей независимости. И мы во что бы то ни стало сохраним наши завоевания, полковник Бэрр. Уверен, что вы согласитесь со мной.

Я меньше всего ожидал, что генерал Вашингтон ударится в политическое теоретизирование. Ни Гоббса, ни Монтескье, ни Платона, да и вообще никаких книг он никогда не читал. Но он умел складывать и вычитать по бухгалтерской книге, оценивать имущество, орлиным оком замечать в зерне — своем зерне — вредителя и орлом же бросаться на него и убивать.

— Конечно, я не поддерживал взглядов капитана Шейса. Я не признаю безнравственного раздела собственности, но...

— Рад это слышать.— Он меня прощупывал. Бог знает что Гамильтон наплел Всесильной Особе обо мне.

— ...но я за менее жесткую федеральную структуру.

— Да вы вроде моего старого друга губернатора Клинтона. П о л ю б о в н ы е разделы естественны и оздоровляют общество.

В комнату неслышно вошел секретарь и что-то шепнул генералу.

— Пусть войдут.— Вашингтон со стоном поднялся с кресла. Несколько ливрейных лакеев-негров вошли в комнату, неся подносы с образцами столовой утвари. Вашингтон приказал разложить ножи, вилки, расставить тарелки.— Не выскажете ли вы нам свое мнение, полковник Бэрр? Я слышал, вы обставили «Ричмонд-хилл» с неслыханной роскошью.

— Да, сэр. Но должен предупредить вас, роскошь дорого обходится.

— Увы, не могу с вами не согласиться.

Итак, полчаса мы с президентом рассматривали столовую утварь, пытаясь отыскать поистине демократическое равновесие между слишком простой «республиканской» посудой и чересчур богатой «королевской».

Никогда не встречал я человека, который придавал бы такое значение внешним признакам богатства, как Вашингтон. Но в этом-то и заключался его гений — в умении «вжиться в роль», а создать иллюзию величия невозможно, не вникнув скрупулезно в детали. Значительная часть его президентского времени уходила на придумывание монограмм для ливрей и выездных карет, не говоря уже об изобретении с помощью Гамильтона сложнейших правил дворцового этикета.

Между прочим, именно тогда законодатели в Пенсильвании приняли закон, по которому каждый, кто ввезет в штат взрослых рабов-негров, обязан освободить их по прошествии полугода. И хотя неясно было, считать или не считать президента жителем Пенсильвании только потому, что столица расположена в этом штате, Вашингтон счел за благо собственных рабов поскорее увезти в Виргинию, дабы

они не заразились идеями свободы, которую он вовсе не намеревался им предоставлять. Настоящий виргинец.

Расстались мы друзьями. На другой день, когда я пришел в государственный департамент поработать в архиве, смущенный клерк сказал мне, что государственному секретарю Джефферсону пришлось закрыть мне доступ к архивным материалам. И хотя Гамильтон любил хвастаться, что это он запретил мне пользоваться архивом, Джефферсон доверительно мне сообщил, что на самом деле запрет исходил от президента Вашингтона, которому не хотелось, чтобы я чересчур вникал в его военный послужной список. Но напрасно Вашингтон меня боялся. Правда, я изобразил бы его как скверного военачальника, коим он и являлся, но и показал бы, что он был главным создателем союза; я показал бы, как он своей мощной волей и с мудростью змия обратил рыхлую конфедерацию суверенных штатов в сильное федеральное правительство и отлил его по мрачному образу и подобию Римской империи, как он ее понимал.

XII

Прошло несколько дней. Полковник Бэрр просматривает мои записи. Вносит поправки.

— Ну, а теперь возьмемся за мистера Джефферсона. Вот его иногда называют Великим Уравнителем. А уравнял-то он всего-навсего одного меня!

Воспоминания Аарона Бэрра (2)

Я был самым упрямым из всех политических руководителей новой республики. Вашингтон, Адамс и Джефферсон всю жизнь прослужили в конгрессах и ассамблеях или имели с ними дело, будучи губернаторами и генералами.

Моя политическая карьера началась в 1789 году, во время выборов губернатора. По дружбе я поддерживал кандидата федералистов, старого моего приятеля, судью Йейтса. Я предупредил Клинтона, что многим обязан судье и, хоть всегда прежде голосовал за Клинтона, на сей раз буду голосовать против.

Клинтона переизбрали ничтожным большинством голосов. Чтобы залучить меня в свой клан, он предложил мне пост прокурора штата.

Как выяснилось, я никому не принес пользы на этом посту, где мне в основном приходилось глядеть в оба, как бы меня не вовлекли в земельные спекуляции, которыми занимались люди Клинтона. Не углубляясь в скучные детали, скажу только, что администрация штата в ту пору была так же поражена коррупцией, как и сейчас. В этом явно повинен гнилостный воздух Олбани.

Тем временем мой друг Гамильтон шел ввысь, как ракета. Республика, конгресс, президент и премьер-министр де-факто воплотились в особе Гамильтона. В Нью-Йорке он показал себя, заставив штат ратифицировать конституцию и тем приведя в ярость губернатора Клинтона. Затем Гамильтон назначил первыми двумя сенаторами своего тестя генерала Скайлера и своего старого друга из Массачусетса Руфуса Кинга, чем обозлил своих союзников Ливингстонов, лишив их и с к о н н о г о, по их мнению, места в сенате. Гнев Ливингстонов потом обернулся пагубой для Гамильтона и благодатью для меня.

В первые месяцы правления Вашингтона я много разъезжал по штату Нью-Йорк и иногда останавливался в «Клермонте» — поместье

Ливингстонов на Гудзоне, где проводила дни вышедшая из милости семья, мрачно мечтая о мести моему другу Гамильтону, ловко лишившему их высокого положения в республике.

Там-то, в гостиной «Клермонта», меня и посвятили в самые дерзкие планы Ливингстонов.

— Срок полномочий сенатора Скайлера оканчивается четвертого марта,— сказал мне канцлер Ливингстон.— Не вижу никаких причин, полковник Бэрр, почему бы вам не занять его место.

Настоящий политик, как и настоящий генерал, никогда не выказывает удивления. Я знал, что намечается альянс между антифедералистами (иначе говоря антигамильтоновцами) и фракцией Ливингстона. Губернатор Клинтон не раз хвалил канцлера на званых обедах: «Удивительно глубокий человек, такой образованный!»

И мне предстояло воплотить в жизнь сей новый альянс. Я испытал скорее любопытство, чем удивление.

— Я вовсе не уверен, канцлер, что стремлюсь стать сенатором.

Это была правда. В те дни функции сената оставались загадкой для всех, включая его председателя Джона Адамса, который был просто не в состоянии измерить всю глубину обязанностей вице-президента. «Что же мне д а л ь ш е - т о делать?» — раздавался, бывало, с председательского места его беспомощный крик. Что тут ответить? «Председательствуй», и еще: «Жди смерти президента или пенсии». Место в палате представителей было бы куда приятней, ибо палата контролирует казну.

Канцлер стал резок, как только понял смысл моего ответа.

— Не вижу оснований вам отказываться.

Ну, а я видел. Какую цену они запросят? Торг велся по всем тонким правилам политики.

— Интересно,— сказал я,— п о ч е м у вы выбрали именно меня?

— Вы — самая подходящая кандидатура!

Это крикнул один из родственников Ливингстона со стороны жены. Не помню, кто именно.

— Вы самый приемлемый кандидат.— Канцлер смягчился.— Вы поддержали нашего друга судью Йейтса и показали независимость ума. И хотя вы не законченный антифедералист, отношения между вами и нашим губернатором — отличные. Он даже говорил мне, что у вас самая светлая голова среди всех юристов штата.

— Вряд ли было тактично говорить так в в а ш е м присутствии, канцлер. Кроме того, мне казалось, что вы больше других можете претендовать на место в сенате.

— Без сомнения.— Канцлер не любил обиняков.— Но в данный момент нельзя избирать никого из Ливингстонов. А вас можно. Все уже подготовлено. Так вы согласны? — Он выжидательно приставил ладонь к уху.

— Да,— рявкнул я.— Но я не беру на себя обязательств ни перед одной из фракций.

Канцлер в раздумии смотрел на пыльные семейные портреты. Ливингстоны — и не без оснований — считают Нью-Йорк своей собственностью, которую подарил им король Карл и на которую вечно посягает не только демократия, но, что еще страшнее, семья Скайлеров.

— Разумеется,— сказал канцлер.

Так из-за соперничества между двумя глупыми гордыми кланами меня избрали в январе 1791 года третьим сенатором Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк.

Я не гнался за этой должностью, не хотел ее — и это придавало мне силы. От меня требовалось только одно — идти вверх. Гамильтона я не боялся. Видел его недостатки. А человека, которого мне следовало бояться, считал своим другом. Я позволил Джефферсону провести меня и потерял все.

Воспоминания Аарона Бэрра (3)

Томас Джефферсон написал, что познакомился со мной только в сенате в Филадельфии. Не будучи врагом истины, Джефферсон, однако, не отстаивал ее чересчур рьяно, если она противоречила его версии. Мы познакомились гораздо раньше.

Поскольку конгресс не заседал до осени 1791 года, я провел лето дома, зная, что нам с женой предстоит долгая разлука. Дом в Филадельфии купить было трудно, и жена моя все хворала.

В то лето Джефферсон и Мэдисон совершили свое знаменитое турне по Нью-Йорку и Новой Англии. Их якобы интересовала ботаника, а также зловредные повадки гессенской мухи.

На самом же деле они хотели укрепить свои позиции против Гамильтона, который подчинил себе президента, конгресс и кабинет. Не имея опоры в кабинете, Джефферсон боролся за сохранение республики, которую Гамильтон стремился превратить — как утверждал Джефферсон — в скверную копию британской системы с палатой общин, палатой лордов и короной.

Примерно в середине июня Генриетта Колден пригласила меня на обед в узком кругу в честь государственного секретаря. Жена была больна, и я пошел один.

С Генриеттой тогда очень носились. Жизнерадостная, умная, она действовала, как шампанское, даже на самых мрачных гостей. Поговаривали, что вдовец Джефферсон не просто друг вдовы Колден и что раньше она была любовницей Гамильтона. Но какая миловидная женщина в Нью-Йорке не привлекала более или менее серьезного внимания Гамильтона? Он был любвеобилен на редкость.

В гостиной Генриетты собралось несколько мужчин и женщин. Когда обо мне доложили, она схватила меня за руку и подвела к самому высокому мужчине в комнате.

— Наш новый сенатор! — возвестила она, полагая, что высокого мужчину не надо представлять, а с меня достанет и титула.

Большая вялая рука дотронулась до моей руки. Обычно я не обращаю внимания на рост, но рядом с Джефферсоном всем, кроме тех немногих, кто был одного с ним роста, приходилось задирать голову, чтобы заглянуть в веснушчатое лисье лицо с умными карими глазами и тонкогубой улыбкой.

— Полковник Бэрр, какая честь! — Голос у него оказался тихий, завораживающий.

Джефферсон сделал вид, будто его интересуют мои взгляды. Принялся расспрашивать о губернаторе Клинтоне, с которым однажды встретился в Олбани. Дал понять, что знает все подробности моего избрания в ассамблею. Потом расспросил о моих отношениях с семьей Ливингстонов. Канцлер сидел на другом конце стола, но мои комплименты ему, без сомнения, передали.

По-моему, Джефферсон писал куда хуже, чем говорил, хотя и не менее многословно.

К сожалению, он не всегда чувствовал, когда нужно промолчать. За несколько месяцев до нашей встречи у миссис Колден вышла книга Тома Пейна «Права человека» с хвалебным отзывом Джефферсона на обложке. А так как английское правительство совсем недавно обвинило автора в государственной измене, американскому государст-

венному секретарю не следовало не только хвалить предателя, но еще и рассуждать о том, какую опасность представляет для Соединенных Штатов «ересь», обличаемая Пейном.

Гамильтоновская газета «Юнайтед Стейтс» незамедлительно опубликовала нападки на Джефферсона, подписанные неким Публиколой. Думали, что это псевдоним Джона Адамса. Но Публиколой оказался сын вице-президента — Джон Куинси Адамс.

— Понять не могу, почему мистер Адамс так расстроился,— прикинулся наивным Джефферсон.

— Возможно, потому, что он сам еретик.

Эту реплику подал Филип Френо, который тогда писал разгромные статьи против Адамса и Гамильтона для «Дейли эдвертайзер».

Потом я узнал, что Джефферсон специально просил Генриетту пригласить на обед Френо. Френо, уважавший идеи, а не личности, был не из тех, кем любил окружать себя Джефферсон. Но через два месяца после этого обеда Френо стал получать приличное жалованье референта по иностранным языкам в джефферсоновском государственном департаменте в Филадельфии и редактировать выпускаемую Джефферсоном антиправительственную газету под названием «Нейшнл газетт». Это многих возмутило. Обычно государственные деньги не тратят на жалованье редактору, который проводит политику, направленную на уничтожение этого государства. Вполне естественно, что Гамильтон не без ехидства предложил Джефферсону и Френо подать в отставку, ежели они не одобряют правительства, которое платит им жалованье. Время от времени Джефферсон делал заявления о том, что не имеет ничего общего с газетой Френо; причем он, счастливец, всегда искренне верил в то, что говорил в данный момент.

Ливингстон заметил, что государственный секретарь, видимо, преувеличивает: неужели мистер Адамс такой уж монархист?

Блестящие карие глаза округлились, как у ребенка, а голос стал таким тихим, что нам пришлось перегнуться через стол, заставленный рюмками с мадерой, чтобы расслышать его предостережение:

— Поверьте, джентльмены, здесь, в этой стране, существует заговор в самых высоких кругах против наших институтов. Чтобы изменить их по образу и подобию Англии. Однажды в моем присутствии Гамильтон сказал, что наша конституция «ни то ни се». О да, в своем презрении к республике он не уступит Катилине!

Я не подозревал тогда, что во чреве времени вызреет мысль наречь меня именем классического предателя и что Джефферсон радостно исполнит обязанности повитухи при этих неестественных родах. Но я, в неведении будущего, с восторгом внимал прекрасному тихому голосу, который рассказывал о том, что Гамильтон выдает тайны казначейства своим друзьям-спекулянтам в надежде создать монархию при помощи английского золота. Теперь такие разговоры вспоминаются как чистое безумие. Но в то время это звучало вполне убедительно.

Беседа, по всей видимости, произвела большое впечатление на Френо. На меня тоже. Джефферсон з а в о р а ж и в а л меня — никто другой так на меня не действовал.

Единственное, что объединяло меня с Джефферсоном и Гамильтоном,— это долги. Все мы жили не по средствам, на широкую ногу. Гамильтон умер, оставив долги. Джефферсон умер нищим в разваливающемся «Монтичелло». К счастью, в отличие от мелких фермеров или мастеровых, нас нельзя было упрятать в долговую яму. Всегда кто-нибудь вызывался оплатить наши долговые обязательства, а позорные условия займа ловко скрывались за затейливыми росчерками

богатых магнатов, склонных искать дружбу с государственными деятелями.

Френо еще увеличил дозу.

— В Массачусетсе девяносто процентов заключенных сидит за долги. Так вот, сэр, будь я бедняком в этом штате, я бы пошел за Даниэлем Шейсом.

— Мистер Френо! — возмутился канцлер.— Конечно же, вы не разделяете взглядов этого человека! Конечно же, вы не хотите, чтобы всю собственность поровну поделили между гражданами!

За столом наступила напряженная тишина. Из гостиной доносился резкий, неприятный смех приятнейшей миссис Колден.

Джефферсон поник, сгорбился. Он молчал.

Френо решил снять напряжение:

— Я разрешил бы вашей семье оставить за собой «Клермонт», канцлер. А вот мистеру Джефферсону пришлось бы расстаться с «Монтичелло», ибо он верит в демократию, а вы нет.

Джефферсон засмеялся, пожалуй, чересчур весело. Остальные сделали вид, будто им понравилась шутка.

После ужина мы с Джефферсоном вышли на Ганноверскую площадь. На западе проглядывала ущербная луна. В ее неверном свете Джефферсон высился надо мной, как дерево или крутой утес (стой и жди, что на тебя вот-вот обрушится лавина). Он страдал мигренями и все недоумевал, от чего бы это.

— Возможно,— сказал я,— это из-за вашего роста. Вы слишком близко к небу, к грому и молнии.

Вместо того, чтобы улыбнуться моей шутке, он помрачнел.

Джефферсон шел развинченной походкой — вообще в ту пору он напоминал французского щеголя. Одевался нарядно — в красные, серебряные тона, с кружевами, на пальце носил огромный золотистый топаз. Позже, сделавшись президентом и вождем демократии, он стал носить в президентском дворце старые шлепанцы и обтрепанные камзолы. Подобно Наполеону, актер он был великолепный, только еще утонченней, да и вообще он был куда удачливей корсиканца.

Я заговорил о политике. Было уже ясно, что Вашингтона сменит Адамс. Ну, а потом? Я боялся, как бы Адамса не сменил Гамильтон. Или Джефферсон. Больше некому. Я не исключал возможности, что стану лидером антифедералистов, но у меня хватало здравого смысла понимать, что виргинец Джефферсон будет первым кандидатом в президенты после того, как Адамс ублажит Массачусетс. Независимо от того, что сулило будущее, Джефферсон нуждался во мне в ту летнюю ночь, когда мы, спотыкаясь, брели по какому-то мусору, обходя спящих свиней, ибо их визг разбудил бы и мертвого.

— По всей видимости, мы обречены на политический разброд,— меланхолически заявил Джефферсон.— Виноват во всем Гамильтон. Он насквозь испорчен.

Я промолчал, хотя питал к Гамильтону самые дружеские чувства. (Даже тогда я не знал, до чего доходил он в своей клевете.) Джефферсон же не питал иллюзий насчет нашего врага.

— Он во что бы то ни стало хочет превратить республику в монархию.

— А сам выступить в роли Александра Великого?

Джефферсон не отличался чувством юмора.

— Нет, я думаю, королем он сделает Адамса, а сам займет пост премьер-министра, вероятно, станет новым Уолполом. Предупреждаю вас, полковник Бэрр: Гамильтон — воплощение предательства!

Я переменил тему разговора:

— Что вы думаете о губернаторе Клинтоне из Олбани?

Джефферсон был одержим, когда дело касалось монархизма, а этот порок он приписывал всем, кто стоял на его пути. Джефферсон вообразил, будто только он представляет демократию, а все мы — от Вашингтона до Адамса и Гамильтона — только и мечтаем о коронах и о том, как бы выбить его из седла. Я выбрал Джорджа Клинтона как совершенно безопасную тему. Он был не монархистом, а просто абсолютным властителем Нью-Йорка и врагом федералистов.

Джефферсон даже замурлыкал, когда стал рассказывать о своей встрече с Клинтоном.

— Знаете, он очень доволен, что вас избрали.

— Да, знаю.

Ночной дилижанс чуть не переехал нас около церкви св. Троицы.

— Должен признаться, я так же рад неудаче сенатора Скайлера, как и тому, что столь выдающийся поборник демократии, как вы, пополнит наши ряды в Филадельфии.— Когда Джефферсон нуждался в чьей-нибудь поддержке, он беззастенчиво льстил.— Гамильтон может потерять большинство в сенате.

— Но его поддерживает президент.

Джефферсон вздохнул:

— Наш досточтимый президент думает, что Гамильтон самый умный человек на свете.

— Будем надеяться, господин Джефферсон, что президент ошибается.

Даже в темноте я почувствовал, как уставились на меня его ясные глаза. Он ответил не сразу.

— Возможно,— сказал он после долгого молчания,— следовало бы создать сеть клубов или обществ для тех, кто предан демократии.

— Есть общество св. Таммани.— «Таммани» возникло четыре года назад как патриотический клуб, где крупные нью-йоркские зеленщики и мебельщики изображали из себя политических деятелей.

— Но члены «Таммани» в основном федералисты. Нашим же друзьям следовало бы организовать демократические общества, особенно теперь, когда так популярна французская революция.

Я с ним согласился. Прощаясь, Джефферсон обхватил мою руку обеими ладонями.

— Дорогой полковник Бэрр, нам еще так много нужно сделать. Выиграть столько битв, искоренить столько ереси. Надо держаться друг друга.

— Можете во всем на меня положиться,— сказал я. Я говорил искренне. А он? Трудно сказать. Джефферсон был беспощаден, он хотел создать новый мир, мир вольных фермеров, живущих в богатых поместьях, где работают рабы. Удивительно, как он умел свести воедино вопиющие противоречия. Но ведь на словах — если не на деле — Джефферсон был удивительно человечен, поразительно расплывчат, насквозь бесчестен. Он так страстно обманывал самого себя, что Джефферсон-президент и Джефферсон-человек (не говоря уже о Джефферсоне — авторе запутанных сентенций и бредовых метафор) стал совершенно непонятен даже для почитателей. Провозгласив неотъемлемые права человека для всех, кроме рабов, индейцев, женщин и неимущих, Джефферсон пытался силой захватить обе Флориды и мечтал завоевать Кубу, а когда незаконно купил Луизиану, то направил в Новый Орлеан военного губернатора против воли его жителей.

Наконец, во время второго срока своего президентства Джефферсон, увидев, что не смог создать на земле рай, о котором мечтал, с подозрительной легкостью согласился на гамильтоновский порядок и, как усердный федералист, стал взымать налоги, строить флот (по дешевке: его знаменитые канонерки пришлось снять с вооружения) и разрабатывать политический курс для Запада и Юга с рассудочностью и изобретательностью, достойной Бонапарта. Не будь Джефферсон лицемером, я восхищался бы им. Что ни говори, он был самым удачливым строителем империи в наше столетие и преуспел там, где Бонапарт потерпел неудачу. Но Бонапарт никогда не скрывал своих мотивов, а Джефферсон всегда был бесчестен. И вот откровенность потерпела крах, бесчестие же восторжествовало.

В начале октября 1791 года я прибыл в Филадельфию и поселился в южной половине города на Второй улице, № 130, у двух пожилых вдов, матери и дочери, глухих, как тетерки.

Двадцать четвертого октября собралась вторая сессия конгресса, а на другой день президент Вашингтон, запинаясь, прочитал нам послание, подготовленное для него Гамильтоном. Помню, я подивился, какой здоровый вид у президента: его лицо, обычно землистое, было кирпичного цвета. Но меня просветил сенатор Джеймс Монро от штата Виргиния:

— Последнее время, перед тем как появиться на публике, он малюет себя, словно вывеску на кабаке.

Монро уже тогда откровенно презирал отца нации. Со своей стороны Вашингтон терпеть не мог сенатора из своего родного штата, считая его завзятым якобинцем.

Сенат поручил мне ответить на президентское послание. Сочинив высокопарную чепуху (главной темой на сессии была угроза со стороны индейских племен), я отправился с остальными членами конгресса в особняк Морриса на Хай-стрит (особняк этот без всякой иронии называли «дворцом»).

Мы предстали перед великим человеком, словно школьники. В роскошном костюме, держа в руке шляпу с кокардой, при шпаге, почему-то сильно нарумяненный, Джордж Вашингтон стоял у камина, Джефферсон стоял справа от него, Гамильтон — слева. Бедный Гамильтон выглядел просто моськой рядом с этими двумя гигантами.

Вице-президент Адамс пробормотал несколько слов (вот он был маленький и толстый). Медленно, осторожно президент склонил голову.

Я ответил на его послание от имени конгресса, и он произнес несколько ответных фраз. Гамильтон не спускал с меня глаз, и на губах его играла странная, возможно, невольная улыбка. Но вот распахнулись двери, и в глубине зала появилась леди Вашингтон в окружении филадельфийских дам. Белые слуги в пурпурных дворцовых ливреях обнесли нас, верноподданных простолюдинов, сливовым тортом и вином.

Я оказался рядом с одержимым республиканцем, сенатором Маклеем (который потерял свое место в сенате в марте, но все еще находился в Филадельфии). Он так ненавидел монархию, что Джефферсон рядом с ним казался просто дилетантом.

— Посмотрите на короля Джорджа! — Маклей с презрением указал на президента, перед которым в глубоком реверансе склонились дамы.— Если бы народ это увидел...

— Народ был бы в восторге.

— Зато я не в восторге.— Маклей с отвращением наблюдал, как Вашингтон наклоном головы приветствовал проходивших перед ним

мужчин.— Заметьте, он никогда не подает руки. Считает это вульгарным.

Тут ко мне подошла красавица миссис Бингэм.

— Так мы вас ждем. После всей этой церемонии.— Миссис Бингэм повела рукой в сторону пышной леди Вашингтон не без легкой снисходительности. Двор Вашингтона был предметом насмешек высшего филадельфийского общества и особенно его королевы миссис Бингэм. Ее дворец на Третьей улице был самым изысканным в Соединенных Штатах.— И вас тоже, мистер Гамильтон.— Изящно одетая миниатюрная фигурка вдруг выросла рядом со мной.

Я протянул ему руку, но тотчас сообразил, что министр финансов, верно, следует привычкам патрона. Он картинно поклонился мне, опустив руки.

— Рад вас видеть, полковник Бэрр.

Мы играли в дружбу.

— Сожалею, что мне приходится заменять здесь генерала Скайлера.

— То были не последние выборы.— Улыбка словно приклеилась к губам Гамильтона.— Надеюсь, мы с вами сможем избежать духа фракционности, который...

— Я ни к какой фракции не принадлежу. Меня избрали и федералисты и республиканцы.

— Знаю. И вряд ли они могли сделать более тонкий выбор.

— Но я не вижу тут столь уж глубоких противоречий.

— Просто вы недавно приехали.— Улыбка исчезла (следом за миссис Бингэм): ее сменила непритворная озабоченность.— Джефферсон задался целью подорвать правительство изнутри.— Гамильтон выложил это одним духом.— Я знаю, вы встречались с Джефферсоном и Мэдисоном в Нью-Йорке...

— Только с мистером Джефферсоном.

— Я уверен, что Джефферсон сделал все возможное, дабы убедить вас, будто я хочу надеть корону на голову генерала.

— Нет, на свою.— Уж если разговор переходит в перепалку, я не сдамся. Но не тут-то было.

Лицо Гамильтона вновь стало озабоченным.

— Я думаю, Бэрр, Джефферсон не в своем уме. По крайней мере в этом вопросе. Во-первых, он слишком долго пробыл во Франции и привязался к этой нации, как влюбленная женщина. И он — на расстоянии — счел весьма соблазнительной их теперешнюю форму анархии. Сомневаюсь, чтобы он когда-либо согласился отдать народу даже свою ферму в Виргинии. О Бэрр, поверьте, он настоящий лицемер!

Мне стало неловко от этой неожиданной вспышки, особенно потому, что Джефферсон сонно наблюдал за нами из дальнего угла залы; но я не смог остановить Гамильтона.

— Вы знаете, какие страшные трудности были у нас на последней сессии конгресса из-за моего плана по созданию банка.

Я сказал, что, конечно, знаю. Разногласия по поводу Банка Соединенных Штатов являлись камнем преткновения в отношениях между двумя фракциями, которые превратились — и навсегда — в две политические партии. Северные штаты, заинтересованные в торговле и мануфактурах, стояли за банк. Аграрные южные штаты выступали категорически против: у фермеров вечно не хватает наличных, и они все до единого боятся банков, векселей и просроченных закладных.

Гамильтон не зря обижался на Джефферсона, а по страстности своей натуры он не мог сдержаться, не поведать обиды мне, потенциальному противнику, но, с его точки зрения, и потенциальному со-

юзнику — сенатору от штата, поддерживающего торговлю и мануфактуры.

— Три года назад, когда Джефферсон стал государственным секретарем, мы договорились о том, что федеральное правительство возьмет на себя долги штатов. Так как Виргиния выплатила свой долг почти полностью, виргинцы в конгрессе были против. Это и заставило меня обратиться к Джефферсону. Мы стояли у президентского дома в Нью-Йорке. Я чуть не встал на колени, умоляя Джефферсона помочь мне изменить решение виргинцев. Предупредил его, что другие штаты выйдут из союза, если мы не поможем им уплатить долги Он сказал, что со всем согласен, более того — согласился, что эта мера в интересах всех штатов. И предложил мне обо всем рассказать Мэдисону у него на обеде. Я повторил Мэдисону все, что говорил Джефферсону. Но Мэдисон отнесся к моему плану без энтузиазма, а Джефферсон — к величайшему моему удивлению — все время пытался сменить тему разговора. Наконец, я понял, куда гнет наш мудрый философ. Он хотел сделать новую столицу в Виргинии, на берегу реки Потомак. Если я помогу ему в этом, он и Мэдисон поддержат меня в вопросе покрытия долгов. Я согласился. У меня не оставалось выбора. Вот почему мой законопроект о покрытии долгов штатов так быстро прошел через конгресс, и вот почему через девять лет столица нашей страны окажется в Виргинии, если, конечно, не слишком проворные фермеры раскачаются и построят город за этот срок.

Я тогда очень сомневался в правдивости Гамильтона. Позже я обнаружил, что он говорил правду. В таких вещах он всегда был правдив. В отличие от Джефферсона, Гамильтон никогда не лгал, когда речь шла о делах; лгал он, только когда речь шла о людях.

О чем мы еще говорили — не помню. Гамильтону отчаянно нужны были голоса в сенате, особенно сейчас, когда он потерял Скайлера. Он рассчитывал, что я буду нейтрален и разумен на предстоящих сессиях. Мы надолго оказались союзниками.

Выходя из «дворца», я в дверях столкнулся с Адамсом, которого за глаза называли Его Округлость. Толстый, шарообразный, бестактный, с носом как клюв попугая, с холодным пронзительным взглядом, он был внушителен, хоть и комичен, и славился своими нелепыми оговорками: однажды, будучи уже президентом и выступая перед враждебным республиканским конгрессом, он сказал, например, что имел честь быть представленным английскому королю. Людей он не понимал, но в идеях разбирался прекрасно.

Пока мы ждали карету (таков уж был претенциозный ритуал Филадельфии: несмотря на небольшие расстояния, здесь все держали свой выезд или нанимали кареты, чтобы доехать от Зала конгресса до «дворца» или до меблированных комнат), к Адамсу подошла жена, которая всегда была со мной любезна. Она говорила о Гамильтоне не без симпатии.

— Мне хочется опекать его, быть ему матерью.

Вид у миссис Адамс был далеко не материнский.

— Зато у меня нет ни малейшего желания заменить ему отца!

Миссис Адамс принялась укорять супруга. Но Адамс уже сел на своего конька:

— Придет время, и мир еще раскусит этого молодого человека, которого ты хочешь по-матерински опекать, и поймет, что он — сирота от природы.

— Смилуйся, Джон!

— Я просто размышляю. Гамильтону необходимы отцы и матери, он жаждет их и приобретает на ходу. Президент не усыновлял его, он сам сделал президента своим приемным отцом.

Подъехала карета вице-президента, жестоко, но справедливо обдав нас грязью.

Когда лакей сошел с облучка, Адамс повернулся ко мне и сказал:

— Полагаю, сэр, что от вашего участия сессия конгресса только выиграет.

— Так же, сэр, как и от того, что вы председательствуете в нашей палате.

Карета рванула с места. Я услышал, как Адамс раздраженно сказал жене:

— Ишь какой гладкий!

Мне стало немного не по себе. Ведь он сказал правду. Я потолстел от всех этих вечеринок. И дал себе слово завтра же начать новую жизнь.

Пока я ждал карету, подошел Джеймс Монро. Он слышал конец разговора и скорчил гримасу:

— Эти старые гори — сильные противники.

— Так надо поскорее их убрать? — Я неожиданно приобрел союзника

— А возможно это? Без кровопролития?

— Возможно и нужно, иначе мы сваляем дурака.

— Вы что пророк?

— Нет, сэр, просто я вижу, с кем имею дело. Они не верят народу. Нам потребуется лишь довести до сведения народа, с каким презрением к нему относятся его властители, а дальше уж дело за ним.

Я сел в наемную карету.

— Вы с Джефферсоном? — крикнул Монро мне вслед.

— В таком-то деле кто же из республиканцев не с ним? — На этой двусмысленной, как сказал бы Гамильтон, фразе мы и расстались с Монро, а он все кричал мне вслед, чтобы я опасался «шулеров» — филадельфийских торговцев. На ступенях «дворца» Вашингтона я сделал первые шаги к президентству.

XIII

В то утро полковник Бэрр был в веселом расположении духа из-за газетного отчета о недавнем выступлении Генри Клея в сенате.

— Думаю оконные стекла дрожали, когда мистер Клей низвергал Эндрю Джексона Затем он повернулся к председательствующему вице-президенту Взывал чтобы тот привел в чувство своего друга президента. Вот послушайте: «Умолите его остановиться...— Бэрр чудесно передал гнусавость Клея.— Остановиться и понять, что есть предел человеческому терпению и нельзя доводить до безумия и отчаяния храбрый, щедрый и патриотический народ». Тут Ван Бюрен передал председательские полномочия одному из сенаторов, направился вдоль прохода туда, где, распростерши с мольбою руки, все еще стоял Генри Клей и спросил его тихо и вкрадчиво: «Мистер Клей, не угостите ли меня понюшкой вашего чудесного маккобойского табаку?» — Хохот Бэрра разнесся по душному кабинету.

— Прямо слышу ваш голос, полковник.

— Я никогда не мог с таким блеском разрядить атмосферу.

Тут дверь распахнулась, и как всегда без стука вошел Сэм Суортвут.

— Полковник, победа ваша!

— Вы преувеличиваете, мой мальчик.

— Я проходил мимо и решил принести вам вести прямо из порта. Лафайет умер.

Позже, когда полковник возобновил диктовку, в мыслях у него была Франция.

Воспоминания Аарона Бэрра (4)

Тем, кто живет в 1834 году, трудно понять, до какой степени на жизнь и политику первых дней республики влияла Европа, особенно Франция и Англия. Никому это не нравилось; даже тори — при всей своей любви к королю — не хотели, чтобы мы впутывались в дела Европы. К сожалению, мы не могли выбирать.

Вначале Франция была нашим главным союзником. Ведь если бы не французский флот, в Бэттери до сих пор стоял бы английский гарнизон. Но революция во Франции повергла в уныние наших тори — или федералистов, как их потом называли по иронии судьбы, ибо они противились созданию федерального правительства и предпочитали короля. Но когда мы навязали им независимость, тори понадобилось сильное федеральное правительство, чтобы лучше защищать собственность и держать народ в повиновении.

Но и мы, республиканцы, мало чем от них отличались. Ни Джефферсона, ни меня не беспокоили ограничения избирательного права в нашей конституции. Я вспоминаю, что в 1789 году из более чем 300 000 жителей штата Нью-Йорк только 12 000 имели право участвовать в выборах губернатора. Стоит ли говорить, что никто не мог непосредственно участвовать в выборах президента. Считалось чересчур опасным предоставить эту привилегию даже небольшой кучке имущих избирателей. Они могли голосовать за выборщиков своего штата, а те в свою очередь выбирали президента.

Между первым и вторым конгрессом появился «дух фракционизма», как назвал его Адамс. Гамильтон был монархистом не более, чем Джефферсон, но он видел будущее Америки в развитии промышленности и торговли, а это, в свою очередь, требовало банков, налогов, городов, армии и флота. Джефферсону же весь континент виделся как своего рода Виргиния, населенная честными фермерами, пожинающими плоды негритянского труда. Джефферсон не хотел ни городов, ни банков, ни промышленности, ни налогов. Джефферсон был не прав, а Гамильтон прав. Хуже того, Джефферсон был непрактичен.

Раздоры в кабинете Вашингтона усугублялись французской революцией.

В апреле 1793 года мы узнали о казни Людовика XVI. Республиканский дух восторжествовал. Все срезали косички и завели прически а-ля Брут. На смену камзолам пришли сюртуки. Все называли друг друга «гражданин» и «гражданка», а невоспитанность, подмечаемая многочисленными туристами на наших берегах (грубость детей, наглость торговцев и слуг), явилась к нам в ту же весну, что и французский посол гражданин Женэ. Вежливость в низших сословиях вдруг стала считаться проявлением раболепия. А ведь до приезда Женэ американцев считали самыми вежливыми людьми в мире — вроде англичан, но только мягче и независимей. После появления Женэ они стали такими, какими мы видим их сегодня,— грубыми, надутыми и завистливыми.

Поскольку Франция воевала с Англией, Австрией, Россией, Сардинией и Нидерландами, президент Вашингтон мудро решил, что мы должны сохранять строгий нейтралитет. Это привело в ярость республиканцев и федералистов. Первые жаждали войны с Англией, вторые — с Францией. В результате стало возможно провести четкое различие между двумя политическими партиями: республиканская партия была профранцузской, антианглийской и выступала за равенство, федералистская партия была полной ее противоположностью.

В руководство республиканской партии входили Джефферсон, Мэдисон, Клинтон и я. Федералистов возглавляли Гамильтон, Адамс, Клей, Нокс и — оставаясь в тени — сам Вашингтон.

В четверг 16 мая 1793 года гражданин Эдмон Женэ прибыл в Филадельфию вручать верительные грамоты президенту.

Послу дали роскошный обед в гостинице «Оллер». Естественно, республиканская фракция конгресса пришла в полном составе.

Мы с Монро сидели рядом в конце длинного стола в главном конференц-зале. Признаюсь, мы все смотрели, явится ли Джефферсон, защитник прав человека, или не явится Джефферсон, подписавший Декларацию о нейтралитете. Апостол демократии мудро не явился.

Вино лилось рекой, гражданин Женэ — веселый толстяк лет тридцати, чем-то напоминавший молодого Бенедикта Арнольда,— обходил стол под руку с губернатором Мифлином, который торжественно представил нас с Монро поборнику свободы, равенства и братства.

— Я скоро буду в вашем штате, сенатор Бэрр.— Гражданин держал обе мои руки в своих. Говорил он весьма театрально.— Придется потрудиться там на благо свободы.

— У вас будет широкое поле деятельности, гражданин.

— Я очень хочу познакомиться с вашим губернатором Клинтоном.

— Уверен, он захочет познакомиться с вами.— Как оказалось, я в некотором роде предвосхитил события. За год жирондистов (а к ним принадлежал Женэ) уничтожили якобинцы, и новое правительство отозвало Женэ в Париж, чтобы отрубить ему голову. Не пожелав расстаться с этим редким украшением, Женэ женился на дочери губернатора Клинтона и поселился на Лонг-Айленде; при помощи ее денег он стал богатым фермером и процветает по сей день.

В тот вечер в гостинице «Оллер» на Женэ водрузили фригийский колпак. Воя «Марсельезу», он пустил колпак по кругу. Каждый на мгновение водружал его на голову, а Филип Френо запевал гимн собственного сочинения, в котором прославлялись права человека, мотив же до неловкости смахивал на «Боже, храни короля».

Обычно мрачный, Монро был в восторге от вечера. Когда мы вместе выходили из «Оллера», он сказал:

— Хотел бы я послушать, что будут докладывать завтра Гамильтону и президенту о сегодняшнем вечере.

— А я хотел бы посмотреть, как Джефферсон будет представлять Женэ Высочайшей Особе.

Мы находились как раз напротив Рикетс-Сэркус, когда полдюжины разухабистых французских матросов выскочили на нас с ножами из темного проулка.

— Англичане! — крикнул один из них. Другой приставил мне нож к горлу.— Мы убиваем всех англичан!

— Вы убиваете американского сенатора,— сказал я по-французски,— и вас повесят.

— Ты говоришь по-французски, как англичанин!

Один матрос полез ко мне в кармашек для часов.

К счастью, тут из «Оллера» вышла большая группа гостей, и матросы разбежались.

В то лето в Филадельфии царил настоящий террор, и дело французской революции сильно от этого пострадало. В союзе с беженцами из Санто-Доминго (которых изгнали их рабы-негры) французская матросня грабила филадельфийцев во имя свободы. Был момент, когда казалось, что бандиты, объединившись с недовольными, сверг-

нут правительство и отрубят голову Вашингтону. И хотя опасность была не так велика, как изображали Гамильтон и Адамс, Женэ удалось настолько подорвать популярность президента среди низших сословий, что Высочайшую Особу освистывали в театре и на улицах.

XIV

Я встретился с мистером Дэвисом совершенно случайно в вестибюле гостиницы «Сити», где я ждал — как выяснилось, понапрасну — задолжавшего клиента фирмы. С деньгами теперь туго. Я уже два месяца не получаю жалованья. Потому-то я весь месяц и не появлялся у миссис Таунсенд.

Мистер Дэвис пригласил меня в бар, и бармен из своей клетки подал нам некое зелье из рома. В послеобеденные часы бар гостиницы «Сити» похож на клуб, и у постоянных посетителей свои столики.

— Мы ждем вашу книжицу,— подмигнул мне мистер Дэвис.

И не успел я спросить его, что, собственно, он имеет в виду и знает ли он о моей договоренности с Леггетом, как он переменил тему. Он стал расхваливать Генри Клея, которого якобы хорошо знал и считал верным последователем Джефферсона; я перебил его:

— Когда начались разногласия между Джефферсоном и полковником Бэрром?

— Во время выборов тысяча семьсот девяносто второго года.

Тут я сообразил, что в повествовании полковника Бэрра — вроде бы подробном — деликатно опущены события тысяча семьсот девяносто второго года, когда Джорджа Вашингтона и Джона Адамса переизбрали на новый срок президентом и вице-президентом, а Джона Джея на посту губернатора Нью-Йорка сменил Джордж Клинтон.

— Надо отдать должное Бэрру: через год после его избрания в сенат многие республиканцы уже смотрели на него как на будущего президента. Все это придумал Джефферсон, чтобы подорвать авторитет Адамса на посту вице-президента. И вдруг, к удивлению Джефферсона, большинство проголосовало за полковника Бэрра, а вовсе не за него. В конце концов состоялось совещание, на котором республиканское руководство во главе с Джефферсоном убедило Бэрра отдать свои голоса губернатору Клинтону с тем, что в тысяча семьсот девяносто шестом году Бэрр станет нашим кандидатом в вице-президенты.

— Когда Таммани-холл по-настоящему занялся политикой?

— Во время французской революции. Ох и кровожадными же якобинцами были мы в те времена! Гражданин Женэ был нашим богом. Между прочим, прошлой весной в этом баре я его видел — располнел, состарился, разбогател! Из-за него-то храбрецы, которые не любили французскую революцию, и начали от нас отходить. К выборам тысяча восьмисотого года осталось всего-навсего около ста пятидесяти храбрецов, и те хотели, чтобы Джефферсон был президентом, а вице-президентом Клинтон.

— А не полковник Бэрр?

— А не полковник Бэрр.

— Почему же все считают, что полковник создал Таммани?

— Потому что Таммани считают злом и Бэрра считают злом. Все зло едино. Вы же знаете людей.

Я не знаю людей, но начинаю узнавать.

Джон Адамс сошел в могилу, уверенный, что летом 1793 года всему правительству грозила гильотина. В самом деле, на торжествах 4 июля в Филадельфии прославляли гражданина Женэ в частности и права человека вообще; федералисты же всюду сдали позиции.

В начале сентября 1793 года Джефферсон прислал мне в «Ричмонд-хилл» записку, в которой просил меня приехать в столицу повидаться с ним. Я согласился, несмотря на эпидемию желтой лихорадки в Филадельфии. Но в те годы мы гордились своим хладнокровием. В результате Гамильтон лежал при смерти в тот день, когда я проезжал по улицам Филадельфии, где слышался лишь стук колес больших телег да крики возниц: «Выносите покойников!».

К счастью, в городе мне не пришлось оставаться. Джефферсон снял летний дом в Грейз-Ферри на реке Скайлкилл, где лихорадка не так свирепствовала.

Обед подали в три часа на лужайке, под тенью высоких платанов. Несмотря на жару, мы воздали более чем должное чудесам джефферсоновской кухни и погреба, с которыми нас ознакомил мажордом по прозванию Крошка. У великого демократа всегда угощали по-царски.

Среди прочих гостей были Филип Френо и Джон Браун, сенатор из Кентукки. Настоящее собрание республиканцев с весьма интересной целью, по весьма интересному поводу.

Как всегда, Джефферсон долго говорил о чем угодно, только не о деле. Хотя мадера и считалась лучшим средством от лихорадки, белое холодное французское вино буквально лилось рекой, и мы чересчур много его выпили — словно персонажи Боккаччо, мы играли в «пир во время чумы» (и каждый гадал, кто же умрет первым).

Джефферсон сообщил нам новости о Гамильтоне:

— Он, верно, заболел несколько дней назад после обеда с президентом.

— Блюда со стола короля Джорджа надо сначала пробовать слугам.— Френо особенно злобно нападал на Вашингтона в то лето — последнее лето «Нейшнл газетт». Через месяц газета прогорела.

— Мудрый поест, прежде чем отправляться на обед к Вашингтонам.— Джефферсон резвился вовсю.— Несмотря на монархические тенденции президента, стол у него республиканский. Так вот, Гамильтон вызвал не одного, а двух докторов, чтобы спасти свою драгоценную жизнь.— Джефферсон говорил презрительно.— Страшно боится умереть. Вообще трусливая натура. Боится ездить верхом, боится выходить в море, трусит в бою, ведь так, полковник Бэрр?

— Вообще-то в тех редких случаях, когда он бывал на поле брани, он проявил себя неплохим офицером...

— Но несравненно лучше он проявил себя в штабе.— Френо был так же безжалостен, как и Джефферсон, но еще ядовитее, ибо питал непомерную страсть к обобщениям, свойственную столь многим литераторам.

— Президент особенно злится, что вы посылаете ему три экземпляра каждого номера вашей газеты. «Зачем же три? Этот тип за мальчишку-газетчика меня принимает?»

— Он неправильно относится к справедливой критике.— Френо был явно доволен собой.

— Ему придется выдержать еще более суровую критику,— заметил Джонатан Сарджент,— если он будет плясать под дудку Гамильтона и останется «банкитом».

Странное это слово было придумано Джефферсоном. Слегка поклонившись, он признал свое авторство. И тут же стал делиться с нами оригинальной идеей насчет того, как лучше всего уничтожить Банк Соединенных Штатов:

— Если, скажем, намечается открыть отделение банка в Ричмонде, штат Виргиния, губернатор штата должен сослаться на статью конституции, согласно которой все права, кроме тех, что предоставлены федеральному правительству, принадлежат штатам. А раз право федерального правительства на учреждение банка нигде не записано, только штаты и могут его учредить. Полковник Бэрр, вы самый опытный юрист за этим столом. Я хотел бы знать ваше мнение по следующему вопросу. Верно ли, что любое лицо, опирающееся на иностранное законодательство в вопросах, относящихся к компетенции государства, совершает государственную измену?

Я ушам своим не верил.

— Вы хотите сказать, что федеральное правительство действует по иностранным законам?

— Именно.

— Иными словами, вы утверждаете, что суд штата должен судить за государственную измену всякого виргинца, который согласится стать директором, скажем, Банка Соединенных Штатов?

— Если он сделал это на территории Виргинии — да.

— И если суд признает его виновным в государственной измене...

— По нашей конституции суд штата обязан признать его виновным.

— И тогда вы казните его как предателя штата Виргиния?

— Да, чем будет навсегда положен конец банку мистера Гамильтона, ибо никто не согласится стать его директором, зная, что за это вешают.

Много лет спустя Мэдисон рассказывал мне, что Джефферсон и ему толковал о том же. Естественно, Мэдисон пришел в такой же ужас, как и я, и разубедил Джефферсона, а не то конституцию пришлось бы отменить задолго до истечения пятидесятилетнего срока, который я ей предсказывал!

Республиканские лизоблюды за столом сочли план Джефферсона превосходным. Френо высказался за то, чтобы немедленно приступить к его выполнению. Я мягко возражал, пока разговор не пошел по другому, более приятному руслу.

Когда мы наслаждались персиковым мороженым, налегая на охлажденное вино и наблюдая за тем, как на лужайку ложатся длинные тени и вспыхивают в кустах светлячки, Джефферсон объяснил, почему он пригласил нас на обед.

— Я хотел сообщить добрым друзьям, что я вручил президенту прошение об отставке с поста государственного секретаря.— Хор ахов и охов.— Начиная с первого октября. Я сказал президенту, что не вижу далее возможности приносить пользу его правительству.

— Теперь Гамильтон останется безраздельным главой государства,— нарушил молчание сенатор Браун.

— Если,— с надеждой сказал доктор Хатчинсон,— не умрет в ближайшее время.

— На это нельзя рассчитывать.— Джонатан Сарджент смотрел на вещи мрачно.

Но Джефферсон приготовил нам еще один сюрприз:

— Президент приезжал сюда — в этот дом — на прошлой неделе. Заявил, что крайне огорчен моим решением. «Вы с Гамильтоном убе-

дили меня, против моего желания, остаться на второй срок на посту президента. И вот — бросаете меня».

— Гамильтон тоже уходит в отставку? — Я не мог этому поверить.

— По истечении срока полномочий настоящего конгресса, как сказал президент.

Я сказал, что не верю, и оказался прав. Гамильтон оставался на своем посту еще два года, до начала 1795 года. Но в тот теплый вечер на берегу реки Скайлкилл Джефферсон был счастлив. Подобно Вашингтону, он жаловался на ужасы политической карьеры и, подобно Вашингтону, ни за что не хотел упускать власть. Но сейчас он понял, что сыграл свою роль. Вся эта история с Женэ совершенно его изнурила. Как потом мы узнали, Джефферсон уже попросил французов отозвать посла. Таким образом, Джефферсон покидал свой пост в ореоле славы, сохраняя, с одной стороны, верность оголтелых республиканцев, которые боготворили Женэ и революцию, а с другой — показав федералистам, что он ставит интересы Соединенных Штатов выше интересов Франции. Талейран говорил, что, если бы он стал императором, он взял бы Джефферсона министром иностранных дел.

Мы встали из-за стола и, пользуясь вечерней прохладой, решили погулять под деревьями.

У воды, где растут ивы с могучими корнями, доктор Хатчинсон с грустью говорил об отставке Джефферсона.

— До следующих выборов три года, но Адамс и Гамильтон начнут править страной гораздо раньше.— Добрый доктор ужасно огорчался.

Мы с сенатором Брауном тоже уговаривали Джефферсона не уходить с поста, но он был непоколебим. Он составил план, вернее, несколько планов расширения границ нашей демократии. Сенатор Браун намекнул на самый смелый из планов.

— Ваш француз, верно, сейчас уже в Кентукки.

— М о й француз? — Джефферсон задумался.— Нет, он не мой. И если он потерпит неудачу, то окажется ничьим французом.

— В таком случае,— согласился сенатор Браун,— он станет мертвым французом.

Джефферсон повернулся к доктору Хатчинсону и ко мне.

— Вы слышали о таком ботанике Андре Мишо? Гражданин Женэ просил меня послать его в Кентукки с письмом к губернатору, чтоб тот помог ему отобрать Новый Орлеан у испанцев.

— Наконец-то! — загорелся доктор Хатчинсон.— Вы, конечно, согласились?

В заходящих лучах солнца трудно было понять выражение лица Джефферсона.

— Я дал ему письмо.

Сенатор Браун всегда ставил точки над «i».

— За три тысячи фунтов два наших генерала, Кларк и Логан, поднимут жителей пограничных районов и займут Новый Орлеан. И тогда мы наконец-то получим то, что нам н е о б х о д и м о — контроль над рекой Миссисипи.

Я тоже увлекся планом. Интересно, как Джефферсон собирается замести следы. Он сказал со всей откровенностью:

— Это будет — с виду — делом рук исключительно французов. Правительство гражданина Женэ даст три тысячи фунтов...

— Но у нас мирные отношения с Испанией,— сказал я.

— И мы их сохраним,— мягко сказал Джефферсон.— Я позаботился о том, чтобы людей готовили не на американской земле.

— А что,— спросил я,— а что, если у них это получится? Если они возьмут Новый Орлеан?

— Тогда вся территория присоединится к нашему союзу, хотя и сохранит определенную зависимость от Франции.

— Испанцы настолько слабы? — полюбопытствовал я; моя судьба тогда еще не была связана — нет, именно в ту минуту она и связалась — с этой увлекательной частью мира.

— Так нам кажется.

— А что, если вы... если они потерпят неудачу?

— Я предупредил Мишо, что в таком случае мы их не знаем. К счастью, этот молодой человек — стоик.

— Да нет, о неудаче не может быть и речи, мистер Джефферсон. Вас поддержит все население Кентукки.— Сенатор Браун сулил золотые горы, не заботясь об обеспечении чеков.

— Будем надеяться. Ведь это моя последняя... акция на правительственном посту.

— Пока мы не сделаем вас президентом.

Доктор Хатчинсон взял Джефферсона под руку, и мы направились через лужайку к дому, а Джефферсон по пути объяснял нам, отчего светится светлячок.

Я простился с Джефферсоном у подъездной аллеи.

— Спасибо,— сказал он,— что не побоялись заразиться и навестили меня в конце моей политической карьеры.

— Полагаю, это только ее начало.

— Нет, нет, нет.— Тихий голос совсем затих.— Но, по-моему, нам надо внимательно следить за монократами [1], вам — в Нью-Йорке, мне — в Виргинии. Будем переписываться.

Появился доктор Хатчинсон и попросил меня подвезти его до дома. Я согласился.

Карета тронулась, Джефферсон помахал нам на прощание.

— То, что он затевает в Кентукки, очень смело,— сказал я.

— Мир уважает смелость. Нам нужны новые территории.

— Но нужна ли нам... можем ли мы позволить себе войну с Испанией?

Доктор Хатчинсон рассмеялся:

— Джефферсон сказал мне, что на всякий случай у него есть превосходный предлог. Испанцы контролируют индейцев племени крик. Эти индейцы все время беспокоят наших поселенцев. Если индейцев из племени крик не приструнят их испанские хозяева, Джефферсон пригрозит Испании...— Доктор Хатчинсон вдруг запнулся.— Чересчур много выпил. Простите. Прошу вас, остановите карету.

Он вылез, и его вырвало. На следующий день доктор Хатчинсон умер.

Экспедиция Мишо провалилась, но Джефферсон вышел сухим из воды. Он позаботился о том, чтобы во всем обвинили гражданина Женэ.

Забавно, что через несколько дней после нашего обеда, во время которого Джефферсон выражал решимость «не допускать паники», он бежал в «Монтичелло», предварительно заняв, как сообщил мне с восторгом Гамильтон, сто долларов на путевые расходы в зловредном Банке Соединенных Штатов.

---

[1] Прозвище, данное Джефферсоном сторонникам Англии.

XV

Мы с полковником Бэрром отправились обедать в гостиницу «Сити». Против обыкновения, полковник занял место за столиком, где всегда сидит старый холостяк Чарльз Болдуин. Толстый, краснолицый, шумный, Болдуин развлекал дружков остротами.

— А, полковник Бэрр! Наш Фемистокл. Как поживаете, сэр? — Он повернулся к друзьям.— Принесла нелегкая!

Полковник Бэрр с достоинством поклонился. Я сделал вид, что сообщаю ему нечто важное, а он сделал вид, что внимательно слушает мою болтовню.

Но Болдуин не унимался. Раздирая жирную жареную утку и запихивая огромные куски в рот, заливая все это кларетом, он болтал (и глотал) без остановки:

— Надо же! Показывается среди честных людей! А руки-то у него — ну, как это? — обагрены?

Болдуин вдруг схватился за горло — хотел вздохнуть, не смог. И рухнул в тарелку с разодранной уткой.

Полковник брезгливо поднялся.

— Думаю, Чарли, бедный мистер Болдуин умер.— (Так оно и оказалось).— От о б ж о р с т в а.— Полковник задумчиво покачал головой.— Это урок для нас всех,— сказал он, ни к кому не обращаясь, и повел меня прочь от притихших соседей, словно хотел уберечь от заразы.

В тот же день, до начала нашей работы с Бэрром, я спросил об экспедиции Мишо.

— Ничего из этого не вышло.— Полковник тщательно закрыл пыльное окно, чтобы по комнате не гулял освежающий ветерок.— Здесь что-то прохладно, а? — И он помешал в очаге кочергой. Я же молча истекал потом.

— Видишь ли, Джефферсон мечтал аннексировать Канаду, Кубу, Мексику и Техас. Он, как и мы с Гамильтоном, благосклонно относился к идее так или иначе подчинить себе Южную Америку.

— А не трудно республике управлять такой большой территорией?

Бэрр улыбнулся:

— Республики так же быстро меняют форму, как империи. Смотри, что происходит во Франции Бонапарта. Единственный настоящий республиканец среди нас был маленький Джемми Мэдисон.

XVI

Уже больше недели мне не удается продолжить работу над воспоминаниями полковника Бэрра.

Двенадцатого июля мадам подала на развод и назвала некую Джейн Макманус в качестве главной любовницы полковника. Для достоверности она приплела и другие измены. Мадам подала и особое заявление, в котором просила суд лишить полковника права на ее собственность. Она прямо-таки задавила полковника законом; тому пришлось защищаться, и он в ответ назвал имена ее любовников. От этой деятельности он так помолодел, что уже не заставляет топить камин.

— Она утверждает, будто я истратил тринадцать тысяч долларов ее денег! Если б у меня эти деньги были! — Перед полковником на покрытом сукном столе разложены законы о разводе всех шта-

тов.— Я ни пенни ее не потратил. Наоборот.— Он, очевидно, забыл о деньгах, вырученных от продажи кареты и лошадей, а также акций платных мостов. Но я давно заметил, что когда речь идет о деньгах — берет ли он их взаймы или отдает,— Бэрр теряет ощущение пропорций.

Особенно его разозлил выбор адвоката.

— Ну и такт проявила эта женщина! — Как известно всему Нью-Йорку, мадам выбрала адвокатом Александра Гамильтона-младшего.— Мне так и хочется к списку ее любовников приписать того самого покойника. Мадам вела жизнь куда более бурную, чем я. Ничего, все тайное еще станет явным!

Я помог ему составить несколько обвинительных актов против жены, и он отправился в Джерси-сити, оставив меня с мистером Крафтом, который только качает головой да шепчет:

— Так замарать себя грязью!..

XVII

Вчера вечером мы с Леггетом замарали себя грязью.

Два дня лидеры аболиционистов подвергались атакам толпы. Леггет хочет знать, кто их подстрекает. Он подозревает вигов.

— Ты всегда подозреваешь вигов,— сказал я. В общем-то движение за освобождение черных рабов на Юге очень непопулярно. Не потому, что нью-йоркцы так уж поддерживают институт рабства, но они не любят святош, которые хотят его отмены.

Мы стояли на центральной улице, в сердце негритянского района, недалеко от Пяти Углов. Прямо перед нами высилась африканская епископальная церковь, и пастор, отец Питер Уильямс, вышел поздороваться с Леггетом.

Пастор боялся, что его церковь пострадает прежде всего.

Наступали сумерки, стали зажигаться уличные фонари, по всей улице начали хлопать ставни. Захлопнут — и тотчас приоткроют, ибо черное население внимательно следило за врагом. А враг затаился поблизости. До нас доносился неровный бой барабана у Пяти Углов, голоса с ирландским акцентом, горланившие кровожадные песни.

В пятницу вечером был совершен налет на часовню на Чэтем-стрит, где в это время происходило собрание аболиционистов, и покушение на братьев Артура и Льюиса Тэппенов — руководителей аболиционистского движения в Нью-Йорке. К счастью, Тэппенам удалось скрыться. Однако дом Льюиса Тэппена сожгли дотла.

Вчера вечером пошли слухи, что толпа собирается выкурить всех известных аболиционистов до единого и сжечь их дома и церкви. Как потом выяснилось, толпа не зашла так далеко. Но налет на африканскую епископальную церковь состоялся.

Полдюжины полицейских, которых вызвали охранять церковь, куда-то скрылись, и толпа (я теперь уже различаю ирландские рожи) с ревом понеслась на нас со стороны Пяти Углов.

Когда толпа подступила к церкви, пастор исчез в проулке. Окна выбили. Сорвали дверь. Скамьи выбросили на улицу и сожгли.

В проемах окон показались языки пламени. Громадный костер из церковных скамей отбрасывал жуткий отсвет на все и вся, включая нас с Леггетом, явно чуждых толпе, а следовательно — врагов. В одно мгновение нас опрокинула дюжина обезумевших юнцов.

В грязи и окровавленных перьях (нас вываляли в грязи как раз напротив лавки, торговавшей курами) мы пустились наутек: даже воинственному Леггету не хотелось связываться с толпой.

И так как мой пансион был ближе, мы бросились туда.

— Будь я мэром, я бы этих аболиционистов, которые город жгут, всех перестреляла.— Ненавидя аболиционистов, хозяйка пансиона миссис Редмен путала, кто кого преследует.

Мы с Леггетом сняли вывалянные в перьях костюмы и отдали их чистить миссис Редмен.

Я нашел немного голландского джина, и мы выпили за аболиционистов. Душная ночь полнилась визгом и криками и звоном стекла, а из открытого окна поверх темных крыш мы видели красивый розоватый отсвет от горевшей в соседнем квартале церкви.

— Эдак весь город вымрет.— Я больше, чем Леггет, боюсь анархии.

— Вряд ли.— Леггет лежал на кровати в расстегнутой рубашке; волосатая мускулистая грудь вдруг взмокла от пота.

Я поймал себя на том, что думаю о его скорой смерти, и смущенно отвел глаза. К счастью, он не знал, о чем я думаю. Он не обращает внимания на то, что харкает кровью, на приступы озноба, на нездоровый пот.

Я показал Леггету несколько страниц и сказал, что пишу, так сказать, мемуары полковника Бэрра, под его диктовку. Леггет пришел в восторг, увидев письмо, подтверждавшее, что Бэрр находился близ Киндерхука, когда миссис Ван Бюрен забеременела будущим вице-президентом.

— Вот видишь, Чарли! Он там был! Тут доказательство. Чего же тебе еще?

Пришел мой черед смеяться над Леггетом.

— У нас, юристов, не так, как у вас, журналистов. Это не доказательство. Всего лишь косвенная улика.

— Зато какая! — Сам того не замечая, Леггет массировал грудь странными круговыми движениями, словно помогая легким.— Письмо и несколько реминисценций полковника Бэрра относительно его протеже...

— Да он о нем почти не упоминает...

— Ну, тут уж ты виноват. Будь похитрей. Он хочет оправдаться, верно? Он чуть ли не прямо так и говорит тебе и Дэвису. И уж конечно, он хочет, чтобы его до конца считали влиятельной фигурой. Вот пусть и расскажет тебе, как он помог Мэтти Ван Бюрену начать политическую карьеру, как он...— Вдруг спазм, судорога прошла по телу Леггета, и, задохнувшись, он запнулся на полуслове.— Ничего, ничего,— пробормотал он наконец.— Я немного отдохну.— Он упал на подушки и всю ночь провел в забытьи.

Я свернулся в кресле калачиком, не зная, найду ли утром своего гостя живым.

Меня разбудил Леггет. Он уже оделся и выглядел совершенно здоровым.

— Рассвело. Жена будет волноваться. Спасибо за ночлег. Начинай работать над памфлетом. Немедленно. Он нам необходим до съезда, до октября. Если чувствуешь, что один не справишься, давай я тебе помогу.

Леггет ушел. Сейчас июль. Как закончить работу через три месяца: ведь я еще так мало знаю.

XVIII

Полковник уже сомневается, стоит ли ему возбуждать встречный иск.

— Наверное, это не очень по-джентльменски.

Я ничего ему не советую. Да он и не ждет от меня совета; он часто разговаривает сам с собой, а мое дело — молчать и слушать.

— Но это заявление — ну и наглость! Я, видите ли, хотел забрать ее деньги! По себе судит. Сама грабила всех, кого могла. И меня. И Гамильтона. И мы никогда... во всяком случае **я** никогда ничего назад не требовал.

— А Гамильтон?

Полковник не слышал моего вопроса.

— Когда ее выгнал первый любовник, я дал ей денег, чтобы спасти от долговой тюрьмы, и ни разу не спросил с нее ни пенни. Ну ладно, ее не переделаешь. И меня тоже.

Полковник вдруг умолк; резким движением отодвинул в сторону бумаги на столе, покрытом сукном.

— Давай займемся чем-нибудь полегче. Поговорим о том, чем жила Америка осенью тысяча семьсот девяносто пятого года.

(Продолжение следует)

КРИСТИАН БАРНАРД

ЗИГФРИД СТЭНДЕР

Нежелательные элементы

РОМАН

Перевод с английского А. КЛЫШКО

Их было двое. И одно это должно было бы насторожить его.

Но все произошло так обыденно, что у него не возникло никаких подозрений. Утром он ездил в город по делам, вернулся к обеду. После обеда они пили кофе на веранде, Лизелла что-то болтала, а он рассеянно отвечал. Она считала, что им следует построить новый дом среди плакучих ив, поближе к дамбе. Дом будет современный, с большой кафельной кухней, с современной ванной комнатой и большими окнами — она уже вырезала много подходящих фотографий из английских и американских журналов. Он слушал вполуха и отвечал что-то. А потом допил кофе и пошел в контору заняться счетами, с которыми возился уже не один день.

Теоретически он знал, что цена на шерсть упала и что все фермеры в округе либо тратят деньги, отложенные на черный день, либо пытаются занять в банке. Но до этого года, до болезни отца, Бот считал то, что происходит вокруг, не имеющим отношения к Вамагерскраалю. Он стоял и стоит здесь, Вамагерскрааль, незыблемый и вечный, как его отец, ван дер Риет-старший, среди пастбищ, которые простираются словно бы в бесконечность. Теперь впервые в жизни он почувствовал, что он один, и испугался.

Он был поражен, узнав, сколько они задолжали. На что ушли эти деньги? На корм во время засухи, решил он. Но, несмотря на закупленный корм, они за зиму потеряли очень много овец. Так продолжаться не может. Да и Лизелла, хоть раньше и жила на маленькое учительское жалованье у отца, чья бакалейная лавка давала мало дохода, теперь, по-видимому, решила, что жена фермера-овцевода может позволить себе любые расходы, точно деньги растут на кустах.

При таком положении вещей откуда ему взять средства на улучшения, которые он задумал? В первую очередь на новые скважины... Он смотрел невидящими глазами на огромный гроссбух и вспоминал, с какой уверенностью преподаватели в сельскохозяйственном колледже рассуждали о рациональном планировании. У них все выходило на редкость просто. Словно о деньгах можно вообще не заботиться.

[1] Окончание. Начало см. в № 6, 7.

О новой закладной и думать нечего, даже в земельном банке теперь получить кредит совсем нелегко. Как ни поверни — нужен капитал. Без него ни о каком хозяйстве и речи быть не может.

В дверь тихо постучали, и он, подняв глаза от старомодного отцовского бюро с множеством ячеек, раздраженно сказал:

— Ну, что еще там?

В дверь осторожно просунулась седая голова старого Янти.

— Чего тебе? — спросил Бот.

— Два человека, молодой хозяин. Говорят, что хотят поговорить с вами.

— Что им нужно?

Янти пожал плечами, ясно давая понять, насколько глуп такой вопрос. С какой стати ему спрашивать, о чем люди хотят говорить с белым человеком.

— Не сказали.

Бот сердито отодвинул бумаги и встал.

— Где они?

— Во дворе, молодой хозяин.

Двое цветных тихо и почтительно ожидали его у трапа, по которому загоняют овец в грузовики. Один был одет излишне щеголевато — широкие спортивные брюки и куртка; на другом же были засаленные штаны и рваная рубаха, какие носят все батраки.

— Что вам?

— Доброе утро, хозяин,— сказал прилично одетый.

— Доброе утро. Работы у меня для вас нет.

— Нам нужны деньги, хозяин.

— Я же сказал, что работники мне не нужны. Своих девать некуда. Скоро всю ферму сожрут. Хуже саранчи.

— Не надо сердиться, баас,— сказал вкрадчиво щеголь.— Я знаю, как баас может заработать большие деньги.

Только теперь Бот заметил старый коричневый «шевроле» на обочине дороги у ворот фермы. Тогда он понял. Это были те самые цветные, о которых говорил Мэни ван Шалвик.

Он встретился с Мэни две недели назад по поводу трехсот фунтов, которые тот все еще не отдал. Мэни выразительно подмигнул ему и принялся толковать о всякой всячине, а когда жена его ушла с веранды на кухню заварить свежего кофе, наклонился к Боту и, не сводя глаз с двери на кухню, быстро прошептал: «Эти люди оттуда... ну, понимаете.— Бот ничего не понимал, и Мэни мотнул головой.— Вы же знаете. Я о них вам говорил. Вчера я узнал, что они скоро будут здесь. Я их пришлю к вам».

Бот повторил, что ничего в алмазах не смыслит. Понятия не имеет ни о ценах, ни о том, кому их сбыть.

Мэни заверил его, что позаботится об интересах старого друга. Пусть только Бот даст знать, когда алмазы будут у него. А уж он берет на себя обратить их в... И Мэни выразительно потер большой палец об указательный.

Бот хотел расспросить его поподробней, но на веранду вернулась жена Мэни, и тот, выпрямившись, заговорил о засухе. Когда Бот все-таки упомянул про триста фунтов, Мэни подмигнул ему и сделал вид, будто не понял его слов.

— Это ваша машина? — спросил Бот у цветных, которых прислал ему Мэни ван Шалвик.

— Да, хозяин,— весело ответил щеголь.

— Так чего тебе здесь надо?

— Покажи хозяину! — приказал щеголь своему товарищу.

Тот порылся в кармане потрепанных залатанных штанов и выта-

щил старый грязный кисет. Щеголь взял кисет, извлек что-то завернутое в засаленную тряпицу и крест-накрест перевязанное бечевкой, развернул тряпицу на ладони и показал Боту. Бот увидел два неправильной формы кубика, чуть поменьше ногтя на его мизинце.

— Что это? — спросил он с притворным равнодушием.— Стекляшки?

— Камушки, хозяин,— сказал щеголь.— Маленькие камушки.

— Вас кто прислал, баас Мэни?

Они переглянулись.

— Баас Мэни ван Шалвик? — подсказал Бот.

— Лучше, если хозяин не станет задавать вопросы,— сказал щеголь очень серьезно.

Бот пожал плечами. Он понимал, что эти предосторожности необходимы.

— Сколько? — небрежно спросил он.

— Пять сотен, хозяин.

Бот присвистнул.

— Много. Триста пятьдесят.

— Четыреста пятьдесят, хозяин.

— Ладно. Пусть будет четыре сотни.

— Четыре сотни, хозяин.

Бот задумался. Наверняка они стоят дороже. И все-таки нелишне бы посоветоваться с Мэни.

— Я подумаю,— пообещал он неопределенно,— не знаю, стоит ли связываться с этим делом. Заезжайте, ну, скажем... Что у нас сегодня — среда? Ну так в субботу. В субботу во второй половине дня, часов около трех.

Следующие два с половиной дня он пытался связаться с Мэни ван Шалвиком и никак не мог его застать. Бот нервничал. Он слышал, что за такие дела полагается тюрьма. И срок долгий — два-три года обеспечено. Тоже справедливость! Жену, детей человек до полусмерти изобьет — даже предупреждения не получит. А что, собственно, плохого в торговле алмазами? Она объявлена незаконной только в интересах «алмазных королей», у которых и так денег куры не клюют.

В пятницу он поехал в банк и кроме суммы ежемесячного жалованья рабочим взял еще четыреста фунтов наличными. Молодой кассир приподнял бровь, когда увидел сумму на чеке, и Бот испугался, что он пойдет к управляющему.

Но юноша принял чек и спросил:

— В каких купюрах вы хотите получить эту сумму, мистер ван дер Риет?

По дороге домой настроение у него снова изменилось, и его охватил мучительный страх. Домой он вернулся мрачный, все его раздражало, и они с Лизеллой поссорились.

Утром в субботу Лизелла продолжала дуться и уехала на корты в своей машине, к тайному облегчению Бота, ибо теперь ему не надо искать предлога, чтобы остаться дома.

Но именно то, что Лизелла не захотела с ним разговаривать, и решило дело. Он подумал: «Ну и черт с тобой! Я тебе докажу!»

И он купил эти два алмаза у людей, приехавших в коричневом «шевроле», и отдал им четыреста фунтов, которые щеголь в спортивной куртке аккуратненько спрятал в старый бумажник.

Сыщики явились к концу дня, почти сразу же после возвращения Лизеллы.

У ворот остановился большой лимузин. Пока Бот шел к калитке, из машины вылезли два человека в серых костюмах. Что-то в их манере держаться — внушительность, что ли, этакая хозяйская уверенность —

сразу подсказало ему, кто они. Его охватило желание бежать. Но бежать было некуда, и он продолжал идти им навстречу, с трудом переставляя ноги, которые стали как деревянные.

Они ждали его у калитки. На заднем сиденье машины Бот увидел двух цветных — щеголя в спортивной куртке и его оборванного приятеля.

— Добрый вечер,— сказал Бот и удивился, что голос у него не дрогнул.

Глава одиннадцатая

Однажды, давным-давно, Деону приснился страшный сон — сон о смерти.

Чужой пришел, чтобы забрать его с собой. Деон проснулся с этой мыслью и долго не решался закрыть глаза. Но больше этот сон ему не снился — даже после того, как смерть превратилась в привычного врага, в естественное событие, которое иногда удается предотвратить или отсрочить, зная, что в конце концов поражение неизбежно.

Теперь Чужой вновь был рядом.

Он оставался невидимым, но он был здесь и безмолвно ждал.

Отец с трудом кашлянул, и Деон взглянул на длинное костлявое тело, аккуратно укрытое простыней и одеялом. Внутренний распорядок больницы не знает исключений, и несколько минут назад сестры оправили постель больного. Даже неизбежный беспорядок, который неизбежно приносит надвигающаяся смерть, недопустим.

Деон встал, обошел кровать и проверил капельницу. Все было в порядке. Он почти желал, чтобы обнаружились неполадки,— лишь бы заняться чем-то, отвлечься от непрошеных мыслей.

Отец не шевелился. Пока сестры укладывали его поудобнее, он утомился и теперь лежал, закрыв глаза. Возможно, он уснул.

Деон смотрел на бессильную кисть, на костлявое запястье, к которому была прибинтована игла капельницы.

С чуть слышным щелчком приоткрылась дверь, и Деон резко повернулся, готовый отослать непрошеного посетителя.

Вошел Филипп Дэвидс. Тихо ступая, он посмотрел на Деона, на неподвижную фигуру на кровати и показал глазами на дверь. Деон встал, и они вышли в коридор.

— Как он?

Деон пожал плечами.

— Безнадежен.

— Так...

— Последняя доза облучения практически уничтожила лейкоциты.

Они молча стояли друг против друга, неловко отводя взгляд. Африканец-уборщик продвигался по коридору в их сторону, орудуя шваброй. На спине его форменной, цвета хаки, куртки виднелись буквы КМС — Кейптаунская муниципальная служба, и оба они повернулись и начали следить, как он переставляет ведра, словно это приносило им облегчение. Из бокового коридора деловой походкой вышла сестра, держа штатив с капиллярами. За ней шел невысокий рыжий врач. Увидев Деона и Филиппа, он слегка замедлил шаг, но затем решительно двинулся в их сторону, потирая ладонью по лацкану своего белоснежного халата.

— Здравствуйте, Деон,— сказал он.— Как ваш старик?

— Спит,— решительно отвечал Деон.

— А,— рыжий врач потоптался, затем отогнул манжету и взгля-

нул на часы.— Мне очень жаль, конечно, но лаборатории требуется гемограмма. Я постараюсь не разбудить его.

Деон поморщился:

— Раз надо, так надо.

— Да... — Врач потрогал свои рыжие усики.— Может быть, лейкоцитов окажется побольше,— с наигранной бодростью прибавил он. — Идемте, Стаффи.

Когда Филипп, кашлянув, сказал: «Ну, мне...», Деон вдруг понял, что присутствие Филиппа ему необходимо, и резко перебил его:

— Нет! Не уходи!

Так резко, что Филипп посмотрел на него с удивлением.

Они вновь замолчали и уставились на уборщика, старательно водившего шваброй по полу.

Рыжий врач вышел из палаты, торжествующе держа в вытянутой руке капилляр с кровью.

— Мы его не разбудили.— И протянул капилляр сестре.— Скажите внизу, чтобы отправили в лабораторию.

— Давайте я отнесу,— вдруг предложил Филипп.

Все трое непонимающе уставились на него.

— Я все равно иду в лабораторию,— объяснил он и, взяв капилляр, взглянул на ярлычок «И. П. ван дер Риет, номер палаты...». — Так я отнесу?

Он повернулся и пошел по коридору, потом вдруг резко остановился.

— Передай ему от меня поклон,— сказал он Деону.

— Спасибо, непременно,— ответил Деон.

И тут же, даже не попрощавшись с врачом и сестрой, вошел в палату к отцу.

Отец по-прежнему лежал с закрытыми глазами, но его дыхание стало чаще. На губах запеклась кровь.

Вначале лекарства и переливание крови принесли облегчение. Цвет лица улучшился, сознание прояснилось, стало почти прежним. Но потом произошло обострение, и уровень лейкоцитов упал до предела. А теперь у него началось заражение крови.

Деон стоял и смотрел на высохшее тело под белыми простынями.

«Почему мне это просто физически неприятно? — спрашивал он себя.— Почему мне хочется бежать, спрятаться, напиться до бесчувствия — что угодно, лишь бы стереть из памяти мысль, что он умирает?

Да, он мой отец, и родственные узы нельзя сбросить со счетов. Но мы никогда не были особенно близки.

Тогда почему же мне хочется бежать отсюда?

Может быть, потому, что он был всегда. И стоит ему исчезнуть, как не останется ничего незыблемого.

Едва он исчезнет, я останусь один на один в коридоре с серым Чужим».

Деон сел на жесткий белый стул. Раздался скрип — отец открыл глаза и посмотрел на него с легкой насмешкой.

— Как ты себя чувствуешь? — машинально спросил Деон.

Легкая улыбка приоткрыла окровавленные десны, на миг воскресла былая ирония.

— Прекрасно.

Деон встал и с преувеличенным вниманием начал изучать кривые пульса и температуры, нанесенные на карту в изножье кровати.

— Кто-то заходил,— сказал отец чуть погодя.

— Доктор и сестра приходили взять кровь,— бодро сказал Деон.— Для анализа.

Старик раздраженно шевельнул головой. Но даже это движение утомило его — он снова закрыл глаза и замер.

— Раньше.

— Ах да! Это был Филипп.

— Филипп?

— Флип,— поправился Деон.— Флип Дэвидс. С нашей фермы, помнишь? Сын старой Миеты Дэвидс.

— Флип,— повторил отец, не открывая глаз.

— Он просил передать тебе поклон и пожелания самого лучшего.

Отец кивнул, но ничего не сказал. Вскоре он снова заснул. А может быть, он не спал, просто хранил молчание.

Деон посмотрел на часы. До дежурства еще четверть часа. Как удачно, что четвертый квартал он работает в хирургической больнице. Как они ни заняты, но за исключением особенно тяжелых дней ему все же удается выкроить несколько минут, чтобы побыть с отцом.

Тем не менее, подумал он с внезапным раздражением, несправедливо, что ему приходилось нести это бремя одному.

Однако раздражение тут же угасло при мысли о том, что и Лизелла сейчас не менее одинока. Причем ее одиночество даже более тяжко. Бот отбывает свой срок — три года тюрьмы. Правда, через пятнадцать месяцев его могут освободить досрочно, но этих пятнадцати месяцев ему не избежать.

Деон взглянул на неподвижное тело под одеялом, на изможденное белое лицо. Да, бедный отец, даже в этом судьба тебя не пощадила. Ты своими глазами видел, как твоего сына, твоего первенца ван дер Риета из Вамагерскрааля, увозили в тюрьму в фургоне с решетками на окнах.

Весь процесс отец просидел в первом ряду на жесткой и неудобной скамье, сложив руки на набалдашнике трости, упершись в них подбородком. С непроницаемым видом он слушал показания свидетелей, доводы защиты, резюме судьи, вердикт присяжных и, наконец, страстный призыв смягчить приговор, с которым обратился к суду известный кейптаунский адвокат.

И в тот же вечер, вечер того дня, когда судья вынес приговор и Бота увезли в тюрьму, Деон отправился на ферму Сенегал разыскивать дружка Бота Мэни ван Шалвика. Потому что Мэни, столь хорошо разбиравшийся в тонкостях тайной торговли алмазами, как вынужден был признать на суде один из сыщиков, отвечая на вопросы защитника, был платным полицейским осведомителем.

Однажды его арестовали за скупку алмазов, но отпустили под условием, что он станет агентом-провокатором. Как может человек пасть так низко?

Деон не застал его дома, не нашел и в барах Бофорт-Уэста. Пожалуй, это было и к лучшему: он мог его убить — ненависть душила его с той минуты, когда он увидел лицо отца, который смотрел, как его старшего сына ведут в тюрьму.

Пора идти. Деон встал, и стул снова скрипнул, но теперь отец не открыл глаз.

Еще мгновение Деон смотрел на такое привычное и такое незнакомое лицо. Потом на цыпочках вышел из палаты.

Они с Биллом дю Туа пили кофе, пока в операционной готовили больного с ущемленной грыжей, которого привезли час назад.

Деон понял. Он понял еще до того, как поднял трубку, до того, как исполненный сочувствия голос дежурной сестры произнес:

— Ваш отец, доктор ван дер Риет, боюсь, что...

— Он...

— Нет. Но он без сознания.

— А-а... — Деон не сразу нашел, что сказать.— Вы сообщили доктору Бонзайеру?

— Конечно, доктор.— В голосе сестры мелькнуло раздражение, словно ей было неприятно это напоминание о само собой разумеющемся, но тут же он вновь зазвучал мягко и сочувственно: — К счастью, доктор Бонзайер еще не ушел. Он будет сию минуту.

— Я приду, как только смогу.

Врач, лечивший Иогана ван дер Риета, был уже в палате. Он посмотрел на Деона и тут же отвел глаза.

«Странно, почему они все не смотрят мне в глаза? — подумал Деон.— Точно чувствуют себя виноватыми. Или, может быть, потому, что я, равноправный член их круга, вдруг стал посторонним?»

Доктор Бонзайер наклонился над неподвижным телом на кровати, и Деон заметил у него на макушке лысину, тщательно замаскированную аккуратно зачесанными наверх длинными боковыми прядями. Значит, он еще и тщеславен. Врачи воображают, что видят своих пациентов насквозь. Но им следовало бы понять, что пациенты тоже знают о них немало.

Бонзайер выпрямился и одернул свой безукоризненный халат.

— По-видимому, он без сознания,— объявил он, ни к кому не обращаясь.— Но пульс хороший.

— И все же, доктор... — с трудом выговорил Деон.

Бонзайер издал посасывающий звук, точно с неудовольствием нащупал языком что-то, застрявшее между зубами.

— Может быть, выйдем? — сказал он.

В коридоре стояла тишина. В дальнем конце бесшумно прошли две сестры. В неярком свете они мелькнули, как две большие белые птицы, перепархивающие с ветки на ветку.

— Так как же? — спросил Деон.

Бонзайер ответил, смягчая профессиональную отвлеченность тона, словно позволив себе почувствовать сострадание и тем самым обрести человечность.

— Не знаю, юноша. Он без сознания.— И развел руками.— Возможно, это конец. Несмотря на переливание крови, лейкоциты — всего шестьсот. Не говоря уже о сепсисе.

— Но неужели мы ничего не можем сделать? Хоть что-нибудь, чтобы...— Деон заметил, что в голосе его прорывается отчаяние, которое он твердо решил подавлять в себе.

Бонзайер бросил на него быстрый и, пожалуй, сочувственный взгляд.

— Могли бы,— согласился он.— Еще переливание. Остальное вы сами знаете. Но зачем? — Он сделал паузу, давая Деону возможность понять, затем продолжал мягко и неумолимо: — Нужно ли ему это? Он без сознания, его не мучает боль, он тихо уходит. Так почему просто не дать ему уйти?

Почему?

Разве Чужой не высший наш друг и утешитель?

Так почему?

Да потому, что все инстинкты и все знания Деона подсказывали, что смерть — это враг, что уступить ей без борьбы — значит совершить предательство из предательств. Разум способен принять неизбежность ее, но нечто в самой глубине его существа, быть может единение всех клеток тела, бессознательно стремящегося к жизни, восставало против этой покорности, кричало: «Нет!»

Он вдруг вспомнил, как отец сказал ему, спускаясь по старым скрипучим ступенькам в маленькой гостинице: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями».

— Не знаю,— пробормотал Деон.— Наверное, вы правы.

Бонзайер кивнул одобрительно, а может быть, и с некоторым облегчением.

— Ну и хорошо. Вы пока посидите здесь?

— Да.

— Отлично. А то мне еще надо кое к кому заглянуть. У моего старого друга сегодня во время игры в гольф случился инфаркт. Но, может быть, вам все-таки?..

— Не беспокойтесь.

— Как я сказал, я еще побуду здесь, а потом пойду домой. Звоните в любое время.

— Спасибо. Спасибо, доктор.

Бонзайер легонько похлопал его по плечу, кивнул и ушел.

Теперь он остался один и должен встретить это один.

Позже он, по-видимому, задремал, потому что вдруг вздрогнул, выпрямился и увидел, что глаза отца открыты и смотрят на него. Свет ночника подчеркивал тени на лице с запавшими щеками, так что оно уже походило на череп. Но глаза жили. Они светились сознанием. Деон вскочил и подошел к кровати. Давно ли отец очнулся? Долго он дремал под этим пристальным испытующим взглядом?

— Ну, как ты?

Губы раскрылись, и отец с трудом произнес:

— Пить!

Деон налил воды из графина и помог ему напиться.

Иоган ван дер Риет откинулся на подушку, вздохнул и закрыл глаза. На мгновение Деону показалось, что он снова впал в забытье.

Но тут старик более твердым голосом произнес:

— Деон!

— Я здесь, отец!

— Иоган?

Бот был тезкой отца.

— Он... Бот на ферме, отец.

Глаза открылись, и отец посмотрел на него тем строгим и сухим взглядом, каким всегда отвечал на глупость или недомыслие.

— Бот в тюрьме,— произнес он отчетливо.— Здоров?

— Да, отец,— виновато сказал Деон.

Старик кивнул, видимо удовлетворенный, потом сказал, точно разговаривал сам с собой:

— Иоган пошел в мать.— И, хрипло вздохнув, добавил: — Невинная душа. Гордости у нее было много. Вот это ее и сломило... Который час?

Деон посмотрел на часы.

— Половина четвертого.

— Утра? Ночь долга, господи. Но да простятся нам грехи наши.

Отец замолчал и молчал так долго, что Деону показалось, будто он заснул или снова впал в забытье. У него самого слипались глаза.

— А этот мальчик,— донесся голос из полутьмы. Послышался хрип, и отец снова попросил пить.— Этот мальчик,— повторил он, напившись,— Флип. Он тоже приходил ко мне?

— Да, отец.

— Он вырос хорошим человеком. Позови его.

— Ты хочешь, чтобы я позвал Флипа Дэвидса? — удивленно переспросил Деон.

— Да. Позови его.

— Но ведь сейчас очень поздно.

Голова на подушке раздраженно дернулась.

— Ты не понял, Деон! Я хочу, чтобы пришел Филипп... мой сын.

Это было сказано сердито, и Деон решил, что сознание отца то проясняется, то меркнет, но в любом случае надо исполнить его желание.

Филипп работал теперь в гинекологическом отделении. Но оказалось, что в эту ночь он не дежурит. Однако на всякий случай он оставил свой телефон, и сестра дала его Деону. Но только набрав две первые цифры и продолжая глядеть на номер, который написала на рецептурном бланке сестра, он вдруг заметил в сочетании цифр что-то очень знакомое. Он продолжал вглядываться в номер, уже держа палец на шестерке. Затем тихо опустил трубку на рычаг.

Номер, который дала ему сестра, был номером домашнего телефона Элизабет.

Сестра посмотрела на него вопросительно.

— Я передумал,— пояснил он и оскалил зубы в подобии улыбки.— Пожалуй, не стоит будить его среди ночи.

Она кивнула — незачем, и он вышел в коридор. Но вернуться в палату к отцу не мог.

Филипп!

Ублюдок!

Он уперся рукой в зеленую стену, ощущая под пальцами холодную гладкость краски.

И острота страдания, горечь внезапного открытия, бессильный гнев вдруг отступили, вытесненные новым, нарастающим в нем чувством. Ему казалось, будто это соприкосновение со стеной растет и ширится, захватывая соседние кирпичи, соседние стены — все дальше и дальше, и он сливается с больницей и с тысячами жизней в ней. Вместе с этим чувством к нему пришло ощущение божественного торжества, великой власти. Ведь он связан с каждой из этих жизней, с их страхами и радостями, надеждами и горем. Он дышал одним дыханием с ними в сумерках раннего утра и вместе с ними встретит то, что несет свет грядущего дня.

Мало-помалу это чувство угасло. Стены снова стали стенами, и он снова стоял один в обычном больничном коридоре. Но ощущение торжества еще жило в памяти, и какое-то время он был в мире с самим собой.

Он направился в палату к отцу, придумывая причину, объяснение, почему ему не удалось найти Филиппа Дэвидса.

Но объяснять ничего не пришлось. Пока Деона не было, Иоган ван дер Риет снова впал в забытье и, не приходя в сознание, скончался перед наступлением ясного весеннего утра.

Сперва Деон бессмысленно кружил по шоссе, ведущему к городу и к океану. Однако машин, направлявшихся в город, становилось все больше, а потому он повернул назад, решив отправиться на взморье, в Фолс-бей.

Но едва больница снова осталась позади, как он, почти не отдавая себе отчета, свернул в Ньюлендс и тут же понял, что с самого начала знал, куда поедет.

Филипп и Элизабет. Невозможно. Слишком невероятно, чтобы это можно было осознать.

Он остановился за квартал до ее дома и прикурил сигарету от автомобильной зажигалки; это простое движение вернуло его к тому, о чем он почти два часа старательно избегал думать.

«Мой отец умер».

Все остальное — лишь попытка спрятаться, уйти от этого неумолимого факта. Потому-то он и оказался здесь, точно птица, которая, сделав два-три словно бы бесцельных круга, безошибочно летит к себе домой.

Он потушил только что прикуренную сигарету и вылез из машины, громко хлопнув дверцей.

Только когда он обошел «фольксваген» и две женщины средних лет, направлявшиеся к автобусной остановке, замолкли на полуслове и как-то странно посмотрели на него, он сообразил, что забыл переодеться — операционная роба, шапочка, штаны, заправленные в белые резиновые сапоги. Но их удивленный и даже испуганный вид не смутил и не рассмешил его.

«Мой отец умер».

И когда Элизабет открыла ему дверь, он сказал:

— Мой отец умер.

Она побледнела. От неожиданности? Она похудела с тех пор, как они виделись в последний раз. Когда это было? Он не мог вспомнить.

Она прижала руку к горлу.

— Твой отец...

— Умер,— сказал он гневно. И без перехода: — Где Филипп?

Филипп стоял здесь же, одетый в черное. В предвидении траура? Филипп озабоченно хмурился.

Троим в крохотной прихожей было тесно. Казалось, они заняли все свободное пространство. Кто-то был лишним.

— Мой отец умер,— сказал он Филиппу.

Филипп и Элизабет переглянулись. Он подумал: секреты. У них секреты. И опять пришел в ярость. Им ничего от него скрыть не удастся. Он о них знает все.

Он вдруг заметил, что оба одеты как для улицы, хотя еще только рассвело.

Деон устало помотал головой. Он сам не понимал, чего хотел бы. Элизабет заметила это движение.

— Входи, Деон, входи. Ты совершенно...

Неловко волоча ноги в резиновых сапогах, он прошел мимо Филиппа в знакомую комнату. Тахта-кровать по-прежнему стояла напротив окна.

Не надо ему было приходить сюда, его и здесь предали.

Ему нужно одиночество. Только так он еще может терпеть.

Он повернулся, метнулся мимо Филиппа назад, в прихожую. Филипп удержал его. Он попытался стряхнуть с себя эти руки. Но его держали крепко.

— Послушай,— сказал Филипп спокойно.— Не надо так.

Внезапно он обрел хладнокровие и способность рассуждать, контролировать поступки и их последствия.

Филипп и Элизабет.

Нет. Не то.

Филипп и Деон.

Вернее, Филипп против Деона, потому что они соперники, всегда были соперниками, и притворяться, что это не так, глупо. Их разделяет слишком многое — все, что отличает сына богатого белого фермера от сына его цветного слуги. А связывало их лишь одно — прочно, как рок,— их соперничество, которое было выше барьеров расы и класса.

Это началось еще в детстве, продолжалось, когда они стали взрослыми, и вспыхнуло вновь, едва они опять встретились, словно никогда и не угасало.

И вот теперь борьба между ними достигла высшего накала, привела к открытому столкновению. Из-за самой классической и самой банальной причины — из-за женщины.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он Филиппа неприязненно.— Тебе здесь не место.

Филипп разжал руки и отпустил его. Но ничего не сказал. Вместо него заговорила Элизабет:

— Как это понимать, Деон?

Она спросила это резким тоном, и Деон подумал, что она стала как наточенное бритвенное лезвие.

— Почему он здесь? — спросил он как обвинитель.

— Это мое дело.— Но пальцы ее были сцеплены, и она смотрела в чашу своих ладоней, точно надеялась прочесть разгадку тайны.

— Скажи, чтобы он убирался.

Она побледнела еще больше и сказала каменным голосом:

— Я люблю его. Ты способен это понять?

Его захлестнул гнев, безумное бешенство, но из хитрости он решил скрыть это. Он одурачит их обоих.

— Любишь? — Он презрительно усмехнулся.— Любишь... — И короткая пауза объяснила все, так что лишним было подчеркнутое: — Его?

Он ждал взрыва ненависти и отвращения, но она молчала. А Филипп стоял в дверях недвижный, точно вырезанная из дерева фигура.

Деона охватило гнетущее чувство, что он вмешался во что-то, чего не понимает, и что он лишний. Словно они скорбели на похоронах, а он был посторонним тут, тупым и развязным наглецом. Но все равно он не уйдет.

— Любишь его? — повторил он.— Ты сошла с ума. Ты подумала, куда это тебя заведет? Ты сошла с ума, Лиз. Неужели ты этого не понимаешь?

Она устало покачала головой.

— Не знаю.

Это было проявлением слабости, готовности сдаться, и он ухватился за эту соломинку.

— Лиз, я люблю тебя. Поверь, я люблю тебя.

Он сказал это, коварно стремясь породить смятение, запутать их. А на самом деле — хотел это сказать?

Она никак не реагировала, а просто повторяла как автомат:

— Не знаю.

Филипп, высокий, прямой, вдруг взмахнул рукой, словно наконец ожила вырезанная из дерева фигура. Он даже улыбнулся, машинально растянув губы.

— Мне кажется, ты не понимаешь,— произнес он вежливо и терпеливо.

Деон резко повернулся к нему, весь напружинясь, словно змея перед броском.

— Я все прекрасно понимаю,— отрезал он со злобой.— Мне совершенно ясно, что тут происходит. Флип, сын дядюшки Пита и тетушки Миеты, готтентотов, служивших у моего отца, вообразил, будто может крутить с белыми девушками. Этого зазнавшегося готтентотского ублюдка цветные девки уже не интересуют.

Лицо Филиппа покрылось пятнами. Он плотно сжал губы и сказал, наклонив голову, словно в полупоклоне:

— Мне очень грустно, что отец...

Деон повернулся к Элизабет.

— Выбирай! — выкрикнул он в бешенстве.— Выбирай же! Он или я.

Она стояла, опустив глаза, и даже не посмотрела на него. Он искал ее взгляда, а она упорно отводила глаза.

— Выбирай! — повторил он грубо.

Но она все так же смотрела в сторону, и в конце концов через некоторое время заговорил Филипп:

— Ты не понимаешь. Выбирать нечего.

Деон сжал кулаки, и Филипп загородил руками грудь.

— Драться со мной бессмысленно. Все уже решено.

— Почему ты не уберешься отсюда ко всем чертям? Разве ты не видишь, что ты здесь лишний?

Филипп улыбнулся, но рук не опустил.

— Я как раз собирался уйти, когда ты пришел.

— Ну и проваливай.

— Ты, по-видимому, считаешь, что мне здесь не место.— Голос Филиппа звучал насмешливо и легко.— Поэтому тебе несомненно будет приятно узнать, что мы с Элизабет пришли сами к такому же выводу. Мы прощались, потому что поняли: для нас нет будущего. Во всяком случае, в этой стране. Как вы столь любезно нам объяснили. А может быть, и нигде в мире.

Он говорил спокойно и отчетливо, словно изучал симптомы интересного и редкого заболевания. Ни намека на боль или внутреннюю борьбу. Если они и были.

Филипп взялся за дверную ручку.

— Прощайте,— сказал он Элизабет с подчеркнутой вежливостью.

Она, казалось, хотела сказать что-то, но промолчала.

Филипп повернулся к Деону.

— Мне, правда, очень грустно,— сказал он.— Я об отце.— И закрыл за собой дверь.

Деон унесся в далекое прошлое — в тот день, когда они подрались за дамбой из-за глиняной фигурки быка с острыми шипами вместо рогов, Филипп был старше и сильнее, он повалил Деона на землю.

Деон так ушел в эти воспоминания, что не сразу воспринял последние слова Филиппа.

И вдруг он осознал, что Филипп сказал: «Я об отце».

Нет, «о твоем отце».

Отец.

Наш отец.

Мой отец!

Он поглядел на Элизабет, ища подтверждения, но она снова уставилась на свои сцепленные пальцы. Возможно, она вообще не расслышала, не уловила.

«Мне, правда, очень грустно. Я об отце...»

«Я изуродую его,— подумал он.— Я разобью в кровь его морду, его черные лживые губы, выбью ему зубы...»

Мой отец!

— Ублюдок,— сказал он еле слышно. И повторил громче:— Ублюдок.— И еще: — Ублюдок!

Распахнул дверь и вне себя от бешенства и отчаяния исступленно крикнул в пустоту:

— Ты у-блю-док!

И кинулся вниз по ступенькам. На каменном полу вестибюля резиновые сапоги заскользили, и он еле удержался на ногах.

Улица была уже пуста.

Он кинулся к своему «фольксвагену», и две женщины, все еще ожидавшие автобуса, испуганно попятились. За садовой оградой залаяла собака.

Деон рванул машину с места и обогнул угол, даже не снижая скорости. Снова пусто. Еще поворот. Никого, никого, кроме старика в зеленом старом «моррисе», неторопливо катившемся по самой середине улицы.

Куда девался этот трусливый ублюдок?

Мой отец.

И тут из тумана прошлого нахлынули беспорядочные, обрывочные воспоминания. Казалось, между ними не было ничего общего, но они смыкались, обрели новое толкование и внезапно сложились в единую новую картину.

Этого достаточно. Они — братья.

Отец стоит на ступенях у входа в Джеймсон-холл — день, когда им вручали дипломы.

Миета Дэвидс поднимается по ступеням, опираясь на руку сына, а Иоган ван дер Риет смотрит мимо, на далекую синеву гор.

Студенческая столовая, и он с удивлением узнает, что его отец оплачивал образование Филиппа.

Деон снова свернул за угол, но он уже не высматривал Филиппа.

Филипп идет по проходу актового зала под гром аплодисментов, и Деон с изумлением видит, что отец тоже аплодирует.

Мать сидит в ногах его кроватки, смотрит в никуда и говорит ему: «Да», и еще раз: «Да-да».

И снова отец. Губы умирающего шевельнулись, и он сказал: «Я хочу, чтобы пришел Филипп — мой сын». Вот что сказал отец.

Его отец.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Лето

Глава первая

Дом стоял высоко на склоне горы, и выше уже не жил никто — задняя ограда граничила с ревностно охраняемым национальным заповедником. Если у Деона, когда он выбирал этот участок, имелись какие-то скрытые мотивы, кроме очевидных — прекрасный вид и относительное уединение,— теперь они уже не имели значения. Просто это был его дом. Красивое, удобно спланированное здание среди природы, с садом, который художник по ландшафту благоразумно оставил почти нетронутым.

В этот вечер сад казался полосой серо-зеленой тени, рассеченной через равные промежутки темными тенями древесных стволов. И взгляд невольно обращался в другую сторону — к подножию горы, где мерцали огни города и порта.

Деон услышал, как глубоко вздохнул с ним рядом Филипп, и притормозил у ворот. Филипп смотрел на ожерелья огней, растянувшиеся от Сигнального холма до Пика Дьявола и еще дальше — на много миль. Он молчал, и Деон сказал за него:

— А хорошо вернуться к подобной красоте, верно?

Но Филипп по-прежнему молчал.

— Вот мы и приехали,— улыбнувшись, самым дружеским тоном сказал Деон и открыл дверцу. Вспыхнувший в машине свет озарил строгое лицо Филиппа.

— Спасибо,— только и сказал Филипп.

Филипп поднялся по ступенькам и остановился. Он еще раз пос-

мотрел на огни города, затем повернул голову и взглянул на черную громаду горы. Там, в вышине, виднелся огонек станции канатной дороги. А может быть, это была какая-то яркая звезда?

— Да, красиво! — сказал Филипп.— Очень красиво.

— Говорят, Канада тоже прекрасная страна,— сказал Деон.— Зимняя охота, например...

— Вам не доводилось там бывать?

— Нет. Как-то получалось, что я вечно ограничивался Штатами. А в Канаду так и не собрался.

— Вот почему мы ни разу не встретились. Но я с интересом следил за вашей карьерой.

— А я — за вашей,— с улыбкой заверил его Деон.

Он открыл дверь и посторонился, пропуская гостя.

Филипп остановился, разглядывая большое, не вставленное в раму полотно на стене, подписанное «Лукас Марентсане». С картины Филипп перевел взгляд на стеклянную стену, выходившую на внутренний дворик — там искусно подсвеченный фонтан взметывал струи среди темных декоративных растений.

И чуть-чуть улыбаясь, он повернулся, чтобы поздороваться с Элизабет ван дер Риет, которая шла к нему через огромный холл. Длинное платье изящно колыхалось при каждом ее шаге, и казалось, что она скользит по плиткам пола.

— Добро пожаловать на родину, Филипп,— сказала она тоном величайшей искренности.

В ее словах было что-то театральное, заранее обдуманное, но ни Филипп, ни Деон как будто ничего не заметили.

— Добрый вечер, Элизабет,— ответил Филипп с точной мерой теплоты и уважения.— Благодарю вас.

Она подставила мужу щеку для поцелуя. Потом бросила на обоих лукавый взгляд, отдавая себе полный отчет в ситуации, полностью ее контролируя и даже затягивая, чтобы продлить игру с ними, которая, впрочем, не была опасной.

Она рассмеялась, и Филипп заметил, что былая брызжущая веселость сохранилась в ней, но стала приглушенной, словно питавший ее источник смелой беззаботности начал пересыхать.

Она была все еще красива. Но, разумеется, не щедрой красотой юности. Теперь в ее красоте появился неизбежный след тщательного ухода, умело скрываемых ухищрений. Если к двадцати прибавить восемнадцать, печальный итог составит тридцать восемь.

Но она все еще была красива. Волосы, которые она отпустила по требованию моды, ниспадали ей на плечи. Когда она улыбалась, в уголках глаз и губ кожа собиралась в золотистые мелкие морщинки, но ее фигура осталась стройной и гибкой.

Она прошла впереди них в гостиную (такой же пол из мозаичной плитки, сиденья полукругом у большого камина, еще картины африканских художников, тоже без рам), и бедра ее чуть покачивались, вызвав еще одно воспоминание далекого прошлого.

Филипп холодно отогнал непрошеные воспоминания и, сказав «благодарю», опустился на сиденье, которое указала Элизабет.

— Выпьем,— весело предложил Деон, хлопнул в ладоши и нагнулся к потайному бару в нижней части книжного шкафа.— Тебе, дорогая?

— Мне... Ну, пожалуй, хереса.— Она повернулась к Филиппу со светской улыбкой.— Когда Деон позвонил, что привезет вас, я послала за канадским ржаным виски. Но если вы предпочитаете что-нибудь другое...

— Благодарю вас, канадское виски! — Хотя он предпочитал что-нибудь полегче.

— Со льдом? — спросил Деон.

— Со льдом.

Они сидели, прихлебывая из стаканов, и молчали. Наступила та неловкая, та неизбежная минута, когда уже нельзя отогнать воспоминания, и в комнату к ним непрошеным четвертым явилось прошлое.

— Лекция мне очень понравилась,— сказал Деон.— По крайней мере, все то, что я сумел понять.— Он заметил, что чуть-чуть волнуется, и говорил медленно, а потому эти пустые любезности вдруг приобрели особое значение и смысл.— Она произвела большое впечатление на всех.— Он усмехнулся.— Я начинаю побаиваться, как бы нам, хирургам, в один прекрасный день не остаться без работы.

Элизабет тоже рассмеялась.

— Я сегодня попыталась прочесть статью о вашем предмете, Филипп, чтобы не выглядеть совсем уж невеждой, но поняла только, что плодовая мушка размножается с фантастической быстротой.

— Мы плодовой мушкой и ограничимся,— пообещал Филипп.

На этот раз они рассмеялись все вместе и устроились поудобнее, словно общество друг друга уже не так их сковывало.

Но хотя они смеялись и вели непринужденный разговор, обнаруживая и в себе и друг в друге легкое остроумие, минута полного прозрения еще не наступила. Четвертый гость по-прежнему сидел с ними, храня упорное молчание, всматривался по очереди в их лица, ловил их нервные взгляды, вслушивался в их слишком уж веселый смех и ждал какого-нибудь слова или жеста, которые выдали бы, что эти трое сознают его присутствие, что оно связывает их и мучит.

Деон снова с излишней поспешностью наполнил стаканы, и они продолжали говорить обо всем и ни о чем. Потом Элизабет ушла, чтобы заняться ужином. Филипп отказался от третьего стакана, но себе Деон почти машинально налил чистого виски и, вернувшись к Филиппу, не сел, а остался стоять, облокотившись о камин и посматривая на Филиппа с легкой улыбкой.

— Итак, профессор? — произнес он наконец.

— Итак, профессор? — повторил Филипп с той же мягкой насмешкой, и неловкость исчезла почти совсем.

— Кто бы мог подумать, а? Сорок лет назад, когда мы были мальчишками на ферме? И вот теперь, как положено в эпилогах, мы оба знамениты и богаты. Вы богаты, Филипп?

— Нет.

— И я нет,— засмеялся Деон.

— Ведь я мог бы и поверить,— сказал Филипп, обводя взглядом роскошно обставленную гостиную.

— Это все Элизабет, — ответил Деон.— Она удивительно умеет покупать то, что вскоре входит в моду.— Он отхлебнул виски.— Вы ведь были женаты?

— Да.

— На актрисе, не так ли? — продолжал Деон, несмотря на явное нежелание Филиппа развивать эту тему.

— На манекенщице.

— Она была канадка?

— Француженка. Не канадская, а настоящая. Из Марселя.

— Но вы познакомились в Канаде?

— Да. Она поехала туда потому, что Канада рядом со Штатами. А она стремилась в Штаты. Ей требовался Голливуд. Канада была лишь промежуточной станцией. Как и я.

От необходимости что-то сказать или хотя бы ограничиться междометиями сочувствия и понимания Деона избавило возвращение Элизабет. Затем последовал ритуал перехода в столовую, рассаживания, выбора вин.

Ужин, как обычно, был выше всяких похвал: суп из лангуста, тончайшие ломтики жареной телятины и ветчины со спаржей. Они пили мало и обсуждали сравнительные достоинства южно-африканских и европейских вин. Они обнаружили, что им нравятся те же блюда, рестораны и города, и не старались переубеждать друг друга, когда вдруг обнаруживалось, что их мнения в чем-то расходятся. (Деон и Элизабет ездили в Париж как на родину; Филипп жил там и проникся отвращением к Парижу, но он согласился, что это были нетипичные годы — самый разгар алжирских событий.) Горничная, проинструктированная Элизабет еще днем, ничем не выдала удивления, что ей приходится прислуживать своему соплеменнику.

Пить кофе они вернулись в гостиную. В дверях Деон нерешительно остановился и свернул в холл к телефону.

— Мне надо позвонить в клинику. Начинайте без меня.

Филипп последовал за Элизабет в гостиную. Когда она нагнулась к подносу с кофейником, глаза их на мгновение встретились.

— Черный или со сливками?

— Черный, пожалуйста.

Они слышали, как Деон в холле набирает номер.

— Каковы ваши планы? — спросила Элизабет.

По гостиной разлился аромат душистого кофе.

— Я еще точно не знаю,— ответил он.— Видите ли, мама умирает. После ее смерти мне здесь нечего будет делать. Наверно, вернусь в Канаду.

Деон все еще не мог дозвониться и что-то ворчал про себя.

— Я вам очень сочувствую,— тихо сказала Элизабет.

— Я знаю, о чем вы не пожалеете, убравшись из этой чертовой страны! — вдруг крикнул Деон из холла.— О нашей проклятой телефонной службе! Я набираю шестой раз и никак не могу дозвониться до клиники.

Элизабет, подняв брови, повернулась к Филиппу. Они молчали, пока не возвратился Деон. Он налил себе коньяку.

Филипп от коньяка отказался и украдкой посмотрел на часы. Вот тут в четверть одиннадцатого и должен был бы кончиться этот вечер — приятный вечер легких светских разговоров. Трое взрослых людей с удовольствием посидели друг с другом, долг вежливости выполнен, и теперь можно расстаться, чтобы, по всей вероятности, никогда больше не встретиться. Но вдруг Деон наклонился над столиком, покачал рюмку с янтарным напитком, поднес ее к носу и сказал:

— Отец хотел видеть тебя перед смертью. Я тебе не сказал. Это были его последние слова.

Вот так, наконец, присутствие четвертого было признано, и незваный гость сидел среди них теперь на полных правах.

Филипп ничего не сказал. Могло даже показаться, что он не расслышал. Он сидел выпрямившись, положив руки на колени, и смотрел в пустой камин (ведь еще не кончилось лето, и топить было незачем), словно следя за игрой языков невидимого пламени.

— Я думаю, что ты знаешь почему,— сказал Деон.

Филипп подумал и ответил:

— Да.

Их взгляды на мгновение встретились и тут же разошлись.

— Я часто думал об этом,— сказал Деон.

Филипп кивнул, то ли показывая, что слышит, то ли подтверждая, что и он думал об этом.

— Ты давно узнал?

Филипп сдвинул брови, губы его задумчиво сжались.

— Теперь, задним числом, я понимаю, что многое из того, что имела обыкновение говорить моя мать, могло бы вызвать у меня подозрение. Ну, например: «Не тебе бы так надрываться». Или: «Если бы всякий получал по своим правам, ты бы не ходил в таком старье». Ну, ты понимаешь.

— Да, понимаю.

— Она ничего не говорила прямо. И правда мне открылась только тогда, когда я исследовал твою кровь. Я брал тогда кровь у сотрудников, а когда желающих не находилось, то у себя. Вначале меня интересовала только отработка методики. Затем я стал внимательнее изучать результаты и вдруг заметил, что одна моя хромосома резко отличается от остальных.

— Ты сравнивал ее с другими? — спросил Деон.

— Да, и порядком испугался, когда профессор не смог объяснить аномалию. Профессор отправил снимок своему другу в Оксфорд на заключение. Я три недели обливался холодным потом, воображая, что унаследовал невесть что. Наконец пришел ответ: ничего страшного.

— А все-таки?

— Нормальная врожденная комбинация. Ну, конечно, я обрадовался, а потом и думать про нее забыл, пока не посмотрел твою кровь.

— И в моей крови ты обнаружил такую же хромосому?

— Да, Деон.

— И в крови моего... — Деон осекся и посмотрел на Филиппа прямым открытым взглядом.— И в крови нашего отца? Когда он был в больнице?

— Да. Я должен был узнать правду.

— Совпадение обстоятельств и хромосом, так сказать! — Деон засмеялся нелепости этой фразы. И тут же изумленно покачал головой.— Это по-прежнему кажется... невероятным. Ну, во всяком случае в конце отец попытался загладить...

Филипп молчал, глядя в сторону. Потом он тихо произнес:

— Я никогда не испытывал злобы. Хотя и чувствовал, что это несправедливо. Тяжело быть... непризнанным. Но как-то приспосабливаешься.— Он перевел взгляд на картину на стене — художника явно увлекал эффект синих теней на темной коже,— и долго смотрел на нее.

Молчание затягивалось.

— И все-таки,— в конце концов сказал Филипп,— это было хорошее время.

Деон тоже испытывал потребность переменить тему, и тем не менее ему трудно было сразу с ней расстаться, а потому он оживленно подхватил:

— Да, тогда на ферме было чудесно. Все это не имело ни малейшего значения. Дети ведь ни на что подобное не обращают внимания.

Филипп все еще изучал картину.

— Может быть, и так. Хотя со всей полнотой судить об этом может только тот, кто знает оборотную сторону медали.

Наступило неловкое молчание, которое Деон поспешил прервать:

— Ты долго думаешь пробыть в Южной Африке?

Филипп пожал плечами.

— У меня отпуск на полгода. Но все зависит от... ну, ты знаешь.

— Да. Мне следовало бы давным-давно навестить твою маму.— Деон постарался произнести это тоном самого искреннего сочувствия,

хоть и сознавал, что перебарщивает.— Как-то странно, что оба они, твоя мать и мой... мой отец,— выговорил он.

— Тут нет ничего странного.

— Я хотел сказать...

— Я понимаю. Но ведь это не совпадение. Ты же знаешь — старость.

И снова тягостное молчание. «Неужели нас ничто не связывает? — подумал Деон.— Неужели ничто?»

— Кстати, о генетике. Когда будет найдено средство от рака?— спросил он, чтобы заполнить пустоту.— Исследования ведутся повсюду, но результатов пока не видно.

Филипп сжал губы.

— Не сказал бы. Мы узнаем все больше и больше, особенно о патогенезе.

— А что такое патогенез? — с неожиданным интересом спросила Элизабет.

— Ну, если дословно, «генез» значит «происхождение», «пато» — «болезнь». Возникновение болезни. Например, было продемонстрировано, что определенные вирусы играют важную роль в новообразованиях, по крайней мере у животных.

— В самом деле? Так, значит, можно создать вакцину против рака, как против оспы?

Филипп усмехнулся.

— Когда удастся выделить вирус.

— А как, по-твоему, вирус воздействует на клетку? — спросил Деон.

— Начнем сначала. Что такое рак? Неконтролируемый рост клетки,— объяснял терпеливо Филипп.— Ну, а вирус? Это либо частица ДНК, либо РНК, то есть тот же химический материал, который контролирует деление и рост нормальных клеток. Иными словами, эти так называемые нуклеиновые кислоты несут в себе план новой клетки. Понятно?

— Кажется,— сказал Деон. Элизабет промолчала.

— Когда вирус вызывает новообразование, предположительно происходит следующее: он проникает в клетку и подключается к генетическому коду этой клетки. А это нарушает контроль над делением клетки, и оно становится беспорядочным. Это и есть рак.

— Не слишком ли упрощенно? — спросил Деон.

— Может быть. Но очень многое свидетельствует в пользу вирусной теории. Давно известно, что у кур и мышей лейкемия может передаваться от одного животного другому вирусными частицами. Есть также основания считать, что дефектные хромосомы каким-то образом связаны с лейкемией. Ты что-нибудь читал о филадельфийской хромосоме?

— По-моему, нет.

— Они обнаружили дефектную хромосому у девяноста процентов больных определенной формой лейкемии. Более того, люди с синдромом Дауна или подвергшиеся радиоактивному облучению, как тебе известно, чаще заболевают лейкемией, и как у тех, так и у других есть дефектные хромосомы. Как видишь, доказательства накапливаются.

— Интересно,— сказал Деон и задумался.— Отец умер от лейкемии, а у нас троих есть дефектная хромосома.

Хлопнула входная дверь, и они, замолчав, повернулись в ту сторону. Мгновение длилась тишина. Затем раздался женский смех.

Филипп перехватил тревожный взгляд, которым обменялись Деон и Элизабет, и насторожился. В течение вечера, замечая напряженность

в голосе Деона и его жены, когда они обменивались фразами, Филипп спрашивал себя, не он ли тому причиной. Однако до сих пор ни Деон, ни Элизабет не дали ему почувствовать, что он лишний.

Элизабет пошла к двери, и шелк ее платья, задевая лодыжки, шелестел громко и резко, словно разрываясь. Но тут женщина снова засмеялась и через секунду появилась на ступеньках, ведущих в холл.

Прежде всего взгляд привлекали волосы — нечесаная, буйная, давно не мытая грива светлых прядей разного оттенка. Из-под нее на них вызывающе глянули глаза. Затем девушка, слегка пожав плечами, отвернулась, и вновь раздался тот же смех — одновременно презрительно-насмешливый и бессмысленный.

— Моя дочь,— натянуто сказал Деон.

— Подойди познакомься с профессором Дэвидсом,— сказала Элизабет с ласковой настойчивостью, но Филипп уловил в ее голосе страх.

Девушка все еще стояла на верхней ступеньке. Она не смотрела ни на Филиппа, ни на мать. Она обеими руками держалась за железные перила, ограждавшие лестницу с одной стороны, и все-таки покачивалась. Филипп посмотрел на нее внимательнее.

Длинное, свободного покроя платье из темной ткани с засаленной вышивкой на груди. Бахрома на юбке и на шали. Филипп видел таких девушек в бесшабашных компаниях во всех больших городах мира. Но в этом доме он не ожидал встретить ничего подобного.

— Это Лиза, Филипп,— произнесла Элизабет, оборачиваясь к нему. Губы ее улыбались.

— Здравствуйте, Лиза,— сказал он мягко.

Девушка, наконец, сфокусировала на нем мутный взгляд, и глаза ее округлились от веселого изумления.

— Привет, коричневый!

Элизабет прикусила губу, Деон принялся шарить руками по столу, словно искал что-то.

Но тон у девушки был настолько обезоруживающим, что Филипп почувствовал к ней симпатию и жалость.

— Я действительно коричневый,— сказал он и улыбнулся ей.

Она перегнулась к нему через перила.

— Коричневый, это по мне,— сказала она пылко.

— Неужели?

— Да. Это — как... — Она протянула руки к потолку и поглядела вверх,— как солнце.— На лице ее появилось тревожное выражение.— А солнце по вам?

— Лиза,— шепнула Элизабет.

— Я люблю его,— сказал Филипп девушке.

Она сверкнула лихорадочной улыбкой, рывком отбросила свои нечесаные космы и исчезла. Он услышал еще, как ее босые ноги прошлепали по плиткам пола.

Элизабет вернулась на свое место. Деон возился с бутылкой коньяка. Неловкое молчание тянулось очень долго.

— Она ведь у вас не одна? — наконец спросил Филипп.— Еще сын, если не ошибаюсь?

— Этьен,— сказал Деон сипло и откашлялся.— Он сейчас не здесь.

— Он моложе Лизы?

— Да. Ему пятнадцать.

Лизе лет восемнадцать, подумал Филипп и прикинул: когда она родилась, Деону было около двадцати семи. Они недолго тянули со свадьбой. Почти сразу же после того, как он... уехал.

«Люди!» — подумал он устало и снова посмотрел на часы.

— Как поздно! Ты вызовешь мне такси?

— Зачем? Я тебя отвезу,— предложил Деон.

Филипп отказался наотрез.

— Нет-нет. Я к матери, и в оба конца займет часа два-три, а тебе завтра оперировать.

Как ни убеждал его Деон, он стоял на своем.

Элизабет налила еще кофе, и в ожидании такси они говорили о каких-то пустяках. Наконец в окно ударили лучи фар — машина развернулась, и шофер нетерпеливо засигналил. Они быстро попрощались на террасе. Деон проводил Филиппа до калитки, и они несколько церемонно обменялись рукопожатием. Филипп направился к такси, еще раз помахав Деону.

Деон увидел, как шофер перегнулся через сиденье и открыл заднюю дверцу. Филипп пригнулся, готовясь влезть в машину. Но тут шофер что-то сказал ему. Он отступил, медленно выпрямился и подошел к дверце шофера. Шофер выставил перед собой ладони, что могло означать только решительный отказ.

Деон нахмурился и пошел к такси.

— В чем дело?

Филипп стоял выпрямившись, лицо его было в тени. Он сказал с ледяным спокойствием:

— Этот... джентльмен говорит, что не может меня везти. У него такси «только для белых».

Чувствуя себя бесконечно виноватым, Деон посмотрел на светящееся табло автомобиля, возвещавшее об этом.

— Какая нелепость! — сказал он гневно и наклонился к шоферу.— Что это за чепуха?

Шофер был молодой крепкий парень, в кожаной куртке с медными бляшками по швам («Как на собачьем ошейнике»,— вдруг подумал Деон). Возможно, это сравнение пришло ему на ум потому, что лицо шофера чем-то напоминало упрямого бульдога или бультерьера. Несмотря на свою воинственную внешность, шофер как будто был смущен. Он снова выставил вперед ладони, словно снимая с себя ответственность.

— Вы бы сказали, что вам нужно такси для цветных,— пробормотал он жалобным тоном.— А мне положено возить только белых.

Виноватый тон почему-то особенно взбесил Деона.

— Вы знаете, кто я?

— Да, доктор,— ответил шофер, отводя глаза.

— А это профессор Дэвидс из Канады, всемирно известный врач.

— Я-то что могу, доктор? — растерянно, но упрямо повторил шофер.— Вы бы так и сказали, что не для белого. А у меня права отберут.— Неуклюжим движением он повернул ключ зажигания, а затем убежденно добавил: — Это же закон, парень. То есть, простите, доктор.

— Будь он проклят, этот закон!

Парень в кожаной куртке кашлянул и сказал:

— Шестьдесят пять центов.

— Что?

— Шестьдесят пять центов за вызов.— Голос таксиста прозвучал чуть задиристей.— Я же сюда со стоянки приехал и зазря.

Деон посмотрел на него с холодным презрением, вытащил из бумажника купюру и бросил ее в открытое окно. Потом повернулся на каблуках и, хотя все еще чувствовал себя виноватым (ему следовало бы вспомнить про это идиотское разделение такси по правилам апартхейда и самому отвезти Филиппа, не слушая возражений), почувствовал облегчение.

Позади раздался шум мотора, потом мелькнул красный отсвет — машина притормозила на повороте.

— Вызови, пожалуйста, другое такси! — попросил Филипп. И добавил с легкой иронией: — Нужного цвета.

— Нет,— резко ответил Деон и направился к гаражу.— Я отвезу тебя, и никаких возражений.

Филипп поколебался, но потом пожал плечами.

Когда они садились в «ягуар», Деон в свете вспыхнувшей лампочки быстро взглянул на Филиппа. Но насколько случившееся задело его, по лицу угадать было нельзя. Возможно, в темноте маска и соскользнула с него. Но теперь она снова была на месте.

Глава вторая

Деон определял состояние своих пациентов по тому, когда и сколько раз звонили из больницы. Самым страшным было безжалостное приглушенное чириканье телефона на тумбочке у кровати перед рассветом. Ночные дежурные звонили только в случае крайней необходимости.

На этот раз ночью звонков не было — значит, пациент, которому поставлен искусственный митральный клапан, чувствует себя нормально. И тем не менее он не мог отделаться от тревоги. На всякий случай он заглянул в послеоперационную палату, но там все было в порядке. Стараясь отогнать от себя это неясное томительное беспокойство, он направился в операционный блок и вошел в раздевалку.

Он начал переодеваться, и тут у двери уборной остановился техник, обслуживавший аппарат «сердце — легкие».

— Доброе утро, профессор.

Деон обернулся.

— Здравствуйте, Мартин. Ну, как там?

Техник взялся за ручку двери, явно заторопившись.

— Начали.

— Черт возьми! Ведь уже половина одиннадцатого! Чем они занимаются? С каждым днем все позже и позже...

Техник бросил на него испуганный взгляд.

— Произошли неполадки.— И он скрылся в кабине, чтобы избежать дальнейших расспросов.

В операционной Питер Мурхед вскрывал грудину, работая ножницами с широкими лезвиями.

— Почему ножницы? — спросил он резко.

Питер бросил на него такой же взгляд, как недавно техник.

— Пила опять вышла из строя.— Он показал на таз, в котором лежала окровавленная пила для вскрытия грудины.

Деон уставился на операционную сестру, которая тут же отвернулась к столику с инструментами. Спина ее была прямой и напряженной.

— Вероятно, опять то же самое, сестра,— сказал он громко и насмешливо.— Пилу вернули из мастерской только сегодня утром, вы опробовали, и, конечно же, она работала превосходно.

Сестра обиженно повернулась к нему.

— Это не моя вина, профессор. Мы дали заявку на новую пилу несколько месяцев назад. Но пока соберут все заявки и выпишут требование...

У Деона бешено забилось сердце.

— В следующий раз, когда это случится, я откажусь оперировать. Я зашью разрез и отправлю больного в палату. А родителям ска-

жу, что не мог оперировать их ребенка потому, что надо ждать год, чтобы получить инструмент, цена которому грош.

Все знали, что это пустая угроза. И все-таки никто не посмел посмотреть ему в лицо.

Под критическим взглядом Деона Питер Мурхед принялся отсекать вилочковую железу от основания перикарда, приподнимая ее анатомическим пинцетом. Питер был явно чем-то расстроен. Руки его двигались без обычной легкости. Он так близко подошел к левой безымянной вене, что Деон чуть было не съязвил, но, увидев глаза Питера под маской, удержался. Пожалуй, лучше уйти. Он прошел через умывальную в соседнюю операционную, где Робби работал над незаращением боталлова протока.

Робби пересек проток между двумя зажимами, перевязал шелковой нитью. Ассистент держал зажим неправильно.

— Гвидо, вам когда-нибудь приходилось видеть, как такой зажим соскальзывает? — спросил Деон.

Маленький итальянец медленно поднял глаза, брови его недоуменно сдвинулись. Он покачал головой.

— Ну, так молитесь, чтобы никогда не увидеть,— зловеще произнес Деон. И вдруг взорвался: — Держите зажимы параллельно. Посмотрите, как они у вас скошены!

Гвидо торопливо исправил ошибку, и Робби на мгновение перестал шить, однако глаз не поднял.

Понаблюдав еще некоторое время, Деон отвернулся. Здесь ему нечего было делать. Робби все знал сам. Он вышел, сорвал с лица маску и пошел по коридору размашистым шагом, хотя и не знал, куда, собственно, идет.

По-видимому, у Питера Мурхеда опять семейные неприятности. Если эта чертова баба не поостережется, она погубит прекрасного хирурга.

Не думать на работе о домашних неурядицах трудно. Просто закрыть утром за собой дверь и отключиться дано не всякому, это он знал по себе.

И все-таки надо будет поговорить с Питером. Может быть, ему удастся чем-то помочь. Он не любил вмешиваться в чужую жизнь, но если так будет продолжаться и дальше, Питеру придется уйти. А это было бы трагедией, потому что он на самом деле отличный, опытный хирург.

«К черту! — с внезапным раздражением подумал Деон.— Не стану же я терять хорошего специалиста только потому, что у него невозможная жена! Какого дьявола он на ней женился? Ведь сразу видно, что она сумасшедшая».

Ему стало ясно, почему он сегодня так раздражителен. Вернее, он все время это знал, но хотел не думать, забыть...

Вчера он рассказал об этом Филиппу, когда вез его по пустынным ночным улицам. Они разговаривали о Памеле Дели и ее трагической и бессмысленной смерти. Он проклинал себя за то, что не заметил второго дефекта, а Филипп хладнокровно отметал его самобичевание, определяя истинные причины, и анализировал ошибки. И каким-то образом его спокойствие и логичность рассуждения вернули Деону уверенность в себе.

Тем не менее смутное желание оправдываться не проходило — во всяком случае, он сердито воскликнул в сердцах: «Нет, об этом я думать спокойно не могу, я презираю врачей, которые лечат с девяти до пяти и считают, что болезни в нерабочие часы и по выходным дням тоже отдыхают. Во всяком случае, хирурги — другая порода».

«Ты так думаешь? — тихо спросил Филипп. Он глядел на темную

стену деревьев, за которой тянулось поле для гольфа. — Это ведь «Ройял-Кейп»? После занятий я подрабатывал тут — носил клюшки за игроками».

Деон промолчал, не зная, что сказать. Он вспомнил, что в воскресенье собирался в «Ройял-Кейп» сыграть в гольф и что Филипп, несмотря на все его заслуги и положение, мог быть допущен туда только в роли служителя, носящего клюшки.

Филипп выручил его, вернувшись к прежней теме.

«Отчего же вы иной породы? — он засмеялся.— Учитывая, конечно, что я принадлежу к врачам, практикующим медицину с девяти до пяти».

«Ну, ты принадлежишь к другой категории,— сказал Деон быстро и с горячностью.— Научно-исследовательская работа. Это же совсем другое дело. Когда ты в последний раз видел больного?»

Он не столько увидел, сколько почувствовал на себе взгляд Филиппа. Затем Филипп сухо усмехнулся.

«Да, уже несколько лет не приходилось. Намек понят».

«Вообще хирургам это ближе. Они больше чувствуют личную ответственность за состояние больного. Возьмем, например, больного, которого лечит терапевт. Скажем, он в диабетической коме... Врач поставит диагноз, примет меры, но если пациент все-таки умрет... Тяжело, конечно. Однако он сделал все что мог, и никому в голову не придет обвинить его в том, что болезнь возникла по его вине».

«Ну, и среди хирургов хватает равнодушных».

«Не в этом дело. У хирурга в принципе другой, более личный подход. Потому что, если его больной умирает, он винит себя».

«А может быть, он просто более самонадеян?»

Деон пропустил эти слова мимо ушей.

«Дай мне досказать свою мысль. Вот, например, моя ситуация. Скажем, я берусь за сравнительно простую операцию. Ну, хотя бы устранение дефекта межжелудочковой перегородки сердца. Так вот, до операции ребенок с таким дефектом обычно чувствует себя неплохо. Он бегает, играет и так далее. Я оперирую и закрываю отверстие в перегородке. Это необходимо, иначе, когда ребенок вырастет, беды не миновать. Однако после операции ребенок долго будет находиться в тяжелом состоянии. И даже может умереть. А я знаю, что ответственность лежит на мне. Это результат моего вмешательства. Дело моих рук».

После некоторого молчания Филипп сказал:

«Да, да, я понимаю.— И задумчиво добавил: — Вероятно, работая с детишками, трудно подавлять в себе эмоции».

«Я пытаюсь, но ничего не получается. Всякий раз одно и то же. Я стараюсь по возможности не соприкасаться с ними до операции. Все предварительные исследования проводятся в кардиологической клинике, и я узнаю все, что требуется, на совещаниях. А сам тщательно осматриваю ребенка только накануне операции. И стараюсь сократить осмотр, насколько возможно».

Филипп кивнул, потом спросил, указывая на перекресток впереди.

«Ты знаешь дорогу?»

«Да».— Деон повернул руль, и «ягуар» плавно скользнул за угол.

Некоторое время Деон вел машину молча, а потом сказал:

«Но не всегда получается».

«Вот как?»

«Завтра я как раз оперирую дефект межжелудочковой перегородки. Возможно, поэтому и все эти мысли. Эта девочка сказала мне такое, что за душу взяло».

«Что же она сказала?» — спросил Филипп.

Сестра, чьи глаза над маской казались неестественно большими, робко тронула Деона за локоть. Он резко повернулся, и она невольно попятилась.

— Доктор Мурхед, профессор.

Он попытался совладать с собой, и все-таки в голосе его прозвучало раздражение:

— Что?

— Он говорит, что почти все готово, профессор.

Он кивнул и, опередив ее, пошел в операционную.

Анестезиолог молча посторонился, и Деон вновь увидел стол и равномерно сокращающееся сердце. И опять вспомнил слова девочки.

Ее звали Мариетт, и ей было восемь лет. По своему обыкновению, он до вчерашнего дня не видел ее, да и при осмотре все шло нормально. У девочки были огненно-рыжие волосы, курносый, обрызнутый веснушками нос. Она с равнодушным спокойствием позволила себя осмотреть.

Он ободряюще улыбнулся девочке, положил руку ей на грудь и, чуть приподняв брови, вопросительно посмотрел на Питера Мурхеда по ту сторону кровати.

Он забыл стетоскоп, и несколько человек поспешно предложили ему свои.

«Кровь в порядке?» — спросил он у палатного врача.

«Все нормально, профессор. И анализ мочи тоже».

— Прекрасно.

В первый раз Деон посмотрел прямо девочке в лицо. Проницательные зеленые глаза внимательно смотрели на него. Нет, это не равнодушное спокойствие.

Что она знает?

Он подмигнул ей, желая успокоить. И сразу глаза ее утратили настороженность.

«А вы — доктор ван дер Риет?» — объявила она.

«Верно. А ты Мариетт».

«Да,— серьезно подтвердила она. И вдруг улыбнулась, приподнявшись на локте, и сообщила, словно открывая ему удивительную тайну: — А у меня разбито сердце».

«Она мне сказала: «У меня разбито сердце».— Он повернулся к Филиппу.

Филипп сочувственно хмыкнул.

«Просто за душу взяло,— проговорил Деон.— Что-то меня тревожит завтрашняя операция».

Они проезжали под уличным фонарем, и Филипп посмотрел на него с веселой усмешкой.

«Почему? Есть какие-то трудности? Осложнения?»

«Нет. Все нормально. За последние два-три года — двести, а то и больше операций по поводу дефекта межжелудочковой перегородки. Просто, наверно, нервы пошаливают. Не сумел вчера спасти эту девочку...— Деон помолчал, а затем, глядя прямо перед собой, добавил:— Да и Лиза не облегчает нашу жизнь».

Филипп ответил не сразу.

«По-моему, у вас очень милая дочь».

Деон попытался найти в этих словах скрытый смысл, но не нашел и почувствовал себя увереннее.

«Может быть. Да, пожалуй. Я думаю, она в сущности хорошая девочка. Но эти замашки хиппи! И я почти уверен, что она принимает наркотики. Но что можно сделать? Уговоры бесполезны. Нынешние

дети наших доводов не слушают. Она просто отказывается говорить на эту тему. Так что же нам делать? Запереть ее на ключ? Отвести в полицию? Один бог знает».

«Да, это нелегко».

Деон натянуто улыбнулся.

«Вот именно — нелегко».

Некоторое время они молчали, глядя туда, где лучи фар выхватывали из темноты высокие заборы и живые изгороди, за которыми прятались дома и сады. Они ехали сейчас через пригород, где жили умеренно богатые белые,— это был замкнутый, тщательно охраняемый мирок. Почти сразу же за ним начинались поселки цветных, и, возможно, ощущение отгороженности и почти параноической подозрительности возникало именно из-за этого соседства.

«Слава богу, у нас еще есть Этьен,— прервал молчание Деон.— Пусть он и не родной сын».

«Не родной?..»

«Приемный».

«Ах так...»

«И как ни горько говорить это, но в нем есть все, чего нет в Лизе».

Филипп молча слушал.

«Все,— с ударением повторил Деон.— Хорошо учится. Просто блестяще. Сейчас он в Иоганнесбурге на математической олимпиаде. Очень способен к языкам и хороший спортсмен. Не выдающийся, но хороший. В начальной школе был старостой Умеет сходиться с людьми и знает, как с ними ладить. Во всех отношениях прекрасный мальчик. А вот Лиза — та не удалась.— Он грустно покачал головой.— И просто чудо, что Этьен выжил. Он родился семимесячным после попытки матери сделать аборт».

«Что?!»

«Невероятно, не так ли? В это дело оказался втянутым врач, с которым я познакомился, когда ассистировал в хирургическом. По-видимому, к нему пришла какая-то девица со своим дружком и попросила сделать ей аборт. Беременность была уже семимесячная, и он, естественно, отказался Через несколько дней она опять пришла к нему, у нее начались сильные схватки, она попыталась сделать выкидыш. Сердце плода не прослушивалось, и врач сказал ей, что ребенок мертв. Она только обрадовалась. Ну, он принял роды и, к своему ужасу, заметил, что новорожденный дышит. Он подумал, что младенец все равно не выживет, завернул его в какой-то старый свитер и оставил в приемной до утра».

«Господи!»

«Вот именно. А он не умер! Утром врач испугался и позвонил мне. Он знал, что мы с Лиз хотим усыновить мальчика. Дело в том, что после первых родов Лиз больше не беременела. И гинеколог посоветовал нам усыновить ребенка. Как бы там ни было, я поехал в город улаживать формальности с усыновлением, а Лиз привезла его домой. Я вернулся поздно вечером, а она говорит, что маленький ее очень гревожит. Я было подумал, что он умер: совсем холодный, синий и почти не дышит. Мы бросились с ним в детскую клинику. Внутривенное питание, инкубатор. Жизнь висела на волоске, но он все-таки выжил. Лиз целый месяц ухаживала за ним, она и спала рядом с инкубатором. Мы взяли его домой через три месяца, и весил он тогда четыре с половиной фунта.

«Но это же невероятно!»

«Да, пожалуй».

Глухие заборы остались позади, дома у шоссе становились все меньше и меньше.

«А как твоя мама?— спросил Деон.— Ведь она всегда была... своего рода фаталисткой. Это ее жизненная позиция. Ну, и конечно, она счастлива, что я вернулся домой».

«Да. После стольких лет».

Филипп помолчал, а потом сказал:

«Твоя мама, вероятно, тоже обрадовалась бы. Вы ведь не виделись много лет?»

Деон почувствовал, что на него из полутьмы автомобиля устремлен испытующий взгляд. Ему стало не по себе. И вместо того чтобы ответить, спросил:

«Она все такая же хлопотунья?»

Филипп натянуто рассмеялся.

«Даже слишком. Я хотел нанять прислугу, чтобы кто-то помогал ей, пока я здесь. Так нет. И слушать не желает».

«Моя мать тоже так же смотрит на это... то есть смотрела. Но после удара...» — Деон пожал плечами.

Филипп выпрямился и посмотрел вперед.

«Следующая улица налево,— сказал он.— И в конце еще раз налево».

Он показал, где остановиться. Маленький домик, похожий на все соседние. Уличный фонарь заливал светом ухоженный садик за аккуратной кирпичной оградой.

«Еще раз спасибо,— сказал Филипп.— И за то, что довез меня. Это было любезно с твоей стороны.— Он нажал на ручку, но не открыл дверцу и спросил: — Может быть, заглянешь на минутку? Мама была бы рада».

Деона это застало врасплох.

«Ну, я... ведь уже поздно. И завтра у меня нелегкий день».

Лицо Филиппа не выразило ни сожаления, ни облегчения — ничего.

«Да, конечно,— согласился он и открыл дверцу. И улыбнулся Деону.— Надеюсь, завтра все будет хорошо».

Он стоял у калитки, пока «ягуар» не отъехал. В зеркальце Деон увидел, как Филипп открыл калитку и исчез за кустами.

Деон пожалел, что отказался от приглашения, по-видимому, искреннего. «Дурак! — выругал он себя.— Подумай, что он теперь чувствует».

Но это минутное малодушие никакого отношения к расовым соображениям не имело. Просто день был долгим и тяжелым.

Может быть, он просто испугался встречи с женщиной (пусть старой женщиной, но это ничего не меняет), которая была любовницей его отца и родила ему сына?

Честно говоря, да.

И сразу же, точно все это время картина была скрыта за темным занавесом и нужен был просто сигнал, чтобы занавес поднялся и открыл то, что таилось за ним,— лицо его собственной матери, пронзительно ясный и четкий образ.

Волосы белые и редкие, как пушинки ваты. После инсульта правая сторона тела так и осталась парализованной — рот у нее перекосило, и она с трудом выговаривала слова. Но глаза следили за каждым твоим движением, словно только они и жили, а тело было всего лишь опорой для глаз, которые видели ясно, но не осмеливались судить.

«Хотя,— подумал он,— бог свидетель, я не знаю, какой приговор, вынес бы, если б пришлось судить себя. Виновен и не заслуживаю снисхождения».

«В конце недели съезжу к ней»,— пообещал он себе, но и давая клятву, почувствовал отвращение, которого он не смог подавить.

Перед его глазами возникло спокойное, ничего не требующее лицо, и он вспомнил, как это произошло год назад, когда ему позвонил почти забытый дядя.

Сначала он был сбит с толку, когда секретарша сказала, что звонит какой-то мистер Ягер из Лихтенбурга. Только после того, как совершился ритуал приветствий, он узнал этот нерешительный голос.

«Я по поводу Мэгрит, твоей матери. Понимаешь, у нее вчера случился удар. Мы только сели ужинать, а она пожаловалась, что у нее разболелась голова и никак не проходит, все хуже и хуже, и мы подумали, что ей лучше пойти и лечь...»

«Да-да,— нетерпеливо перебил Деон,— но как она сейчас?»

«В больнице. Только доктор ничего определенного сказать не может. У нее одна сторона отнялась. Она почти не говорит, но зовет тебя».

«Я сейчас же еду в Лихтенбург»,— пообещал Деон.

До города он добрался в сумерках и остановился у ворот больницы. Мать не спала, хотя ей дали снотворное. Она ждала его весь день.

Два дня спустя приехала Элизабет в своем огромном «форде». Местный врач, и так задерганный, да еще немного нервничавший в присутствии всемирно известного хирурга, ничего не брался предсказывать. Он рекомендовал пока никуда ее не перевозить, но в любом случае после выписки она будет нуждаться в тщательном уходе. Дядюшке было под восемьдесят, а его жене — семьдесят пять. Уход за больной был бы для них непосильной обузой.

Деон позвонил Боту, который в то время торговал сельскохозяйственными машинами в Натале. Он предложил — полгода она будет жить у одного, полгода у другого.

Разговор не получился. Бота все это явно не устраивало.

«Ну, хорошо, она будет жить у меня»,— наконец гневно сказал Деон.

«Думаю, это будет самое лучшее,— ответил Бот невозмутимо и добавил с нескрываемой завистью: — Ты же доктор, и у тебя большой дом. Тебе это не доставит никаких хлопот».

Элизабет все это время держалась великолепно. Она осталась в Лихтенбурге, когда Деону пришлось вернуться в Кейптаун, и дважды в день навещала бледную высохшую старуху, пока через три недели не приехал Деон и они не увезли мать к себе.

Элизабет и потом вела себя выше всяких похвал.

Мать была очень нетребовательна, но паралич обрек ее на почти полную беспомощность. Они устроили ее в свободной комнате, окна которой выходили на восток — на порт и на океан. Ее надо было одевать, мыть, кормить. К кровати провели электрический звонок, но Элизабет и горничная никогда не слышали его дребезжания.

А затем мать решила все сама, просто упав с кровати, когда потянулась за Библией, лежавшей на тумбочке. Когда ее поднимали, она жаловалась на боль в бедре.

Деон ждал с врачом скорой помощи, пока рентгенотехник проявлял снимок. Деон нервно расхаживал от двери к окну, всякий раз поглядывая на неподвижную фигуру на каталке, подбадривал мать улыбкой, гладил по плечу. Девушка вынесла снимок, еще мокрый и пахнувший фиксажем. Он поднес к свету и сразу увидел — пере-

лом шейки бедра. И с ужасом и отвращением к себе понял, что надеялся именно на это: ведь тогда мать положат в больницу.

В наказание он заставил себя просидеть с ней всю ночь. Утром в операционной его все раздражало, а вечером они с Элизабет вдруг поссорились и накричали друг на друга. Но на третий день они отправились в ресторан, а когда вернулись домой и легли, то были очень нежными и любящими — впервые за много месяцев.

Потом, когда они лежали, покрытые одной простыней, прижавшись друг к другу, он сказал:

«Знаешь, а не попытаться ли нам устроить маму в дом для престарелых?»

«Мне кажется, это было бы разумно»,— отвечала Элизабет.

Но даже тогда это было нелегко. Он мимоходом, подчеркнуто небрежным тоном упомянул об их плане матери за неделю до того, как ее должны были выписать.

«Я вчера побывал там,— сказал он ей.— Прекрасное место. Уютное, солнечное. У тебя появится много друзей».

«Да»,— кротко согласилась она. А потом заплакала беззвучно и повернулась лицом к стене, чтобы он не видел ее слез.

Когда он снова пришел к матери, она с восторгом сообщила, что может шевелить пальцами правой руки.

«Очень скоро ты совсем поправишься»,— сказал он, чтобы доставить ей удовольствие.

«Да. И тогда вы сможете рассчитать прислугу, и я сама займусь хозяйством».

Он засмеялся, а она напряженно вглядывалась в его лицо. Но что-то мелькнуло в его глазах, или, наоборот, она не нашла в них того, чего искала, потому что радость угасла, и глаза подернулись пеленой, как бывает, когда человек умирает.

Она больше не возражала и, когда ее выписали, послушно позволила сиделке отвезти себя в кресле-каталке к автомобилю.

Чемодан с ее немногочисленными пожитками лежал на заднем сиденье, и она попросила набросить ей на плечи вязаную шаль, хотя день был жаркий. Деон помог сиделке посадить ее в машину, сложил кресло-каталку и убрал его в багажник.

Затем он повез мать в дом для престарелых, и когда выезжал на шоссе, ему вдруг показалось, будто он правит катафалком.

Он заметил, что Питер Мурхед вопросительно смотрит на него

Он взглянул на открытую полость грудной клетки в ровном прямоугольнике простынь. Там пульсировал правый желудочек, на котором он вскоре сделает надрез, чтобы залатать разбитое сердце Мариетт.

«Еще одна операция — только и всего,— напомнил он себе.— Ты уже много раз их делал. Не взвинчивай себя. Забудь о доверчивых глазах, какие бы они ни были — молодые или старые. Забудь белые волосы и скрюченные пальцы правой руки, которые упорно стараются разогнуться и показать — в сущности не веря, не веря,— что они еще могут быть полезными. Забудь мать. Забудь веснушчатое курносое лицо и безотчетную беззаботную веру юности. Забудь Мариетт».

— Хорошо,— сказал он.— Продолжайте. Я иду мыться.

Глава третья

Он почти машинально подошел к крайней левой раковине. Он всегда мылся у одной и той же раковины, точно так же как всегда

ехал из дома по операционным дням одной и той же дорогой и произносил по пути одну и ту же короткую молитву. В больнице он всегда ставил машину на одно и то же место, проходил через вход для «небелых», поворачивал налево к лифту и поднимался по лестнице стороной «только для белых». Он следовал этому раз и навсегда заведенному порядку не столько из суеверия (хотя, честно говоря, было здесь и это), сколько для большей уверенности.

Он отвернул оба крана, чтобы вода шла теплая. Как следует намочил руки до локтей, наслаждаясь прикосновением воды к коже. Затем достал из корзинки щетку, намылил руки до локтей и начал тереть левую ладонь. Что-то было не так, но он думал об операции и сначала не обратил на это внимания.

У него мелькнула мысль, что, должно быть, вот так же чувствует себя боксер перед матчем, когда разминается в раздевалке и думает о своем противнике, о его сильных и слабых сторонах. Он тоже знает все, с чем может столкнуться — кровотечение, остановка сердца, фибрилляция и так далее. Каждый удар, если его тотчас не парировать, может оказаться роковым.

Длинными размеренными движениями он стал тереть внутреннюю сторону левой руки, от ладони до сгиба локтя. И тут вдруг понял и уставился на щетку. Деревянная, а не пластмассовая, к каким он привык. Он провел мыльным пальцем по щетине. Густая и жесткая.

Сбоку стояла младшая сестра, держа флакон дезинфицирующей жидкости, чтобы по первому знаку полить ему на руки. Он повернулся к ней.

— Это еще что? Это скребница, а не щетка!

Девушка поставила пластмассовый флакон на раковину и убежала. Деон отшвырнул щетку и принялся намыливать руки.

Старшая сестра была высокой, плотной женщиной с выражением вечного отчаяния на лице. И, как он уже не раз убеждался, вывести ее из равновесия не удавалось никому и ничем.

— Чем могу быть полезна, профессор?

— Эти штуки никуда не годятся, сестра. Не щетина, а иглы дикобраза.— Он взял другую щетку и потер кожу, которая сразу побагровела.— Вероятно ими очень удобно натирать полы. Но какого дьявола класть их сюда?

Она вздохнула.

— Я говорила им, что эти щетки не подойдут, профессор. Их прислал отдел снабжения. Я объясняла, что они не годятся. Позвонить от вашего имени директору по хозяйственной части?

Он покачал головой.

— Мне пора. Не стоит беспокоиться.— Он повернулся к раковине.— Этим я займусь после, сестра.

Он кончил мыться и затем, всеми силами стараясь скрыть тревогу, прошел в операционную. В воздухе чувствовался легкий запах горелого — это прижигали кровоточащие сосуды. Руки саднило от грубой щетки и дезинфектанта. Сестра помогла ему надеть халат и завязала сзади тесемки. Все его внимание теперь занимала больная на столе. Высокие «бип-бип» монитора были ровными и регулярными. Около девяноста в минуту. Манометр показывал среднее артериальное давление около семидесяти. Никакой повышенной деятельности — хороший признак.

— Как она, Том?

Анестезиолог, согнувшись в три погибели, что-то писал на операционной карточке. Он кивнул, не поднимая головы.

— В порядке! Никаких проблем.

Почему ты так волнуешься? Всего-навсего дефект межжелудочковой перегородки. Считая с врожденными пороками, ты сделал не одну сотню таких операций. В наши дни это любому ассистенту под силу. Зачем же так нервничать? Из-за одной случайной фразы ребенка? Не глупи.

Он стер тальк с перчаток и занял свое место слева. Питер обошел вокруг и стал на место первого ассистента по правую сторону, а молодой француз (стажер, в бригаде всего две недели, и пока еще все называли его официально «доктор Каррер») подошел и встал рядом с Деоном.

Перикард был открыт, и сердце работало в идеальном ритме. За каждым сокращением предсердия долю секунды спустя — сокращение желудочка.

Расширенный правый желудочек и легочная артерия выдавались вперед. Деон легонько коснулся сердца указательным пальцем и почувствовал вибрацию от крови, проходящей через отверстие в перегородке при каждом сокращении. Теперь он закроет это отверстие.

Но прежде надо до него добраться. Не повернув головы, он протянул обе руки операционной сестре.

— Анатомический пинцет и ножницы.

Сестра заторопилась и вложила ему в левую руку ножницы, а пинцет в правую. Не сводя глаз с сердечной мышцы, он положил инструмент и снова протянул руки и холодно повторил:

— Анатомический пинцет и ножницы.

Она залилась краской, поняв свою ошибку, и подала инструменты правильно.

Он заметил дрожь в руках. Впрочем, не больше обычного. Пальцы в тончайших перчатках делали тонкую работу уверенно.

Он вновь обретал веру в себя.

Зажим для предсердия на ушко. Разрез. Ножницами. Отсасываем. Маловато. Еще чуть-чуть. Пожалуй, достаточно.

Питер убрал зажим, и, пока заводил венозные катетеры в правое предсердие, сначала в верхнюю, затем в нижнюю вену, пошла кровь. Он замешкался, перехватывая вену шовным материалом, и кровь залила околосердечную сумку. Деон метнул на него свирепый взгляд.

— Туже петлю. И отсосать,— резко бросил он.

— Давление падает,— предупредил анестезиолог.

— Мы затрудняем венозный ток,— объяснил ему Деон и обжег Питера Мурхеда гневным взглядом.— Сейчас поднимется.

Питер покраснел и с помощью отсоса осушил околосердечную сумку.

Питер и стажер молча выполняли его указания. Венозная система подключена к прибору. Теперь подсоединить артериальную систему. Сначала катетер в большую артерию, через которую сердце гонит кровь по всему телу. Питер вводит артериальный катетер с точностью пикадора, который всей тяжестью наваливается на копье в боку шатающейся, с распоротым брюхом лошади.

Откуда этот образ? Испания. Ветки деревьев, гнущиеся над пыльной дорогой под тяжестью мелких сладких апельсинов, запах апельсинов, пыль и зной. Они с Элизабет едят креветок на террасе отеля в Валенсии в обществе испанских друзей, с которыми познакомились утром. Воскресная коррида в Мадриде, вызвавшая у него омерзение, и все-таки он досмотрел ее до конца.

Почему этот образ? Сейчас нет времени думать почему. Соединяем артериальную линию.

— Мартин, готовы?

— Готов, профессор.

— Машина!

— Включена.

Жужжание насоса влилось в симфонию других звуков.

Сердце начало опадать от того, что кровь теперь поступала в оксигенаторы.

— Все в порядке, Мартин?

— Да, профессор. Ток полный.

— Хорошо. Затягиваю петли на полых венах.— Он посмотрел на анестезиолога.— Стоп, вентиляция!

Шум респиратора стих.

Легкие перестали вздыматься, и сердце, освобожденное от крови, в раскрытой грудной клетке показалось вдруг маленьким и измученным.

— Начинаем охлаждение. Доведите до двадцати восьми.

— Охлаждение начато,— сказал техник.

Холодная вода пошла по радиатору. Ритм сердца замедлился.

Все шло хорошо. Аппарат выполнял свою работу за сердце и за легкие. Охлаждение защищало сердце, мозг и остальные жизненно важные органы от кислородного голодания — дополнительная подстраховка.

Теперь предстояло открыть правый желудочек и найти отверстие.

— Скальпель.

Аккуратный надрез не больше дюйма между двумя ветвями правой коронарной артерии, пересекающей переднюю стенку желудочка, и параллельно им.

— Нижний отсос.

Питер ввел наконечник отсоса в разрез и освободил камеру желудочка от все еще сочившейся крови.

Деон видел теперь внутренность желудочка, стенки которого были раздвинуты по линии разреза двумя ретракторами.

— Куда вы к черту светите? Ничего не видно.— Вновь раздражение поднялось в нем, как вода в колодце. Нет, надо держать себя в руках.

Анестезиолог поправил верхний свет.

— Так лучше?

— Неужели вы не видите, что свет падает мне в затылок?! — Он уже не говорил, а почти кричал.

— А так?— негромко спросил Том Мортон-Браун.

— Нет. Но бога ради, оставьте как есть.

Деон хоть и слышал, как анестезиолог дважды резко втянул воздух носом, но тут же забыл об этом. Он отгибал одну из створок трехстворчатого клапана, соединяющего правое предсердие и желудочек.

— Вот оно,— произнес Питер.

Деон невнятно хмыкнул. Типичный дефект в перепончатой области межжелудочковой перегородки, правда находящейся ниже, чем обычно, захватил мышечную часть перегородки рядом с трехстворчатым клапаном.

— Петельный ретрактор. Малый.

Рука сестры уже протягивала ему инструмент.

— А с ручкой подлиннее нет?

— Нет, сэр. У нас только такой.

Его губы под маской сжались.

— Держи, Питер. Поднимай, чтобы мне был виден нижний край отверстия.

В желудочек хлынула кровь, мешая смотреть.

— Не так сильно, Питер. Ты открываешь клапан аорты.

Питер слегка отпустил ретрактор. Булькнул отсос, и кровь исчезла.

— Аортальный зажим.

Он наложит зажим на аорту прямо над клапаном. Это остановит просачивание крови через клапан и прекратит ее подачу в коронарные артерии. Сердечная мышца расслабится. Биение сердца замедлится и наконец прекратится совсем.

— Еще зажим,— скомандовал он.

Анестезиолог отметит, когда сердечная мышца останется без кислорода, и будет каждые пять минут напоминать. Если это затянется, может начаться омертвение мышцы сердца.

Деон видел, как замедляется биение. Его тренированный слух будет регистрировать частоту и интенсивность биения независимо от сознания. Любое изменение сразу же воспримется мозгом как сигнал тревоги.

Теперь он ясно видел края отверстия. Слишком велико, чтобы просто стянуть их и наложить шов. Придется ставить «заплату». Сестра уже вложила иглодержатель в его протянутую руку. Она продолжала держать вторую иглу на другом конце нити, чтобы нить не зацепилась за что-нибудь.

«Бип... бип... бип...» — сигналил монитор.

Питер прихватывал каждый стежок маленьким артериальным зажимом.

Четыре стежка по периметру сечения клапана аорты. Аккуратней, не задень створки, не то клапан будет протекать.

«Бип... бип... бип».

Зажим стоит семь минут.

— Не тяните так ретрактор... эй... вы...— Он покосился на Каррера.— Это сердце, не забывайте. А не желудок.— И тут же повернулся к аппарату.— Усильте отсос, Мартин! Черт побери, за кровью ведь ничего не видно.

Он накладывал теперь шов на мышечной перегородке возле круговой мышцы трехстворчатого клапана.

Биение прекратилось.

Невидимый колокол тревоги ударил в мозгу, и он уставился на вялый неподвижный комочек в грудной клетке.

— Опустите свой ретрактор! — заорал он на француза.

Почему прекратилось биение? Из-за отсутствия кислорода или последний стежок что-то повредил?

Деон смотрел на сердце, мозг лихорадочно перебирал тысячи возможностей. Снять стежок? Убрать аортальный зажим и поднять температуру сердца? Или продолжать?

— Фибрилляция желудочков,— произнес Мортон-Браун, глядя на него поверх простынь.

— Ты слишком охлаждаешь! — взорвался Деон, хотя и знал, что причина не в этом, так как кровь уже минимум десять минут не поступала в сердечную мышцу.

Спокойно, одернул он себя. Все будет хорошо, вот увидишь. Все в порядке. Ведь так? Все в полном порядке. Успокойся и продолжай.

Он взял иглодержатель и закончил стежки вокруг дефекта.

— Тефлон! — И анестезиологу: — Снимаю зажим с аорты.

— Двенадцать минут,— напряженно сказал анастезиолог Мортон-Браун.

Сердце поднялось, наполнилось. Фибрилляция стала заметнее. Деон вырезал пластмассовую «заплату» по размеру и очертаниям от-

верстия, затем по очереди провел сквозь нее все нити и, пока Питер натягивал эту паутину, наложил ее на отверстие между камерами сердца так аккуратно и крепко, точно новую заплатку на старые брюки.

— Согревайте,— скомандовал он.

— Согреваю,— тотчас ответил техник.

Деон завязал нити достаточно туго, чтобы «заплата» сидела плотно, и в то же время постарался не перетянуть, чтобы они не сорвались и не лопнули — по три узла на каждую.

Деон зашил разрез, накладывая стежки с особым вниманием, чтобы замаскировать и унять дрожь в пальцах.

— Температура сердца?

Мортон-Браун посмотрел на свои приборы.

— Нормальная.

— Что значит — нормальная? — прикрикнул на него Деон.

Анестезиолог снисходительно и терпеливо вздохнул.

— Тридцать семь по стоградусной шкале. Назвать и по Фаренгейту?

Деон пропустил дерзость мимо ушей. Разрез был закрыт, и фибрилляция усилилась, но нормальный сердечный ритм не восстанавливался сам собой, как иногда бывает. Придется включить дефибриллятор.

— Дайте электроды.

Они тотчас оказались в его руках, и анестезиолог подключил провода.

— Тридцати ватт хватит? — спросил он.

— Начнем с тридцати.

Деон подвел один электрод под сердце, а другой поместил перед правым желудочком, зажав сердце между двумя металлическими пластинками.

— Давай, Том.

— Готово,— сказал Том.

Тело девочки дернулось. Сердце вздрогнуло и на миг замерло, словно в неуверенности. Затем сократилось. Бип... и снова — бип... Все глаза обратились на осциллограф, на мелькающие по его экрану зигзаги. Бип... бип... бип...

А ухо Деона уже уловило самое страшное. Слишком медленно!

Он посмотрел на сердце и увидел стремительное сокращение предсердий и медленное ритмичное — желудочков.

— Том, интервал процесса возбуждения постоянный?

— Не уверен.

— Ну так замерь и уверься,— приказал Деон.

Мортон-Браун повернул выключатель, и из прибора поползла бумажная лента, на которой перо самописца повторяло зигзаги, прочерчивающие экран. Он оторвал кусок и стал изучать.

— Нет. Полное несоотношение предсердия и желудочка.

Это подтверждало то, что Деон уже и сам знал. Но ему так хотелось надеяться.

Полная блокада сердечной мышцы.

Желудочки перестали реагировать на импульсы предсердий, сокращались в своем ритме, словно два упрямых музыканта играли дуэт — каждый в своем темпе, не считаясь с другим.

— Соотношение?

Анестезиолог сосчитал фазы на экране осциллографа.

— Сорок пять.

Деон посмотрел на экран, сам не зная зачем.

Полная блокада сердечной мышцы.

Значит, этим стежком он все-таки задел нервный пучок. Почему он не убрал его? Решил рискнуть. Идиот, это больной рискует, а не врач! Но быть этого не может, он ведь так осторожен! Не мог же он задеть оба пучка!

Медленные и настойчивые «бип»... бип...» монитора словно становились громче, пронзительнее, не давали думать.

Надо что-то делать. Но ничего не шло в голову. Он сумел починить разбитое сердце Мариетт, но подверг ее еще более грозной опасности. Блокада сердечной мышцы могла завершиться внезапной смертью.

У него было такое чувство, словно ребенок дал ему любимую игрушку, а он неловко уронил ее, и она разбилась на мелкие кусочки.

Может быть, вскрыть сердце, убрать «заплату» и проделать все заново? Но где гарантия, что он не сделает еще хуже? Может быть, просто снять ее — оставить отверстие открытым?

— Дайте скальпель,— сказал он сестре.

Но взяв скальпель, он заколебался.

«Подумай,— приказал он себе.— Не поддавайся панике, не принимай поспешных и неумных решений. Положись на свой опыт.

Где выход? Подожди, посмотри. А девочку пока подключи к водителю ритма».

— Сестра, электроды водителя ритма.

— Постоянные, временные?

— Давайте возьмем...— Он задумался.— Временные.

Он начал вшивать маленькие электроды на переднюю стенку правого желудочка. Руки у него дрожали, и он с трудом заставлял их подчиняться. Питер прижимал первый электрод пинцетом к сердцу, пока он завязывал шелк. Шелк прорезался сквозь мышцы.

— Да держите же эту чертову штуку! — прошипел Деон сквозь стиснутые зубы.— Смотрите, что я из-за вас натворил.— Он повернулся к Карреру: — Доктор, будьте любезны, поддержите пинцет, раз доктору Мурхеду это так трудно.

Он знал, что ведет себя нелепо и недостойно. Но ничего поделать с собой не мог. Его уверенность, что операция не удалась, что он все испортил, словно зловонная черная волна разлилась по операционной, грозя затопить их всех.

Питер был взволнован и растерян. Француз стоял как манекен, не решаясь взять пинцет. Операционная сестра, одна из лучших, так неловко подала ему иглодержатель, что чуть не уронила. Он обругал ее, и все сестры застыли в ужасе. Техники у аппарата «сердце — легкие» смотрели на него точно парализованные.

Все шло к черту. Он потеряет и эту девочку.

— Сорок,— объявил безжалостный голос анестезиолога.— Сорок два. Сорок четыре. Сорок пять. Сорок два.

Деон еле удержался.

— Заткнитесь! Я и сам слышу.

Снова испуганное молчание. Он подсоединил клеммы электродов к длинному шнуру и другой конец протянул анестезиологу.

— Подключите. Поставьте водитель на один двадцать.

Предсердия все еще бешено работали, будто решили во что бы то ни стало передать свой импульс вялым желудочкам. Ничего. Бип... бип. Слишком медленно.

— Готово, Том. Включай.

Сигнал монитора не изменился.

— Водитель включен? — волнуясь спросил Деон.

— Включен,— сказал Мортон-Браун. Он был единственным, кого

словно не касалось лихорадочное напряжение этих последних пятнадцати минут.

— Тогда прибавь мощности на стимулятор.

— Даю. Один, один и пять. Два, два и пять.

Наконец, отозвавшись на электрический импульс водителя ритма, сердце резко повысило число сокращений с сорока пяти до ста двадцати в минуту.

— Хорошо. Оставь так.

Деон почувствовал, что силы покидают его.

Тем не менее он закончил операцию, как требовал долг: отключил аппарат «сердце — легкие», проверил функционирование сердечной мышцы, распорядился несколько раз проверить давление, извлек катетеры из вен и аорты, зашил разрезы, вшил дренажные трубки в перикард и средостение. Все это он проделал почти машинально. Руки обрели обычную сноровку, но это не доставило ему ни радости, ни удовлетворения.

Память, точно клеймо, которое уже не вывести, точно рубец, который остается навсегда, каким бы толстым слоем ни наросла на нем здоровая кожа, жгло то мгновение чисто физической муки, когда он стоял над девочкой и был не в состоянии решить, что делать, чтобы спасти ей жизнь.

Деон оставил Питера и молодого француза заканчивать, снял халат и вышел в коридор, машинально сдернул маску, потом шапочку и швырнул их в корзинку. Он зашел в ординаторскую. Там в одиночестве сидел Гвидо Перино. Часы на стене показывали без четверти два. Наверно, Робби давно кончил и уехал.

Деон вспомнил о свидании, назначенном на три. Но уехать из больницы, не посмотрев еще раз девочку, он не мог. Он предпочел бы не встречаться сегодня с Триш. В нем все словно онемело. Еще люди, еще эмоции — даже мысль об этом давила свинцовой тяжестью.

Он налил себе кофе. Кофе был холодный.

На столе стояла тарелка с бутербродами. Пора было что-нибудь съесть. Но ему не хотелось.

Он кивнул Гвидо, заметил, с каким любопытством посмотрел на него молодой человек, и вышел в коридор, намереваясь вернуться в операционную и проследить за тем, как они закроют грудину.

Из дверей кабинета выглянула сестра.

— Профессор! — окликнула она.

Он обернулся, недоуменно сдвинув брови.

— Я говорила о щетках с директором.

— О каких щетках? — Он не сразу понял, о чем шла речь.— Ах, да!

— Он сказал, что ничего нельзя сделать. Дирекция приобрела их, потому что они самые дешевые.

— Старая история! — В нем проснулось утреннее раздражение.— Дирекции следовало бы узнать мнение врачей, которым приходится пользоваться этой дрянью.

— Я совершенно с вами согласна, профессор. Но боюсь, нам придется ими пользоваться и дальше. Они заказали сорок тысяч.

— Сорок тысяч... Вы шутите! — Он расхохотался.— Предположим, что в среднем вы будете стерилизовать их в автоклаве двадцать раз. Такая дрянь больше не выдержит. Но даже в этом случае их хватит на восемьсот тысяч раз! Мы будем обдирать ими кожу еще и в следующем веке! — Он продолжал хохотать. Все было так печально, что оставалось только смеяться. Смех — единственная панацея, подумал он.— Ну, во всяком случае, благодарю вас, сестра,— сказал он.

Питер вышел из операционной вместе со стажером. Они кончили, и скоро Мариетт отвезут в послеоперационную палату.

Деон покинул больницу в половине третьего. Полтора часа просидел он в послеоперационной у кроватки Мариетт и безмолвно молился, чтобы заработал ее собственный водитель ритма. Она проснулась и попыталась улыбнуться ему. Циркуляция у нее была хорошая, и дренаж оставался почти сухим. Он несколько раз отключал водитель. Но блокада по-прежнему была полной. Хуже того, когда он в последний раз отключил водитель, желудочки замерли. Он заметил, что девочка болезненно поморщилась, и понял, что ее мозгу не хватает крови. Он поспешно включил водитель ритма. Теперь ее жизнь висела на проводках-волосках, подключенных к ее сердцу. Оставалось только надеяться, что электроды удержатся на месте и проводки не оборвутся.

Вокруг пучка, возможно, образовался отек, и это усугубляет положение. Можно лишь надеяться, что это пройдет.

Он распорядился приготовить еще один водитель ритма — на случай, если тот, который ведет сердце девочки, вдруг выйдет из строя. Больше он ничего не мог для нее сделать.

Деон сел в машину. Внутри она была раскалена. Он опустил все стекла, но это не помогло. Он сидел в жаркой машине, тупо уставившись на ключ зажигания. Может быть, отменить все, что назначено на сегодня? Ведь он ни на чем не сумеет сосредоточиться, раз все его мысли заняты больной. Поехать пораньше домой? Или лучше уехать на взморье подальше от всего, что требует долг? Или отправиться в порт и бродить там среди железнодорожных составов, глядя на громады грузовых судов с названиями экзотических портов на корме, и следить, как тонкокрылые чайки пикируют вниз и ссорятся из-за отбросов, плавающих на шелковисто-зеленой глади воды?

Тяжело вздохнув, он повернул ключ и задним ходом выехал со стоянки. Заманчиво. Но невозможно.

Он свернул в ворота медицинского колледжа. Его место на стоянке оказалось занято — на автомобиле номерной знак управления провинции. Вне себя от бешенства он готов был врезаться в эту машину, чтобы в тот безумный миг, когда заскрежещет металл и зазвенит разбитое стекло, найти освобождение от всего, что его терзало. Но только глубоко вздохнул и проехал мимо.

Когда он нашел свободное место, подъехала еще одна машина с таким же номерным знаком. Шофер вылез, взял с заднего сиденья один-единственный в штативе капилляр с кровью и скрылся в здании, где находилась лаборатория определения группы крови.

«Невероятно! — подумал Деон.— Такого рода вещи случаются здесь по сто раз на дню. Если б они отказались от одной машины и потратили лишние четверть цента на щетку для мытья... А, к черту все это».

Он поднялся по лестнице и вошел в отделанный панелями свой кабинет с книжными шкафами вдоль стены и маской африканского колдуна между окон. Напротив письменного стола висел портрет Элизабет. Они заказали его вскоре после свадьбы, и художник запечатлел выражение дерзкой веселости на ее лице.

«Это выражение исчезло,— подумал Деон.— Ну, что же, ничто не вечно».

Он опустился в кресло за столом чуть тяжелее, чем обычно. И тут вошла секретарша с неизменным блокнотом. Увидев выражение его лица, она вдруг замялась.

— Добрый день, профессор. Как прошла операция?

— Здравствуйте, Дженни.— Он поморщился.— Блокада сердца.

— Господи! — Она смущенно отвела глаза и тихо спросила: — Подать вам чаю?

— Нет, спасибо. Кто-нибудь звонил?

— Профессор Дэвидс. Просил позвонить, если сможете.

— Соедините меня с ним, пожалуйста.

— Он сказал, что будет до часу дня, профессор. А потом только после половины шестого.

— Хорошо. Я позвоню из дома. Что еще?

— Несколько писем. Ничего срочного. Из бюро путешествий прислали маршрут вашей поездки по Австралии.

— Все?

— В три часа вы назначили прийти миссис Седаре.— Она посмотрела на часы.— В вашем распоряжении еще есть пятнадцать минут.

— Я помню.

— Это все, профессор.

— Благодарю вас.

Дженни включила кондиционер, но Деону по-прежнему было жарко. Он повернул ручку до отказа и вернулся на свое место.

Триш. Сколько лет прошло! Какая она теперь? Он получил диплом в пятьдесят третьем, и с тех пор они не виделись.

Помнит ли он хотя бы, какой она была? Удивительные густые медно-рыжие волосы. И свободная легкая походка... Но вот глаза у нее — голубые или серые? А черты лица? Голос он слышал вчера по телефону. Низкий — ниже, чем у большинства женщин, почти хриплый.

Ну, а еще? Больше ничего.

Память — вечная предательница. Веришь, что никогда не забудешь, и забываешь.

Седара. Что это за фамилия? Каррер — француз. А Седара? Может быть, испанец? Они ведь, кажется, не дают женщинам воли и держат их чуть ли не взаперти. Триш с ее необузданной любовью к свободе — неужели она нашла удовлетворение в кухне, детях, церкви и обществе дуэньи?

Он почти ничего не знал об Испании, хотя они с Элизабет были там. И тут он понял, почему утром во время операции ему вдруг вспомнился бой быков в жарком Мадриде.

Все время, пока они жили там, в Испании, он надеялся и ждал. Однажды он увидел вдалеке женщину с пышными темными волосами и кошачьей походкой. Наспех придумав какой-то предлог, он оставил Элизабет и догнал эту женщину. Оказалось, что он никогда ее прежде не видел.

Он решительно взялся за лежавшие перед ним бумаги.

Дженни, как всегда, тихо и словно виновато постучала в дверь.

— Простите, профессор. Миссис Седара. Могу я пригласить?

— Пожалуйста.

Вставая из-за стола, он поправил галстук и пригладил волосы ладонью.

Дженни отступила, пропуская вперед темноволосую женщину с маленьким мальчиком, которого та вела за руку. Деон, улыбаясь, двинулся навстречу. Лицо было чужое — и в то же время такое же знакомое, как его собственное. Но после первого внимательного взгляда он рассматривал уже не ее, а мальчика.

Косой разрез глаз. Редкие волосы. Голова приплюснутая и маленькая. Язык с трудом умещается во рту.

Синдром Дауна.

Деон сумел совладать с собой, и лицо его не выразило ни удивления, ни сочувствия. Он как будто ничего не заметил.

— Триш? — сказал он.— Как я рад тебя видеть! Ну, садись же!

Он подвинул стул ребенку, который смотрел на него раскосыми, ничего не выражающими глазами. Триш подхватила мальчика и посадила на стул. Тот продолжал смотреть на Деона.

Деон сел в кресло. Как хорошо, что их разделяет стол!

— Твой звонок был полной неожиданностью. И очень приятной.

Триш посмотрела на него серьезным прямым взглядом, который Деон тут же вспомнил, и давно, как он думал, зажившая рана запылала, напомнив о прошлом.

— Очень любезно с твоей стороны, что ты принял нас так быстро.

— Какие пустяки!

Он тут же пожалел о своих словах. Но она как будто не обратила на них внимания. Она смотрела на мальчика.

— Это Джованни,— сказала она.— Мой сын.

Господи! Бедная Триш.

А она продолжала спокойным голосом:

— Как видишь, синдром Дауна. Но у него еще и порок сердца. Вот почему я приехала к тебе.

Деон пристально посмотрел на мальчика. Да, синеватые губы и кончики пальцев. Ему стало досадно, что он не заметил этих симптомов, сосредоточившись на очевидном.

Она выжидающе смотрела на него.

— Ты можешь помочь Джованни?

Он кашлянул, прикрыв рот рукой.

— Посмотрим,— уклончиво ответил он.— Скажи-ка, его обследовали? Я имею в виду сердце. Какой-нибудь кардиолог его смотрел?

— Ну, конечно, в Италии его обследовали.

— В Италии?

— Да. Я теперь там живу. Под Неаполем.

— А не в Испании?

— Я действительно жила в Испании, а потом уехала в Италию.

— А твой муж? Он переехал с вами?

— Мой муж умер,— сухо сказала она.

Он растерялся, потом придал лицу положенное выражение сочувствия, тщетно подыскивая подходящие слова. Но она нетерпеливо передернула плечами, словно отстраняя что-то ненужное,— это движение он тоже вспомнил.

— Важно одно: можешь ли ты что-нибудь сделать для Джованни?

— Не будем забегать вперед. Что сказали врачи в Италии?

— Они нашли у него тетраду Фалло.

— Ах, так! Вполне возможно. Это часто встречается у детей с синдромом Дауна.

— Они мне так и сказали.

— Почему ты привезла его сюда, Триш? В Европе много хороших кардиологических больниц.

— Пока он был маленький, они не брались оперировать из-за возраста. А теперь советуют вообще отказаться от операции. Они говорят, что стать нормальным он не может и лучше дать ему умереть. Поэтому я привезла его к тебе.

Она смотрела на него прямо и открыто. И он понял...

Внимание ее отвлек мальчик. Он сполз со стула и раскачивающейся, разболтанной походкой направился к маске за плечом Деона, с которой не спускал глаз все время, пока они разговаривали. Он потрогал маску и с восторженной улыбкой повернулся к матери.

— Джованни! — сказала она предостерегающе.

Мальчик тут же отдернул руку, но сияющая улыбка не сходила с его лица.

— Не беспокойся,— вмешался Деон.— Ей ничего не сделается.

Она снова повернулась к нему.

— Так ты прооперируешь его?

— Посмотрим,— повторил он.

Он был в полной растерянности. Подобное решение было нелегко принять. И особенно теперь. Когда-то он любил ее, и так ли уж совсем угасла эта любовь? Когда-то он оставил ее без помощи. Оставит ли он ее без помощи сейчас? Их ребенок, ребенок, которого он вынудил ее уничтожить, родился бы нормальным? Почти наверняка — да.

— Ты захватила с собой анализы? Рентгеновские снимки, электрокардиограммы и все прочее?

— Нет. К сожалению, нет,— ответила она расстроенно.

— Неважно. В любом случае пришлось бы проделать все заново.

Он нажал на клавишу селектора, и сразу раздался голос Дженни.

— Соедините меня, пожалуйста, с кардиологической клиникой.

Он снова наклонился к Триш, упершись локтем в стол.

— Нельзя сказать, можно ли сделать что-нибудь для Джованни, пока не ясна картина в целом.

— Мне сказали, что это тетрада,— быстро повторила она.

— Возможно. Но надо знать наверное. Видишь ли, существуют и другие врожденные дефекты сердца.

Раздался зуммер селектора.

— Кардиологическая клиника,— объявила Дженни.— Доктор Схуман.

— Извините,— сказал Деон, прикрывая трубку рукой.— Иоганн? Это Деон. Когда бы ты мог осмотреть мальчика пяти лет, указания на тетраду Фалло? — Несколько секунд он молча слушал, затем сказал:— Сначала осмотрим его, а уж тогда будем решать, есть ли нужда в катетеризации.

Триш поднялась и начала разглядывать картины и дипломы на стенах. При этих словах она обернулась и выжидающе посмотрела на него.

— Прекрасно. Я спрошу у матери.— Он опять прикрыл трубку рукой.— Сегодня в четыре тебе удобно? — Она благодарно кивнула, и он сказал в трубку: — Мальчика зовут Джованни Седара. Да, итальянец. И, пожалуйста, не заставляй их ждать в коридоре. Спасибо, Иоганн.

Триш стояла у портрета Элизабет. Не оборачиваясь, она сказала:

— Спасибо, Деон. Это твоя жена?

— Да.— Что еще он мог ответить?

— Красивая.

— Портрет написан очень давно. Но она по-прежнему красива.

Триш снова села. Мальчик ходил за ней по комнате и теперь, шаркая, направился к своему стулу. Он взобрался на сиденье и замер, глядя в пространство. Ноги его не доставали до пола и чуть покачивались.

— Когда кардиологи разберутся что и как, продолжим этот разговор,— сказал Деон. Он посмотрел на часы.— У тебя еще есть чем заняться до четырех? Сейчас только четверть четвертого. Ты на машине?

Она тряхнула головой. Волосы теперь были коротко острижены, но движение осталось тем же, как в то время, когда они тяжелыми прядями ниспадали на плечи. У Деона защемило сердце.

— Подожди-ка,— сказал он.— Давай выпьем чаю. А потом я тебя отвезу в клинику.

Она выпрямилась на стуле.

— Нет! С какой стати! Я и так отняла у тебя...

— Никто ни у кого ничего не отнимает,— твердо сказал он.— Джованни любит лимонад?

— Это очень мило с твоей стороны, но, право, не стоит.

— Я прошу.

Она поглядела на него, слегка улыбнулась и откинулась на спинку стула. Он нажал на кнопку и попросил Дженни подать чай.

Триш обвела взглядом комнату.

— Ты прославился. Твою фамилию нет-нет да упоминают даже итальянские газеты.

— От жизни я ждал не совсем этого,— сказал он.

— Жизнь редко оправдывает наши ожидания.

— Но тут есть свои положительные стороны.

— Вероятно.

Он откинулся в кресле.

— А ты? Расскажи мне о себе. Обо всем, что с тобой было.

Сначала из нее приходилось вытягивать чуть ли не каждое слово. Она начинала фразу и не кончала, как будто не умея выразить свои мысли. Но затем разговорилась. Ее лицо и голос оживились, и он то и дело узнавал былые манеры — привычку взмахивать открытой ладонью, страдальческий изгиб губ в печальной улыбке, движение головы. Все это воскрешало прежнюю Триш, ту Триш, которую он когда-то любил.

Она рассказывала, а он не таясь разглядывал ее и оценивал, как обошлось с ней время. Она была на два года моложе его, стало быть, ей теперь сорок три. На вид ей нельзя было дать столько. И дело вовсе не в том, что она следит за собой, подумал он. В ней сохранилась та жизненная сила, что неподвластна возрасту.

В свое время он создал себе этот образ: Триш в своей студии-мансарде где-то в Испании пишет картины, не меняясь, не старея, ни на йоту не поступаясь свободой, которую обрела. Этот образ он творил и лелеял много лет и теперь нелепо, по-детски обрадовался, что во многом не ошибся.

Первые полгода после приезда в Испанию она жила в Барселоне. Но затем оказалось, что оставаться там — ей не по средствам. Она перебралась в Малагу. Там она и познакомилась с Робертом, он американец — писал книгу об американских эмигрантах, а на жизнь зарабатывал мелкой журналистской работой.

— Роберт,— повторил Деон.

— Да,— кивнула она, но сделала вид, будто не заметила его немого вопроса.— В общей сложности я прожила в Испании три года. А потом уехала в Италию, в Рим.

Но Деон все еще думал об этом американце. Любовник? Конечно. Тут не могло быть сомнений.

— А чем ты занималась? — спросил он с рассчитанной небрежностью.

— Главным образом живописью.

Она сказала это безразличным тоном. Но быть может, она что-то скрывала. Да, конечно.

— А кроме живописи?

— Как ни странно, давала уроки английского языка.

Среди ее учеников в Риме был мелкий неаполитанский предприниматель Риккардо Седара. Он получил назначение в консультативную миссию ООН по вопросам экономики и хотел потренироваться в английском.

Он ей понравился, несмотря на разницу в возрасте: ему перевалило за сорок пять. У него было несколько небольших фабрик, но он весело признался, что ничего не смыслит в экономике.

С ней он держался очень вежливо, был предупредителен и корректен. Она давала ему уроки полгода по три раза в неделю, и за все это время он ни разу даже не взял ее за руку.

Однажды, придя на урок, он застал ее в слезах над письмом.

— От Робба,— пояснила она Деону.

— От американца?

— Да.

— А почему ты плакала?

— Неважно. Я ведь рассказываю про Риккардо.

Риккардо сидел, неловко выпрямившись на жестком стуле в ее маленькой римской квартире, и говорил, говорил. Впервые за все время их знакомства он впустил ее в свой душевный мир. Он рассказал ей про свою жену. Она умерла — покончила с собой, когда молодой немец-механик, который обслуживал ее машину и с которым она в конце концов бежала, бросил ее. Она закрылась в этом самом автомобиле и отравилась выхлопными газами. Детей у них не было.

Они с Триш разговаривали до самых сумерек, а потом пошли бродить по городу. Был летний вечер, по-грозовому жаркий и душный. На улицах было полно народу, но они шли, никого не замечая вокруг.

— Ты... э-э... рассказала ему и обо мне? — спросил Деон.

— Да.

Деон задумчиво потер подбородок.

— Странно,— сказала она,— мы встречались три раза в неделю и вели долгие разговоры. Но по-настоящему не говорили никогда.

А теперь они говорили без умолку и были не в силах расстаться. Пять дней они провели вместе в Риме. Затем уехали в Неаполь и поженились.

Они были счастливы. Риккардо был нежным и терпеливым.

— Он обладал даром чуткости. Благодаря ему я вернулась к живописи.

Он устраивал выставки ее картин в Риме, а потом и в других городах. Он очень гордился всем, что она делала. Единственной тенью, омрачавшей их жизнь, было то, что она как будто не могла иметь детей. Но потом, когда ей исполнилось тридцать восемь, она забеременела. Риккардо был вне себя от восторга. А девять месяцев спустя она стала вдовой и матерью неполноценного ребенка.

— Он погиб в автомобильной катастрофе за две недели до того, как родился Джованни.

— Какая трагедия.

— Да.— Она смотрела куда-то мимо него.— Первые дни мне хотелось одного — умереть. Но я носила под сердцем его ребенка и потому должна была терпеть и жить. Ну, а потом родился Джованни. Я ничего не знала. А потом пришли врачи и сказали, что Джованни родился с синдромом Дауна. Они советовали не брать его домой. Они сказали, что было бы ошибкой привязаться к нему. Он будет только бременем, и меня ждут одни страдания. Словно можно было еще что-то добавить к моим страданиям. Деон, ребенка начинаешь любить не после того, как он родится. Его любишь с той минуты, когда узнаешь, что он будет. Мой ребенок — особенный. Я приняла Джованни таким, каков он есть. Так вот, я должна сделать все, чтобы в пределах его возможностей он жил полной жизнью.

Она замолчала. Все? Сказать, что им пора?

Зажужжал селектор, и он с облегчением нажал на клавишу.

— Да?

— Извините, что помешала, профессор,— сказала Дженни.— Звонит ваша жена.

Глава четвертая

— Деон? — Голос Элизабет был резкий и настойчивый.

— Да, я слушаю,— сказал он.

— Прошу тебя, приезжай домой.

— Домой? — Его стесняло присутствие Триш. Он крепче прижал трубку к уху.— Что случилось?

— Неужели недостаточно того, что я прошу тебя приехать? Значит, это нужно. Можешь ты сделать раз в жизни, как я прошу?

Ее раздражение усилило его собственное. Но он заставил себя сдержаться, хотя и с трудом.

— Видишь ли, сию минуту я не могу приехать. У меня пациент. А потом я еще должен вернуться в детскую клинику, там...

Он услышал, как она задохнулась от гнева.

— Пациенты! Клиники! Операции! Дети! Ничего другого мы от тебя не слышим. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что у тебя самого есть дети?

— Элизабет, прошу тебя, успокойся. Если это так важно, я, конечно, приеду. Но...

— Поди ты к черту!

И раздались короткие гудки.

Деон отвел трубку от уха и растерянно посмотрел на нее. Затем перевел взгляд на Триш и попытался улыбнуться.

— Мне звонила жена.

Она тут же поднялась.

— Мне пора.

Он остановил ее движением руки.

— Нет, пожалуйста. Я...

Но она решительно покачала головой.

— Нет-нет, я ухожу. Я не хочу опаздывать.

— Хорошо. Я подвезу тебя до клиники. Мне все равно по пути.

По дороге в клинику они почти не разговаривали. Он с некоторой тревогой вспоминал звонок Элизабет. Что там могло стрястись? Конечно, ничего серьезного, иначе она сказала бы. Наверняка повздорила с прислугой, вот и все. Или с Лизой.

Он предложил Триш проводить ее в клинику, но она отказалась.

— Завтра у нас будет диагноз кардиологов,— сказал он.— Так я жду тебя во второй половине дня примерно в это же время.

Улицы, как всегда в дневное время, были запружены машинами, и до детской клиники он добрался только около половины пятого.

В послеоперационной дежурил Мулмен, высокий невзрачный молодой человек.

— Как дела? — спросил Деон, одним взглядом охватывая все, от осциллографа до дренажных бутылочек мочеприемника и кривых на графике. Он уже продумал увиденное, проанализировал, сделал выводы.

— Она была чуть беспокойна,— сказал Мулмен.— Так что я дал ей пять миллиграммов петидина, и она уснула.

Мариетт лежала с закрытыми глазами. Рот и нос закрывала кислородная маска, из ноздри торчала тонкая трубочка. Деон подошел к кровати и потрогал ноги девочки. Теплые, пульс отчетлив. Хоть циркуляция в порядке.

На диаграмме ритм миокарда шел ровной линией, зубцы QRS показывали устойчивые сто двадцать два удара в минуту. Водитель

ритма не способен менять скорость в зависимости от требований организма. Деон поборол искушение дотронуться до рукоятки прибора, просто чтобы посмотреть, что получится. Он знал: это ничего не даст.

— Ну, хорошо. Я еду домой.

— Только малыш Маньяни, сэр...

— Маньяни? — Деон, сдвинув брови, посмотрел на дежурного врача. Ах, да. Ну конечно. Маленький африканец из Транскея. Врожденный порок. Операция на прошлой неделе. Он видел его сегодня на утреннем обходе. Шумы вверху слева, как полагается.— Да, я знаю. Так что с ним?

— Число дыханий постоянно увеличивается. Циркуляция стала хуже, и мочился он всего два раза.

— Идемте взглянем на него.

Маленькому Маньяни стало заметно хуже. Дыхание — шестьдесят в минуту, пульс — хуже некуда. Он был холодным, и синюшный цвет проступал отчетливей, чем утром.

Он взял у Мулмена стетоскоп и послушал легкие. Большой участок не прослушивался, в основании правого — бронхиальные хрипы. По меньшей мере половина этого легкого спалась.

— По-видимому, коллапс средней и нижней долей.— Он начал отдавать распоряжения: — Отправьте назад в послеоперационную палату. Рентген грудной клетки. Капельницу. Введите отсос в трахею, чтобы привести легкие в порядок, на ночь — кислород. Я буду дома. Как только будет готов снимок, позвоните.

Он нашел Элизабет в спальне. Шторы были задернуты, и она лежала в полумраке, глядя широко раскрытыми глазами в потолок.

Он сделал вид, что не замечает сигнала опасности.

— Ну и денек выдался. Все шло не так.— Он снял пиджак, повесил в шкаф.

— Я очень, очень тебе сочувствую,— сказала она глухо.

Он повернулся, продолжая развязывать галстук, и поглядел на нее.

— Можно бы обойтись без иронии, тебе не кажется?

Она сердито фыркнула.

— Ирония? Как будто ты способен заметить, с иронией я говорю или нет. Может быть, тебе будет интересно узнать, что твоя дочь вернулась домой в сопровождении полицейских.

— Полицейских?

— Вот именно. Но ты, разумеется, настолько занят, что до собственных детей тебе дела нет.

— Но почему?

— Потому что она танцевала на Гринмаркет-сквер и сама себе подпевала.

— Она что... Это наркотики?

— Что же еще?

Он подергал полуразвязанный галстук.

— Не понимаю, что творится с девочкой.

— Ты прекрасно знаешь, что с ней творится.

На его тумбочке зазвонил телефон. Деон вздрогнул, быстро шагнул к нему и схватил трубку.

— Слушаю.

— Профессор ван дер Риет?

— Да-да.

— Это Мулмен, сэр. Простите, что беспокою вас.

— Неважно. В чем дело?

— Вы же сказали, сэр, чтобы я позвонил, как только посмотрю снимки. Так вот, снимок показывает затемнение правого легкого приблизительно на две трети. Рентгенолог говорит, что это коллапс нижней и средней долей.

— Так. Я сказал вам, что делать. Вы перевели малыша в послеоперационную?

Молодой человек нервно кашлянул.

— Сестра говорит, что она не может принять ребенка в палату.

— Что?

— Она говорит, что не может принять ребенка банту, потому что там лежит белый ребенок,— убитым голосом сообщил Мулмен.— Я приготовил капельницу, сэр. Придется все делать здесь.

— Какого черта... Это был единственный довод? Только потому, что в отделении лежит белый ребенок?

— Да, сэр.— Мулмен помялся.— Но мне кажется, это исходит не от сестры. Так распорядилась старшая сестра.

— При чем здесь она?

— Сестра сообщила, что к ней кладут нового больного, и та велела не принимать.

— Какое право имеет старшая сестра указывать, где мне лечить моих больных?

— По-моему, так распорядился директор.

— Слушайте внимательно. Возьмите ребенка на руки и отнесите в послеоперационную палату. И тому, кто попробует вам помешать, придется плохо. И вызовите Тома.

— Уже вызвал, сэр. Он едет.

— Молодец. А как Мариетт?

— Все в порядке. Если не считать блокады.

— Хорошо. А теперь делайте, как я велел. Я сейчас буду. — Деон положил трубку.— Где Лиза? — спросил он.

— У себя в комнате,— ответила Элизабет.

— Ну, так пусть там и остается. Я должен съездить в больницу, но скоро вернусь.

Элизабет не ответила, даже не взглянула в его сторону.

Он принялся завязывать галстук, а сам весь кипел при мысли о вмешательстве директора. А он-то думал, что они с ван Рином хотя бы с этим вопросом покончили. Когда он начал оперировать в детской клинике, там нашлось место только для одной послеоперационной палаты. И вот, чтобы не допустить «смешения рас», он был вынужден одну неделю оперировать только белых, а в следующую — только цветных и черных. Но, разумеется, из этого ничего путного не вышло. Болезни не признают расовых запретов. Он объяснил все это директору как мог тактичнее: «Из этого ничего не выходит, да и никогда не выйдет. В будущем я не намерен больше морочить себе голову цветом кожи моих пациентов. Я буду оперировать и выхаживать всех детей вместе!»

Директор прекрасно понимал положение, но боялся взять на себя ответственность.

«Все это очень хорошо, Деон. Но мы обязаны подчиняться законам страны. Вы же знаете».

«Ну, если вы намерены столь строго соблюдать закон, так должны запретить мне оперировать в одной операционной белых и черных, используя один и тот же наркозный аппарат».

Доктор ван Рин развел руками.

«Деон, моя обязанность — следить, чтобы в больнице все делалось в соответствии с правилами».

«К черту правила! Вы прекрасно знаете, что они никуда не годятся. И в будущем я не намерен тратить время на соблюдение их».

Директор вздохнул и стал смотреть в окно.

«Поступайте как знаете. Я на вас доносить не собираюсь. Но рано или поздно родители какого-нибудь белого ребенка устроят скандал!»

Директор разговаривал со старшей сестрой у дверей послеоперационной палаты. Тот факт, что без четверти шесть ван Рин был еще в больнице, хотя официально рабочий день давно окончился, заставил Деона усмехнуться. Надвигается решительное объяснение. Ну и прекрасно.

Он коротко кивнул обоим и прошел мимо

— Профессор ван дер Риет! — окликнул его ван Рин.

Деон остановился у стеклянных дверей палаты и повернул голову.

— Не могли бы вы уделить мне минуту-другую? — спросил ван Рин.

А не броситься ли в нападение самому, пока не прошла злость? Может быть, высказать все, что он собирался высказать? Но сначала — самое главное.

— Немного погодя.— Он взялся за ручку двери.— Вы подождете? Я должен взглянуть на своих больных.

Мулмен, Том Мортон-Браун и сестра стояли, наклонившись над кроваткой в углу. Анестезиолог уже ввел в легкое малыша трубку с тонким резиновым катетером. Он взглянул на подошедшего Деона и продолжал отсасывать.

Мулмен тоже посмотрел на него. Он силился сохранить спокойствие, но Деон заметил мольбу в его глазах. Молодой врач нарушил правила и нуждался в поддержке.

— Очень хорошо,— сказал Деон.

Мулмен судорожно дернулся точно марионетка в руках неопытного кукольника. И робко улыбнулся.

Мортон-Браун вывел катетер.

— Вот в чем дело,— сказал он. И показал кончик катетера, с которого свисал большой комок мокроты.

Черный малыш с ужасом вращал глазами. Он выгибался, стараясь вырваться из рук сестры.

— Это из бронха?

— Точно не скажу,— ответил анестезиолог.— Но в любом случае этому там делать нечего. Через минуту я еще отсосу, только сначала дам ему кислород.

У ребенка уже был не такой синюшный вид.

Деон кивнул.

— Отлично, Том. Я вернусь через несколько минут.

Он остановился возле Мариетт. Девочка лежала спокойно, и суета у соседней кровати ей нисколько не мешала. Вот ее присутствие в палате черного ребенка совершенно не трогает, подумал Деон. В отличие от всех остальных.

Директор стоял в коридоре один. Увидев Деона, он направился на лестничную площадку, где можно было не опасаться, что их услышат.

— Деон, вам не следовало этого делать.

— О чем вы говорите?

— Подбрасывать сюда этого черного малыша. Так не делают. Вы же подрываете мой авторитет.

Деона душил гнев. Этот бюрократ, этот врач, отсиживающий свое

время от сих до сих. Когда он в последний раз лечил кого-то? Администратор! Что он знает? Разве он способен понять, что это такое — спасти жизнь, а потом видеть, как она угасает?

Ему надо было сказать так много, что он не знал, с чего начать.

— Неужели вы не понимаете, что это в ваших же интересах? — спросил ван Рин.

— Благодарю вас!

Деон почувствовал, что устал.

Он медленно повернулся, чтобы идти в палату. И тут же остановился.

— Объясните мне одно. Уже несколько лет в этой палате у меня лежат и черные, и белые. Вы это знаете. Мы договорились, что в случае неприятностей ответственность я беру на себя. Так почему вы решили вмешаться именно сегодня?

— Я думал, вы знаете.

— Что?

— Ребенок, которого вы сегодня оперировали... Эта девочка. Разве вы не знаете, чья она дочь?

— Мариетт Джуберт. Направлена из Свеллендама. Это все, что мне известно.

Директор покачал головой, словно дивясь такому полному и откровенному невежеству.

— И вы не знаете, кто такой Джуберт?

— Нет. И не особенно интересуюсь.

— Но поймите же! Потому я и вынужден был вмешаться. Ради вас. Это же П. Д ж. Д ж у б е р т. Тот самый П и т Д ж у б е р т, член парламента, один из самых ярых националистов. Он скоро должен стать членом кабинета. Вы представляете, что он скажет, если узнает, что его дочь находится в одном помещении с черным младенцем?

Деон притормозил, пропуская автобус с надписью «только для белых», и повернул в ворота детской клиники.

В это утро он чувствовал себя отлично. Даже вчерашняя стычка с директором и предчувствие, что добром она не кончится, не могли заглушить эту радостную приподнятость.

Он представил ультиматум доктору ван Рину.

«Переводите малыша,— сказал он ван Рину,— только лечите его тогда сами. И если что-нибудь случится с ребенком, берегитесь».

Директор повернулся на каблуках и удалился.

Вчера вечером Деон дал себе слово, что уйдет из клиники прежде, чем все это сломит его. Почему он должен изо дня в день лезть на стену из-за очередных административных глупостей?

К концу дня поднялся сильный юго-восточный ветер, и на открытом склоне машина содрогалась под его натиском. Деон ехал домой совсем без сил, готовясь встретить то, что его там ждет.

Лиза все еще была у себя и к столу не вышла. Они с Элизабет кончили ужин в ледяном молчании. Наконец он резким движением отодвинул стул.

— Ты что-нибудь оставила для Лизы? Я отнесу.

— В духовке. Сомневаюсь, что она станет есть.

На первый его стук Лиза не отозвалась. Но когда он постучал еще раз, из комнаты донесся ее приглушенный голос:

— Не заперто.

Он вошел; она сидела на кровати по-турецки. На ней не было ничего, кроме трико.

— Лиза, зачем ты это делаешь?

Она не стала притворяться, будто не понимает, о чем он говорит.

— Потому, что мне это нравится, папа.— Она поставила тарелку с едой на подушку. И вдруг посмотрела на него.— А зачем ты пьешь?

Что ему оставалось ответить? «Потому, что мне нравится?»

— Это разные вещи.

— Еще бы! — вспылила она, совсем как Элизабет.— Но разница в том, что один дурман разрешен, а другой нет.— Ее карие глаза глядели спокойно, подбородок был вызывающе вздернут.— Ты пьешь, чтобы расслабиться. Я курю марихуану, чтобы уйти от действительности. Но только ты просыпаешься с больной головой, а я нет. Ты отравляешь свой организм, свою печень... ну, ты врач, тебе это лучше знать, а марихуана безвредна.

— Ну, ты как будто все тщательно продумала,— сказал он спокойно.— Но скажи мне, почему ты со своими наркотиками бросила школу, затем колледж? За свои восемнадцать лет ты ничего не добилась, ведь так? А я хоть и пью, но добился успеха. Как ты это объяснишь?

Лиза отвела глаза. После некоторого молчания она спросила вполголоса:

— А ты его добился, папа? Добился?

Несколько секунд он смотрел на нее, потом наклонился, поцеловал в щеку и вышел из комнаты.

Свет в спальне не горел, и он разделся в темноте. Накрыл голову подушкой, но мозг продолжал лихорадочно работать.

Лиза. Лиза. Лиза. Он так много ждал от нее. В чем корень зла? Может быть, он слишком многого ждал?

Наконец он заснул и был разбужен звуком, который ненавидел больше всего на свете,— телефонным звонком среди ночи. Он нащупал трубку.

— Это Мулмен, профессор.

А, черт!

— Ну, что еще?

— Сэр, у Мариетт вдруг началась сильная фибрилляция. И давление упало. С семидесяти пяти до шестидесяти пяти.

Сквозь голос Мулмена пробивались «бип, бип» монитора. В телефонной трубке они звучали выше и пронзительней, чем в палате.

— Это произошло внезапно? — Деон собирался с мыслями.

— Да, профессор. Все было прекрасно, отличный ритм, сто двадцать один. И вдруг фибрилляция. Вы приедете, профессор?

— Хорошо. Но сначала сделайте вот что: я подержу трубку, а вы отключите водитель ритма, и посмотрим, что получится.

— Вы хотите, чтобы я...

— Отключите водитель,— повторил он твердо.— Я буду слушать.

Мулмен, очевидно, уронил трубку, так как раздался треск. Потом он различил равномерное постукивание — по-видимому, трубка раскачивалась на шнуре и ударялась обо что-то. Тем не менее он слышал сигналы монитора так отчетливо, словно стоял рядом в палате. Бип. Бип. Бип-бип. Биб-бип. И вдруг — чудо: они стали ритмичными. Бип. Бип. Бип. Бип. Он считал. Ровно сто тридцать ударов в минуту. Он слушал, как Мулмен бежал к телефону.

Молодой врач захлебывался словами:

— Профессор!.. Восстановился... Нормальный ритм. Прекрасный нормальный ритм!

Деон слушал срывающийся от исступленного восторга голос Мулмена и сигналы монитора на заднем фоне.

— Великолепно, мой мальчик,— сказал он наконец.— Теперь слушайте. Поставьте монитор на сто в минуту и не отключайте — на случай, если вновь возникнет блокада. Хотя я уверен, что теперь все будет в порядке. А как малыш?

— Гораздо лучше, профессор. Я только что смотрел рентгенограмму: легкое почти полностью в норме.

— Хорошо. Звоните, если вас что-нибудь потревожит.

Едва они сели завтракать, как позвонил Питер Мурхед. Когда Деон положил трубку, Элизабет театрально вздохнула.

— Боже мой, неужели они не могут хоть на минуту оставить тебя в покое?

— У Питера возникли кое-какие трудности в главном корпусе,— терпеливо пояснил он.— А на его суждения я сейчас не очень полагаюсь.

Она понимающе посмотрела на него.

— Опять неприятности с женой?

— По-видимому.

На этот раз в ее вздохе было меньше театральности и больше сочувствия.

— Бедняга! Она же настоящая ведьма.

Он посмотрел на часы.

— Пожалуй, я не буду завтракать. Мне надо взглянуть на больного, по поводу которого звонил Питер, а в детскую клинику я опаздывать не могу: у меня с утра операция.

Она вздохнула с прежней театральностью, разыгрывая роль страдалицы и, как подозревал Деон, получая от этого немалое удовольствие.

Пока он осторожно вел машину по крутым поворотам шоссе, мысли его были заняты женой и их браком. Все обернулось не так, как должно бы. Почему?

Он тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться на дороге.

Директор детской клиники был в послеоперационной палате. Он вместе с супружеской четой, мужчиной и женщиной средних лет, стоял у кроватки Мариетт, и все трое явно чувствовали себя неловко. Деон кивнул им. Конечно, родители. А странно, что родители, как правило, не хотят встречаться с тем, кто будет оперировать их ребенка. Открыто проявлять свои чувства не в характере африканеров. Ему часто казалось, что они не испытывают к нему никакой благодарности.

Свои рыжие волосы и веснушки дочь унаследовала от отца. Пит Джуберт — ярый расист, «наш лев», как опрометчиво выразился председатель одного политического митинга. И оппозиционная пресса со злорадным восторгом поспешила указать, что «наши» львы вымерли сотни лет назад. Худое властное лицо на тощей шее. От него можно ждать любых неприятностей, решил Деон Мать выглядела приятнее — полноватая женщина с добродушной, робкой улыбкой. Муж и жена не спускали глаз с Деона. Но ван Рин даже не посмотрел в его сторону.

— Вы не могли бы несколько минут подождать в коридоре? Я осмотрю больных, и вы опять вернетесь.— Деон удивился своему вежливому тону, хотя слово «больных» прозвучало многозначительно.— Это займет одну-две минуты.

Они повернулись к двери. Но Мариетт вцепилась в руку матери. Деон, улыбаясь, подошел к ней. Девочка поглядела на него, и пальцы

ее разжались. Он и девочка — союзники. Они сражались бок о бок и победили.

— Доктор Мурхед уже смотрел их, профессор,— сказал Мулмен.— А потом отправился в главный корпус.

— Да, я знаю,— сказал Деон.— Я только что от него.

Он осмотрел девочку и пробежал глазами карточку на спинке кровати. Все было в порядке, если учесть, что после операции не прошло и суток. Всю ночь сердечный ритм оставался нормальным.

— Ну что ж, превосходно. Как венозное давление? Почти норма? Подержите на водителе ритма день-другой.

Он направился к другой кровати. Малыш Маньяни крепко спал. За ночь число дыханий стабилизировалось по мере того, как легкое очищалось, расширялось и стало нормально функционировать. Кризис миновал.

«Узнаешь ли ты когда-нибудь, что мы для тебя сделали? — подумал Деон.— Осознаешь ли, с какой решимостью мы боролись за твою жизнь? Наверное, нет. А если да, может, еще и проклянешь нас за то, что заставили тебя остаться в живых: черного ребенка в стране белых».

— А сколько кислорода вы ему даете? Пятьдесят процентов?

— Да, профессор.

— Я поговорю с родителями Мариетт, потом заглянем в палаты.

Ван Рин исчез, а родители девочки стояли рядом у окна. Едва Деон вышел, Джуберт повернулся к нему. «Вот оно!» — подумал Деон. Накануне вечером он только обрадовался бы и ринулся бы в драку с яростным наслаждением, но теперь ситуация изменилась: малыш Маньяни был вне опасности, и у Мариетт все шло хорошо. В нем не осталось ни гнева, ни ожесточения.

— Доктор ван дер Риет,— сказал Джуберт.

Деон ждал, что последует дальше.

— Спасибо за все, что вы сделали для нашего ребенка,— продолжал член парламента от националистической партии и будущий член кабинета министров.— Она будет здорова?

— Дела у нее идут отлично,— сказал Деон и улыбнулся, удивившись, что это не стоило ему никаких усилий.

— И теперь она сможет вести нормальную жизнь?

— Несколько дней сохранится некоторая вялость, а потом ей удержу не будет.

— Мы навсегда останемся вам благодарны.

Мать молчала — голько улыбалась с счастливым видом.

Человек, торопливо шедший ему навстречу, вдруг остановился.

— Эй, Деон.

Один из кардиологов. Иоганн Схуман.

— Какого черта ты послал ко мне идиота с синдромом Дауна?

— Что?

Он же вчера направил к нему сына Триш.

— Так вот: заключение я еще утром отослал. Это не тетрада. Атрезия трехстворчатого клапана. Так что помочь малышу нельзя.— Он пошел дальше и сказал самому себе, но так, чтобы Деон услышал:— Пожалуй, это и к лучшему.

Триш смотрела на него ничего не выражающими глазами.

— Значит, ты мне не можешь помочь, Деон? Я верно поняла?

— Ну-ну,— он попытался улыбнуться.— Садись, и я скажу тебе, что они установили.

Самое ужасное, что к этому никогда не привыкнешь, сколько ни успокаивай себя напоминанием, что смерть — в природе вещей.

— Триш, мне очень жаль, но итальянские врачи ошиблись. Это не тетрада Фалло, а атрезия трехстворчатого клапана.

Она продолжала смотреть на него пустыми глазами.

— Что это значит?

— Ну, трехстворчатый клапан соединяет правое предсердие с правым желудочком. Клапан недоразвит, и кровь не может поступать через него в желудочек, который в результате тоже не полностью развит. Джованни живет потому, что...

— Деон, не надо,— сказала она полным отчаяния голосом, хотя выражение ее лица не изменилось.

— Положение очень тяжелое,— сказал он наконец.

— И оперировать нельзя? Да?

— Можно сделать вспомогательную операцию. Она даст определенное облегчение, хотя и не очень значительное.

— Но...

Он покачал головой.

— Триш, мне очень жаль. Но по-настоящему помочь тут ничем нельзя.

Осень

Глава пятая

Широкоплечий мужчина, который шел впереди, показался Деону знакомым. Шляпа и поднятый воротник — утро было холодное и ветреное — не позволяли разглядеть голову, толстое пальто скрывало что-то знакомое в высокой фигуре, и все-таки Деон был уверен, что эту размашистую походку он видит не впервые.

Он продолжал идти за неизвестным, перебирая в уме длинный список друзей и знакомых. Мужчина поравнялся с «фольксвагеном» кремового цвета, обошел его сзади и сунул руку в карман пальто. Но ключа там не оказалось, и он принялся неловко расстегивать пуговицы.

Вздрогнув от удивления, Деон узнал Филиппа Дэвидса. И тут же удрученно вспомнил, что он так и не позвонил ему.

Последние дни перед отъездом в Австралию были сумасшедшими. Он все еще помнит, и всю жизнь будет помнить, как Триш, застыв, сидела у его письменного стола, он видел, как сжались ее узкие плечи и только тонкие пальцы машинально открывали и закрывали застежку дорогой сумочки.

Тем не менее он должен был позвонить Филиппу. Такую невежливость легко счесть сознательным проявлением пренебрежения.

Он улыбнулся — улыбка получилась даже излишне сердечной, словно он хотел компенсировать случившееся, и воскликнул:

— Здравствуй! Ну, как дела?

Филипп тоже как будто в первую секунду растерялся, и, хотя улыбнулся в ответ, в голосе его прозвучала некоторая сдержанность:

— Здравствуй, Деон. У меня все хорошо.

Они обменялись рукопожатием.

— Какими судьбами ты здесь? — спросил Филипп и обвел взглядом обшарпанные фасады фабричных зданий и высокие закопченные стены по обеим сторонам улицы. Это был заводской район, к которому примыкали трущобы.

— Пригнал машину на профилактику. Мастерская за углом.

— Ты в больницу? Если хочешь, я тебя подвезу.

Деон сказал нерешительно:

— Мне не хотелось бы тебя затруднять.

Филипп открыл дверцу и жестом предложил ему сесть.

— Я сам туда еду.

Некоторое время они ехали молча.

— Как мама? — спросил Деон.

Филипп пожал плечами.

— Угасает. Но, к счастью, гормональные препараты сняли боли в костях, которые вызывались метастазами.

Снова наступило молчание. Деон пытался придумать, что бы такое сказать дружеское и непринужденное.

— Знаешь,— сказал он наконец,— я только сейчас вспомнил о твоем звонке. Мне, правда, очень неловко, что я тебе тогда не позвонил.

Филипп поглядел на него:

— Звонил? А, пустяки. Просто хотел поблагодарить за приятный вечер.

— Секретарша передала мне, но на меня столько тогда навалилось, что просто из головы вылетело. Ты помнишь Триш?

— Триш?

— Триш Коултер. Она училась в художественной школе, когда мы были на последнем курсе.— И он рассказал историю Триш.

— Да, нелегко,— обычно спокойный голос Филиппа чуть дрогнул.— На долю некоторых людей почему-то выпадает незаслуженно много страданий. А ее трагедия тем большая, что это можно было бы предотвратить,— добавил он.

— Ты имеешь в виду исследование хромосом плода?

Но он и так знал, что Филипп имеет в виду именно это.

— Да. Пункция полости плодного мешка в наши дни широко практикуется. Ну, ты знаешь: из матки матери на ранней стадии беременности берется жидкость, содержащая клетки плода.

— Да-да,— быстро сказал Деон.— Жаль, что такого исследования не провели.

— Я бы обязательно это рекомендовал. Ей ведь было под сорок, когда она забеременела?

— Тридцать восемь.

— Ну вот. Она приближалась к возрасту, когда процент вероятности того, что ребенок родится с синдромом Дауна, особенно велик.

— И обнаружив отклонение, ты рекомендовал бы прервать беременность?

— Конечно,— без колебания ответил Филипп.

Деон усмехнулся.

— Помнится, раньше ты придерживался других принципов.

— Я и сейчас против аборта, если он делается, чтобы избавиться от будущего ребенка. Но когда он предотвращает рождение ребенка с неизлечимой болезнью, я считаю его необходимым. Приюты для умственно неполноценных переполнены. Деньги, которые тратятся на содержание детей как с болезнью Дауна, так и с другими врожденными дефектами, обрекающими их на умственную неполноценность, можно было бы расходовать с большей пользой. Например, здесь они пригодились бы для борьбы с хроническим недоеданием среди цветных и черных детей!

— Видишь ли, для Триш это не просто ребенок с синдромом Дауна. Это ее единственный сын. У него есть имя — Джованни. Она

любит его, и он платит ей тем же. Если бы ее беременность прервали, у нее не было бы ничего.

— Ты прекрасно знаешь, что природа создает весьма неблагоприятные условия для тех, кто рожден с синдромом Дауна. Они умирают от инфекционных болезней, различных врожденных дефектов и так далее. Природа избавляется от них. А мы со своими антибиотиками, хирургией и всем прочим нарушаем равновесие.

— Ты же не предлагаешь лишать их медицинской помощи?

— По-моему, я тебя не убедил.

— Меня не надо убеждать. Мне эти вопросы тоже приходили в голову.— Деон помолчал, подыскивая нужные слова.— То, что ты говоришь, теоретически выглядит вполне логичным. Медицина продлевает существование генетических ошибок природы. Это верно. Но не следует всю вину возлагать на медицину. А современная техника? Точно так же ты мог бы сказать, что незачем вызывать врача к человеку, который в автомобильной катастрофе получил тяжелую мозговую травму, или везти его на «скорой» в больницу. Лучше нести его туда на носилках — больше шансов, что умрет по дороге.

— Возможно, когда-нибудь мы поговорим на эту тему,— сухо сказал Филипп.— Что же ты посоветовал ей? Ну, Триш?

Деон почувствовал, что Филипп хочет переменить тему, чтобы не вступать в открытый спор.

— Что я мог посоветовать? У него атрезия трехстворчатого клапана.

— То есть ты ничего не можешь сделать?

— Ничего.— Деон угрюмо скривил губы.— А, к черту!

— Она вернулась с ребенком в Италию?

— Наверно. По крайней мере, она намеревалась уехать.

Филипп бросил на него быстрый взгляд, и Деон почувствовал желание оправдаться, словно он поступил с Триш подло — потому, что отказался оперировать ее сына, и потому, что не знал, где она теперь.

— Дай-ка я сойду здесь,— сказал Деон.

— Незачем. Мне все равно ехать мимо твоего корпуса.

Они свернули в узкую улочку, по которой можно было подъехать к зданию медицинского факультета. Она была заставлена автомобилями.

— Каникулы кончились, как видишь,— сказал Деон.— Вот что. У меня есть место на стоянке. Если хочешь, поставь машину там.

— Спасибо, но у меня тоже есть постоянное место. Вон, в конце ряда.

— Правда? — Деон удивленно посмотрел на Филиппа.— Каким образом?

— Я здесь работаю.

— Да-да, я ведь так и не спросил, что ты теперь делаешь... Но почему-то мне казалось... ты ведь говорил, что собираешься что-то писать?

— Это заняло меньше времени, чем я предполагал. А потому я решил принять предложение профессора Глива. Я ведь говорил тебе, что он пригласил меня к себе в цитологическую лабораторию.

— Да, я помню.

— Ну вот, теперь я там.

— Давно?

— Полтора месяца. С апреля.

— Так мы соседи. И я все полтора месяца даже не подозревал, что ты работаешь здесь.

— Ну, тут много народа работает... — заметил Филипп.

Здание было совершенно новое, но двери плохо закрывались, в щелях посвистывал ветер. В вестибюле было холодно, и Филипп прошел к лифту как был — в пальто.

Вспыхнула стрелка, и двери мягко раздвинулись. Из лифта, оживленно разговаривая, вышли две молодые женщины, и Филипп посторонился, пропуская их. Они прошли, даже не взглянув на него.

Он вошел в кабину и нажал кнопку четвертого этажа. В этот момент входные двери распахнулись. В вестибюль влетел дюжий краснолицый мужчина и кинулся к лифту. Филипп никак не мог найти кнопку, чтобы остановить смыкавшиеся двери. В тот момент, когда он ее отыскал, мужчина судорожно рванулся вперед и сунул плечи между дверцами. Они остановились, щелкнули и начали открываться.

— Что, нельзя было не закрывать эти чертовы двери? — грубо сказал он Филиппу на африкаанс.

Филипп нахмурился, но сдержался.

— Извините,— сказал он ровным голосом и протянул руку к кнопкам.— Какой этаж?

— Пятый.

Двери со стуком сошлись, лифт дернулся и пошел вверх.

— Ты лифтер? — угрожающе спросил краснолицый.

Филипп набрал в легкие воздуха и неторопливо выдохнул. Потом сказал, глядя в сторону:

— Нет.

— Разве тут нет отдельного лифта для цветных?

Неужели всякий раз спускать им?

Филипп посмотрел прямо в свиные глазки на багровом лице.

— Это здание не относится к больнице. Это территория университетского городка! Я профессор и здесь работаю.

Лифт остановился и Филипп вышел. Двери уже смыкались, когда краснолицый проворчал:

— Готтентот проклятый.

Филипп резко повернулся, но двери закрылись. Лестница была рядом, и через пять-шесть секунд он будет на пятом этаже. Но что толку? Чего ты добьешься, кинувшись в драку с ним? Ты ничего не изменишь. Так что стисни зубы, и проглоти горький вкус желчи, и постарайся убедить себя, что все это не имеет значения.

Он расправил плечи и, держась прямо, как гвардеец, прошел по коридору к двери со скромной табличкой: «Факультет медицинской генетики».

За дверью был другой коридор — с одной стороны дверь в главную лабораторию, напротив — двери кабинетов. Он направился в лабораторию. У большого центрального стола трудились две лаборантки. Они оторвались от микроскопов и, улыбнувшись, поздоровались с Филиппом. Девушки держались с ним ровно и дружелюбно.

Другое дело — Уильямс. Он пришел сюда со степенью бакалавра биологии и до появления Филиппа был признанным главой лаборатории. Профессор Глив, занятый клинической работой и совещаниями, руководил лабораторией скорее символически. Теперь же возглавлял ее Филипп.

Старший лаборант вышел из двери инкубатора в глубине лаборатории, небрежно закрыл ее за собой и прислонился к стене.

— Ни одна из последних четырех культур не принялась,— сообщил он лаборанткам лаконично, почти равнодушно.

Филипп не мог понять, заметил его Уильямс или нет. Он сделал несколько шагов вперед, чтобы привлечь к себе внимание.

— Вы уверены, мистер Уильямс? Никакого роста?

На лице Уильямса застыло выражение вечной обиды. Теперь эта обида стала еще более горькой, и он поглядел на Филиппа из-под опущенных век.

— Да, уверен,— протянул он и после короткой вызывающей паузы добавил: — профессор.

Филипп раздраженно отвернулся. Девушки приникли к микроскопам.

— Хорошо. Тогда возьмем новые пробы. Дайте мне номера карточек, я хочу посмотреть, о каких пациентах идет речь.

Он прошел через лабораторию — девушки еще усердней уткнулись в микроскопы. На чьей они все-таки стороне? Может, втайне сочувствуют Уильямсу? Может, белые инстинктивно сплачиваются против всех остальных? Ненавидят они его, когда он отдает им распоряжения?

Вздор, твердо сказал он себе. Теперь только не хватает мании преследования. Бросаясь с ними в драку, ты ничего не добьешься, и все-таки драться надо.

Он пошел к себе в кабинет. Глив был предельно любезен: он отдал Филиппу свой кабинет и маленькую лабораторию, которая к нему примыкала. И не пожелал слушать никаких возражений.

Кабинет был обширен, устлан ковром, а письменный стол — точно такой, какой положен университетским светилам. И к тому же — собственная лаборатория, а это вообще немыслимая роскошь.

Но теперь вдруг овладевшая им подозрительность натолкнула Филиппа на неприятную догадку: не поместили ли его сюда, чтобы изолировать от белых в главной лаборатории?

Вздор, снова подумал он.

Он сел за письменный стол и пододвинул к себе папку с бумагами.

Досадно, что культуры не растут. Надо найти способ определения — содержит проба жизнеспособные клетки или нет. Может быть, помечать клетки, прежде чем брать их на культуру? Он задумался над этой проблемой, и тут ему на память пришел недавний разговор с Деоном.

«Почему он принимает проблему абортов так близко к сердцу? — подумал Филипп.— А мне-то казалось, что его ничего не интересует, кроме операций на сердце. Странный человек. Мне никогда не бывает легко с ним. По сути, мы с ним на многое смотрим одними глазами.— И он иронически усмехнулся.— Мы унаследовали внешнюю жестокость и резкость от нашего отца. Моего отца. Странно, как трудно даже сейчас называть его отцом, даже про себя. Старый хозяин. Баас Иоган. Это как-то привычней.

Что заставило его предпочесть цветную женщину, кухарку, своей жене? Какой мрак крылся в дальнем уголке его сознания, куда не проникал ни единый луч света? Этого мне никогда уже не узнать».

«Мне нужно вернуться в мою лабораторию»,— вдруг подумал он.

Но как уехать от умирающей матери? Страшная мысль, однако ее смерть будет двойным освобождением. Для нее — освобождение от мук жизни, для него — от последних нитей, связывающих его с землей, где он родился. Умрет она, и он уедет, чтобы больше никогда не возвращаться сюда.

Он не хотел думать об этом и принялся размышлять над длинным письмом Иоргенсена, который пока вместо него возглавлял лабораторию в Торонто.

Иоргенсен энергичный и способный исследователь, но склонен к поспешным выводам. Для ученого — роковой недостаток. Судя по отчету, он неправильно истолковал полученные данные и пошел по лож-

ному пути. И возможно, придется повторить дорогостоящие и трудоемкие эксперименты, на которые ушли месяцы.

Филипп почувствовал, что ему не терпится вернуться туда. Исследования сейчас находятся на самой захватывающей стадии, словно в детективном романе, когда вот-вот будет найдена та главная улика, которая послужит ключом к разгадке тайны.

И вдруг его осенило. Мысль была настолько очевидной и вместе с тем настолько неожиданной, что у него перехватило дыхание.

А может быть, попробовать самому? Здесь?

Он прошел через кабинет и распахнул дверь в маленькую лабораторию. Впрочем, для его работы места было более чем достаточно. Он оглядел несколько покрытых пылью приборов, а ему нужно еще много другого оборудования. В этом заключалась главная трудность. Если даже все необходимые приборы удастся найти, покупка и установка их обойдется очень дорого. Глив обещал помочь, но ему в первую очередь потребуется электронный микроскоп, стоимость которого явно не уложится в скромный бюджет лаборатории.

Он с сожалением закрыл дверь и вернулся к столу.

«Деон! — вдруг подумал он.— Вот кто мне поможет. У него уйма влиятельных знакомых. Он придумает, как найти деньги на то, что мне нужно».

А не унизительно ли обращаться за помощью? Баас Иоган. Баас Деон. Спасибо, мой хозяин, мой повелитель.

Рука на телефонной трубке замерла. Как воспримет Деон это? Не создастся ли впечатление, что он злоупотребляет их родством?

К черту! Потребовались годы жизни в другой стране, чтобы он нашел себя и принял как объективный факт и свою расу, и цвет своей кожи, и обстоятельства своего рождения. Четыре месяца в этой проклятой стране, и все рухнуло: ты снова готов пресмыкаться.

Если на то пошло, ты также страдаешь генетической болезнью, которая хуже синдрома Дауна, или хореи Гентингтона, или гемофилии. Ее название — раса, и от нее нет лечения, ибо болезнь гнездится не в тебе, а в сознании других.

Он снял трубку и набрал номер. Занято. Он положил трубку. Ничего, минуту терпения.

Глава шестая

Холодный ветер, бушевавший все утро, стих, небо было безоблачным, а воздух — свежим и бодрящим. Деон и Филипп сидели рядом на скамейке в самом начале аллеи и смотрели, как желтые бронзовые листья вековых дубов, кружась, падают на мощеные дорожки.

— Зима, по-видимому, будет затяжной,— сказал Деон.

— Да, пожалуй,— ответил Филипп.

Они встретились в обеденный перерыв у главного подъезда медицинского факультета. Деон, который несколько растерялся, когда Филипп вдруг позвонил ему почти сразу же после того, как они расстались, не подумав, предложил пообедать вместе и Филипп согласился.

И только обогнув подножье горы и въехав на магистраль, ведущую к центру города, Деон вдруг сообразил, что не знает ни одного места, где они — двое людей с разным цветом кожи — могли бы пообедать вместе.

Отели и все более или менее приличные рестораны исключались, поскольку он не позаботился заранее испросить официального разрешения, подав заявление по меньшей мере в четырех экземплярах. Ему пришло в голову, что их вряд ли обслужат даже в загородных авторесторанчиках, где подогретая еда подается прямо в машину на пласт-

массовых тарелках с жестяными ножами и вилками. Разве что он переберется на заднее сиденье, а Филипп сыграет роль его шофера.

Он убавил скорость, продолжая искать выход из положения. Может быть, Витторио устроит их в отдельном кабинете своей «Флоренции»? Но это будет не очень удобно, потому что им, вероятно, придется воспользоваться черным ходом, чтобы кто-нибудь из посетителей не поднял шума. Что же делать, черт побери? Почему он не предложил Филиппу пообедать в университетском кафетерии? Поехать домой? По крайней мере, они движутся в этом направлении. Но Элизабет сегодня играет в бридж, а его собственные кулинарные способности исчерпывались умением жарить яичницу с ветчиной.

Возможно, Филипп догадался о его затруднении — во всяком случае, он сказал:

— Знаешь, я как-то отвык плотно есть среди дня. Может, просто купим что-нибудь?

— Отлично,— с облегчением согласился Деон.— Я тоже почти никогда не обедаю в такое время.

Они остановились у закусочной, взяли два бутерброда с сыром и помидорами и два пакета молока, снабженных пластмассовыми соломинками.

Филипп позволил Деону заплатить, и, забрав пакеты, они свернули на аллею, прошли мимо парламента и его садов, закрытых для публики, и наконец устроились на этой скамье под дубами.

Обмениваясь ничего не значащими словами, они ели свои бутерброды и бросали крошки стремительным белкам.

— Вероятно, тебя удивляет, почему я позвонил,— сказал наконец Филипп.

— Откровенно говоря, да.

— Мне нужны деньги.

Деон растерянно поглядел на него, испытывая неприятное ощущение. Шантаж? Он отогнал эту недостойную мысль, и все-таки ему было не по себе.

— Извини. Я неудачно выразился. Не на личные расходы. Я хотел бы заняться кое-какими исследованиями и решил, что ты можешь мне посоветовать, как получить нужные ассигнования.

Деон вздохнул с облегчением, и в то же время ему стало стыдно.

— Какая сумма тебе нужна? Чем конкретно ты занимаешься?

— В Торонто мы ведем довольно сложные исследования. А тут я бы поставил относительно простые эксперименты — оплодотворение яйцеклетки в пробирке и наблюдение в лабораторных условиях за первыми стадиями развития зародыша.

— Понимаю. С тем, чтобы выявить у зародыша аномалии развития?

— Совершенно верно.

— Ого! Работы это потребует дьявольской. Так сколько денег тебе нужно?

— Не так уж и много, если не считать электронного микроскопа. Они, как тебе известно, стоят тысячи. Думаю, что купить его нам вряд ли удастся, но если бы получить разрешение пользоваться уже установленным...

— Кафедра патологии как раз приобрела электронный микроскоп. Ты же знаком с профессором Мартином? Он, конечно, будет рад помочь. Что еще?

— Место, где содержать подопытных животных. И еще всякие мелочи.

Деон энергично хлопнул себя по коленям и поднялся. Он вновь ощутил уверенность в себе.

— Слушай,— сказал он.— Приготовь список всего, что тебе нужно, и давай составим смету. Я берусь раздобыть эти деньги.

Деона вызвали в клинику. Неприятности у Робби. Открылось кровотечение у пациента, которого он оперировал утром.

Он быстро проинструктировал Дженни и помчался в клинику, выжимая из своего «ягуара» все, что тот мог дать. Однако они успели справиться и без него.

Деон посмотрел, кое-что посоветовал, но нужды в его присутствии никакой не было, и он скоро ушел.

Включив мотор, он несколько секунд сидел за рулем, не зная, куда ехать. Впервые за долгое время он был совершенно свободен. Дженни прекрасно справится без него. Никаких срочных вызовов, никаких неотложных дел. Элизабет, конечно, еще играет в бридж. У Этьена сегодня регби, и освободится он не раньше шести. Возвращаться в пустой дом Деону не хотелось.

Он решил — едет к Этьену. Школа была в тихом пригороде — красивые, увитые плющом здания среди изумрудных футбольных полей, площадок для игр, беговых дорожек и теннисных кортов.

Деон остановил машину под дубами и опустил стекла передних дверей. Веселый гомон звонких голосов, гулкий удар по мячу и ленивые хлопки.

Деон увидел взъерошенную голову сына. Этьен стоял, пригнувшись, упершись руками в колени, и ждал вбрасывания.

Как летит время! Только сам начинал жить, и вот, пожалуйста, сыну уже пятнадцать.

Воспоминание прожгло, словно задев больной нерв. А сколько было бы ему? Тому, другому? Его собственному сыну?

Двадцать один год. Мужчина. Уже сам мог бы стать отцом.

И снова жгучее ощущение вины. Не тут ли причина? Не это ли явилось причиной мутации, которая завершилась рождением ребенка с синдромом Дауна?

«Чушь!» — яростно сказал он себе. К чему вызывать духов из пустых могил, если матери было тридцать восемь лет, а опасность появления на свет ненормальных детей прямо пропорциональна возрасту? Итальянский гинеколог должен был бы рекомендовать пункцию околоплодной жидкости.

Ты тут ни при чем.

И все-таки...

Утренний разговор с Филиппом вернул его к мысли о Триш. Действительно ли она уехала обратно в Италию? Скорее всего.

«Я хочу ее видеть,— снова подумал он.— Я хочу ее видеть. Но осмелюсь ли я?»

Вероятно, она давно уехала, напомнил он себе, чтобы справиться с нарастающим волнением. Возможно, погостила неделю-другую у родителей и уехала к себе в Италию со своим Джованни.

Бедный малыш. Ему суждено умереть, так и не узнав, что значит жить.

И помочь ничем нельзя. Ведь все дело в том, что его сердце лишено желудочка, качающего кровь в легкие.

А что, если принять ситуацию такой, какая она есть? Принять и использовать ее?

Идея начинала обретать форму. Он сидел, наклонившись, сжимая рулевое колесо обеими руками, и ликующий рев зрителей, последовавший за удачным ударом, даже не дошел до его сознания.

Он по порядку перебирал в уме все факты, чтобы не упустить ни одного.

Он держал свои мысли в узде, хладнокровно и неторопливо обдумывая каждую деталь будущей операции с бесстрастием инженера, производящего расчеты с помощью логарифмической линейки и таблиц. Но теперь он дал волю своему ликованию и, ударив ладонями по рулевому колесу, воскликнул:

— Черт побери!

Глава седьмая

В субботу утром позвонил Мулмен и опять сообщил все то же:

— Мне очень грустно, профессор, но собака, которую мы оперировали вчера, сдохла.— Голос у него прервался.— Когда я вчера вечером ушел, все было в порядке. Сегодня утром прихожу, а она лежит в клетке мертвая.

На линии был какой-то непорядок, и в трубке трещало. Но даже сквозь помехи Деон уловил, каким убитым голосом произнес все это молодой врач.

— Как? Опять? Прямо хоть бросай. Что на этот раз? Опять легкие?

— Я только что пришел, сэр. И еще не делал вскрытия. Но вчера вечером она дышала хорошо. Я даже убрал дренаж из грудной полости. Никакого просачивания крови не было.

С самого начала опытов по разработке методики замены трехстворчатого клапана они то и дело наталкивались на чисто технические трудности.

Постепенно они справились со всеми этими трудностями. И тем не менее ни одна собака еще не прожила дольше двух-трех часов.

— Займитесь вскрытием.

— Сейчас, сэр. И позвоню вам, как только кончу.

— Хорошо. У меня совещание в кардиологии, и я сейчас уезжаю. В понедельник все обсудим. Без моих указаний не планируйте дальнейших экспериментов.

— Хорошо, сэр.

На этот раз за привычной почтительностью прозвучали разочарование и даже враждебность.

«Черт бы его побрал! — подумал Деон.— Или он считает, что у меня кроме этих проблем других забот нет? Щенки! Тянешь их, тянешь, а чуть вообразят себя взрослыми, сразу кидаются на тебя».

«Вероятно, избежать этого нельзя,— решил он.— Старшие возлагают надежды на молодежь и одновременно боятся ее — с полным на то основанием. Вот со Снайменом мы схватились так, что не разнимешь. Быть может, он считает, что я замахиваюсь на слишком уж многое, что его медицина законна, а моя — нет. Ну, ничего не поделаешь!»

Он повернулся в своем вращающемся кресле и невидящими глазами уставился в окно. Тут никаких сил не хватит. Вчера они сняли собаку с операционного стола живехонькой, с прекрасной циркуляцией и хорошим кровяным давлением. Все было отлично. За исключением того, что собака околела.

Он поглядел на маску колдуна в простенке между окнами и вспомнил, как Джованни потянулся ее потрогать. Бедный малыш! Жив он еще? Больные с атрезией трехстворчатого клапана остаются в живых годами. Остаются в живых. Его состояние пока относительно неплохое. Но тем не менее смерть приближается к нему так же неумолимо, как охотник, подкрадывающийся с ружьем к оленю, который, ничего не подозревая, стоит на залитом солнцем холме.

Триш.

Он часто думал о ней, пока они с Мулменом проводили свои эксперименты. Что бы она сказала, узнав о его попытках разработать методику операции, которая может сохранить жизнь ее сыну? Осветилось бы ее грустное лицо улыбкой?

Ты прекрасно знаешь: она уже давно уехала в Италию.

Тем не менее, подчиняясь внезапному порыву, он взял телефонный справочник.

И, К, Ка, Ко, Коблер, Колмен. Вот. Коултер. «Коултера аптека» и адрес.

Он надавил на клавишу селектора.

— Соедините меня с этим номером,— сказал он Дженни и продиктовал его по телефонной книге.

Через полминуты она позвонила:

— Аптека Коултера на проводе, сэр.

Женский голос повторил:

— Аптека Коултера. Доброе утро.

— Здравствуйте. Могу я поговорить с мистером Коултером?

Секундная пауза.

— Простите, но мистера Коултера у нас нет.

— Но ведь это же аптека Коултера?

— Да. Но это просто... просто название. Соединить вас с мистером Слоуном, управляющим?

— Будьте так добры.

Четкий суховатый голос произнес:

— Слоун слушает. Чем могу быть вам полезен?

— Видите ли, я пытаюсь разыскать мистера Коултера.

— Мистера Коултера? — снова секундная пауза.— Извините. Ничем не могу помочь, сэр. Я здесь всего полгода и мистера Коултера не застал... Аптека принадлежит фармацевтической фирме, сэр. Мы сохранили название по традиции... фирма большая, с сетью аптек. Возможно, с тех пор, как мистер Коултер продал ее, здесь сменился десяток управляющих.

— А ваши служащие? — не отступался Деон.— Может быть, кто-то из старых служащих его помнит?

В энергичном голосе послышался оттенок раздражения.

— Не думаю, сэр. Все они работают здесь меньше года. Хотя подождите. Может быть, этот... Не вешайте трубку.

— Хорошо.

Прошло несколько минут. Наконец в трубке зашуршало.

— Вы слушаете? Я вспомнил, что рассыльный... старик-цветной — он служит тут давно. Так он сказал, что мистер Коултер после того, как продал аптеку, будто бы переехал в Германус. Правда, он не уверен.

— Германус? Большое спасибо...

— Не стоит.

Справочник загородных телефонных станций. В Германусе никакие Коултеры не значатся.

Вот так. След потерян.

Он яростным рывком повернулся в кресле к столу. Отвернув манжету, посмотрел на часы. Без четверти десять. Общая конференция кардиологов в больнице в десять.

Ходьбы до больницы семь минут. Но лучше войти загодя. Он не любил опаздывать — это значило подавать дурной пример.

Почти все уже собрались в конференц-зале. Здороваясь, он прошел в первый ряд, сел, закинул ногу на ногу и хмуро уставился на ко-

мочек глины, успевший прилипнуть к носку до блеска начищенной туфли.

Напротив, рядом с Питером Мурхедом, сидела девочка. Темноволосая, темноглазая, с землисто бледным лицом, словно почти никогда не бывала на солнце. Она сидела неподвижно, зажав руки между колен.

Деон посмотрел на Питера, вопросительно подняв брови.

Питер виновато сказал:

— Это Кэтлин Дженнис, профессор. Не помните? Девочка из Ирландии, про которую я говорил вам в прошлом месяце. Родственница моей жены. Ее племянница.

Услышав свое имя, девочка внимательно посмотрела на Деона. На бледном лице глаза казались черными, как два уголька, на впалых щеках залегли черные тени, словно кто-то провел по ним пальцем, выпачканным в саже.

— По заключению кардиологов у нее только одно предсердие с аномалией легочно-венозного кровообращения,— сказал Питер.— Ее смотрели в Дублине и Лондоне, но тамошние врачи не берутся оперировать такой дефект. Сестра Джиллиан написала нам, а мы посоветовали привезти Кэтлин сюда. Вы обещали взглянуть на нее. У нас в кардиологическом отделении ей сделали повторную катетеризацию и сегодня должны сообщить результаты.

— Я помню,— сказал Деон, хотя только теперь у него шевельнулись какие-то смутные воспоминания об этом разговоре. И добавил тоном выговора: — Так ли уж необходимо было приводить ее сюда?

Питер покраснел и смутился.

— Простите, профессор. Но Джиллиан настаивала, чтобы вы посмотрели девочку,— объяснил он растерянно.

Кто-то из кардиологов включил настенный негатоскоп. Ординатор провел указкой по рентгенограмме.

— Первый больной. Льюкас Вилликази. Африканец, пол мужской, возраст двадцать три года. Сужение стенок аорты.

Он бегло перечислил характерные симптомы.

— Типичный случай. Вопросы есть?

— Давайте дальше,— сказал Деон.

Кардиолог кивнул и, нажав на кнопку, сменил рентгенограмму.

— Кэтлин Дженнис,— объявил кардиолог тем же монотонным голосом.— Белая, пол женский, возраст — десять лет.— Он сообщил симптомы, результаты анализов и перешел к диагнозу: одно предсердие с аномалией кровоотвода левой легочной вены на правое предсердие. Просачивание митрального и трехстворчатого клапанов.

Девочка все еще смотрела на Деона. Откинувшись на жесткую спинку скамьи, он скрестил вытянутые ноги и внимательно изучал рентгенограмму, но принимать участия в обсуждении не стал. Его брови хмурились, а потом он заметил, что покусывает большой палец, как обычно в минуты сомнений. Он быстро сунул руку в карман брюк.

— Покажите мне ангиоз.

Кардиолог выключил негатоскоп и деловито перешел к кинопроектору.

Деон сидел, откинувшись, сунув руки в карманы, и смотрел на кинозапись биений сердца.

Диагноз как будто не вызывал никаких сомнений. Можно было проследить, как кровь проходит через сердце. Что-то в желудочках настораживало Деона, но, возможно, причина заключалась в дефектах клапанов. Во всяком случае, он уже несколько раз оперировал такие сердца, и с хорошим результатом. Все должно пройти спокойно.

Кардиолог выключил проектор, и вспыхнул верхний свет. Все смотрели на него Питер Мурхед напряженно наклонился вперед. Рядом с ним недвижно сидела девочка.

Деон кивнул.

— Запишите ее на вторник. Все должно пройти спокойно.

И сразу же напряжение в зале исчезло.

Деон повернулся к маленькой черноглазой девочке и впервые улыбнулся ей. Она посмотрела на него и улыбнулась в ответ.

Конференция кончилась, и все толпой двинулись к выходу. Какой-то молодой врач толкнул Деона и испуганно извинился.

«Почему проклятые собаки не живут?» — его снова занимала одна эта мысль. Он прикинул, не зайти ли в лабораторию взглянуть, что все-таки Мулмен нашел при вскрытии. Но Мулмен, конечно, давно закончил, и лаборатория заперта. В любом случае сердце и легкие он оставил в холодильнике, и утром в понедельник они ими займутся.

Забудь. Расслабься. Сегодня ты играешь в гольф.

Обычная их четверка. Хорошо бы жребий свел его в пару с Эйбом. Игрок он не блестящий, но зато надежный.

Однако пока Деон ехал в клуб, настроение у него снова изменилось. Несколько минут он сидел в машине, стараясь пробудить в себе интерес к предстоящей игре.

Деон вспомнил, как Филипп рассказывал ему, что носил клюшки в «Ройял-Кейпе». Надо бы узнать, продвинулась ли у него работа. Достаточно ли тех субсидий, которые удалось выхлопотать? Уж очень долго собирается позвонить. Пора бы найти время. Вот снова почти незаметно пролетело несколько месяцев.

Он пошел в раздевалку. Расстегнул пиджак.

Нет. Сегодня гольф его не привлекает.

Тут же, чтобы вновь не передумать, он застегнул пиджак, поправил гластук и запер свой шкафчик.

Эйб сидел в баре, пристроившись на табурете. Увидев его, он весело помахал рукой.

— Э-эй!

— Привет, Эйб. Мне очень неловко, но сегодня я играть не смогу.

Ему не требовалось изобретать несуществующей причины. Само собой разумелось, что он должен вернуться в больницу.

— Ну, пока.

С чувством облегчения Деон проехал мимо здания клуба и свернул на аллею, ведущую вдоль поля. Он не думал, куда едет и зачем, но за воротами почти автоматически повернул вправо на шоссе, по которому можно было выехать на автостраду, ведущую на восток. Элизабет ждет его только к вечеру. День принадлежит ему. Он свободен.

Он взглянул на часы на приборной доске. Пять минут второго. Дорога до перевала займет около часа с небольшим, а оттуда до Германуса ехать еще минут сорок.

«Германус? — насмешливо спросил он себя.— Значит, туда ты едешь?»

А почему бы и нет? Вполне приятная поездка в солнечный субботний день.

Он оказался на окраине Германуса раньше, чем рассчитывал. Но, добравшись туда, он вдруг растерялся, не зная, что делать дальше. Он медленно ехал по городку, поглядывая на белые бунгало с названиями на калитках: «Летний приют», «Солнечный дворец».

На что он, собственно, рассчитывал, приехав сюда? Или полагал, что Триш встретит его на шоссе? Да и вообще здесь ли она? Нет, конечно. Она уехала. Она в своей Италии, где ее дом.

И все же он поехал на главную улицу, поставил машину на стоянку и начал обход магазинов. Почти все они были закрыты, как и положено во вторую половину субботы. Он заглянул в кафе, но молодой бородатый владелец не знал ни мистера, ни миссис Коултер. Не слышали о них и в рыбной закусочной, где пахло горелым маслом.

Продавец в табачном киоске сосредоточенно нахмурился, когда Деон назвал фамилию.

— Коултер? — повторил он.— Да как сказать.— Он поскреб в затылке, и на плечи его черной куртки посыпалась перхоть.— Фамилия вроде бы... Мистер Коултер. Худой такой старичок? Очень тощий. Седой такой?

— Это похоже. А где он живет, не знаете?

Продавец вновь поскреб в затылке.

— Точно не скажу. Только где-то на горе.— Он показал.— Вон там. Это Хилл-стрит. Я раза два видел, как он туда поднимался. Попробуйте там поискать.

Деон поблагодарил и вернулся к машине. Он медленно ехал вверх по Хилл-стрит. Угловой дом в конце был без названия, на калитке мелкими и аккуратными буквами были выведены номер дома и фамилия «Дж. М. Коултер».

Звонок зазвенел где-то в глубине дома, и Деон, вдруг смутившись, поглядел на часы. Пятнадцать минут четвертого. Быть может, старики прилегли отдохнуть. Однако за дверью почти сразу же послышались быстрые шаги. Через секунду она открылась, и на пороге остановился мистер Коултер, более сухопарый и куда более седой, чем помнил его Деон. Он смотрел на Деона с вежливым недоумением.

— Добрый день,— сказал Деон.— Не знаю, помните ли вы меня, мистер Коултер...

Старик внимательно поглядел на него. Держался он очень прямо и напоминал бойкую птичку — воробья или трясогузку. Выражение недоумения на его лице сменилось изумленной улыбкой.

— Ну конечно же! Деон? Деон ван дер Риет. Это приятный сюрприз.

— Я приехал сюда по делам и подумал, что...— растерянно начал Деон, но, к счастью, старика эти объяснения не интересовали.

— Ну, так входите же, входите! — Он посторонился, пропуская Деона.— Давно я вас не видел, очень давно. Разумеется, я читал все подробности о чудесах, которые вы делаете. И Патриция так надеялась, что вы сумеете помочь... Ну что же, такова жизнь.

Он провел Деона в уютную, хотя несколько заставленную мебелью гостиную. Из окон открывался великолепный вид на море.

Деон заметил на каминной доске фотографии Триш. Один снимок примерно тех лет, когда он с ней познакомился.

Он поспешил отвести взгляд.

— А миссис Коултер? Как она поживает?

Старик как будто не сразу его понял. Потом устало потер виски.

— Моя жена умерла,— сказал он.— Месяц назад. В следующий вторник будет ровно месяц.

— Простите. Я не знал. Мне грустно это слышать.

И хотя сама фраза была всего лишь общепринятой формулой, он сказал ее искренне. Ему действительно стало грустно, что Триш, у которой и так много горя, пришлось перенести еще и этот удар, пусть даже и такой неизбежный, как потеря матери.

— Ну, а Триш? Патриция, хотел я сказать. Что она пишет?

— Как пишет? — спросил старик.— Она ушла с малышом на море...— он бросил взгляд на миниатюрные каминные часы, по обе стороны которых стояли фотографии Триш,— всего полчаса назад.

У Деона возникло ощущение, что он сейчас задохнется.

— Она здесь?

— Конечно. А разве вы не знали? Она приехала побыть со мной, когда Мэри... ее мать умерла.

Деон кивнул.

— Да-да, конечно.

— А вы не знали? Она не писала вам о том, как чувствует себя мальчик?

— Нет. Но мне бы хотелось ее повидать.

Старик посмотрел на него проницательно и чуть насмешливо, как иногда глядела Триш.

— Это не так трудно,— сухо сказал он.— Она всегда ходит на пляж. Он там в конце городка.

Теперь, когда можно ее увидеть, хочет ли он, ищет ли этого? Еще не поздно вернуться. Чего он хочет, в конце концов? Чего добивается?

Они играли на песке за полосой водорослей, которая отмечала высшую точку прилива. Триш с помощью детского ведерка делала куличи из песка, а мальчик тут же разрушал их, вереща от восторга.

Триш увидела Деона и медленно поднялась на ноги, отряхнув юбку неторопливо и как-то застенчиво. Он шел к ним через дюны, спотыкаясь в своих городских туфлях, а она смотрела на него.

Мальчик поднял голову и сразу тревожно оглянулся на мать. Она улыбнулась ему, и он, утешенный, вернулся к своей игре.

Деон подошел, и мгновение оба молчали. На ее лице было то же загадочное и чуть насмешливое выражение, которое он только что видел на фотографии в доме ее отца.

— Здравствуй, Триш,— нерешительно произнес он.

— Здравствуй,— спокойно принимая ситуацию, не спрашивая: «Откуда ты и зачем приехал?»

— Как поживаешь?

— Хорошо.

— А Джованни?

— Не лучше. Но, к счастью, и не хуже. Во всяком случае так мне сказали, когда я привезла его на обследование.

— Когда это было?

— Полтора месяца назад. Видишь ли, мама умерла. Вот почему я здесь.

— Знаю. Мне очень жаль, Триш.

Она не спросила, откуда он знает, и просто поблагодарила за участие ласково и спокойно.

— Что же они сказали? Врачи, которые смотрели Джованни? Я полагаю, это было в Италии?

— Нет. Я, собственно говоря, ездила в Англию. И в Лондоне показала его специалисту.

— А... — Он слегка обиделся. Она не поверила ему?

Она тотчас уловила это, но тщеславие никогда не волновало ее ни в себе, ни в других.

— Я должна была убедиться. Пока есть хоть какой-то шанс.

— И что он сказал, этот лондонский врач?

— То же, что и ты. Сужение трехстворчатого клапана, неразвитость правого желудочка. И тоже рекомендовал обходное шунтирование.

Он чуть было не рассказал ей все. У него уже слова сами готовы

были сорваться с языка: «Я работаю над тем, чтобы было лучше твоему малышу»,— но он заставил себя сдержаться.

Вместо этого он спросил:

— Ты долго еще тут останешься?

— Еще месяц, я думаю, может быть, полтора. У отца сильный характер, и он выдержит. Но, конечно, ему нелегко. Когда человеку под семьдесят...

Во всяком случае — месяц.

— Я бы хотел увидеться с тобой,— откровенно признался он.— Перед тем, как ты уедешь.

— Разумно ли это?

— Думаю, что да.

Она зачерпнула ладонью песок и смотрела, как он сеется сквозь пальцы.

— Не уверена.

Он упрямо возразил:

— А я уверен.

Взгляд искоса, не лишенный кокетства.

— Ты всегда был уверен в себе, не правда ли?

Они заговорили о прошлом, и вдруг она спросила:

— Где ты познакомился со своей женой?

Он насторожился. Значит, он ей не совсем безразличен?

С притворной небрежностью он ответил:

— На вечеринке.

Она засмеялась.

— Вероятно, почти все знакомятся именно на вечеринках. Банально, не правда ли? Хотя, с другой стороны, для этого их и устраивают. С Робом я познакомилась тоже на вечеринке.

Он посмотрел на нее с недоумением, решив, что она говорит о Робби Робертсоне. Потом вспомнил.

— А! С твоим американцем?

— Да.

Спокойно, без тени печали или горечи она начала рассказывать об американце, который был ее любовником в то время, пока они жили в Испании.

— Ты видела фильм «Краткая встреча»? — спросил он вдруг.

— О чем он?

— О любви мужчины и женщины.

— Кажется, видела. Почему ты спрашиваешь?

— Просто вспомнил, как он кончается. Чушь какая-то. Фальшь.

— Почему?

— Эта женщина расстается с любовником и возвращается к мужу. В конце есть сцена: муж сидит у огня, оборачивается и говорит что-то вроде: «Так ты вернулась».

— Совершенно верно. Но тут есть и подтекст. Становится ясно, что он все знал, и вот теперь, когда она вернулась, это не имеет значения.

— Вот именно. Но это фальшиво.

— Почему?

— Потому что заставляет верить, будто она может спокойно вернуться к своему прежнему существованию. Жить, как жила. Забыв, что произошло? Но так не бывает. Мужчины не забывают. Равно как и женщины. Человек любил, и он не может просто взять и перестать любить. Он не меняется. Меняется мир вокруг него.

Она не ответила и снова принялась пересыпать песок с руки на руку.

— Ты ездишь в город? — спросил он с каким-то отчаянием.

— Редко.— В первый раз в ее голосе прозвучала отчужденность. Он зашел слишком далеко, и не было теперь пути назад.

— Может быть, если приедешь, пообедаем вместе?

— Не знаю. Вряд ли.

— Но если передумаешь... Как я узнаю, если ты передумаешь? У твоего отца нет телефона.

Она вдруг расхохоталась.

— Ты и это знаешь! Можно позвонить соседям. Они его позовут.

— А какой номер?

После некоторого колебания она продиктовала номер.

— Но мне кажется, тебе не следовало бы это делать.

— Посмотрим,— упрямо сказал он.

Триш поднялась и позвала сына. Он сразу подошел с ведерком и лопаткой.

— Было очень приятно снова повидать тебя, Деон,— сказала она.

— Я мог бы вас подвезти?

— Спасибо, но мы всегда ходим пешком. Нам нужно упражняться.

И она вежливо улыбнулась, прощаясь с ним.

Он поклонился с такой же официальной вежливостью.

— Надеюсь, мы еще увидимся.

Она продолжала улыбаться и ничего не ответила.

Глава восьмая

У него в мозгу вновь и вновь звенела нелепая строчка, словно одна из тех навязчивых рекламных песенок, которые он вдруг начинал напевать, сам того не замечая.

«А сдохла-то собака!»

Он понятия не имел, откуда она и почему ему вспомнилась. Но словно игла проигрывателя застряла в бороздке, и без конца одно и то же: «А сдохла-то собака!»

Он поехал обратно по верхнему шоссе, потому что у него не было настроения любоваться пейзажами, пусть и прекрасными: на душе скребли кошки, словно его отчитали, причем поделом. Он прибавил скорость, сознательно рискуя на поворотах, выжимая педаль газа, будто ему хотелось как можно скорее уехать от Триш.

Но внезапно, вопреки логике, к нему вернулось то ощущение прилива всех жизненных сил, которое он испытал по дороге сюда. Он был жив, свободен и остро воспринимал все, что его окружало.

Мысль, словно молния, мелькнула в мозгу раньше, днем, теперь сияла ярким и ровным светом. Она все это время была с ним, но пряталась во мраке, а теперь вырвалась из него, с каждым мгновением становясь все яснее.

Теперь он знал, что нужно делать. Он знал, как исправить атрезию трехстворчатого клапана.

Утро началось хорошо, несмотря на скверную погоду. Словно в отместку за солнечную субботу, в воскресенье на рассвете зарядил холодный осенний дождь и продолжал моросить, почти не переставая.

Шоссе было скользким от дождя, и Деон ехал медленно и осторожно, направляясь к детской больнице.

Там он сразу же погрузился в предоперационную рутину, и все-таки часть его сознания еще парила где-то, подобно птице, беспечной и свободной.

Вернувшись из Германуса, он сразу позвонил Мулмену, чтобы обсудить новую идею. Вчера они ее испытали, и пока все как будто шло хорошо. Утром Мулмен позвонил, ликуя, и Деон, хотя старался говорить сдержанно, сам в глубине души не сомневался, что на этот раз должен выйти толк. Если они добьются, чтобы собака прожила четыре дня, можно будет надеяться — по-видимому,— что методика эта подойдет и для людей.

Все еще насвистывая (хотя теперь уже совсем тихо), он бодро направился в операционную, где Робби должен был уже закончить первый этап операции. Еще одна хорошая примета: ему ассистирует Робби и анестезиологом сегодня Том Мортон-Браун. Они удивительно сработались.

Вчера они с Робби осмотрели племянницу Питера Мурхеда.

Улыбаясь, Деон прошел в дверь предоперационной комнаты и встал за ширмой.

— Ну как?

Робби ответил, не глядя:

— Прекрасно. Через минуту можешь приступать.

Деон смотрел на открытую грудную полость и на чрезвычайно увеличенное сердце с тремя камерами, мысленно перебирая этапы операции, которую он разработал для таких дефектов. Затем, все так же неколебимо уверенный в себе, направился в умывальную.

Подключение кровообращения девочки на машину прошло идеально, словно его уверенность передалась остальным. Он перетянул тесемки на катетерах и посмотрел поверх ширмы на анестезиолога.

— Давление?

Мортон-Браун бросил взгляд на манометры и на свой пульт.

— Все в порядке.

Деон повернулся к сестре.

— Скальпель.

Тонким лезвием он сделал разрез на стенке правого предсердия, затем ножницами расширил его по горизонтали, завел два ретрактора под левый край разреза и передал их Гвидо Перино, второму ассистенту. Робби осушил полости, и теперь Деон взглянул внутрь сердца Кэтлин.

Заглянул и продолжал смотреть, как загипнотизированный. Через разрез в предсердии он видел полость желудочка! Створки клапана свисали с хорды, точно лоскуты по краям рваной раны. Ничего подобного он еще никогда не видел.

Деон попросил анатомические пинцеты и развернул створки, но и теперь сердце Кэтлин не открыло ему своих загадок.

О черт!

Он поднял глаза. Робби со своего места не мог заглянуть в пустоту этого сердца и продолжал спокойно ассистировать.

— Черт возьми, Робби. Ничего не понимаю! Идиоты кардиологи.

Деон снова нагнулся над открытой полостью грудной клетки. Снова раздвинул створки. С таким дефектом ему еще сталкиваться не приходилось. Не может быть этого.

Он вдруг выпрямился, пытаясь осмыслить ситуацию. Нет, это невозможно. Он не знал, как приступить к исправлению всего этого.

Робби заметил его смятение и вытянул шею, пытаясь заглянуть внутрь сердца. Деон слегка отодвинулся.

— Посмотри и скажи, что это, по-твоему, такое?

Это был не его голос, а какое-то хриплое карканье. Гвидо, продолжавший держать ретракторы, вздрогнул и чуть повернул голову.

Деон кашлянул.

— Это бог знает что! — Он с отчаянием развел руками.— По-моему, отсутствуют две перегородки между предсердиями и желудочками. Внутренние створки митрального и трехстворчатого клапанов, по-видимому, ни к чему не прикреплены. Это однокамерное сердце.

Ему надо было найти виновных, обличить кого-то или что-то. Не вина девочки, что она родилась такой.

— Где теперь эти кардиологи, черт бы их побрал? — закричал он, ни к кому не обращаясь.— Почему они не придут и не скажут нам, как оперировать это сердце? Как они умудрились напутать с диагнозом?

Этот взрыв принес облегчение, он снова принялся изучать сердце.

Самое лучшее — зашить и оставить все по-прежнему, не вмешиваясь, подсказывало благоразумие. По крайней мере, не сделаешь хуже. А попытаешься подправить эти обрывки и лоскутки и совсем все погубишь. Угадать, где здесь проходят нервные пучки, невозможно. Значит, ты устроишь полную блокаду сердца.

Но мятежная и властная часть сознания не желала мириться с поражением. Выход должен быть, только надо его найти.

— Гвидо!

Итальянец, обычно самоуверенный, уже заразился его нерешительностью. Он расстроенно посмотрел на Деона.

— Ступайте, позвоните Питеру,— сказал ему Деон.— Скажите, что чертовы кардиологи ошиблись. Объясните, что межжелудочковая перегородка тоже отсутствует. Не думаю, что тут вообще возможно что-то сделать. Я собираюсь просто зашить. Спросите, согласен ли он.

Гвидо кивнул и отошел от стола. Сестра помогла ему развязать тесемки на спине. Пневматическая дверь закрылась за ним с сиплым вздохом, который в напряженной тишине операционной прозвучал оглушающе громко.

— Тут никто ничего сделать не может,— запальчиво сказал он, обращаясь к Робби, точно оправдываясь, хотя Робби даже не смотрел в его сторону.— Это совершенно невозможно. Знай я, что и желудочек один, я сразу отказался бы оперировать.

Робби кивнул, соглашаясь, но это ни на йоту не смягчало тягостный ужас поражения.

Они стояли у операционного стола в молчании, ничего не делая, и это было самое страшное.

Не в силах дольше терпеть это тупое отчаяние, Деон начал двигать не прикрепленные створки сначала трехстворчатого клапана, затем митрального, располагая их по-разному. Он видел самую верхушку сердца, видел устье клапанов и аорты и легочной артерии. Каждый должен соединиться с отдельной камерой. Но как это сделать? С чего же начать?

Дверь снова вздохнула. Вошел Гвидо — его оливковое смуглое лицо посерело и было мокрым от пота.

— Питер говорит...— Он проглотил слюну и начал сначала: — Питер говорит, чтобы вы делали, как находите нужным.

Деон внутренне невесело рассмеялся. А чего ты ждал? Ободрения? Снятия ответственности? Хотел, чтобы он сказал сочувственно: «Что поделаешь, Деон. Зашивайте»?

Ты с самого начала знал, что решение, каким бы оно ни было, примешь ты.

Ну, хорошо. Решай же.

И в ту секунду, когда он открыл рот, чтобы попросить Коллин

подать шовный материал, решение пришло. Туман вдруг рассеялся и исчез, и он ясно увидел свой путь.

— Гвидо, мойтесь,— сказал он.— Попробуем, Робби.

Глаза Робби чуть-чуть расширились. Потом с притворной небрежностью он кивнул.

Сначала надо было создать межжелудочковую перегородку. Но через предсердие этого не сделать, и придется создать другой подход. Он сделал поперечный разрез передней стенки правого желудочка, чуть ниже клапана легочной артерии. Тщательно обошел ветвь правой коронарной артерии.

Робби и Гвидо раскрывали разрез ретракторами. Сердце продолжало биться.

Теперь вид желудочка был более привычным — так Деон проникал в него для устранения дефекта межжелудочковой перегородки. Он сосредоточенно изучал полость. Митральный клапан и клапан аорты должны быть слева. Трехстворчатый клапан и клапан легочной артерии — справа. Ему придется наложить ряд стежков, чтобы обозначить границу. Как столбы изгороди. На мгновение ему вспомнился отец и Вамагерскрааль.

— Шелк. Четыре ноль.

Сестра подала ему иглодержатель. Он отвел створки трехстворчатого клапана и начал накладывать стежки. Но он не видел, что делает. Сначала он надеялся, что сможет оперировать на бьющемся сердце. Тогда задень он нервный пучок, электрокардиограмма тут же это показала бы. Но из этого ничего не получалось. Придется работать с замершей и расслабленной сердечной мышцей.

Техник на машине «сердце—легкие» напряженно ждал приказаний.

— Охлаждайте,— сказал Деон.

Техник нажал на кнопку.

— Охлаждаю,— отозвался он.— До какого режима, профессор?

— До фибрилляции.

Деон взял сердце, чтобы поместить отвод туда, где будет левый желудочек. Он чувствовал, как холодеет мышца. Ритм становился все медленнее. Он закрепил стежком маленькую пластиковую трубку и осторожно опустил сердце обратно в околосердечную сумку. В то же мгновение координированное сокращение мышцы прекратилось. Теперь каждое волокно сокращалось по-своему.

— Фибрилляция,— объявил Мортон-Браун.

— Хорошо. Перестаньте охлаждать. Сестра, аортальный зажим.

Теперь, когда они поняли, что он собирается делать, все вошло в привычную, надежную колею. Стежки накладывались и закреплялись с почти автоматической точностью. Снова движение рук Робби, Гвидо и Коллин слилось в единую симфонию, словно они были частями одного безупречно работающего механизма. То, что они делали, было новым и очень рискованным — точно акробаты на трапеции под куполом цирка пытались исполнить трюк, на который до них никто не решался, а внизу не было сетки. Но все исходные элементы трюка они проделывали множество раз, а потому оставались спокойными, проносясь по крутым дугам от трапеции к трапеции, хватаясь за них, вновь отталкиваясь без всякого усилия и попросту забывая о пустоте внизу.

Когда швы были наложены, Деон вырезал кусочек пластика нужной величины в форме латинской буквы «V». Он прошил стежки через основания и затем по обеим ветвям. Затем натянул шелк, и Робби поставил искусственную перегородку на место. Наконец каждый стежок он надежно завязал и обрезал шелк.

— Как будто неплохо,— сказал Робби.

— Если только я не устроил блокаду,— мрачно ответил Деон.

Он вернулся к разрезу в правом предсердии так, чтобы ясно видеть клапаны, соединяющие предсердия с желудочком, и верхнюю часть новой перегородки. Работая с осторожностью портнихи, сшивающей кружева, он прикрепил к ней внутренние створки клапанов.

Для проверки он вспрыснул воду в только что созданные желудочки. Створки выпятились. Они надежно сомкнулись. Возможно, трехстворчатый клапан чуть-чуть пропускал, но это не страшно.

Он придал второму куску дакрона нужную форму и разделил им, как стенкой, общее предсердие, внимательно следя, чтобы легочные вены оказались слева от новой перегородки.

Стежок за стежком — каждый такой же тщательный, как и предыдущий. В его душе мешались отчаянье и решимость, страх и дерзание. Он пытался подавить их, сосредоточиться только на том, что делали руки. Но, несмотря на его усилия, над ним кружили сотни призраков.

Наконец он выпрямился и, откинув голову, тяжело вздохнул.

— Как будто все. Закрываем.

Он чувствовал себя старым и безмерно измученным. Но остановиться он уже не может. Ни теперь, ни потом.

— Оттепляем.

— Оттепляю,— сказал техник.

Зажужжал насос, подававший горячую воду в радиатор нагревателя. Деон снял аортальный зажим, и кровь, подогретая в термосистеме, начала поступать в миокард. Он закрыл длинный разрез на предсердии.

Теперь, когда все было сделано, он начал нервничать. Дрожь в пальцах настолько усилилась, что он лишь с большим трудом держал иглодержатель.

Пока он переделывал сердце, он отгонял от себя мысль о последствиях. Но теперь словно рухнула плотина, и все сомнения разом нахлынули на него. Будет оно работать? Сможет оно работать? Сколько непредсказуемых неожиданностей. Блокада сердца. Просачивание реконструированных клапанов. И еще что угодно, чего он даже и предположить не мог.

Предсердия работали в правильном ритме, но желудочки сохраняли фибрилляцию. Как будто сердце само еще не знало, как ему качать кровь по новой схеме.

— Температура? — спросил он.

— Пищевода — тридцать четыре,— сообщил анестезиолог,— но в прямой кишке еще низковато. Двадцать восемь.

— Нельзя там прибавить тепла? — нетерпеливо спросил Деон у техника.

— Температура воды в системе сорок два градуса, профессор. Делаю все, что могу.

— Хватит шуточек, слышите! — взорвался Деон.

Техник угрюмо посмотрел на него из-под насупленных бровей.

Кровь, проходившая через сердце, была теперь нормальной температуры, но фибрилляция не прекращалась. Придется прибегнуть к электростимуляции.

Но когда он поднял трепещущую мышцу, чтобы подложить под нее электрод, она ожила под его пальцами, словно он уже пропустил через нее ток. Сердце точно раздумывало. Предсердия послали импульсы желудочкам, словно подстегивая их слабеющие усилия. Еще сокращение. Затем две вновь созданные нагнетающие камеры зарабо-

тали в нормальном сердечном ритме, который для всех, находившихся в операционной, был исполнен немыслимой красоты.

Робби выпрямился во весь свой длинный рост и закрыл глаза.

— Не верю,— сказал он.

Когда они переодевались, позвонил Питер Мурхед.

— Подойди ты,— Деон попросил Робби.— Скажи, что я уже ушел. Скажи... Ну, что хочешь, то и скажи.

Говорить об этом сейчас с кем бы то ни было значило разменять целое на мелочь. А он хотел сохранить все в себе, не делясь ни с кем. Этим нельзя было делиться.

Филипп Дэвидс был в маленькой лаборатории, смежной с кабинетом. Увидев его, Филипп, казалось, почти не удивился, хотя они не договаривались о встрече. Да и Деон, собственно, собирался ехать к себе в клинику, но вдруг неожиданно для себя свернул к соседнему корпусу, где находилась кафедра генетики.

Он постучал, но никто не отозвался. Он толкнул дверь и вошел. За следующей дверью с табличкой «Лаборатория» трудилось несколько человек в белых халатах. Они обернулись, и к нему подошел коротышка в очках без оправы на лисьей мордочке, солидно хмуря брови.

— Что вам угодно?

Затем узнал Деона, и тон его изменился с почти классической внезапностью.

— Профессор ван дер Риет! Добрый день, профессор.

— Здравствуйте. Извините, что помешал. Я ищу профессора Дэвидса.

— А-а...— протянул тот. И добавил уже без всякого восторга: — Он в кабинете, дальше по коридору.

Дверь в кабинет была открыта, как и дверь в лабораторию. Деон увидел Филиппа — он поднял голову от микроскопа и выпрямился.

— Здравствуй,— сказал Филипп.— Входи, входи! — Они обменялись рукопожатиями, и Филипп показал на стул.— Садись. Я сейчас кончу.

— Не торопись.

Деон сел и с интересом осмотрелся. Обычная лаборатория, такая же, как все, которые он видел, в которых работал сам.

Пахло, как в виварии. Деон увидел у стены ряды клеток с номерами. За сеткой что-то копошилось. Белые мыши. В нижнем ряду — кролики.

Филипп оторвался от микроскопа, сделал запись в блокноте рядом с приборами и повернулся к нему на вращающемся табурете.

— Ну вот,— сказал он и улыбнулся.— Что тебя сюда привело?

— Жаль, что видимся раз в сто лет, но ты знаешь, как это происходит.

— Знаю.

— Как работа? Удалось получить все, что было нужно?

— Даже больше. Университет расщедрился. Получил все, что мне требуется в настоящее время. Спасибо, что ты рекомендовал меня нужным людям.

Деон поморщился.

— При нынешнем положении дел мои рекомендации могли тебе принести скорее вред, чем пользу. Я ведь теперь особенно не котируюсь. Нет. Они сами не дураки. Прекрасно поняли, насколько выгодно это для университета.

— И тем не менее. Другой бы и пальцем не пошевелил.

— Ну а все-таки, дело двигается?

— Думаю, да. Пока ничего сенсационного. Просто нужно ставить опыт за опытом и накапливать данные. Некоторым это скучно, но мне нравится.

Деон засмеялся.

— Да, мне, пожалуй, такая радость не подошла бы. Я предпочитаю, чтобы жизнь была по временам насыщена действиями, драматизмом. Вот как сегодня утром.— Деон принялся описывать операцию, которую только что закончил.

— Да,— наконец сказал Филипп.— Я тебя понимаю.

И этих слов как будто было совсем достаточно.

Они продолжали неторопливый разговор, отдыхая в обществе друг друга.

— Ты нашел какие-нибудь отклонения от нормы?—спросил Деон.

— Делать выводы еще рано.

— Ну, а знания, которые ты накапливаешь, и методы, которые ты совершенствуешь, будут они применимы и к людям?

Филипп добродушно заулыбался.

— Кто знает? Во всяком случае, любое наше открытие приближает нас к истине. Знать — это уже достаточно,— сказал он с притворным жаром и опять улыбнулся.

— Нет, подожди. Так легко отделаться от последствий тебе не удастся. Ты не можешь сказать: «Сам я это делать не буду, а потому меня не касается, что там станут делать другие». Это как физик, расщепивший атом, но снимающий с себя ответственность за атомную бомбу.

— Согласен.

— В таком случае какова твоя позиция? Если кто-нибудь создаст младенца в пробирке, сочтешь ли ты это важным научным достижением или аморальным актом?

— И тем, и другим.

— К этому-то я и клоню. Даже ты, даже такой здравомыслящий и ответственный человек, как ты...

— Спасибо,— произнес Филипп с ироническим полупоклоном.

— Нет, погоди,— сказал Деон.— Я говорю серьезно. Даже такой человек, как ты, относится к этому делу двойственно. Возьмем то, над чем ты сейчас работаешь. Все это в высшей степени научно и отвлеченно. В настоящее время ты экспериментируешь с мышками и кроликами. Следующий логичный шаг — проверить, приложимы ли твои открытия к оплодотворению человеческой яйцеклетки

Филипп вращался на табурете из стороны в сторону, лицо его было непроницаемо.

— Да,— сказал он наконец.

— И к человеческой жизни, созданной тобой, ты применишь те же правила, что и к животным? Сможешь ли ты, закончив эксперимент, поступить с выращенным тобой человеческим эмбрионом так же, как с другими — убить его или смыть в раковину?

Филипп все еще вращался на табурете.

— Для начала тебе следовало бы определить, что ты подразумеваешь под термином «человеческая жизнь». Вспомни, что эмбрион, о котором ты говоришь, в лучшем случае всего лишь бластула, чей возраст меньше недели. Комочек органического вещества величиной с булавочную головку. Всего-навсего. Некоторые в высшей степени уважаемые ученые считают, что «жизнь» начинается только после того, как младенец родился и установлено, что он мыслит.

— Знаю. Знаю. Но я говорю не о том. Эти несколько клеток или, как ты выразился, этот комочек органического вещества величиной

с булавочную головку, возникший благодаря искусственному оплодотворению яйцеклетки, обладает потенциальной способностью развиться в нормального, полноценного человека. Другими словами, отвечает критериям твоих так называемых ученых. Так как же ты можешь просто его уничтожить? Я хочу задать тебе еще один вопрос: что ты думаешь о бесполом размножении? О воспроизведении любого индивида любое заданное число раз, трансплантируя ядро его клеток?

— Я рад, что ты об этом упомянул,— вдруг оживился Филипп.— Ты игнорируешь самое главное. Возможно, высадка человека на Луну дала нам не так уж много, но гораздо более ценными оказались побочные результаты исследований, которые позволили нам доставить его туда. Уже методика слияния клеток, в которой ты видишь лишь способ создания человека-дубликата, открывает один из лучших путей определения генетической основы рака. Сейчас ученые во всем мире раковые клетки сливают с нормальными, чтобы выявить те хромосомы, которые ответственны за данную форму рака. Если ты обратишься к ним и прикажешь: прекратите подобного рода исследования ввиду того, что дублирование одного индивида опаснее для человечества, чем раковая болезнь, всякий мало-мальски разбирающийся в этих вопросах человек сочтет тебя безответственным.

Внезапно Деону расхотелось продолжать спор.

— Ну, не знаю,— сказал он рассеянно и слез с письменного стола, на котором сидел.— Мне пора идти. Если хочешь, мы как-нибудь продолжим эту дискуссию.

Филипп жестом остановил его.

— Я хотел попросить тебя еще кое о чем. Но поскольку ты явно не одобряешь мою работу, мне, пожалуй, не стоит затруднять тебя.

— Постой! — запротестовал Деон.— Откуда ты взял, что я ее не одобряю?

Филипп покачал головой.

— Нет. Тебе же пора идти.

— Перестань говорить глупости! О чем ты хотел меня попросить?

— Ты был абсолютно прав, Деон. Я хочу начать опыты с человеческой яйцеклеткой.

— Ну, что я говорил! — воскликнул Деон с озорной усмешкой.— И ты хочешь, чтобы я помог тебе раздобыть материал?

— Да. Профессор Глив пытался, но не сумел никого убедить. Возможно, ему недостает влияния и знакомств.

— А каково юридическое положение? — неожиданно спросил Деон.

Филипп развел руками.

— Довольно нелепое. Мы так ничего точно и не установили.

— Гм. Да. Это одна трудность. А другая состоит в том, что тебе нужны добровольцы. Ты думаешь получить материал с помощью лапароскопии?

— Конечно, это было бы идеально. Но слишком сложно. Для начала я был бы счастлив, если бы получал только что удаленные яичники или хотя бы их части. А извлечь из них яйцеклетки нетрудно.

— Это, пожалуй, можно устроить. Послушай, я ничего не имею против работы, которую ведешь ты и многие другие. И не подумал бы возражать, но тем не менее, на мой взгляд, ее лучше держать под секретом.

— Естественно. Но если ты считаешь, что риск слишком...

Деон жестом заставил его замолчать.

— Не вставай на дыбы. Я устрою, чтобы ты получал яйцеклетки, которые тебе нужны. Просто все это следует держать в абсолютной тайне. Даже Глив не должен знать. Так тебя устроит?

— Да, устроит,— сказал Филипп.

По причинам, которые ему не хотелось анализировать, Деон позвонил по телефону у входа в пустой лекционный зал, чтобы не звонить через коммутатор клиники. Он набрал номер, который ему дала Триш, и когда там сняли трубку, самым вежливым тоном попросил позвать ее к телефону.

— Мне придется сходить за ней,— сказал женский голос.— Как мне ей сказать, кто ее просит?

— Скажите, что один ее знакомый,— отрезал он, но тут же сообразил, что эта таинственность может только разжечь любопытство соседки, и добавил: — Пожалуйста, скажите, что это Деон.

Прошло довольно много времени, прежде чем там снова взяли трубку.

— Я слушаю.— От этого низкого сочного голоса у него тотчас пересохло в горле.

— Здравствуй, Триш,— как можно небрежнее сказал он.— Это Деон.

— Я знаю.

Никаких общепринятых вежливых слов. Деон решил быть столь же прямолинейным.

— Мне надо сообщить тебе кое-что важное.

— А именно?

— Мне не хотелось бы по телефону... Ты не собираешься в город?

— Завтра мне нужно попасть в транспортное агентство.

— Ты не пообедаешь со мной?

— Спасибо.

Чуть запинаясь, он условился, когда и где они встретятся.

И когда он шел с Триш по Эддерли-стрит, он испытывал ту же неловкость. Была половина первого, и улицы кишели народом. Он радовался про себя этой толчее, которая избавляла его от необходимости вести разговор.

Когда они встретились, она сразу спросила:

— Что ты хотел мне сказать?

Но он покачал головой:

— Не здесь, не на улице.

Он вел ее, чуть касаясь рукой ее локтя, в скромный ресторанчик. Они спустились по ступенькам и оказались в теплом и уютном уединении. Казалось, шумная улица осталась где-то далеко. Улыбаясь и кланяясь, вошел метрдотель. Он узнал Деона, быстро покосился на Триш и молча провел их к столику.

Некоторое время они изучали меню и карту вин, так что все еще можно было обходиться общими фразами. Но в конце концов официанты ушли, неслышно ступая по устланному ковром полу, и они остались одни.

Триш наклонилась к нему через столик.

— Ну вот. Теперь ты можешь мне сказать.

— Давай прежде выпьем.

Он сам себе не мог объяснить, почему тянет, почему дразнит ее. Не из жестокости, хотя, возможно, какой-то оттенок жестокости тут и присутствовал — стремление отплатить ей за отчужденность. Но главным образом это была потребность удержать ее интерес, пусть

даже с помощью самой грубой уловки оттягивая минуту, когда он расскажет ей о том, что для нее так невыразимо важно.

Несколько секунд она внимательно всматривалась в его лицо. Затем слегка пожала плечами и принялась разглядывать зал.

— Ты уже решила, когда возвращаешься в Италию? — Он страшился ответа, но не нашел, о чем еще ее спросить.

— В начале следующего месяца. Сегодня я приехала заказывать билеты.

Три недели. Меньше чем три недели.

— Значит, ты не предполагаешь больше задерживаться?

— Нет. Отец теперь сам справится. Рано или поздно ему все равно придется привыкнуть. И потом — у каждого ведь своя жизнь.

— Пожалуй, ты права.

— И такая погода совсем не для Джованни. Он очень легко простуживается.

Сказать ей сейчас?

Но он только спросил:

— Ты помнишь Филиппа Дэвидса? Цветной, который учился со мной в университете. Мы вместе кончали.

— Так, смутно. Но я про него слышала. Он ведь получил Нобелевскую премию за что-то там такое?

— Его выдвигали, но он ее еще не получил. Но я хотел сказать, что сейчас он здесь, в Южной Африке. Понимаешь, он — генетик. И твердо убежден, что со временем мы сможем предотвращать и лечить наследственные болезни вроде синдрома Дауна.

Она внимательно посмотрела на него.

— Каким образом?

— Ну, это непросто объяснить. Суть в том, что в каждой клетке есть вещество, называемое ДНК, и оно служит как бы магнитной лентой, на которой запечатлена определенная информация. Так вот, болезни, вроде синдрома Дауна, возникают из-за искажения этой информации. Когда-нибудь, когда, например, мы создадим молекулярную хирургию, мы сможем убирать кусочки с искаженными информациями и заменять их правильными.

— Это звучит очень холодно и цинично.

— Но если в результате удастся создать совершенного человека, свободного от генетических ошибок?

Забавно, что он защищает точку зрения, на которую недавно сам нападал. Но почему-то ему необходимо было убедить ее, хотя сам он не был убежден.

— Ты хочешь сказать, что тогда дети, такие, как Джованни, не будут рождаться? — спросила она.

— Ну, пожалуй, да.

Вернулся официант, и, пока расставлялись блюда, пока по заведенному ритуалу пригубливалось и одобрялось вино, Деон успел собраться с мыслями.

— Возможно, это звучит несколько холодно, как ты выразилась,— начал он, когда они снова остались одни.— Но если в конце концов удастся покончить с болезнями средствами генетики, неужели это не благая цель? Ведь в конце концов именно этого веками искали врачи.

Она задумчиво смотрела в тарелку.

— Да, Деон. С чисто медицинской точки зрения ты, вероятно, прав. Но ты говорил о создании совершенного человека. Мне кажется, не следует рассуждать о совершенстве с такой легкостью.

— Если можно будет покончить с неравенством, связанным с происхождением, интеллектом? Неужели ты не подпишешься под

такой идеей? Не это ли ответ на извечную человеческую мечту о рае на земле?

— Да, вы создаете совершенство. Совершенное чудовище.— Она покачала головой.— Совершенное счастье несовместимо с человечностью. Нам нужна тьма, чтобы оценить свет. Если б ты дал мне выбирать между вашими так называемыми совершенными младенцами и бедным Джованни, я все равно выбрала бы его. По крайней мере, он — человек, и в нем сосредоточены все противоречия, из которых слагается его сущность.

И тогда он рассказал ей. Он рассказал ей о собаке, которая все еще живет — живет полторы недели после операции, моделирующей операцию по поводу атрезии трехстворчатого клапана. Он подчеркнул опасности, неясности, технические трудности, которые все еще могут возникнуть. Она внимательно, не перебивая, не задавая вопросов, выслушала до конца его объяснения, довольно сбивчивые, так как он пытался упрощать, чтобы ей было понятно. Она смотрела на его лицо, ни на мгновение не отводя взгляда.

Когда он договорил, она задала только один вопрос:

— Как скоро ты сможешь оперировать?

— Я еще не знаю,— ответил он смущенно.— Слишком много непредвиденных осложнений. Прежде чем сделать следующий шаг, мы должны быть абсолютно уверены...

— Я хочу, чтобы ты оперировал Джованни. Но, примерно, когда это может быть?

— Месяца через два-три. Самое позднее — весной.

Она кивнула.

— Я останусь. И буду ждать столько, сколько потребуется.

Она говорила очень спокойно и сдержанно. Но настороженная напряженность ее лица вдруг смягчилась. Как будто, подумал Деон, наблюдая за ней, пришла к ней весна. Пришла весна, хотя только-только наступила зима.

«А может быть, она пришла и ко мне?» — подумал он.

Они задержались у дверей. Пока он подавал ей пальто, какая-то вошедшая в ресторан дама вдруг резко остановилась, обернулась, пристально на них посмотрела.

Деон перехватил ее взгляд и узнал Джиллиан Мурхед, хотя и не сразу.

Зима

Глава девятая

С севера, с гор, дул горячий ветер.

Вылезая из машины у дверей больницы, Деон подумал, что хорошей погоде как будто пришел конец. Почти неделю один солнечный, золотой день сменялся другим, и все уже решили, что наступила ранняя весна. Но этот ветер, который казался жарким, сухим дыханием самой Африки, пророчил другое: зима еще впереди.

Ветер с гор всегда действовал на Деона плохо. Он знал, что скоро у него разболится голова. По совпадению, нет ли, горный ветер нередко предшествовал какому-нибудь несчастью, пусть всего лишь простуде или гриппу.

Он начал обход, испытывая от этой тяжелой духоты такое ощущение, словно одежда ему мала. Свое раздражение он срывал на окружающих, искал, к чему бы придраться, находил и не скупился на резкие выговоры. Последней каплей было открытие, что больной, ко-

торому он накануне делал замену митрального клапана, до сих пор еще не вполне пришел в сознание.

Он гневно обрушился на дежурного в послеоперационной, сравнительно нового человека, откуда-то из Средней Европы.

— Что здесь происходит, черт побери? Почему меня не поставили в известность?

Тот пробормотал что-то невнятное. Вопреки всякой логике, это еще больше взбесило Деона.

— Что вы мямлите? Да отвечайте же!

Тут вмешался Робби Робертсон.

— Полагаю, что при шунтировании в сердечную мышцу попал воздух,— сказал Робби,— он проник в головной мозг и вызвал небольшую аноксию.

Деон скривил губы.

— Спасибо. Это я и сам способен сообразить.

— Но его-то вины тут никакой нет, ведь так? — сердито спросил Робби.

Окружающие неловко переминались с ноги на ногу и смотрели на мониторы, на графики, на стены, на потолок — куда угодно, только не на Деона с Робби.

Уязвленный Деон огрызнулся:

— Возможно. Но он мог бы потрудиться и позвонить мне. Или он собирался звонить мне после того, как больной умрет?

Робби пожал плечами.

— А что тут можно сделать? Только ждать и надеяться на лучшее. Тут никто ничего сделать не может. Даже вы.

Подспудный вызов был столь же несомненным, как и неожиданным. Все вокруг настороженно затаили дыхание. Деон сощурился.

— Послушайте, Робби! Пока я заведую отделением, я желаю знать все, что здесь происходит. Все, до последней мелочи. Это ясно?

Робби отвернулся, снова пожав плечами. Они закончили обход в тягостном молчании.

К тому времени, когда Деон уехал из больницы, гнев прошел, сменившись стыдом и раскаянием за эту вспышку.

В их давние приятельские отношения с Робби вкралась тень враждебности. Робби никогда не отличался почтительностью, но всегда признавал Деона безусловным главой отделения кардиологии в полном смысле этого слова. Последнее время, однако, он стал все чаще возражать и ставить под сомнение решения и указания Деона.

Сегодня утром Робби был безусловно неправ. Даже если он считал этот выговор несправедливым, ему следовало бы промолчать.

Деон медленно поднимался по лестнице, внезапно почувствовав себя старым и уставшим от жизни. Не было больше прежней верности и товарищества.

Причиной эта жара, удрученно твердил он себе. Только жара.

В любом случае надо добиться увеличения штата. В отделении отчаянно не хватает людей. Гвидо и француз Каррер — оба вдруг ушли, и их до сих пор никем не заменили. Лишь две из семи вакансий ординаторов заняты.

«Отсюда и наша общая раздражительность,— размышлял он.— Ребятам приходится слишком много работать. Пожалуй, мне следует на несколько недель сократить объем работы».

Он сейчас же позвонит профессору Снаймену и напомнит об обещании прислать в отделение ординаторов из резерва общей хирургии. Когда они об этом говорили?.. По меньшей мере, две недели назад, и до сих пор ничего не сделано. Не мог же старик в самом деле забыть?

«Раньше все было по-другому»,— с горечью думал Деон. Одно время действовала система, по которой все ординаторы-хирурги проходили обязательную полугодовую практику в кардиологии, и людей было более чем достаточно. Но потом от этого внезапно отказались без всякой видимой причины.

Он прошел через приемную в кабинет, только коротко кивнув Дженни. Ему нужны были одиночество и тишина, ему требовалось время, чтобы собраться с мыслями и обдумать дальнейшие действия. Он чувствовал, что задыхается.

«Это ветер,— сказал он себе.— Просто ветер».

На письменном столе лежала записка. Профессор Снаймен хотел бы увидеть его. Не позвонит ли он мисс Аренсен, чтобы условиться о времени?

Ободрившись (это несомненно связано с вопросом о штатах, а если нет, так у него появится удобная возможность затронуть и эту проблему), он позвонил Снаймену.

Да, сказала мисс Аренсен, профессор скоро освободится. Не будет ли профессор ван дер Риет так любезен прийти к нему теперь же?

Профессор Снаймен встретил его молча и без улыбки. Он не поднялся, когда Деон вошел, и просто показал на стул. Перед ним лежал отпечатанный лист, и он прикрыл его ладонью. Едва дав Деону сесть, он сказал ворчливо:

— Вы меня разочаровали, Деон. Очень разочаровали и огорчили. От вас я ничего подобного не ожидал.

Он замялся и перевел взгляд на лист бумаги — перевел медленно и подчеркнуто, что указывало на степень его неудовольствия и степень отчуждения между ними.

Деон смотрел на петушиный хохолок седых волос и лихорадочно перебирал в уме события последних дней. Чем, черт возьми, мог он обидеть старика?

— В будущем,— произнес Снаймен сердито,— когда у вас возникнут хирургические проблемы, прошу больше ко мне не обращаться. Консультации и сотрудничество между хирургическими отделениями всегда были краеугольным камнем, на котором держалась клиника. Они сами собой разумелись.

— Я не понимаю. Что... почему?

— Мне надоело, что вы вечно обвиняете нас в смерти ваших больных,— зло сказал Снаймен.

Деон потряс головой, совсем как боксер, получивший удар в челюсть.

— Обвиняем вас? По-моему, ничего подобного ни разу не было.

— У меня есть свои источники информации,— произнес старик.

— Профессор, насколько мне известно, я ни разу не возлагал ответственности за смерть своего пациента на вас или ваших сотрудников.

— Ну, а ван Хеерден?

Ван Хеерден? Ван Хеерден... Ах, да. Недели две назад. Мужчина сорока пяти лет или около того. Он заменил оба клапана — митральный и аорты, а потом этот перитонит.

— Я помню ван Хеердена.

— Ну вот!

Первые два дня после операции больной чувствовал себя нормально. Затем в его стуле оказалась кровь. Консультировал профессор Снаймен и назначил операцию. Он обнаружил заворот тонкой кишки с гангреной и сделал резекцию. Но кровотечение продолжалось, и спустя два дня ван Хеерден снова оперировался. На этот раз была обнаружена язва двенадцатиперстной кишки. Язву ушили и про-

извели ваготомию. Больному стало лучше, но на четвертый день он сорвал шов. Пришлось делать третью операцию. А вскоре обнаружились признаки разлитого перитонита, и больной скончался.

— Почему вы думаете, будто ответственным я считаю вас? — спросил Деон.

— Неважно,— отрезал старик.— Просто в будущем обращайтесь по поводу своих больных куда-нибудь еще.

Продолжать разговор на эту тему не имело смысла. Снаймен был в плену своего предубеждения. Кто-то явился к нему с этой пакостью, а он выслушал и с радостью поверил.

— Хорошо,— сказал Деон сухо.— Пусть будет так, раз вы этого хотите.

Снаймен окинул его гневным взглядом, но промолчал.

— Кстати,— тем же сухим тоном продолжал Деон.— Могу я узнать, профессор, вы распорядились, чтобы мне прислали кого-нибудь из хирургического резерва?

Снаймен опустил голову, вновь выставив вперед седой хохолок.

— Нет.

— Как так? Мне не хватает пяти ординаторов, и вам это известно.

— Я пытался,— сказал старик.— Я сделал все, что мог.— Он поднял голову и ядовито усмехнулся.— Возможно, вам будет небезынтересно узнать, что я предлагал по меньшей мере пятнадцати ординаторам пойти к вам. Все до одного отказались. Так что, боюсь, я ничем не могу вам помочь.

— Прекрасно, профессор,— как мог небрежнее бросил Деон.— Это пустяки. Значит, мне самому надо будет поискать людей? Не беспокойтесь. Я справлюсь.

«То, что я сказал сейчас, взять назад уже невозможно,— подумал Деон. Им овладело странное летаргическое спокойствие.— И теперь я могу высказать все до конца».

— Простите, что говорю вам это, но я потерял веру в вас и как в друга и как в своего начальника. Не знаю точно, почему у нас разладились отношения, но, может быть, дело в том, что я не принадлежу к числу ваших пай-мальчиков. Видит бог, их у вас предостаточно.

Снаймен в ярости взмахнул руками, сбросив со стола кипу бумаг.

— Как вы смеете! Как вы смеете заявлять...

— Разрешите мне кончить, профессор. Позвольте напомнить о вашем новом корпусе имени Патрика Меткафа, так он называется, если вы помните. Имени моего тестя, как ни забавно. А почему? Потому что он пожертвовал деньги на постройку здания. Весьма благородно и так далее. Но он намеревался пожертвовать эти деньги совсем на иные цели, пока я не убедил его, что нам они нужнее. И вот вы получили прекрасный новый корпус, но когда я попросил предоставить мне там помещение для работы, что произошло? То, что эти деньги вы получили отчасти благодаря мне, уже забыто, а ваши пай-мальчики успели меня опередить.

Он рывком поднялся и смерил холодным взглядом старика за письменным столом.

«Он стареет,— подумал Деон спокойно.— И становится завистливым и злобным».

— Было время, когда вы принимали близко к сердцу мои интересы,— сказал он.— Но оно прошло. По-моему, нам двоим здесь тесно, профессор.

Он повернулся на каблуках.

— Да! — крикнул старик ему вслед.— Да, тесно! Но смею вас заверить, уйду не я.

... Очень давно Филипп приучил себя ничем не выдавать своих чувств. Он знал, что принадлежит к экспансивным натурам, и получал болезненное удовольствие, обуздывая свое стремление дать волю эмоциям.

Невозмутимая сдержанность настолько стала частью его характера, что отказаться от нее было нелегко! А потому теперь, когда нервы напряжены до предела, он уходил в умывальную, в коридор или дальний угол комнаты и сквозь стиснутые зубы беззвучно бормотал самые кощунственные ругательства, какие только мог придумать. Это было по-детски, но помогало.

Сейчас он был один у себя в кабинете и мог расслабиться.

Пригнувшись к столу, он монотонно сыпал ругательствами, и голос его был полон угрозы и ярости.

С этим чертовым делом надо кончать, и поскорее. Неприятно, конечно, но ничего не поделаешь. То, что произошло, нельзя игнорировать. Необходимо принять меры. Пусть Глив разбирается, что будет только справедливо, поскольку причиной всему он (хотя, бесспорно, без какого бы то ни было умысла).

Профессор Глив с самого начала восторженно одобрял эксперименты по генетическому воздействию. Он был приятным и порядочным человеком, не лишенным честолюбия, а причастность к такого рода исследованиям могла только украсить его профессорскую карьеру. Он почувствовал огромное облегчение, что его скромному бюджету не угрожают никакие дополнительные расходы, и в порыве великодушия предложил предоставить Уильямса в полное распоряжение Филиппа.

Все получилось лучше, чем он ожидал. Правда, они с Уильямсом были далеко не друзья, но и до открытой вражды дело не доходило. Оба старательно избегали поводов для столкновений, и до сих пор все шло гладко.

До сегодняшнего утра.

Они работали в углу, отгороженном от остальной лаборатории широкой полосой полиэтиленовой пленки, защищавшей их от сквозняков. Филипп тонкой пипеткой вымывал яйцеклетки из яйцевода мертвой мыши.

«Откуда мы получаем сперму?» — спросил вдруг Уильямс.

Филипп оторвался от работы и удивленно поглядел на лаборанта.

«Зачем она вам? Яйцеклетки уже оплодотворены».

Уильямс непонимающе уставился на него.

«Оплодотворены? Но как?..»

«Неужели вы не знаете? Мы уже второй месяц этим занимаемся! — И Филипп, сдерживая раздражение, сказал, словно читая учебник: — Помещаете самцов к самкам и на следующее утро отбираете самок, которые...»

Уильямс прервал его.

«Я не об этих,— он махнул в сторону клеток с подопытными мышами.— Я говорю о человеческих яйцеклетках».

Филипп насторожился.

«Каких, каких?»

Лаборант смерил его высокомерным и в то же время хитрым взглядом.

«Я ведь способен понять, что к чему,— сказал он.— Но какой спермой вы их оплодотворяете?»

«Своей,— оборвал его Филипп.— Дайте мне чашку. Их надо побыстрее поместить в инкубатор».

Уильямс не шелохнулся.

Филипп перенес собранные яйцеклетки на предметное стекло микроскопа. Он не видел, что лицо лаборанта побагровело.

«Я просил чашку, мистер Уильямс».

Уильямс поставил чашку с питательной средой на край стола, и Филипп с изумлением посмотрел на него.

«Вы хотите сказать... что... что вы... — Голос Уильямса дрожал, очки сползли на кончик носа.— Вы... вы... Это омерзительно».

Филипп отложил пипетку. Он все еще не понимал, что так взволновало лаборанта.

«Послушайте, мистер Уильямс. Неужели это для вас новость? Во всем мире лаборатории пользуются донорами-добровольцами».

Он протянул руку, чтобы дружески похлопать Уильямса по плечу. Тот отшатнулся. Губы у него дрожали, и он с трудом выговорил:

«Это же могли быть яйцеклетки белой женщины».

Он снял очки и со злостью протер их полой халата. Без очков его лицо казалось голым и беззащитным.

Филипп рассматривал его с тем отчужденным вниманием, с каким рассматривал бы данные, как будто свидетельствующие в пользу сомнительной теории.

«А это что-нибудь меняет?» — спросил он наконец.

«Еще бы! — взвизгнул Уильямс.— Вы же цветной».

Он этого ждал. Их разговор ни к чему другому привести не мог. «Впрочем,— подумал Филипп,— все началось гораздо раньше: когда я согласился работать тут и стал его начальником. И даже еще раньше, когда я решил вернуться в эту страну. Когда я уехал. Когда решил заняться медициной. Когда родился и родился не белым. Вот когда. Это было предопределено еще в ту холодную ночь в лачуге из кровельного железа сорок семь лет назад. И все-таки к этому нельзя привыкнуть».

«Мистер Уильямс,— сказал он спокойным, сухим тоном.— Полагаю, вам лучше всего оставить лабораторию. А заодно зайдите в ближайший полицейский участок и потребуйте, чтобы меня привлекли к ответственности согласно положениям закона о нарушении общественной нравственности».

Уильямс резко поправил очки.

«Не беспокойтесь! Я ухожу. Я отказываюсь быть причастным к этой гнусности!»

Филипп смотрел на него и молчал.

Решение было принято: Гливу придется что-то сделать. Назад пути нет.

И все-таки где-то в глубине сознания мелькал тревожный вопрос. Пойдут ли они на это? Накажут ли белого за то, что он оскорбил цветного?

«Ты Филипп Дэвидс,— вынужден был он напомнить себе.— Ты профессор Филипп Дэвидс. И к черту все это».

Глава десятая

Молодой репортер, одетый по последней моде, с волосами, которые, по мнению заведующего отделом хроники, были чересчур длинны, болтал с секретаршей в приемной редакции. Ни он, ни она не заметили, как в приемную вошел человек маленького роста.

Репортер с притворным равнодушием продолжал рассказывать о заданиях, которые ему поручали на этой неделе. Ему пришлось брать интервью у знаменитого импрессарио, прибывшего в Кейптаун со своим ревю. Признательный импрессарио уж конечно пришлет ему парочку контрамарок, сообщил он и прозрачно намекнул, что еще не

решил, кого пригласить. Секретарша посмеивалась, отшучивалась. Время от времени звонил коммутатор, и она отвечала и соединяла.

Человек маленького роста терпеливо стоял под надписью «Справочная» на английском и на африкаанс. Только когда он кашлянул, они заметили его. Секретарша почему-то сразу же решила, что он — школьный учитель.

— Прошу прощения, мисс,— произнес он сипло и снова кашлянул.

Он говорил на африкаанс, но по акценту было ясно, что это не родной его язык. Поэтому девушка, следуя инструкции, спросила по-английски:

— Чем могу помочь вам, сэр?

Он, однако, продолжал на африкаанс, то ли из упрямства, то ли в убеждении, что так скорее добьется своего в редакции газеты, выходящей на этом языке.

— Мне хотелось бы поговорить с редактором.

Репортер, всем своим видом показывая, что это его не касается, сосредоточенно созерцал висевший на стене рисунок редакционного карикатуриста.

К секретарше постоянно обращались с этой просьбой, и у нее был готов стандартный ответ, который она теперь и произнесла с той же доброй деловитостью, с какой манипулировала коммутатором:

— Извините, сэр. Редактор в Иоганнесбурге, в главной редакции. Здесь только филиал. Может быть, вы поговорите с заведующим отделом?

Лицо посетителя выразило разочарование и сомнение. Он снял очки, и тут девушка поняла, что напыщенность придают ему именно эти очки без оправы.

А сняв их, он стал просто маленьким человечком с остренькой, настороженной физиономией.

— Я не уверен,— сказал он и взмахнул рукой с очками.

Секретарша терпеть не могла своего учителя истории, а потому спросила посетителя более резко, чем обычно:

— Вы по какому делу?

— Вам я не могу этого сказать. Но это очень важно.

— В таком случае вам лучше поговорить с заведующим отделом.

— Ну хорошо,— нехотя согласился он.

Зажужжал коммутатор, и она потянулась снять трубку.

— Фрэнс,— сказала она репортеру,— вы не проводите этого господина в кабинет к господину Лейтгену?

И, переключая штеккер, подумала, что очень ловко избавилась сразу от обоих.

Всю неделю у Деона были несложные операции. Но он испытывал постоянную неуверенность в себе и знал, что это замечает бригада. Он легко выходил из себя и временами был просто неуклюж. Особенно его пугала появившаяся у него рассеянность.

Правда, в лаборатории все шло хорошо. Они с Мулменом провели успешную операцию на собаке: закрыли трехстворчатый клапан, симулируя атрезию, затем отвели кровь от правого предсердия на легкое. Получилось удачно. Они были готовы к главному.

В четверг во второй половине дня он встретился с Триш в детской клинике и помог ей уладить все необходимые формальности. Джованни пошел с ними в палату. Он доверял Триш, а Триш доверяла Деону.

В палате ждал Мулмен. Деон перевел его из лаборатории в клинику. Три ближайшие недели он должен был всецело посвятить этому

ребенку. Подготовить его к операции, ассистировать во время ее и затем не отходить от Джованни ни на минуту весь послеоперационный период.

Триш поцеловала сына в щеку и направилась к дверям.

Джованни заплакал. Мулмен пытался отвлечь его игрушкой, но мальчик только заплакал громче. Деон увидел, что Триш колеблется. И все же она решительно вышла из палаты. Они вместе шли по коридору, а сзади доносились отчаянные вопли Джованни.

Деон подумал, что Триш надо чем-то отвлечь. Он повез ее в отель на взморье — там они зашли в бар. Сначала они говорили о Джованни и операции, а затем стали вспоминать свои студенческие годы. Когда он предложил поужинать, она согласилась. Потом он отвез ее домой (она сняла квартиру недалеко от клиники), и она пригласила его зайти выпить кофе.

Комната была залита лунным светом. Триш не сразу включила свет. Встав у окна, она молча смотрела на лунную дорожку, уходящую далеко в океан. Деон решил, что она ждет, чтобы он подошел к ней. Он попытался взять ее за руку. Спокойно, но решительно она высвободилась. Он почувствовал себя глупо и продолжал стоять рядом с ней.

За окном, несмотря на поздний час, бесшумно кружили чайки. Они возникали черными силуэтами на фоне озаренных луной волн.

— По вечерам я кормлю чаек, и они слетаются к моему окну,— негромко сказала Триш.

И неожиданно для себя он сказал:

— Ты — прелесть.

Она улыбнулась ему, потом, не сказав ни слова, вернулась к двери и зажгла свет.

— Кофе? — спросила она.

— Спасибо,— отвечал он.

Она, казалось, не заметила иронии в его голосе.

Кухонька была крохотной и компактной, как корабельный камбуз. Деон остановился в дверях и смотрел, как Триш заправляет электрический кофейник и достает чашки.

— Это все твое? — спросил он.

Она покачала головой.

— Квартира сдается с мебелью. Мне здесь принадлежит только вот та акварель. Вчера купила.

Он подошел посмотреть. Уличная сценка. Подпись была ему незнакома.

В проволочной корзине под акварелью лежали журналы в глянцевых обложках. Деон взял первый попавшийся под руку. Он оказался немецким — по-видимому, посвящен серьезному искусству. Деон начал его листать и вдруг наткнулся на цветную фотографию Триш во всю страницу.

Он недоуменно заморгал и снова посмотрел на обложку. Потом принялся разглядывать фотографию Триш в выпачканном красками комбинезоне — стоит у мольберта с полузаконченной картиной, изображающей гипсовую лошадь. Фотографу удалось схватить ее внимательную сосредоточенность.

На следующих страницах еще фотографии — Триш в саду, Триш с Джованни на склоне холма, и оба смеются, Триш в огромной пустой студии. Репродукции картин, ваза с желтыми цветами, пять фигур на странном кубическом фоне, безлюдное взморье.

Он кое-как переводил подписи: «Подобно комете на небосводе искусств...», «...Патриция Седара, гениальный художник...», «...воплощенные с изяществом и проникновенностью истинного гения...»

Он попробовал читать статью, но из кухни вышла Триш, неся чашки с горячим кофе. Он взял чашку и показал на журнал.

— Я не знал, что ты — знаменитость.

Она взглянула на обложку и пожала плечами.

— А, это! Один мой приятель прислал.

— Нет, серьезно. Я не знал, что ты получила такое признание.

Она помедлила, обдумывая ответ.

— Ну, далеко не такое, как они утверждают. Ты ведь знаешь, как журналисты склонны все преувеличивать. Я неплохой художник, и мне кажется, становлюсь лучше.

Его почему-то смутила ее прямота, и вновь в нем поднялось тревожное чувство утраты, словно она ускользнула туда, куда он не может за ней последовать. Перед ним захлопнули дверь — неосязаемую, невещественную. Он знал только, что скрытая от него тайна имеет какое-то отношение к ее живописи и к этой статье в журнале, который он все еще держал в руках.

Деон положил журнал на место и торопливо выпил кофе.

Они опять заговорили о Джованни. Он рассказывал ей, успокаивая, о том, что будет проделано в ближайшие дни: анализы крови и пробы на перекрестную совместимость; рентген, чтобы убедиться, что в легких чисто; анализы мочи, чтобы исключить болезни почек и диабет. Все это очень простые процедуры — уверял он ее. Мулмен — мягкий и добрый человек. Джованни освоится и будет весел и спокоен.

Он откинулся на спинку кресла и улыбнулся ей.

— А я узнаю, что ты — знаменитый художник... И теперь ты пишешь все время?

— Да.

Прежде чем он нашелся, что сказать, она поднялась и пошла в кухню за кофе. А когда вернулась, они снова начали говорить о Джованни.

Деон понимал, что она хотела бы, чтобы он ушел, а ему хотелось остаться. Он знал, что не нужен ей, и испытывал неодолимую потребность стать ей нужным.

Он попытался опять заговорить о ее работе, взломать захлопнувшуюся перед ним дверь. Она отвечала уклончиво.

Наконец она предложила ему коньяку, и он согласился. Он продолжал говорить и, сам изумляясь, слушал свои бессвязные рассуждения, но был не в силах остановиться. Он окинул взглядом неуютную, скупо обставленную комнату. Остаться бы здесь на всю ночь, и к черту завтрашнее мучительное объяснение!

При этой мысли он вспомнил Элизабет и что когда-то она тоже снимала такую же квартиру. Элизабет и Деон. Элизабет и Филипп. А вдруг та квартира была для Филиппа тем же, чем эта сейчас кажется ему: особым замкнутым миром, куда не может вторгнуться ничто — ни телефонный вызов в больницу, ни необходимость думать о цвете своей кожи?

Он поставил рюмку и поднялся, с удивлением обнаружив, что пошатывается.

— Мне пора,— сказал он.

Дежурный редактор был близок к отчаянию. Две внутренние полосы пора сдавать в набор, а у него не было ни одного хоть сколько-нибудь броского материала. Он лихорадочно перелистал стопку заметок. Ничего!

— Мне нужна заглавная статья на шестую полосу,— напомнил ему старший техред.

— Да знаю я! — ответил он. И снова запустил пятерню в волосы.

К вечеру в пятницу всегда горячка. Придется все-таки обойтись статьей о разводе, какая бы она там ни была. Эх, было бы сейчас воскресенье! Они с женой на реку по воскресеньям ездили — удить рыбу.

Из трубы пневматической почты у его локтя с хлопком вылетел патрон. Он с надеждой развернул содержимое. Сначала шли листки с биржевыми курсами, и он отложил их в сторону. Затем корреспонденция, помеченная Кейптауном, где у них было отделение. Он прочел первый абзац и воскликнул:

— Ого-го!

Техред, правивший что-то в макете полосы, посмотрел в его сторону.

— Черт! — буркнул редактор, продолжая читать, и возбужденно сообщил: — Вот это материальчик, Джанти! Это от Лейтгена из Кейптауна.— Он передал ему первый листок, а сам стал читать дальше. Он был радостно возбужден. В любом случае шестая страница обеспечена.

Деон проснулся с чувством полной опустошенности, но в первый момент не мог понять, в чем дело. Затем в памяти всплыли исполненные горечи разрозненные обрывки, сложились в единое целое.

Вчера ночью они поссорились с Элизабет. Из-за его отношения к Лизе. Это был лишь предлог, а истинная причина заключалась совсем в другом, в том, что глубоко скрыто. Он почувствовал, что его жену снедает какой-то внутренний жар, заметил — с испугом заметил — в ней ярость запертого в клетку животного, дикого зверя, который с ожесточением бросается на прутья решетки, стремясь вырваться на волю. Но причины он не понимал.

В окно спальни врывались лучи солнца, под косым углом ложились на одеяло, так что оно стало совсем горячим. Деон вспотел, сбросил одеяло и вытянулся на спине.

А может быть, Элизабет ощутила перемену в нем самом? «А вдруг она знает или догадывается?» — подумал он виновато. Женская интуиция? Чепуха!

Да и переменился ли он? Что он чувствует на самом деле? Что скрывается за влечением к Триш, за иллюзией возвращенной молодости, за общими воспоминаниями и интересами?

Этот беспомощный самоанализ причинял невыносимую боль, а потому он сел в кровати и потянулся за халатом. По пути в ванную он услышал на кухне привычный, успокаивающий стук посуды.

Он побрился и принял душ, повернув кран холодной воды и подставив жалящим струям тело. Но и ледяная вода не освежила, не смыла томившие его сомнения и растерянность.

Было воскресенье, и он надел спортивные брюки и поверх рубашки с открытым воротом натянул старый свитер, потому что, несмотря на яркое солнце, день обещал быть прохладным.

Элизабет на кухне готовила завтрак. Запах яичницы с грудинкой и жарящегося хлеба пробудил в нем голод, и он вспомнил, что вчера практически не ужинал. Ссора началась еще до ужина и продолжалась все время, пока они сидели за столом, так что было не до еды.

— Доброе утро,— сказал он выжидательно.

Элизабет посмотрела на него. И он подумал, что глаза у нее цвета льда, морского льда — зеленые, как айсберги на картинах, вздымающиеся над зеленоватой синевой океана.

Она посмотрела на него и отвернулась, не ответив.

На плите в стеклянном кофейнике бурлил кофе, и он молча налил себе чашку. Он выпил его без молока и сахара, поставил чашку и направился к двери.

— Я съезжу в город за газетами,— сказал он Элизабет.

На этот раз она даже не взглянула на него и опять ничего не ответила.

Он все еще кипел от злости, когда остановился у киоска почти в центре города, где обычно покупал воскресные газеты. Дура! Может, она воображает, что таким способом чего-то добьется?

Он начал машинально перелистывать верхнюю газету в купленной им стопке. Воскресный выпуск на африкаанс. Он рассеянно прочитал заголовки, подписи под фотографиями и вдруг, перевернув страницу, замер.

Через всю страницу, набранный самым крупным шрифтом, тянулся заголовок, требуя внимания к тревожному известию, гарантируя его сенсационность, предупреждая об его ужасности, гибельных последствиях.

«Южн. Аф. Цветной врач создает младенцев в пробирке».

Подзаголовок, не такой броский, пояснял: «Опыты с женской яйцеклеткой в кейптаунской лаборатории».

Ниже с фотографии, чуть наклонив голову, чуть насмешливо улыбался Филипп. Один из снимков, сделанных в тот день, когда Филипп читал лекцию в университете.

— О господи! — пробормотал Деон. И пробежал глазами длинное сообщение, но своей фамилии не обнаружил. Хоть за это спасибо.

Он принялся читать внимательней. Заметка была состряпана ловко, с расчетом создать впечатление объективности, но за якобы бесстрастным изложением фактов проступали злоба и возмущение. От неназванного лица поступили сведения о том, что происходит в этой кейптаунской лаборатории.

Вывод напрашивался сам собой. Всякий мало-мальски грамотный читатель мог сделать его.

Деон дважды прочел заметку от начала до конца. Да, его фамилия в ней не фигурирует. А теперь необходимо принять меры, чтобы Филипп не втянул его в эту историю.

Точность фактов, изложенных в заметке, указывала, что они получены от человека, который хорошо осведомлен. Однако, возможно, чтобы нарисовать как можно более абсурдную картину, он ни словом не обмолвился о цели этих исследований. Автор заметки якобы запросил мнение ряда видных ученых (ни одной фамилии названо не было), и никто из них не мог назвать научной причины для подобного эксперимента, а поэтому он дал собственное толкование этого сатанинского вмешательства в дела природы. Искусственная жизнь создается потому лишь, что некий так называемый ученый пытается бросить вызов божьему промыслу ради личной славы, присваивая себе прерогативы Творца.

Если б только эти тупицы позаботились узнать истинную цель эксперимента! Но это испортило бы сенсацию. Куда проще поверить броской лжи неведомого осведомителя. Кто, черт побери, это мог быть? Очевидно, кто-то, обладающий некоторыми познаниями в медицине и сводящий старые счеты.

Немедленно к Филиппу. Предупредить, чтобы он никаких сведений больше не давал. Конечно, причиной явилась его расовая принадлежность. Она сыграла роль катализатора и определила характер реакции. Надо спасти его от них, от травли, от собачьей своры, которая уже бежит по следу с пронзительным лаем, возвещая, что добыча загнана. Филипп не отступится и не обратится в бегство. Он будет на-

блюдать за ними с холодной отчужденностью и презрением и не подумает спастись. И разъяренные, что их лишили радости погони, они бросятся на него и растерзают.

Ему надо помочь. Не официально, конечно. Из-за кулис. Только так и можно вести себя в этом мерзком деле.

Деон включил мотор. Он предупредит Филиппа и внушит тому, что его собственная помощь будет тем эффективней, чем меньше он лично будет в этом замешан.

Заметку о младенцах в это воскресное утро читали и другие люди.

В номере отеля на набережной сидел дюжий толстяк, перед которым стоял поднос с остатками обильного завтрака. Он пил вторую чашку кофе и листал газету, просматривая заголовки.

Он перевернул страницу, и в глаза ему сразу бросилась большая фотография. Презрительно фыркнув, он уже хотел перейти к следующей странице, но, прочитав фамилию под снимком, задержался и перевел взгляд на заголовок. С удивлением дважды его перечитал, а затем проштудировал заметку. Его обычно красное лицо побагровело от ярости или злорадства — угадать было трудно.

— Марти! — крикнул он.

В ванной комнате стих шум спускаемой воды, и через несколько секунд его жена спросила из-за двери:

— Что ты сказал?

— Этот проклятый готтентот, о котором я тебе рассказывал... Ну, тот, в лифте.

— Что-что? — переспросила она в недоумении.

Он насупился, раздраженный ее непонятливостью.

— Так называемый профессор. Который надерзил мне.

— А?

Он понял, что она ничего не помнит, и рассердился на нее за такую забывчивость: ведь речь шла о покушении на его достоинство.

— О нем есть кое-что в газете! — буркнул он.

— Так что же?

— Он изнасиловал белую женщину.

В ванной испуганно взвизгнули, и толстяк злорадно ухмыльнулся. Потом налил себе кофе и опять уставился на фотографию.

Звали толстяка Иоганнес Якоб Гендрих дю Туа, и он был депутатом Провинциального совета от самого консервативного, в основном фермерского, избирательного округа на северо-западе. В Кейптаун он приехал на съезд националистической партии и на завтрашнем заседании должен был выступить по нескольким пунктам повестки дня.

Священник голландской реформистской церкви читал газету, закрыв дверь кабинета, чтобы ему не мешали. Закрытая дверь служила домашним сигналом, что пастор занят.

Он уединялся так каждое воскресенье, не задумываясь, почему, собственно, столь тщательно закрывает дверь, однако порой еженедельный ритуал с чтением газеты бывал ему неприятен. Взгляды его церкви, его собственные на мораль отличались узостью и строгостью, и он вполне отдавал себе отчет в том, что этот его поступок можно истолковать превратно, как греховный. Ибо воскресная газета была исчадием ада. Однако знакомство с ней он почитал своим долгом. Тем более что данная газета специализировалась на сенсационной подаче фактов и событий, вызывающих широкий интерес публики. Пастор верил, что обязан знать мысли своей паствы. Немало наиболее удач-

ных его проповедей опирались на случаи, вычитанные вот так, в воскресное утро.

Когда Деон вошел в холл своего дома с кипой газет под мышкой, там была Элизабет.

— Мне нужно позвонить,— сказал он коротко.— Дело неотложное. Я пойду в кабинет.

— Подать тебе завтрак туда?

— Нет, спасибо. Я не буду завтракать.

Она сдержанно кивнула и отвернулась.

Деон заколебался: сказать ей? Нет, лучше пусть ничего не знает.

В свое время он записал номер, по которому можно было найти Филиппа. Длинные гудки звенели в ухе, точно в трубку забрался комар.

Не отвечает. Он нажал на рычаг и снова набрал номер. Опять не отвечает.

Через полминуты он со стуком положил трубку, спрыгнул со стола и начал расхаживать по кабинету.

Зазвонил телефон, и он схватил трубку, ожидая услышать голос Филиппа.

Но услышал незнакомый женский голос.

— Профессор ван дер Риет?

— Да,— резко бросил он.

— Говорит Уиннфред Андерсон из «Мейл». Извините, что беспокою вас в воскресенье. Вы вряд ли помните, но я брала интервью у вас и профессора Филиппа Дэвидса. В начале этого года. Перед лекцией, которую профессор Дэвидс...

— Да, помню,— сказал он сухо.

— Сегодня в утренней газете на африкаанс помещен крайне интересный материал об эксперименте, который ведет профессор Дэвидс, и мы подумали, что ваше высказывание...

— Мне очень жаль, но я ничего не знаю о работе профессора Дэвидса.— Не следовало ли быть более дипломатичным? Но он ничего не мог с собой поделать.— Я хирург-кардиолог, как вам известно. Он генетик. Мы работаем в совершенно разных областях.

— Я понимаю, профессор. Но мы подумали, поскольку вы такие близкие друзья и...

— Мне очень жаль, но по этому вопросу я ничего сказать не могу, мне нечего добавить,— твердо произнес Деон, нажал на рычаг и, едва раздался гудок, начал снова набирать номер.

В понедельник утренние газеты перепечатали содержание заметки из «Африкаанс санди», добавив последние сведения. Профессор Дэвидс недостижим. Министр здравоохранения и президент медицинского совета — оба заявили: дело расследуется и будут приняты соответствующие меры.

Одна газета посвятила коротенький абзац проповеди, произнесенной священником голландской реформистской церкви в одном из пригородов. Пастор, как и можно было ожидать, назвал эксперимент «кознями дьявола».

Деон ехал в клинику полный тревоги. Накануне он весь вечер дозванивался Филиппу, но тщетно. До сих пор его имя нигде не упоминалось, однако долго ли так будет продолжаться? Одно неосторож-

ное слово... Снова и снова он перебирал в уме причины, по которым ему следовало остаться в стороне.

У дверей палаты ждали несколько человек из кардиологического отделения. Меньше обычного. По-прежнему вопрос нехватки кадров в отделении оставался нерешенным. О стольком надо думать! Столько не сделано! Он рассеянно поздоровался.

Робби был уже в ординаторской.

— Здравствуйте, Деон.

— Доброе утро.

Робби поглядел на него иронически.

— Друг Филипп как будто попал в небольшую передрягу. Ищет новый способ делать детей. А чем ему не нравится старый? Или он — того?

Кто-то неловко засмеялся, но едва Деон повернулся и они увидели его лицо, как воцарилась полная тишина.

— Мне казалось, он и ваш друг, Робби.

Робби тоже засмеялся и отвел глаза.

— Ну, само собой. Я...

Если раньше тон Деона был резким, теперь он стал еще и презрительным.

— И даже если вы больше не считаете его другом, он остается вашим коллегой.

Робби оторопело поглядел на него. Затем, явно стараясь обратить все это в шутку, поднял руки над головой:

— Не стреляйте, шериф. Я сдаюсь.

Деон, все так же хмурясь, надел халат и направился к двери.

— Я ведь только пошутил,— извиняющимся голосом сказал Робби.— Стоит ли горячиться по пустякам.— Он ухмыльнулся в спину Деону: — Может, и вы тоже занимались изготовлением младенцев?!

Деон был уже за дверью. При этих словах он резко обернулся, и Робби, не ожидавший этого, натолкнулся на него и попятился.

Деон смотрел на него, прищурясь, чуть пригнувшись, словно перед прыжком, и ледяным голосом отрезал:

— Я никакого отношения к его работе не имею. Но он мой друг, даже если потерял вашу дружбу. И я пришел бы ему на помощь, как к собственному брату.

Во время обхода атмосфера оставалась напряженной. Все с тревогой следили за лицом Деона, и кое-кто на всякий случай старался укрыться за спинами остальных.

В середине обхода Деон не слишком убедительно сослался на то, что его ждут в приемной, и ушел.

Теперь Филипп, наверно, уже у себя?

Он шел через вестибюль к двери, когда по лестнице, прыгая через ступеньки, сбежал Мулмен.

— Профессор! Профессор!

Деон нехотя остановился.

Очки Мулмена соскользнули на самый кончик носа, и он смотрел поверх них.

— Собака, которую мы оперировали на прошлой неделе, все еще молодцом!

— А? Очень хорошо,— сказал Деон, и Мулмен явно растерялся, не понимая этого равнодушия.

— Пожалуй, эксперименты мы можем кончить,— сказал Деон.— А как Джованни?

— П-п-прекрасно,— ответил Мулмен и глубоко вздохнул, стараясь справиться с нервным заиканием.

— Вы за ним присматриваете?

— Да, сэр.

— Значит, все хорошо.

Деон сказал это, явно давая понять, что разговор окончен, но Мулмен словно ничего не заметил и пошел рядом с Деоном к выходу.

— Я хотел бы... профессор...

Деон, нахмурившись, повернулся к нему: ну, что еще?

Явно волнуясь, Мулмен спросил:

— Вы видели статью в «Тораксе», сэр?

— Какую статью?

Мулмен тут же вытащил из кармана свернутый журнал. Он раскрыл его на загнутой странице и протянул Деону.

— Боюсь, французы вас опередили, сэр.— В голосе Мулмена звучало неподдельное сочувствие.

Одного взгляда на диаграммы было достаточно. Деону не нужно было читать текст. Он видел перед собой точное воспроизведение методики исправления атрезии трехстворчатого клапана.

Фамилия одного из авторов была ему знакома. Они встречались на конгрессе в Лондоне.

— Они уже оперировали больных?

— Нет, сэр.— Мулмен перевернул страницу.— Они пишут, что у них намечено несколько пациентов, но пока еще ни одной операции они не делали.

Деон попытался изобразить на лице улыбку.

— Так что пока нам по-прежнему неизвестно, какой результат она даст на людях.

Мулмен медленно кивнул.

— Такая незадача, профессор.

— Но ведь это не так уж и важно, а? — Деон надеялся, что его слова прозвучали убедительно.

Показывать это не положено. Так диктуют правила поведения настоящего мужчины. Тебя озарила блистательная идея, и ты трудился над ее воплощением, отрабатывая каждую мелочь, исходил кровавым потом, когда что-то не ладилось. И находил-таки решение, проверяя и перепроверяя. А затем кто-то в другой части света, кого тоже осенила эта идея, только раньше, появляется неизвестно откуда и обгоняет тебя на финише. И хотя ты хочешь зарычать, растерзать его, ты, словно собака в наморднике, должен улыбаться и поздравлять его с победой.

Тот, кто умеет проигрывать достойно, нравится всем. Правда, его имя забывают очень быстро.

— Значит, мы все-таки будем продолжать, сэр? — неуверенно спросил Мулмен.

— Разумеется.

— Вот хорошо! — выпалил молодой человек и покраснел от того, что выдал свои чувства.

Деон отправился к себе в клинику и пытался безуспешно разыскать Филиппа. Он хотел сосредоточиться на статье французских хирургов — и не мог.

К концу дня раздался зуммер селектора.

— Да?

— Вам звонят, профессор. Но джентльмен не пожелал назвать себя.— В голосе Дженни сквозило неодобрение.— Он говорит, что по личному делу и что это очень важно.

Филипп. Должно быть Филипп. Наконец-то.

— Соедините.

И сразу же в трубке раздалось:

— Деон? Что, к дьяволу, происходит? — Голос захлебывался и одновременно был настороженным, словно говоривший то и дело оглядывался через плечо.

Деон с тревогой узнал этот голос.

— Здравствуйте, Барри.

— К черту. Вы мне солгали. Все эти выдумки, что яичники нужны для опытов с гормонами. Вы понимаете, в какое положение меня поставили?

Деон отвел трубку от уха и с отвращением покосился на нее. Голос продолжал что-то яростно бормотать. Когда он, наконец, стих, Деон поднес трубку к уху.

— Алло, алло! — встревоженно взывал Барри.

— Успокойтесь, Барри,— сказал Деон неторопливо, растягивая слова.— Я вас слышу. А теперь вы меня выслушайте.

— Мне нечего слушать,— взвизгнул его собеседник.— Если проследят, что эти удаленные яичники, черт бы их побрал, поступали от меня, все будет кончено. Вся моя практика тогда к чертовой матери...

— Послушайте! — сказал Деон самым резким тоном, на какой был способен.

Стенания тут же прекратились.

— Во-первых, вас ни в чем нельзя обвинить. Вы оперировали по абсолютно показанным поводам с той лишь разницей, что удаленные яичники не сжигались, а передавались мне для научных опытов. Нет. Погодите! — сердито крикнул он, чтобы предотвратить новый поток слов.— Во-вторых, проследить, что они поступали от вас, вообще невозможно. Только я знаю, откуда они, а я ничего не скажу.

Голос собеседника сразу изменился. Теперь он захлебывался от благодарности.

— Деон, это по-настоящему благородно с вашей стороны. У меня точно гора с плеч. Я места себе не находил с той минуты, как эта проклятая газетенка... Но если вы готовы взять все на себя, так...

— И, наконец,— прервал его Деон все тем же тоном,— я не понимаю, почему вы в такой панике. Они подбираются к Дэвидсу и его опытам. Вопрос о том, откуда яичники, вообще второстепенный.

Секунда испуганного молчания. Затем голос воскликнул:

— Господи, где вы были весь день? Разве вы не знаете, что происходит?

— Что вы имеете в виду?

— Они намерены вынести все это сегодня на заседание факультета. И главный вопрос: откуда яичники. Неужели вы не знаете, какие ходят слухи?

— Меня слухи не интересуют,— сказал Деон с не слишком убедительным пренебрежением.

Барри злобно усмехнулся.

— А не мешало бы. Вы могли бы услышать кое-что небезынтересное для себя.— Он помолчал и вдруг резко спросил:— А вы знаете, что сегодня собирают факультет?

— Да,— сказал он. И это было не совсем ложью. Как всегда, Дженни положила извещение и повестку ему на стол в начале недели, и, как всегда, он смял их и бросил в корзину для бумаг.

— Вы придете?

— Не знаю. Я еще не решил.

— Нет, приходите. Возглавить атаку собирается ваш собственный шеф.

— Шеф?

— Старик Снаймен. Он потребовал специального обсуждения, как по делу, представляющему особую важность для всего факульте-

та. Ходят слухи, что он жаждет расправиться именно с вами. Но ведь этого не может быть.

— Это исключено.

— Так вы придете?

— Я еще не решил.

— Пожалуйста, Деон. Не упоминайте моего имени.

— Не упомяну.

— Я не могу просить вас поклясться, но вы знаете, чем это обернется для меня.

Это хныканье начало раздражать Деона.

— Послушайте, я же сказал, что от меня никто ничего не узнает. Вам этого мало? Профессор Дэвидс — единственный, кому это известно, а он будет молчать.

— Это цветной-то? — скептически спросил Барри.

— Да, цветной! — отрезал Деон.— И позвольте мне сказать вам еще, друг мой. По сравнению с этим цветным вы просто дерьмо.

Секунду он с угрюмым удовольствием слушал вопли негодования на том конце провода.

— До свидания, Барри,— сказал он и положил трубку.

И тут же понял, что разделаться с этой историей так же просто и окончательно ему не удастся.

Снаймен.

Да, об этом надо подумать. Неужели этот насмерть перепуганный ублюдок не ошибается и старик что-то разведал? Как сказал в тот день, когда они окончательно поругались: «У меня есть свои источники информации».

Деон сидел неподвижно, откинув голову, точно вслушивался в тишину, и, прижав палец к губам, будто говорил себе: «Т-с-с!»

Снаймен охотится на него, и это — его оружие. Что он слышал? Что он знает? О чем догадывается?

Собрания обычно назначаются на середину дня. Время еще есть. Но прежде надо решить: идти ли ему? Благоразумно ли это. Ведь стоит ему рассердиться, он не смолчит. Но будет ли это наиболее полезным для Филиппа? Ведь он твердо решил остаться за кулисами. Добьется ли он чего-нибудь, если открыто ринется в бой?

Сухие словопрения на таких собраниях всегда ему претили.

Черт с ними. Он будет защищать Филиппа. Он потребует слова, объяснит высокую научную цель этих исследований. Объяснит свою роль в нем и причины своего участия. Он ошеломит их узкие законопослушные умишки. Он не оставит камня на камне от их аргументов, повергнет в прах их доктрины, призванные служить существующему порядку вещей.

А потом? Что потом?

Что он будет делать среди развалин своей карьеры?

Ведь они не допустят, не смогут допустить, чтобы он остался безнаказанным.

Он закрыл глаза. Вокруг ревела тишина.

И тут пришло решение.

Там будет Глив.

Он с облегчением ухватился за эту мысль. Там будет Глив. Глив возглавляет эту кафедру. Он ответствен за это. Он все объяснит. Он генетик. Уж он знает ответы на все вопросы.

«Но я должен поговорить с Филиппом. Предостеречь его. Сказать, что он может рассчитывать на меня до конца, но предупредить, что меня не следует открыто втягивать в это дело».

Он снова набрал номер. И услышал длинные гудки. Он слушал их, пока ему не начало казаться, что гудит у него в висках, что это просто эхо бесконечной пустоты в его душе.

Глава одиннадцатая

Деон свернул с шоссе в узкую, обсаженную деревьями аллею, в конце которой среди высоких стволов виднелись греческие колонны.

Филипп приехал раньше и уже ждал: Деон издали заметил у входа в мемориал его кремовый «фольксваген». Услышав шуршание шин по гравию, Филипп оглянулся и, улыбаясь, вылез из своего автомобиля.

Утром, разговаривая по телефону, они решили, что показываться вместе на людях было бы неразумно, и потому назначили для встречи это место — в стороне от клиники и в то же время не слишком далеко.

Они поздоровались и прошли на террасу. Филипп посмотрел на гранитные ступени, ведущие туда, где в задумчивой позе сидел каменный человек. Он прочел вслух высеченную на постаменте надпись, и в тоне его было изумление:

— «Духу и трудам всей жизни Сесиля Джона Родса, который любил Южную Африку и служил ей».

Он повернулся и взглянул на север, на белесые горы, по склонам которых протянулись пригороды.

— «Там лежит ваша земля...» — произнес Филипп.— Так он некогда выразился?

Он оглянулся на статую и снова минуту-другую изучал ее. Каменное лицо, обращенное в сторону гор, дышало спокойной и незыблемой уверенностью.

— Удивительно, как люди его поколения были убеждены в своей правоте. Ни тени сомнения. Ни мысли, что сомнение вообще возможно. Вот, по-моему, чем мы отличаемся от них. Мы убедились, что на любой вопрос есть много ответов.

— Да,— рассеянно ответил Деон. Он глядел не на горы, а вниз, туда, где была клиника. Неужели эти маленькие кубики способны раздавить человека? — Нам надо поговорить,— сказал он.

— Да, конечно,— Филипп с вежливой поспешностью подошел к нему.

— Что ты собираешься делать?

Филипп поглядел, тут же отвел глаза и стал смотреть на дома вдалеке.

— А что ты посоветовал бы?

— На твоем месте я выждал бы, ничего не предпринимая, пока все не кончится само собой. А это будет скоро.

— Ты так думаешь?

— Уверен.— Деон отвернулся и с силой ударил носком ботинка по камню, который описал крутую дугу в воздухе и покатился по зеленому склону.— Естественно, я постараюсь помочь тебе, насколько это в моих силах.

Филипп кивнул, но ничего не сказал.

— Ты поступил очень умно, не втянув меня в эту историю,— сказал Деон. Он смотрел вниз, туда, куда упал камень.— Старик Снаймен намерен свести счеты со мной, как тебе известно. Если мое имя будет хотя бы упомянуто, я уже ничего не смогу сделать.

«Я слишком многословен,— подумал он.— Слишком настойчиво убеждаю и доказываю. Что он думает? Что я собираюсь предать его, как и все остальные?»

Филипп не смотрел в его сторону.

— Конечно, вовсе не надо, чтобы у тебя были из-за меня неприятности.

Тон у него был двусмысленный.

— Дело не в этом,— почти крикнул Деон.— Просто я могу быть более полезен, если меня будут считать незаинтересованным лицом.

— Конечно.

Последовала неловкая пауза.

— Ты мне как будто не веришь,— сказал Деон.

— Тут другое. Ты имеешь право остаться в стороне. Вся полнота ответственности лежит на мне, поскольку в это дело втянул тебя я.

— Ты просто не хочешь понять.

— Может быть, я понимаю слишком хорошо?

«Мы же вот-вот рассоримся,— подумал Деон. И затем его точно что-то толкнуло: — Мы же братья! Впервые мы должны вести себя как братья».

— Извини,— сказал он и опять поддел ногой камень. Камень ударился о парапет террасы и отлетел назад.— У меня нервы на пределе. Черт-те что навалилось, и все сразу. И не всегда сообразишь, как лучше поступить. Ты догадываешься, кто все это затеял? Кто сообщил о твоей работе газетчикам?

Филипп тоже был явно рад разрядить напряженность.

— Вероятно, Уильямс.

— Кто это?

— Мой бывший лаборант,— ответил Филипп.— Он отрицает, но больше некому.

— Зачем ему это понадобилось?

— Мы никогда особенно не ладили. А под конец дело дошло до скандала. Началось с того... — Филипп замялся и, видимо, решил не договаривать.— В общем, это была неприятная история. Я понял, что вместе мы работать не сможем, и профессор Глив перевел его в другую лабораторию.

— Так что теперь у тебя нет помощника?

— Да. Но это не имеет значения, потому что мне предложили прекратить исследования.

— Что?! Кто предложил?

— Сегодня утром декан вызвал нас с Гливом к себе и сообщил, что было заседание Совета и ему поручено проследить, чтобы я не продолжал своей работы.

— Ну и что ты сделал?

Филипп пожал плечами.

— А что я мог сделать? Это их лаборатория и их оборудование. Глив пришел в бешенство и собирался тут же подать заявление об уходе, но мне удалось его отговорить. Какой смысл уходить нам обоим? Это означало бы конец всему, чего он достиг на кафедре генетики.

— О чем ты? Неужели ты решил уйти?

— Да.

— Филипп!

— Но как я могу остаться?

— Черт знает что!

— Я дождусь конца и потом уйду.

— Какого конца? О чем ты?

Филипп посмотрел на далекие горы.

— Возможно, ты не слышал. Идет скандал из-за того, откуда я получал яичники По-видимому, этот вопрос рассматривался вчера на заседании факультета, и хотя Глив делал все, что было в его силах, на-

чались разговоры о нарушении этики и... — Он вгляделся в лицо Деона.— Но ты же член Совета?

Деон передернул плечами.

— Да... я был занят... У меня как раз... И я сообщил, что не смогу присутствовать. Я вообще избегаю бывать на этих собраниях.

— Ах, так!

— Ну и что произошло?

— Они постановили провести расследование, и декан вынужден был спросить, откуда я получал яичники.

Деон прикусил нижнюю губу.

— Ты ему не сказал?

— Нет.

— И что же теперь?

— Будет вестись расследование. Мне предстоит дать объяснение.

— Но послушай! Что тут такого? Твои эксперименты — обычная научная работа.

— Нет. Ведь я не сказал, откуда я получал яичники. Все это довольно запутано и, по-моему, не слишком приятно декану. Но, насколько я понял, твой профессор не оставил ему другого выбора.

— Ты уверен?

Он больше не сомневался. Снаймен знает. И намерен расправиться с ним.

Стена, на которой они стояли, больше не казалась надежной. Уже в ней появились трещины, уже каждый шаг там, где за ней разверзалась бездна, требовал бесконечной осторожности. Возможно, именно это ощущение неуверенности заставило Деона сказать:

— Филипп, мне очень скверно.

Филипп участливо посмотрел на него, и Деон понял, что не может и не хочет сказать ему то, что собирался: «Я выхожу из игры. Я смертельно устал от всего этого и выхожу из игры».

Вместо этого он сказал, произнося слова с трудом, как будто они были зазубренными камешками, забившими ему рот:

— Во всех... отношениях. Работа... мое отделение. Оно разваливается. Видеть, как все, что ты задумывал, все, ради чего работал, на что возлагал надежды... смотреть, как все это... — Он покачал головой беспредельно устало.— И в семье... Элизабет. Я не знаю, что делать. Лиза... Ну, ты сам видел.

Филипп по-прежнему смотрел на него с едва заметным отчуждением и молчал.

А Деон уже не мог остановить этот беспорядочный поток слов. В парализующем бессильном отчаянии, словно со стороны, он смотрел, как рушится стена и как летят вниз, крутясь, ее обломки, разлетаясь вдребезги, разбиваясь в пыль и грохот.

— И кроме того, есть еще одна женщина,— тоскливо сказал он, совсем уж против воли.

Филипп словно очнулся. Он кашлянул, как будто пыль — настоящая пыль — забила ему горло.

— Триш? — спросил он мягко.

Деон кивнул.

— Видишь ли, со мной говорила Элизабет,— продолжал Филипп.— Она позвонила и сказала, что ей надо поговорить со мной кое о чем. И естественно... — у него скривились губы.— Вчера мы встретились.

Деон улыбнулся, потому что нашлась отгадка небольшой тайны. На какой-то миг она заслонила более важную тайну, над которой он пока не хотел размышлять.

— Я вчера весь день пытался дозвониться до тебя. Так вот почему я не сумел тебя найти.

— Да,— в голосе Филиппа было сочувствие.

— А зачем она хотела тебя видеть?

— Она просила у меня совета. Ей донесли, что ты встречаешься с миссис Седара. И она думала, что я могу ей помочь.

— Донесли?— спросил Деон.— Как, собственно, донесли?

— По-видимому, кто-то написал ей.

— Но о чем? — сердито спросил Деон. Злость отличное тонизирующее. Злость прекрасно помогает забыть.

Филипп внимательно посмотрел на него.

— Деон, люди бывают всякие. По-видимому, кто-то решил установить за тобой слежку и даже прибегнул для этой цели к помощи сыскного агентства. Затем этот человек сообщил Элизабет сведения, собранные агентством, сопроводив их анонимным письмом.

— Черт! Кто способен на подобную пакость?

У Филиппа снова искривились губы.

— Люди бывают всякие. Полно странных людей.

Деон вспомнил жадный взгляд через плечо в дверях ресторана и без колебаний решил — Джиллиан Мурхед.

— Это ведь женщина?

— Письмо написано на машинке. Подписано: «Ваш друг».

— Восхитительно,— сказал Деон.— Ничего восхитительней я в жизни не слышал.

Филипп молчал.

— Что мне делать? — спросил наконец Деон.— Что мне делать?

Филипп оглядел его спокойно, почти безучастно.

— Этого я тебе сказать не могу.

Под вечер Деон сидел один в ординаторской напротив входа в операционный блок, где он несколько минут назад закончил свою последнюю в этот день операцию. Его ассистенты еще зашивали разрез, и он пока какой-то частью сознания оставался в операционной и следил за ловкими неторопливыми движениями людей вокруг стола. Они расслабились и обмениваются шутками, потому что операция прошла хорошо. Какая-то его часть осталась там.

Он сидел один, и газета лежала на кресле напротив.

Огромные буквы поперек страницы кричали: «Главный хирург дает Дэвидсу по рукам». И ниже курсивом: «В эксперименте с эмбрионами замешаны громкие имена».

Не веря собственным глазам, словно очутившись в мире, где реальность утрачена, а законы природы больше не существуют, Деон прочел:

«Профессор Терций Снаймен, главный хирург, осудил сегодня утром на пресс-конференции эксперименты над человеческими эмбрионами, проводимые знаменитым цветным генетиком, профессором Филиппом Дэвидсом. Профессор Снаймен считает эти опыты аморальными и бесцельными. Университетские власти совместно с представителями министерства здравоохранения ведут расследование всех аспектов этого эксперимента и, в частности,— источника, откуда доктор Дэвидс получал необходимый материал. Профессор Снаймен сообщил, что ожидаются сенсационные разоблачения и, возможно, тут замешаны видные медицинские деятели».

Деон прочел все до последнего абзаца.

Профессор Снаймен, кроме того, объявил на этой пресс-конференции, что назначен новый заведующий отделением экспериментальной хирургии — доктор Р. Робертсон, работавший до этого с профессором Деоном ван дер Риетом в отделении кардиохирургии.

Они с Филиппом одни.

Сидя в кресле со скользкой обивкой из искусственной кожи, он свыкался с этой мыслью, точно человек, который медленно входит в холодную воду, и она мало-помалу достигает его колен, пояса, плеч, и вот он уже плывет совсем невесомый в ледяном суровом море, и онемевшее тело ощущает не боль, а лишь небольшую скованность.

«Мы одни»,— думал он.

Он подумал, что, может быть, стоит позвонить Робби.

В этом состоянии оледенелого безразличия он мог бы позвонить без всякого труда. Робби сегодня не оперировал. Возможно, он у себя в кабинете.

Робби. Рыжие волосы, веснушки, очки и бодрая насмешливая ухмылка. А за ухмылкой — разъедающая душу неудовлетворенность, скрытая зависть, жгучее честолюбие. Старина Робби.

Нет. Звонить ему он не будет.

Глава двенадцатая

Снова он стоял у этого стола, который был одновременно скамьей подсудимых, местом для свидетелей и креслом судьи. Здесь он был единственным судьей и потому в равной степени и главным обвиняемым.

Меньшая лампа из верхней пары была плохо наведена, и на легочную артерию падала тень. Он свирепо взглянул на эту плохо светившую лампу, и один из студентов, которые тесным кольцом окружали стол, слегка повернул ее.

— Слишком далеко,— резко бросил Деон.— Правее.

Пятно света переместилось.

Он буркнул «спасибо» и снова нагнулся над открытой грудной клеткой.

Когда они вскрыли перикард, Питер Мурхед, работавший в качестве первого ассистента напротив него, присвистнул от изумления. Деон угрюмо кивнул. Чудовищно гипертрофированный левый желудочек и миниатюрный правый рядом с ним («Словно два шара,— подумал он.— Один надутый, другой опавший») были точно такими, какие он и ожидал увидеть. Они, как и общий вид сердечной мышцы, подтвердили диагноз, который, впрочем, и так сомнений не вызывал: атрезия трехстворчатого клапана.

Питер отодвинул аорту, и Деон мягко ввел иглу от нагнетателя в правую легочную артерию. Потом взглянул на техника у машины «сердце — легкие».

— Какое?

— Четырнадцать. Колеблется между двенадцатью и шестнадцатью.

— Хорошо.— Первым ассистентом был Питер, но Деон обращался к Мулмену у конца стола.— Как, не очень высокое?— Мулмен кивнул.— Артерия хорошего сечения,— добавил Деон.— Ну, начинаем.— Он повернулся к операционной сестре.— Пинцет и ножницы, пожалуйста.

Триш он видел утром. Она ждала у послеоперационной палаты. Он хотел остановиться, сказать что-нибудь ласковое, успокоить. Но ноги сами пронесли его мимо, и он только кивнул, когда она поздоровалась. Он знал, что она провожает его взглядом, и еще можно было обернуться, подойти к ней. Он не обернулся и вошел в дверь с

надписью «Операционная» так, словно обрел убежище в стенах церкви.

Почему? Ему всегда было трудно разговаривать с родителями ребенка, которого предстояло оперировать. Но Триш? К Триш же это относиться не может! Тогда почему?

Ответа он не нашел.

Он освободил верхнюю полую вену от того места, где она соединялась с правым предсердием, до сочленения с ней яремной вены, а затем — правую легочную артерию до ее разветвления.

— Артериальный зажим,— сказал он сестре.

На какую-то секунду в ритмичных, синхронных движениях его собственных и двух помогающих ему пар рук наступила заминка, пока сестра искала зажим среди инструментов. В этом нарушении было что-то оскорбительное, словно долгий и сложный ритуал священнодействия был прерван кощунственной выходкой. Питер и молодой Мулмен — оба подняли головы. Сестра нашла зажим и подала его Деону.

Он помедлил, сосредоточиваясь, перебирая в уме каждый предстоящий этап операции, которая отведет кровь из верхней полой вены в правое предсердие. Для этого нужно отделить правую легочную артерию, изолировать зажимом часть верхней полой вены и сделать там разрез, затем анастомоз рассеченной легочной артерии с разрезом на верхней полой вене. В заключение он соединит устье верхней полой вены с правым предсердием. Вся кровь из этого сосуда пойдет тогда в правое легкое.

Он наложил малый венозный зажим Кули на полую вену и скальпелем с обоюдоострым лезвием сделал аккуратный разрез длиной в четверть дюйма на изолированном участке вены.

— Шелк. Пять ноль.

Он начал сшивать отсеченный конец легочной артерии с разрезом в вене.

— Следуйте за мной, Питер.

Он с удовольствием постороннего наблюдателя заметил, что работает хорошо. Руки обрели твердость, и каждый стежок накладывался с абсолютной точностью.

На мгновение он испугался этой отстраненности. Разве можно не быть сопричастным, не разделять страдания и боль, не истекать кровью, когда истекает твой ближний, не плакать, когда плачет он?

Ему вспомнились слова, которые произнес накануне утром Филипп у статуи Родса:

«Я просто подам заявление об уходе. Этого будет достаточно».

«А потом? — спросил Деон.— Вернешься в Канаду?»

Филипп ответил не сразу:

«Не уверен. Собственно, я подумываю, не вернуться ли в Бофорт-Уэст».

Деон с недоумением уставился на него.

«Ты шутишь! Зачем?»

«Работать врачом».

«Общепрактикующим?!»

«Да».

«Ты с ума сошел!»

«Все зависит от точки зрения».

«Но, черт побери, Филипп! Ты не можешь этого сделать. Бросить все и заняться практикой в пыльном городишке... — Деон засмеялся и покачал головой.— Извини, Филипп. Это было бы просто глупо».

«Все зависит от точки зрения, как я уже говорил».

«Но ведь там ты не найдешь применения своим силам. Ведь прямо

скажем, ты — один из самых знающих генетиков в мире. И ты говоришь, что намерен лечить насморки и простреды? Этому невозможно поверить!»

«Почему? Я получил диплом врача. Помнишь? Мендель сделал свое открытие в монастырском огороде на грядках с горохом. Может быть, и мне удастся сделать лучшую мою работу в тени терновника».

«Я не верю, что ты говоришь серьезно».

Филипп сунул руки в карманы брюк и повел плечами, разминая мышцы. Деон узнал одно из собственных привычных движений и на мгновение растерялся.

«Абсолютно серьезно,— сказал Филипп.— Это не минутный каприз. Я все обдумал. Время от времени следует производить переоценку ценностей, не так ли? А что важнее — лечить истощенного младенца или предупредить рождение еще одного ребенка с синдромом Дауна?»

«Но ты же генетик!»

«Правильно. Но я и врач. И считаю, что теперь мне следует сделать что-то и для этого малыша».

«Тебе разрешат лечить только цветных, ты понимаешь? Даже в больнице».

«Да. Ну и что?»

«Тебе не позволят лечить белых».

Филипп некоторое время смотрел на него молча. Наконец он сказал со вздохом:

«Я знаю. Иногда я думаю об этом с горечью. Но иногда я спрашиваю себя, такая ли уж большая разница, как и кому служить? Ведь самый факт служения людям от этого не меняется.— Он отвел глаза и добавил застенчиво, словно признаваясь в самом заветном: — Нельзя же просто сидеть сложа руки и кричать о несправедливости. Со стороны ничем не поможешь, Деон. Чтобы внести свой вклад, нужно самому быть участником. Нельзя повернуться спиной».

Оба зажима были сняты, и вся кровь из верхней полой вены теперь поступала прямо в правое легкое.

Деон поглядел через стерильный барьер между ним и анестезиологом.

— Венозное давление?

— Двадцать два. Но оно падает.

— Надо, чтобы оно опустилось много ниже.

— Оно опускается, Деон. Уже двадцать.— Анестезиолог медленно называл цифры: — Девятнадцать... восемнадцать... шестнадцать... четырнадцать... — Он замолчал.— По-видимому, остановилось на четырнадцати.

Деон взглянул на часы. Операция идет два часа. Позади половина. Как он и намеревался, пока обошлось без обходного шунтирования, но теперь начиналась самая трудная часть, теперь он вступал на территорию, никем до него не разведанную, и никто не мог сказать, какие ловушки ждут впереди. Он посмотрел на техников, стоявших в ожидании у машины «сердце — легкие».

— Хорошо. Вы готовы для обхода?

Они оба встрепенулись, точно внезапно осознав, что их тоже сейчас затянет этот водоворот, этот смерч, центром которого был ребенок на столе, своего рода ось вращения зыбких сил, совсем не выглядевших грозными, пока жертва не оказывалась в их власти, и тогда они неумолимо ее затягивали, и всякие попытки сопротивляться оказывались тщетными.

Деон качнул головой, заставляя себя сосредоточиться на том, что ему предстояло сейчас.

Триш, наверно, все еще ждет в коридоре...

Да, конечно.

«Куда мы отправимся отсюда? Есть ли такое место, куда можно уехать вместе? А хочу я уехать с ней? А она со мной?»

Наверно, нет.

Секунду-другую он задержался на этой мысли.

Значит, так. А дальше что? Он представил себе знакомое лицо Элизабет: овал, тени, изгиб бровей, некогда любимое подергиванье уголков ее рта, которое предшествовало улыбке, непринужденную свободу ее движений.

Элизабет, Этьен, Лиза.

И Деон?

«Я не знаю».

— Охлаждать дальше, профессор? — спросил техник у пульта машины «сердце — легкие».

— При какой температуре началась фибрилляция?

— На двадцати пяти градусах, сэр.

— Хорошо. Так и оставьте.

Теперь ему предстояло имплантировать аорту так, чтобы компенсировать дефект трехстворчатого клапана. Они с Мулменом получили материал для трансплантации в полицейском морге — аортальный клапан и кусок аорты длиной в три дюйма, взятый у девочки, которую сшибла машина, когда она каталась на велосипеде. Ее убитые горем родители все же нашли в себе силы дать разрешение на изъятие аорты. В отделении радиотерапии сосуд стерилизовали облучением из кобальтовой пушки, и теперь он лежал в ванночке на столике с инструментами. Одним концом его надо подсоединить к левой легочной артерии, а конец с клапаном к разрезу в правом предсердии.

— Как по-вашему,— спросил он Мулмена,— взять нам за образец французов и завести его под аорту или наложить связку, как мы делаем в лаборатории?

За Мулмена ответил Питер Мурхед:

— Может быть, французский метод лучше, Деон?

— Откуда это следует? И потом, почему мы должны просто копировать их?

И он наложил имплантируемый сосуд над аортой. Он не мог бы объяснить почему. Так действительно было лучше? Или он просто хотел сделать по-другому? Внести в операцию что-то свое?

На собаках так получалось лучше, сказал он себе. Правда, у собак грудная клетка глубже, но места под грудиной, по-видимому, вполне достаточно. Конечно, этот метод даст хороший результат, как каждый раз давал на собаках.

Триш ждет за дверью.

Элизабет сейчас дома — и тоже ждет.

«Нельзя повернуться спиной»,— сказал Филипп.

Сможет ли Филипп сохранить это убеждение, когда будет обрабатывать гнойные раны, вправлять переломы и лечить хронические болезни цветных жителей унылого, открытого всем ветрам поселка на задворках Бофорт-Уэста? Сумеет ли он наглухо захлопнуть дверь между собой и прежним миром?

И снова вернулась эта мысль: «Бросить его одного или встать с ним рядом?»

«Причины, по которым мне лучше было бы остаться в стороне, сохраняют свою весомость. Он в любом случае уедет, так есть ли смысл в последнюю минуту брать на себя роль мученика? Да и не бы-

ло бы это наиболее легким выходом? Сказать им: ну хорошо, в этом участвовал и я. Если вы вынуждаете его уйти, то, раз я помогал ему, вам остается заставить уйти и меня. И тогда я смогу бросить все, одним махом избавиться от проблем, уехать куда мне заблагорассудится. Оставить жену, детей, больных, клинику, коллег, вечные свары — весь этот проклятый клубок? И с чистой совестью. Я отстаивал справедливость, и не моя вина, что все так произошло.

Но что труднее: жить с чистой совестью и не знать проблем или же с нерешенными проблемами и ощущением вины, вечно сомневаясь в истинности своих мотивов?

Действительно ли это предательство? Что бы я ни предпринял, ведь ничего уже изменить нельзя».

Накануне вечером, вдруг возмутившись от сознания своей беспомощности, он набрал номер телефона.

Мужчина, взявший трубку, разговаривал настороженно, особенно когда узнал о цели звонка. Однако в конце концов он согласился принять Деона на несколько минут, и через два часа Деон остановил машину перед домом П. Джуберта, члена парламента от националистов, который, кроме того, был отцом девочки по имени Мариетт.

Джуберт держался с ледяной вежливостью. Они сидели в его гостиной, уставленной массивной полированной мебелью из африканского ореха. Ни его полная добродушная жена, ни дочка не вышли к неожиданному гостю.

На вопросы Деона он ответил коротко:

«Мариетт чувствует себя отлично. Благодарю вас. Наш врач смотрел ее на прошлой неделе и сказал, что все прекрасно».

После этого он еще плотнее сжал губы и сморщил длинный нос, словно уловив неприятный запах. Соблюдать условности было ни к чему.

«Вас, наверно, удивило, почему я обратился к вам в связи с опытами профессора Дэвидса,— сказал Деон.— Дело в том, что мне известно, каким влиянием вы пользуетесь. И если вам станет ясна цель этих экспериментов, вы поймете, насколько необходимо, чтобы он продолжал свою работу. Не говоря уже о впечатлении, которое это произведет за границей».

Опять наступила долгая пауза.

«Эта работа не отвечает интересам Южной Африки».

«Как вы можете утверждать это, не зная, в чем она заключается?» — с вызовом воскликнул Деон.

«Она противоречит учению церкви»,— продолжал Джуберт, словно Деон его и не перебивал.

Переубедить его было невозможно. В конце концов Деон в ярости ушел (в ярости и на себя за то, что явился сюда). Джуберт проводил его до автомобиля. И только когда они стояли у машины, в Джуберте мелькнуло что-то человеческое.

«Я сожалею, что не могу помочь вам. Особенно после того, что вы сделали для моей дочери».

«Вы ничем мне не обязаны,— не сдержался Деон.— Я прошу только выслушать и подумать».

«Очень жаль, что вы примешали к этому политику».

Деон поглядел на него с недоумением.

«О чем вы, черт побери, говорите? О политике никто и не заикался».

«Английские газеты. Они утверждают, будто мы преследуем этого врача потому, что он цветной. И теперь мы уже не можем отступить».

Деон понял. Памятуя о своей политической карьере (а ведь, может быть, вожделенный пост министра совсем уже близок), П. Дж. Джуберт, член парламента, не мог себе позволить вступиться за цветного.

«Какие мы странные существа,— размышлял Деон.— Техника дает нам средства для достижения нашей извечной мечты об обществе изобилия. И тем не менее половина мира голодает. Мы в состоянии посылать ракеты в загадочный мрак космоса или исследовать тайны человеческого тела, как делаю я. И тем не менее мы способны равнодушно смотреть на чужие страдания. Нравственное чувство не изменилось. Подобно животным, мы продолжаем подчиняться законам самосохранения, лежащим вне сознания».

Не знаю.

Но говоря «не знаю», ты подразумеваешь, что никогда не узнаешь, или же этим словам сопутствует безмолвная клятва «я найду ответ»?

Эта мысль поразила Деона настолько, что руки его на миг замерли, так что Мулмен и Питер Мурхед с недоумением взглянули на него.

«Ну конечно,— подумал он.— Именно так: не знаю, но найду ответ».

Он улыбнулся под маской неожиданной иронии этого открытия. Он обдумал его во всех аспектах с величайшим тщанием — словно это был шовный материал, с помощью которого он только что закрепил имплантант.

«Я должен это сделать. Любой ценой! Как я могу знать, если не испытал сам? Я найду ответ. Филипп и я, мы встанем вместе, как братья, перед нашими обвинителями и вместе заглянем в неведомое.

Будь я проклят, если поеду с ним в Бофорт-Уэст; ведь мне не надо будет никуда уезжать, так как очень-очень сомнительно, чтобы они что-нибудь со мной сделали. Конечно, Снаймен будет торжествовать — и я, а значит, и все кардиологическое отделение на время окажемся в немилости. Но надо найти в себе мужество встать на сторону Филиппа.

Я должен это сделать».

Деон посмотрел на Мулмена.

— Как вы думаете? Так годится? Вы ведь делали много раз.

Неожиданно оказавшись в центре внимания, Мулмен явно растерялся. Он вздрогнул, словно от яркой вспышки света, и поглядел на полувосстановленное сердце Джованни.

— Должно бы.

— Отведите этот конец,— сказал Деон.— Нет, не рукой — пинцетом. Отведите левее.

Он сделал разрез и, не колеблясь, закрыл отверстие между предсердиями — отверстие, которое служило предохранительным обходным кровотоком и поддерживало жизнь Джованни. Теперь отступать было некуда.

Он соединил конец имплантированного куска аорты с разрезом, которое сделал в предсердии. Вот так.

Он отошел на полшага, словно желая охватить взглядом побольше, взглянуть на все со стороны.

Триш там ждет.

— Оттепляйте,— сказал он. И тут же раздалось жужжание насоса.

Они смотрели, как жизнь возвращается в сердце Джованни: сна-

чала легкая фибрилляция, затем более сильная, и, наконец, обрадованно счастливые, они увидели, как сердце само вошло в нормальный ритм.

Теперь ты должен сам, Джованни.

«И ты тоже должен сам»,— сказал себе Деон.

Температура поднялась до тридцати шести, и он велел техникам выключить насос. Он рассматривал бьющееся сердце с предельным тщанием. Правое предсердие как будто хорошо справлялось с новой нагрузкой и гнало кровь в левое легкое.

— Как венозное давление?

— Двенадцать,— сказал анестезиолог.

— Артериальное?

— Шестьдесят пять. Мочеотделение хорошее.— Обычно бесстрастный голос анестезиолога звучал почти ликующе.— По-моему, Деон, вы взяли этот барьер.

— Поживем — увидим,— сказал Деон и обернулся к технику у машины «сердце — легкие».— Измерим давление в правом предсердии.— Он взял иглу.— Промойте.

Напряжение у операционного стола передалось окружающим — сестрам, молча ждавшим распоряжений, студентам, заглядывавшим через плечо друг друга. Может быть, оно передалось даже за пределы этих стен в коридор, где в одиночестве ждала женщина.

Техник замялся. Затем он зажмурил глаза, точно не веря им.

— Семь, профессор.

— Не может быть! — вскрикнул Мулмен, и сестра из предоперационной и Питер Мурхед оба улыбнулись ему. Вокруг раздались приглушенные восклицания.

— Великолепно, Деон! — это сказал Питер Мурхед.

Ему нестерпимо захотелось уйти. Судорожно проглотив слюну, он пошел от операционного стола.

— Питер, вы с ребятами осушите и закроете грудную клетку без меня?

Он прошел через двойные двери в умывальную, машинально снял перчатки и робу, потом вымыл руки.

Пойти обрадовать Триш?

Нет, лучше немного подождать.

Все в том же оглушенном состоянии он пошел в ординаторскую и налил себе чаю. Чай оказался холодным. Слава богу, операция позади, и с Джованни все хорошо.

Он вернул долг. Давний долг. Счеты сведены.

В памяти возникла та ночь. Триш широко раскрытыми глазами смотрит на то, что могло быть ребенком, и кричит: «Ты убил его!»

Теперь он вернул ей сына, живым.

— Деон, идите скорее! — словно издали донесся чей-то голос.— Скорее. Вы нужны в операционной.

Он тупо посмотрел на профессора Снаймена, который стоял в дверях ординаторской.

— Да очнитесь же, Деон! Малыш в коллапсе. Вас ждут в операционной.

Раздумывать, откуда появился старик, было некогда. Не было времени размышлять и о том, зачем он пришел.

Деон побежал.

Только одна мысль сверлила мозг, когда он, схватив шапочку и маску, вошел в операционную: «Как я скажу Триш?»

— Что случилось? — крикнул он.

Питер Мурхед в отчаянии силился объяснить.

— Все было прекрасно, пока мы не закрыли грудину. Но тут венозное давление подскочило, а артериальное пошло к черту.

Он предвидел это. Опасался этого. Ребра и грудина придавили имплантант. Все-таки надо было завести его под аорту. А теперь кровоток затруднен. Он ошибся.

Она стояла там же, где он оставил ее, но только лицом к окну. Однако, подойдя ближе, он заметил, что она смотрит не на панораму города за окном, а сосредоточенно изучает пожарный кран в нише за стеклом и плоский свернутый шланг. Он понял, что она видит что-то свое.

Когда он подошел к ней, она повернулась. Ее фигура казалась окаменевшей, но взгляд ее был внимательным и как будто спокойным. И с тем же проникновенным спокойствием она посмотрела в его глаза.

Он не успел ответить — она прочла ответ в его глазах, и ее лицо стало другим.

— Как он?

— Молодцом.

— Все прошло хорошо?

Он очень устал, но не мог показать этого. Не сейчас.

— Небольшая неприятность, когда закрывали грудную клетку. Прижало пересаженный сосуд. Но машина «сердце — легкие» еще оставалась стерильной, и никаких сложностей не возникло. Мы переставили сосуд как нужно, без всяких сложностей.

«Без всяких сложностей,— подумал он.— Если не считать того, что я чуть не убил твоего ребенка». Триш не разбиралась в хирургических тонкостях.

— И Джованни будет совсем здоров?

— Ручаться трудно, Триш. Но я думаю, что да.

— Слава богу! Когда мне можно будет его видеть?

— Немного погодя. Мы переведем его в послеоперационную палату, и как только все будет налажено, позволим тебе взглянуть на него.

— Спасибо.

Они пошли рядом по коридору.

— А как твои дела? — спросила она.

Деон замялся, потом спросил уклончиво:

— Что ты имеешь в виду?

— Ты ведь не очень счастлив, правда?

Лгать ей всегда было трудно. И тем не менее он солгал.

— А, так, мелочи жизни,— сказал он беспечно.

Она не спускала глаз с его лица.

— Ничего неразрешимого.

А сам в то же время спросил себя: «И ты знаешь решение?» И ответил: «Не знаю. Но найду его».

— Мне надо идти,— сказал он.

— Да,— ответила она.— Спасибо! Спасибо за все, что ты сделал. Спасибо, доктор.

Он поглядел на нее, удивленный таким официальным обращением. В ее устах это звучало странно. И тут же решил — нет. Вовсе не странно.

Он кивнул ей и вернулся в операционный блок. Вернулся к своему больному.

■

Литературное наследие

Из древнеиндийской антологической лирики

■

Перевод с санскрита ВЕРЫ ПОТАПОВОЙ

Древние веды, великие эпические поэмы, исполненные символики драмы — вот что характеризует прежде всего в представлении читателя литературу на санскрите. Но веды, классические эпопеи, драма — лишь сравнительно небольшая часть литературного наследия древней Индии. Оно представляется безбрежным океаном, в глубинах которого скрыты несметные сокровища и среди них — россыпи лирических стихотворений; многие из них вошли в состав знаменитых антологий на санскрите: «Субхашитаратнакоша» — «Сокровищница изящных речений», «Субхашитаратнавали» — «Ожерелье из драгоценных камней», «Суктикарнамрита» — «Изящные речения, сладостные для слуха», «Шарнгадхарападдхати» — «Собрание Шарнгадхары» и другие. В них сохранено более пятидесяти тысяч стихотворений.

Откроем любую из антологий — и мы оказываемся лицом к лицу со множеством поэтов. Среди авторов и прославленные классики индийской литературы Калидаса, Дандин, Бхартрихари, Бана, Харша, Бхавабхути, и знаменитые ученые: грамматист Панини, философ Дхармакирти и др. Однако имена авторов многих стихотворений были часто неведомы самим составителям антологий. Ничтожны сведения, добытые наукой до настоящего времени, даже о тех, чьи имена известны. Стихи, собранные в этих антологиях, радуют и богатством гуманистического содержания, и бурным поэтическим темпераментом, и сочной образностью, и изяществом формы, выплавленной в тигле беспокойной мысли.

Древнеиндийская антологическая лирика поражает контрастом с традиционными представлениями о поэзии на санскрите, будто бы непременно несущей более или менее сильную религиозную окраску. Правда, еще сто лет назад замечательный германский индолог А. Вебер обратил внимание на светский характер древнеиндийской драмы. Подобная трактовка распространилась со временем и на другие области литературы древней Индии. Сегодня индийские литературоведы считают необходимым подчеркивать особо, что лирическая поэзия древней Индии не только была по преимуществу светской, но и противостояла «высоким жанрам» придворной литературы, являясь, по их мнению, поэзией простого человека.

И действительно, она обращалась к таким официальными канонами не предусматривавшимся темам, как печальный удел супруги бедняка, трагедия отца, вернувшегося из дальних странствий без заработка, горе крестьянской семьи, лишившейся

вола-кормильца, жестокие столкновения богатства и труда, богатства и таланта. Тончайшее восприятие красоты природы, вера в силу и величие любви, блеск искрометного юмора отличают стихи этих антологий. Народность лирической поэзии сказывается и в том, что подчас за изощренностью формы, за искусно построенной метафорой скрыта злая сатира на несправедливого правителя, чиновника, жреца. Социальный протест нашел выражение во многих стихотворениях антологий. Но поэт, дерзнувший стать его выразителем, рисковал многим. В этом случае он находил укрытие для себя либо в вымысле, либо в анонимности. Прозаик IX в. Сомадева Сури, например, включив в свой роман «Яшастилака» целую антологию сатирических стихов, приписанных им вымышленным поэтам, рассказал в романе о преследованиях, которым подвергались поэты, посмевшие осмеять всесильного министра.

В антологиях представлены практически все малые жанры лирической поэзии древней Индии. Они охватываются термином «субхашита», означающим «хорошо сказанное» или «изящное речение». За этим термином, в индийской традиции имеющим характер определения жанра, скрывается, однако, множество различных жанров, пока еще остающихся вовсе не изученными. Среди них мы обнаружим и элегию, и афоризм, и сюжетное стихотворение, и пейзажную лирику, и дидактическую строфу, и бытовую зарисовку.

В предлагаемой публикации читатель встретится и со строками классиков древнеиндийской литературы Калидасы, Вишакхадатты, Бхавабхути, романиста и теоретика литературы Дандина, и с творениями Йогешвары, Дхармакирти, Равигупты, Виры, Видьи, от поэтического наследия которых уцелело совсем немногое, и со стихами совсем неизвестных авторов.

По праву знакомство читателя начнется со строк Бхартрихари, едва ли не величайшего лирика древней Индии. С него берет начало мощная и разнообразная традиция поэзии социального протеста, широко представленная и на санскрите, и на национальных языках народов Индии. «Поэзия деревни и поля» предстает перед нами в стихах Йогешвары, Мадхушилы, Абхинанды, Видьи, Виры, во многих стихах анонимных поэтов, таких, как «Отец и сын схватили за рога...», «Детишки — мертвецы живые...», «Поди сюда, мой маленький...». Йогешвара, которому принадлежат двадцать четыре строфы, сохранившиеся в антологиях, предстает перед нами как поэт, удивительно чуткий к человеческому горю, проникновенно писавший о трагедии нищеты, умевший найти прекрасное в, казалось бы, незначительных деталях быта. По всей вероятности, он жил не позднее IX века в той части Индии, которая ныне входит в состав штата Западная Бенгалия. Видья, южноиндийская поэтесса, возможно происходившая из низкой касты, жила в VIII—IX веках. Дхармакирти известен не только как поэт, но и как один из крупнейших индийских философов. Время жизни его предположительно относится к VI—VII векам. Равигупта — буддийски настроенный поэт, мастер афористических стихотворений, творчество которого относится к VIII веку.

При чтении их стихов даже самый искушенный читатель будет озадачен — и не раз! — не только смелыми, подчас совершенно современными образами, но и тем, что его память будет ставить стихи индийских поэтов тысячелетней давности рядом с известными европейскими, в том числе и русскими образцами. Дело тут и в единстве человеческой природы, и в том, что сама Индия столь разнообразна, столь многолика жизнь ее народов, что в поэтическом обобщении выявляются как наиболее значительные проявления жизни те ее стороны, которые оказываются близкими и для нас. Если жителям Кашмира знаком и снег, и мороз, то жители Кералы знают о них лишь по сказаниям о богах, обитающих на вершинах Гималаев. Бамбук и пальмовые листья служили строительным материалом для жилищ на юге страны, жители горных окраин севера Индии знали как строительный материал и дерево, и камень, и солому.

Поэты, представленные в индийских антологиях, владели удивительно совершенным и гибким инструментом, имя которого — классический санскрит. Замечательное его свойство — способность компрессии мысли или образа в минимальном языковом объеме. То, что на санскрите выражено всего лишь в тридцати двух слогах, нередко, даже в самом лапидарном переводе, на русском языке вырастает в несколько строк текста. Достоинство санскрита, позволяющее достигать удивительного художественного эффекта, порождает в переводе исключительные трудности. Они осложняются еще и весьма разветвленной системой художественных средств, богатой звуковой формой стиха, включающей в себя и рифму. И тем не менее перевод санскритской лирики на русский язык вполне возможен, как это убедительно показано Верой Потаповой, уже не первый раз обращающейся к поэзии древней Индии.

Публикуемая подборка стихотворений впервые знакомит читателя с малыми жанрами лирической поэзии древней Индии во всем ее многообразии и специфике. И вместе с тем в этой поэзии самым непосредственным образом ощущается могучее гуманистическое начало, делающее столь близкими для нас произведения такой далекой эпохи. В настоящее время государственное издательство «Художественная литература» готовит к печати книгу древнеиндийской лирики «Жемчужное ожерелье» в переводах Веры Потаповой.

И. СЕРЕБРЯКОВ

БХАРТРИХАРИ

■ ■ ■

Горшечнику подобно, злобный рок
Мою живую душу смял в комок,
Как глину, и швырнул рукой коварной
На колесо терзаний и тревог,
Крутя его быстрей, чем круг гончарный,
И мне суля превратностей поток.

■ ■ ■

Этот мир, издревле благодатный,
Правосудными царями создан.
Вслед за тем он стал добычей ратной
И, как сено лошадям, был роздан.
Отчего цари полны гордыни,
Отчего их распирает чванство
Там, где царства целого пространство
Две деревни составляют ныне?

■ ■ ■

Кто я — льстец иль певец, лизоблюд или шут, лицедей
Иль красотка, что гнется под тяжестью пышных грудей?
Не наушнику, не штукарю —
Для чего мне стучаться к царю?

■ ■ ■

Пылинка мирозданья,
Кусок ничтожной глины,
водою окруженный,—
Причина сотен распрей
и войн между царями!
Какого блага ждать от этих нищих духом?
Плюю на них! Плюю и на того, кто грош
Возьмет из царских рук!

■ ■ ■

Душа, ни на миг не вверяйся той шлюхе, Удаче,
Что пляшет послушно по манию царских бровей!
Сбирать подаянье пойдем по дворам Варанаси.
Да будут ладони нам чашей, отрепья — бронёй.

■ ■ ■

Не насладились мы желанным наслажденьем —
Желанье наслажденья нас пожрало.
Не истязали мы
подвижничеством плоть —
Подвижничество истязало нас.
Не мы беспечно проводили время,
Но время нас, беспечных, провело!
Желанья наши не увяли,
Но из-за них увяли мы!

■ ■ ■

Тигрицу, что зовется старостью,
Не в силах мы преоборотъ.
И, недругам подобно, с яростью
Болезни ранят нашу плоть.
И жизнь уходит нечувствительно,
Как из горшка худого — влага.
А люди — вот что удивительно! —
Охотней зло творят, чем благо.

КАЛИДАСА

«Времена года»

ФРАГМЕНТЫ

Лето

■ ■ ■

Львы, и слоны, и рогатые звери, не помня вражды,
С телами в ожогах, несутся из дебрей горящих,
Толкаясь боками, и с плеском бросаются в реку,
Чьи обмелевшие воды бегут по широким пескам.

Пора дождей

■ ■ ■

Райского древа листву
обрызгал червец кошенильный.
Свежий покров травяной
зеленей, чем толченый берилл,
Что «глазом кошачьим» зовут.
В убранстве из густо-зеленых
И темно-багряных камней,
как дева, сияет земля!

■ ■ ■

«Громада эта — нам опора
в своем величье,
Когда гнетет нас бремя влаги»,—
сказали тучи,
Кропя дождями склоны Ви́ндхьи,
что знойным летом
Опалена была огнями
лесных пожаров.

Осень

■ ■ ■

Как царь овеян опахалами
из белых яковых хвостов,
Порой осенней свод небес
овеян облаков грядами,
Что серебра белей и раковин,
и стеблей лотоса прохладных,
Освободившись от дождей,
легко плывут, гонимы ветром.

■ ■ ■

О ночь, лицо твое — луна, без покрывала
Докучных облаков! Блистает бездной звезд
Твой царственный венец. В беспыльные одежды
Твой дивный стан облек текучий лунный свет.

■ ■ ■

Густым благовоньем шепха́лика дышит
В саду, оглашаемом криками птиц.
Там синие лотосы схожи с глазами
Газели, застывшей на гребне скалы.

■ ■ ■

Растаял облачный покров.
Искрящиеся сонмы звезд
Выводит месяц златозарный,
и небеса облиты блеском,
Как изумрудные озера
с жильцами — царскими гусями
И безупречной белизной
цветущих лотосов «кумуда».

Весна

■ ■ ■

В цвет красноватый сафлора окрашены юбки красавиц,
Что бедра округлые их облегают, как плод — кожура.
Блекло-желтым окутали шелком, с шафранным отливом,
Эти влюбленные девы упругие груди свои.

■ ■ ■

Взгляни, каким великолепьем
блистает красный амарант,
Развертывая лепестки, румяней дев розоволиких!
Мужам, ценителям красы, дивясь на пурпурные грозди,
От Камы стрел неотвратимых
не уберечь своих сердец.

■ ■ ■

Весной пылает всюду,
отягощая ветви
Пунцовыми цветами,
кимшука — пламя леса,
Колеблемое ветром.
Земля в таком убранстве
Глядит невестой юной,
одетой в красный шелк.

ЙОГЕШВАРА

■ ■ ■

Огромная туча-кошка
Огненным языком
Лакает лунные сливки
Из кастрюли ночных небес.

■ ■ ■

Из ячменя размокшие лепешки
Сушить, ребят ревущих унимать,
Вычерпывать горшком разбитым воду,
Солому для спанья беречь от ливня,
Дырявое лукошко нахлобучив
На голову, в лачуге обветшалой
Доводится супруге бедняка.

■ ■ ■

Воду пру́да нагревает зной
Сверху, а внизу — холодный слой.
Если водоемы су́хи всюду,
Путники приходят в полдень к пру́ду.
Буйволы грязнят его: скотине
Отдыхать привольно в склизкой тине.
Но, руками разгоняя муть,
Люди пьют, войдя в него по грудь.

ВИРА

■ ■ ■

Заплату на заплату класть —
Непревзойденное искусство,
И пригоршню еды делить —
Непостижимое уменье,
Мне суждены: ведь я жена!

ВИДЬЯ

■ ■ ■

— О добрая жена соседа!
За домом пригляди минутку.
Воды колодезной, безвкусной
Отец ребенка пить не станет.
Спущусь, хоть я одна, к реке,
Под сень тамалов, где темно
И столь густые тростники, что стебли
Колючие царапают мне грудь.

МУРАРИ

■ ■ ■

В ночи небесную стреху
Термиты тьмы проели,
И видно звездную труху,
Что сыплется сквозь щели.

ВИШАКХАДАТТА

■ ■ ■

Небеса, в покое нарастающем,
Кажутся божественными водами,
Что текут беззвучно в вышине,
С отмелями белых облаков,
С криками летящих журавлей,
С лотосами-звездами в ночи.

АБХИНАНДА

■ ■ ■

Раздавленный повозками тростник
Обрызгал соком сладким колею,
Что пыль шафранную несет, как стяг.
Слетелись попугаи на ячмень,
Колосья полновесные склонивший.
От рисового поля к водоему
Проплыли вдоль канавы пескари.
Пастух прилег на отмели, где тело
Приятно охлаждает ил речной.

МАДХУШИЛА

■ ■ ■

Меж грудей, подобно снизкам жемчуга,
Матово мерцают стебли лотосов.
Около ушей свисают лилии —
Двум серьгам затейливым замена.
А пробор проложен не рубинами —
Бандхудживы рдяными цветами.
Сколько драгоценностей
Время урожая
Подарило девочке,
Стерегущей рис!

НАРАЯНАЛАЧЧИ

■ ■ ■

Вишну и Лакшми объятья
разорвало горячее лето.
Божественных клонит ко сну,
оттого что валы океана
Качают плавучий дворец,
где влага струится со стен,
Изнутри охлаждая покои.
Свирепые солнца лучи!
По милости вашей, луна,
Лишенная чудного блеска,
сегодня печется, как блин.
Докрасна вы раскалили
небесную сковороду!

ДАНДИН

■ ■ ■

Богатым не стал я,
Ученым не стал я,
Заслуги святой не обрел я,
И время мое истекло.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОЭТЫ

■ ■ ■

Книга, жена или ссуда
Уйдет безвозвратно. Тем лучше!
Худо, когда возвратится —
Рваной, запятнанной
Либо уменьшенной вдвое.

■ ■ ■

Прекрасна ночь, когда сверкает месяц.
Хвала тебе, колеблющий волну!
О месяц! Разве не в твое сиянье
Невидимой рукой закинут мир,
Вместивший страны света целиком,
С грядами гор и водами речными?

■ ■ ■

Что в сердца своего табличку
Я вписывал — судьба в привычку
Взяла стирать своей рукой.
Так было с каждою строкой!
Но воск, от этой благостыни,
Стал тонким. Он лежит, сквозя,
И ни строки надежды ныне
На нем запечатлеть нельзя.

■ ■ ■

Порой не доверяет близким людям
То сердце, что однажды ранил мир.
Зачем, как малое дитя, мы будем,
На молоке обжегшись, дуть на сыр?

■ ■ ■

Я не ношу браслета золотого,
Что блещет, как осенняя луна;
Я не вкусил стыдливой неги уст
Невесты юной; ни перо, ни меч
Не заслужили мне бессмертной славы.
Я время расточаю в школе ветхой,
Уча лукавых, наглых мальчуганов.

Сперва он отливал густым багрянцем,
Под стать китайской розе, а потом
Медово-красным сделался, как щеки
Гречанки юной, выпившей вина,
Но просветлел, как зеркало златое,
И, словно белый тагары цветок,
Теперь блестит на небе диск луны.

■ ■ ■

«Золотой водой польешь тыквенную плеть —
Будут у тебя плоды непрестанно зреть».
С радостью поверил я слову доброхота.
Тыкву круглый год иметь каждому охота!
Я просил — и наконец мне богач один
Нацедил чуть-чуть воды золотой в кувшин.
Я пришел домой, и глядь — нет ее в помине:
Просочилась по пути сквозь трещину в кувшине!

■ ■ ■

Отец и сын схватили за рога,
А мать — за хвост, родители отцовы
Уперлись в ребра, а сноха — в подгрудок.
Ребята, с плачем, за ноги взялись.
Одно у них богатство — дряхлый вол,
Что издыхает, лежа на земле.
И всем семейством, проливая слезы,
Они его стараются поднять.

■ ■ ■

Детишки — мертвецы живые,
Укоры едкие родни,
Кувшин, залепленный смолой,
Терзают меньше, чем улыбка
И взгляд язвительный соседки,
Когда жена к ней каждый день
Заходит попросить иглу,
Чтоб залатать свои отрепья.

■ ■ ■

Бренное тело твое развалилось бы сразу, бедняк,
Если б веревки мечтаний не стягивали твой костяк!

■ ■ ■

«Поди сюда, мой маленький, не плачь,
На разодетых мальчуганов глядя.
Когда отец вернется, он тебе
Подарит ожерелье и обновы».
Услышав это, горемычный странник,
Стоящий за стеной, уходит прочь,
И слезы льются по его лицу.

■ ■ ■

— Монах прощелыга! Ты падок до рыбного блюда?
— За винною чашей и рыбы отведать не худо!
— Ты пьешь? — Как не пить, непотребную встретив
красотку?
— Распутник! Небось, ростовщик тебя держит за глотку?
— Коль скоро добром у него я не выпрошу ссуду —
Тайник проломлю, а желанные деньги добуду!
— Ты вор и заядлый, должно быть, игрок, по приметам?
— Нельзя мне иначе: я нищенства связан обетом!

■ ■ ■

Кто смел перечить Камадеве?
Любимому вернуться к деве
Велят немедля гневные уста.
Ослушник — путник беспечальный,
Что в клетке заключен хрустальной
Из струй, сбегающих с его зонта.

Критика

КАРОЛ РОЗЕНБАУМ

ДИАЛОГ С ЭПОХОЙ

Три книги трех словацких поэтов

Да простит меня уважаемый читатель—в название своей статьи я вставил целых два числительных. Не ищите тут никакой магии чисел: я выбрал трех поэтов, в чьем творчестве отразились некоторые примечательные черты современной словацкой поэзии. Мой выбор пал на их книги, ибо поэтов этих объединяет осознанная и испытанная преданность социалистическому обществу целям коммунистического движения. У них много общего, хотя у каждого свой собственный почерк и собственный поэтический опыт, да и принадлежат они к разным поколениям. Все три поэта творчеством своим ведут содержательный диалог с эпохой, с людьми нашей эпохи. Разумеется, можно было бы назвать и больше имен — но ведь количеством не измерить значимости поэтов

Предвижу упрек, что среди выбранных мной нет ни одного представителя молодого или хотя бы младшего поколения мастеров слова. Действительно, Андрей Плавка родился в 1907 году и теперь отмечает свое семидесятилетие. Павол Горов — 1914 года рождения, Мирослав Валек, родившийся в 1927-м,— на пороге пятидесятилетия. Впрочем, как однажды сказал выдающийся словацкий поэт-романтик прошлого века Андрей Сладкович, молодость «есть к прекрасному влечение живое», а поэт не может быть глухим к прекрасному.

Речь в статье пойдет — подчеркиваем это — о трех современных, а не просто сегодняшних поэтах. Когда-то — не так уж и давно—у нас были поэты только сегодняшние, но не ставшие современными. Плавка же, Горов и Валек были и есть сегодняшние и современные. Их творчество живет, постоянно обновляется, всякий раз по-новому открываясь читателям и критикам: хорошую поэзию можно сравнить с горой, которая лишь исподволь обнаруживает свои сокровища. Хорошая поэзия — как сказки наших бабушек: каждый чуткий к прекрасному человек воспринимает их по-своему.

В этой статье мне хочется познакомить советского читателя с тремя поэтическими сборниками — «Глубинной рекой» (1972) Павола Горова, «Завещанием» (1972) Андрея Плавки и «Словом» (1976) Мирослава Валека [1]. Андрей Плавка — по возрасту — должен бы стоять в этом перечне первым, но с Горовым лично нам уже не суждено встретиться: он умер 29 сентября 1975 года.

Книга Павола Горова «Глубинная река» — его десятый по счету стихотворный сборник, поэт дебютировал в 1940 году циклом «Предательские воды грунтовые». После смерти Горова его память почтили изданием книги стихов «Ассонансы» (1976), составленной из не публиковавшихся ранее произведений. На основе литературного наследия поэта подготовлен обширный том «Из последних произведений».

Как первая, так и последняя прижизненная книга Горова отмечены, словно фамильным гербом, стихией воды: грунтовые воды, глубинная река. Это своего рода образное выражение отношения поэта к действительности, символ развития и перемен. В его творчестве то явно, то как бы в подтексте звучал постулат, унаследованный от античной философии: panta rhei [2]. Надо сказать, что Горову, поэту большой культуры и эрудиции, человеку скромному, была чужда

[1] Фрагменты из сборника «Слово» в переводах Риммы Казаковой см. в этом номере стр. 5—11, а также в настоящей статье.

[2] Все течет, все изменяется *(древнегреч.)*.

манера рядиться в заемные павлиньи перья. В слова он облекал лишь то, что прочувствовано, пережито и продумано,— только тогда это получало поэтически насыщенное выражение.

Уже в сборнике «Предательские воды грунтовые» определился подход Павола Горова к задачам поэзии. Всей силой поэтического слова обрушился он на тех, кто «меч острит», кто грозит уничтожением накопленных человечеством ценностей. Читателю было ясно, что поэт поднял свой голос против наступавшего тогда фашизма, в защиту принципов гуманизма.

После освобождения родины Горов встал в ряды тех словацких литераторов, которые решительно выступали на стороне сил мира. В его стихах жертвы второй мировой войны становятся свидетелями обвинения — против тех, кто чинил насилие. В своем творчестве Горов последовательно раскрывал неоспоримые преимущества социалистического строя, его роль в преобразовании Словакии — края в прошлом нищего и отсталого. В нем формировался поэт, все внимание концентрирующий на эмоциональных конфликтах действительности, поэт, которого интересует жизнь во всей ее полноте. Его поэзию одушевляет трепетная любовь к отчему дому, к родному краю, к матери — солдатской вдове. Отец Горова погиб в первые дни войны 1914 года на сербском фронте. Страдания и горе матери пробудили в мальчике протест против войны, бессмысленной гибели лучших сынов человечества.

Однако от сборника к сборнику поэтическое зрение Горова больше сосредоточивалось на проблеме места личности, взявшей на себя ответственность за решение сложных проблем, волнующих всех людей. Это не был поворот в сторону субъективизма, ухода от общественной проблематики, но обращение к раздумьям о личном и общечеловеческом, их взаимослияние. Вот почему сборник «Глубинная река», рассказывающий на первый взгляд лишь о самом поэте, является художественным выражением переживаний нашего современника, исполненным тревоги за его судьбу. Это стихи, воспевающие светлые стороны жизни. Хотя поэт под влиянием тяжкого недуга говорит и о «вещах конечных», о смерти, но и эти его мысли оборачиваются гимном во славу жизни и ее творческого смысла.

Социалистическая лирика вовсе не избегает этой темы: так, в стихотворениях Лацо Новомеского последних лет мы встречаем отзвуки размышлений о смерти как естественном атрибуте жизни, которой нет конца.

Было бы ошибкой считать сборник «Глубинная река» лишь поэтическим обобщением раздумий автора о смерти. В нем немало тем, знакомых нам по предыдущим книгам Горова: встречи с людьми социалистической эпохи, их внутренний мир, любовь к природе, которая у автора предстает не фоном и не символом «душевного состояния», а становится объектом поэтического наблюдения. Разумеется, сам факт, что поэт изливает свои чувства к природе, само его обращение к ней тесно связаны со стремлением к завершенности в передаче душевных переживаний. В стихах Горова лирический поэт и природа составляют как бы одно целое. Собственное психологическое состояние автор словно проецирует на природу, используя картины тех или иных природных явлений для более глубокого постижения лирического субъекта. Право на преимущественное внимание к внутреннему миру поэту дает уже одно то, что он всегда остается верен себе, своему полнокровному мироощущению: он не боялся грустить в период, когда в поэзии у нас господствовал ликующий тон, и выражать радость в кризисные шестидесятые годы, когда поэзию стали захлестывать субъективизм и всякого рода словесное трюкачество.

Право на собственный мир как источник самовыражения Горов имел и потому, что действительность он умеет видеть с точки зрения ее перспектив, субъективный мир поэта всегда включает в себя окружающий мир — социалистический, а изображение его сливается с образом лирического субъекта, с личностью автора. Это свойственно и другим словацким поэтам — упомянем хотя бы Лацо Новомеского, Яна Кострy, Андрея Плавку,— это черта зрелой гуманистической поэзии.

Автор сборника «Глубинная река» извлекал из-под напластований прожитых лет сокровенные порывы сердца, прослеживал «геологические» слои человеческих чувств. Любить подлунный мир, женщину, людей, прекрасное, поэзию, облагораживать жизнь — таковы были всегда темы и цели творчества Горова. Ему было чуждо позерство, он отвергал фехтование словами, хотя порой его метафоры действительно поражают, подобно удару шпаги. Горов охотнее вел разговор при ровном, приглушенном свете, когда, однако, все еще различимо и контуры вещей четки. Он воздавал почести поэзии как властительнице жизни. И в книге «Глубинная река» назвал ее — родную и животворную стихию — «сестричка Поэзия».

Сила поэзии Горова в том, что даже перед лицом надвигающейся «тяжкой годины» поэт не предается отчаянию, медитациям о тщете житейской суеты, о несбывшихся желаниях. Горов не подводит итогов, не подсчитывает хорошее и плохое, — он прожил жизнь, как она сложилась, в его душе мир, хотя он и не смирился с необходимостью покинуть круг друзей и близких. И грусть, которая, как «глубинная река», пробивается на поверхность, снова уходит в глубь нахлынувших чувств...

Завершает сборник своего рода прощальный цикл, выразительно озаглавленный «В тоске осин». Эти стихи родились из

КАРОЛ РОЗЕНБАУМ
ДИАЛОГ С ЭПОХОЙ

пережитого во время поездки в ГДР: поэт заболел, оказался вдали от близких, он размышляет о своем положении, однако не предается унынию, не склоняет головы. Два источника питают бодрость его духа: любовь и поэзия. Любовь как величайший для человека дар — и поэзия, его отрада и опора. Снова, как и прежде, он погружался в жизнь «без берегов», в действительность, стянутую «гордиевым узлом». И в этом проявляется характер его творчества: поэт, упорядочивая реальность строго избирательно, формировал ее и «распутывал» жизненные проблемы и коллизии. Умер Горов в один из прекрасных солнечных сентябрьских дней 1975 года, и голубой свод «высокого летнего неба» (так называется книга стихов поэта) как бы воздал ему последние почести. «Глубинная река» его жизни уже никогда не пробьется на земную поверхность, но река его поэзии, как и прежде, вливается в русло нашей жизни...

Вторым мы хотим представить Андрея Плавку[1] и его сборник «Завещание». Творчество Плавки обширно, оно включает и замечательные прозаические произведения (приятной неожиданностью для читателя явились две автобиографические книги Андрея Плавки — «Влюбленный в жизнь»[2] и «Полная чаша», 1976). Вступив в литературу в середине межвоенного периода, Плавка прошел сложный путь развития. Начал он, ориентируясь на поэтическую культуру Словакии того времени, преимущественно обращенную к личным проблемам молодого человека. Перелом в его сознании произошел во время второй мировой войны: поэт уяснил роль народа в истории, любовь к родной земле уберегла его от вредоносных влияний, представленных прежде всего клерофашизмом — идеологией реакционных словацких националистов. Участие в Словацком национальном восстании, вступление в коммунистическую партию явились знаменательным рубежом и для творческого развития поэта.

Корни поэзии Плавки — в жизни народа, строителя социализма. Вдохновение поэт черпает в первую очередь в грандиозных переменах, совершающихся в «отчем крае», и заветы Словацкого национального восстания составляют основу его поэзии. Достигнутые страной успехи он оценивает по тому, насколько воплощаются в жизнь идеалы, за которые умирали борцы против фашизма.

Вместе с творческой зрелостью к Плавке пришла и пора более глубокого проникновения в свой внутренний мир, стремления открыть и выразить новые эмоциональные грани духовной жизни нового человека. Плавка как бы нисходит в глубины сердца и души, где вызрели сокровенные слова о смысле собственной жизни. Сборник «Завещание» — словно фрагмент раскрытой личной тайны. Правда, и в предыдущих сборниках поэт говорил о себе главным образом в отношении к любимому родному краю, к обстановке в мире. В его поэзии всегда ощущалось присутствие чутко резонирующей души человека, нераздельно связавшего себя с социалистическим обществом. «Завещание» обнаруживает новый подход к личной теме Само по себе «завещание» — печальное слово, его употребляют применительно к последним минутам жизни, к последней воле, когда приводятся в порядок часто сугубо личные дела. Завещание — это и заповедь и наказ. И сборник Плавки, пожалуй, именно таков: это скорее наказ живого живым, чем прощальное слово. Это проверка накопленного жизненного опыта, новое подтверждение полноты жизни, ее неисчерпаемой красоты — несмотря на все горести, которые порой приходят к нам как непрошеные гости.

Книга открывается стихотворением «Поздние стихи», задающим тон всему сборнику: в нем шумит «ветер осенний» (подразумевается зрелый возраст и время), раздувающий огонь творчества. Скромная увертюра—«вечерний звон» «Поздних стихов» — разворачивается в мощную симфонию нарастающих чувств.

В сборнике заново и по-новому прозвучала и глубокая привязанность поэта к родным местам. Если Горов питал безграничную любовь к равнинным полям своего Земплина в Восточной Словакии, то Плавка любит гористый Липтов в разных его обличьях. Но и для Горова, и для Плавки отчий край — это прежде всего люди нашей, социалистической эпохи.

Чувство Плавки к Липтову — своего рода «школа любви», бальзам от болезни космополитизма, который порой давал себя знать и в словацкой литературе, прикрываясь псевдосовременным лозунгом «всемирности». «Большой мир» всегда начинается дома, в нем мы открываем то, что запало в душу еще под отчим кровом Поэтому стихи Плавки об отчизне — песня, спетая и за всех тех, кто любит свои родные места, где бы они ни были расположены географически. Может возникнуть вопрос: страна наша совсем невелика — и столько «родных краев», и каждый имеет своего певца, а то и нескольких? Да, дело обстоит именно так. Это нечто вроде рефлекса защиты родины — защитный рефлекс, выработавшийся еще во времена социальной и национальной зависимости Словакии и преображенный торжеством свободных людей в глубокую и неиссякаемую любовь, которая продолжает существовать в новых условиях.

Однако, прославляя свою страну, Плавка не поет дифирамбов Отношение поэта к ней основано на знании действительности, на ее глубоком осмыслении. И потому, говоря его словами, в «глазах цвета незабудок» — глазах родины — ему видятся не только надежда, но и «скорбь долин», не только сила зачарованная, но и «красота, которой больно». В этой «боли красоты» — отзвук былых страданий словацкого

---

[1] Стихи А. Плавки «Ветерок с Востока» печатались в «Иностранной литературе» № 6, 1970.

[2] Книга опубликована в «Иностранной литературе» № 10—11, 1972.

народа, следы прошлого, еще не изгладившиеся. В выражении чувств здесь на передний план ненавязчиво выступает гражданственность — понимание повседневного долга перед отчизной, гордость за ее обновление и процветание. Любовь к ней Плавки не нуждается в словах, она существует как данность, составляя содержание его жизни и поэзии, их предпосылку, как сказал Л. Новомеский. Мать любит свое дитя и не говорит о любви. Она — в ней.

В поэзии Плавки любовь предстает как опора и величайшая жизненная ценность. Поэт владеет искусством говорить о ней прямо, без ухищрений, но в бесчисленном множестве оттенков, словно проверяя, сколько радостей и сердечных тревог, а то и горя, должен пережить человек, чтобы сказать:

Ни одного глотка не жалею,
ни ночи неистовой, ни дня...

Его «Завещание» написано под знаком жизни. Об этом свидетельствуют в особенности два стихотворения — «Биография» и «Завещание». В первом с достоинством, сдержанным, но не без гордости рассказывается о «рождении» поэта, об испытаниях, повстречавшихся на его пути. Поэзия для Плавки — весьма важный компонент жизни, он толкует ее не только как дар, а как выражение страстного желания протянуть руку людям в горе и страданиях. Поэту преклонных лет поэзия открывает возможность делать масштабные обобщения, не раздавая при этом педантских советов «на все случаи жизни», не режиссируя чувств. На склоне лет художник снова как бы обозревает весь свой жизненный путь, насыщенный реальностью,— пласты ее располагаются по-новому, словно преобразившись в поэтическом воспроизведении автора. Подводя главные итоги своей жизни, поэт провозглашает твердую веру в грядущую эру мира и счастья человечества, когда осуществится высшая цель, к которой устремлен его взор.

Вершина сборника «Завещание» — стихотворение того же названия. В нем автор стремится ответить на вопрос: что завещать будущим поколениям «на исходе жизненного пути», какую тайну им поведать. И открывает секрет истинного бессмертия: человек не канет в Лету, если вся его жизнь была посвящена созиданию, активной деятельности; тогда, утверждает поэт, он войдет в историю. Своей книгой Плавка напоминает о древней роли поэзии — волшебного ключа к тайнам людской души, ключа к пониманию творческого предназначения человека,— напоминает в нашу эпоху стремительного развития техники, управляя которой человек иной раз из господина превращается в слугу. Так поэзия Плавки стремится заполнить «пустые жилища», стать опорой в жизни его современников.

Плавка поддерживает в современной словацкой лирике здоровые и оздоровляющие тенденции слияния личного с общественным. Желая подчеркнуть актуальную значимость темы, он прибегает к совершенно новым формам выразительности, применяет новую, нетрадиционную строфику, используя из прежней своей поэтики лишь то, что выдержало испытание на зрелость: свободное, достоверное изложение правды о своей жизни и жизни других.

Третьим выдающимся произведением словацкой поэзии последнего времени является сборник Мирослава Валека «Слово» (1976). Одиннадцать лет отделяют его от предшествующей книги поэта, но этот «перерыв» не назовешь, пожалуй, затянувшимся молчанием: в качестве министра культуры Словацкой Социалистической Республики и члена Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Словакии Валек ведет большую организационно-политическую деятельность, выступает в печати, по телевидению, перед творческой интеллигенцией и общественностью страны. Ощутимый подъем, переживаемый ныне словацким искусством и культурой в целом,— лучшее свидетельство мудрости и верности линии Коммунистической партии Чехословакии в области литературы и искусства. И все же читатели, особенно молодое поколение, с нетерпением ждали от Валека нового поэтического слова — им и стал сборник «Слово».

Поэту не пришлось заново погружаться в свой внутренний мир: ведь он по сути и не оставлял его, решая «беспокойные» проблемы эпохи как собственные, пережитые лично — с такой же непосредственной заинтересованностью, страстно выступая в защиту человеческой жизни. Эта «злободневность» поэзии Валека оказалась не подвластной времени. Его книги остаются живым достоянием читателя, общества. Их ценность в том, что они ратуют за идеи социалистического гуманизма как основополагающей категории коммунистической партийности. Новый сборник как бы воплощает призыв, содержащийся в книге «Любовь в гусиной коже» (1965): «Приди, песнь, будь правдивой» Эти слова — и знак уважения к поэзии, и одновременно приказ себе — средствами поэзии утвердить правду искусства как морально-эстетическую категорию, во имя глубокого проникновения в смысл нашей социалистической эпохи.

Сборник «Слово» отмечен рядом новых черт, и они не случайны. Лирический герой Валека по-прежнему живет в состоянии напряженной внутренней борьбы, но теперь поэт в более широких масштабах приобщает его к историческим судьбам современности — и не просто в качестве резонирующего субъекта, а в роли активного фактора. Подобный сдвиг от субъективного ко всеобщему, внеличному, коллективному не стирает «мелового круга» поэзии Валека — ее своеобразия и выразительной силы,— но открывает вместе с тем более свободный доступ к реальной дей-

---

КАРОЛ РОЗЕНБАУМ
ДИАЛОГ С ЭПОХОЙ

ствительности. Движение в сторону общественной проблематики обусловило и перемены в избираемых автором художественных средствах. В поэзии Валека прибавилось «коммуникативных» элементов, прибавилось прямых обращений к читателю — вопросов и ответов на них. В стихах Валека обретают голос общезначимые истины социализма, искусно вставленные в те или иные высказывания поэта, они — «повсюду», являясь и строительным материалом, и цементирующим раствором. Прежде поэт говорил главным образом от своего имени, в новом сборнике он выступает от лица миллионов, становясь поэтом политическим и — в классическом и благородном смысле слова — злободневным. Певец людской надежды, утверждающий величие человека как активной исторической силы, он хорошо знает, как горьки последствия утрат и заблуждений, как порой тяжко бывает человеку. Но одиночество — гордое или негордое — поэт отвергает, отдавая предпочтение солидарности, «объятию миллионов».

Эпоха требовательна к поэзии Валека, но и его поэзия всегда столь же требовательна к эпохе. И в свете этой истины новая книга Валека как нельзя лучше обнаруживает нравственное превосходство его поэзии, сознательно отданной служению идеалам социализма.

Сборник, о котором идет речь, многозначительно озаглавлен «Слово» Оперируя им, тщательно взвешивая его, отметая пустое нанизывание словес, поэт возводит Слово — важнейший элемент человеческого общения, мышления, чувствования — не только на пьедестал почета, но и в ранг критерия правдивости. Отношение к слову — составная часть философии поэзии Валека. Слова — они не сами по себе, не пассивны; они — как послы, как гонцы, призванные нести от человека к человеку высокую правду жизни. Противник многословия в поэзии, поэт хочет найти новые слова — «совсем другие, чем когда-то». В своем взыскательном отношении к слову и его наполнению Валек смело использует всю безграничность смысловых оттенков слова, расширяя предельно его значение. «Слово выше смерти, выше закона»,— говорит автор и этим определяет потенциальные возможности поэзии. Но слово должно быть исходно нацелено на служение гуманизму, ибо

...слова—лишь игра холодного ума,
если сердце не готово
принять участие в их рожденье.—

утверждает поэт.

В новом сборнике необычайно полно раскрылся поэтический диапазон Мирослава Валека. «Есть поэзия—ложь, и поэзия—чистый щит!» — восклицает поэт, всем сердцем, разумом, всем «словом» устремляясь к «поэзии чистого щита». И потому любую из своих тем (жизнь человека, любовь, поэзия, коммунистическая партия) Валек воплощает, вкладывая в стихи всю страсть и непримиримость души. Сборник «Слово» имеет и откровенно политическую направленность: яростно осуждает он злодеяния империализма, которые все еще совершаются в разных концах света, главарей бесчеловечных диктаторских режимов.

Высокая идейная нацеленность ощутима и в отношении поэта к коммунистической концепции личности и ее места в мире. Валек и прежде провозглашал доверие к человеку. В новом сборнике тема доверия несет на себе акцент коммунистической партийности. Поэт говорит о человеке как бы от имени социалистического искусства, говорит словами, которые по четкости и глубине мысли приближаются к философскому тезису:

Человек—это проект на года.
Человек—коллективное создание.
Не изменит ничто, никогда
этот простой закон мироздания.
Он вбирает в себя
ночные бдения, годы одиночества
и собственное движение к совершенству.

Таким рисует поэт реальный образ людей социалистической современности, и прежде всего — коммунистов, в полной мере сознавая, что именно они воздвигли на развалинах старого новое и свободное отечество. И в обращении к ним звучит восхищение, глубочайшее и искреннее уважение, но не торжественные фанфары:

Нет, ржавчина их не сгложет.
Мира науки не знали они, быть может,
но науку мира постигли жизнью своей...

Это безыскусное, правдивое слово благоговейной признательности — коммунисты по праву заслужили ее. Во весь голос заявляет поэт о верности коммунистической партии, которая оказала решающее влияние на его идейное и художественное становление.

Книга Валека «Слово» открывает новые пути социалистической лирики. Это поэзия, в прямом смысле слова борющаяся за «чистое сердце в груди», поэзия, стоящая в одном ряду с творчеством Новомеского, Горова, Плавки, Мигалика — творцов современной словацкой социалистической лирики.

Перевод со словацкого И. БОГДАНОВОЙ

◆

Критика

Н. ЯКОВЛЕВ

ГОР ВИДАЛ И ААРОН БЭРР

В № 7 нашего журнала мы начали печатать исторический роман видного американского писателя Гора Видала «Бэрр», произведение, сложное по содержанию и по форме и поднимающее ряд важных вопросов оценки современными писателями США истории своей страны. Естественно, что прочтение романа едва ли может быть однозначным. Спорность ряда авторских утверждений, при всем праве художника на интерпретацию явлений, представляется самоочевидной. Продолжая публикацию «Бэрра», мы предлагаем вниманию читателя статью профессора Н. Н. Яковлева, специалиста по американской истории, в частности, по тому ее периоду, о котором идет речь в романе.

Один из императивов издательского дела на Западе — помещать на суперобложке или первых страницах новой книги резюме рецензий и отзывов о ней. Конечно, только положительных. Так по установившейся традиции и в понятных рекламных целях открывается исторический роман американского писателя Гора Видала «Бэрр», впервые увидевший свет в ноябре 1973 года и выдержавший массу переизданий. Критики нашли книгу превосходной во многих отношениях. А провинциальная «Денвер пост» даже заключила: «Несомненно, лучшая из книг Видала». Основное достоинство ее, по мнению американской критики,— величайшая политическая злободневность. Как сказано в «Нью-таймс»: «Прекрасное, своевременное лекарство для любого гражданина, впавшего в уныние при виде нынешнего зрелища — низких людей на высоких постах». Оно и понятно — «Бэрр» вступил на книжный рынок в то время, когда начал раскручиваться маховик Уотергейта.

«Нью-Йорк таймс бук ревью», обычно делающий погоду в оценке новых произведений, не счел возможным однозначно отнестись к книге. Журнал напечатал в номере от 28 октября 1973 года две полярно противоположные рецензии. Случай редкий, обнаруживший порядочное разномыслие по поводу написанного Видалом. Авторы затеяли академический спор о принципиальном значении исторического романа, ограниченный как рамками понимания ими проблемы, так и количеством строк, отводимых для рецензий. Д. Дангервилд нашел, что Видал злоупотребляет «выдумкой» и просто-напросто фантазирует. Д. Леонард, взявший писателя под защиту, не согласился с точкой зрения, что «творческое воображение историка и романиста роднятся, как яблоко и апельсин, они не могут одновременно произрастать на древе одной книги». Не переводя дыхания, защитник тут же показал, почему это неверно: «Сантаяна заметил, что «Шекспир был лучшим психологом, чем Кант или Локк». Правильно. Но Шекспир был самым плохим историком из всех писавших об английских королях. Однако большинство из нас скорее пошли бы пировать с шекспировскими Генрихами, чем с подлинными королями». Видал, идущий,

по мнению Леонарда, по стопам Шекспира, прав.

Как фактическая сторона, так и убедительность этих аргументов очень сомнительны. Что до исторической достоверности трагедий Шекспира, то советский профессор М. А. Барг пришел к противоположным выводам. Свою книгу «Шекспир и история» (1976) он закончил энергично: «Нет более глубокого и тонкого знатока этого мира (средневековой Англии.—**Н. Я.**), более надежного руководителя для тех, кто стремится его познать, чем Вильям Шекспир» Но о Шекспире — между прочим, как иллюстрация научного качества описанного спора. Главное же в том, что произведение исторического писателя отличается от труда профессионального историка. Об этом и счел необходимым напомнить Видал в послесловии к роману — оно, как будет иметь возможность убедиться читатель, невелико по размеру, но чрезвычайно важно для понимания произведения и позиции автора.

При оценке «Бэрра» нельзя также упускать из виду функциональную роль исторического романа вообще. Жанр этот тесно связан с открытым еще древними дидактическим значением истории. Верно подмечено, что полночь — лучший час для вылета музы истории, которая, как сова Минервы, пускается в путь с двенадцатым ударом часов. Придворные историки далекого прошлого знали, когда наступит этот «звездный час», и оттачивали к нему свои гусиные перья. Чем хуже шли дела в настоящем, тем неудержимее становился порыв почерпнуть оптимизм на будущее в прошлом. Под неистовыми перьями оно идеализировалось и преображалось, укрепляя уверенность тех, кто заказывал или ждал исторических сочинений — безразлично профессиональных исследований или романов,— в том, что они наследники надежного дела.

Лакировка прошлого, впрочем, путь очень прямолинейный и не всегда эффективный. Иной раз куда более полезен пессимистический взгляд назад. По мнению некоторых американских критиков, Видал и выступил в роли такого историка-романиста. Своей книгой писатель напомнил стране, переживающей ныне слишком хорошо известный кризис духа—Уотергейт и многое другое,— о ее прошлом. С помощью своего героя, Аарона Бэрра, видного деятеля времен Войны за независимость (1775—1783 гг.), человека авантюристического склада характера, Видал снял предохранитель с пишущей машинки и мрачно, ядовито изобразил социальные язвы, безобразившие лицо юных Соединенных Штатов. Значит, драгоценные соотечественники, не расходуйте нервной энергии зря и не впадайте в отчаяние. то, что вы видите,— неизбежные издержки нашего строя Они были, есть и будут, они — вехи в процессе развития. Таково, по мнению этих критиков, в самом кратком изложении послание писателя своей родине. То, что Видал выступает в роли беспощадного разоблачителя и при этом в какой-то мере сводит также личные счеты с Америкой,— вопрос особый.

■

Гор Видал родился в 1925 году в семье преподавателя военной академии Вест-Пойнт. В детские и юношеские годы на него, вероятно, оказал наибольшее влияние дед по линии матери. Ослепнув в одиннадцать лет, дед тем не менее сделал политическую карьеру, стал сенатором от штата Оклахома. Будущий писатель провел годы и годы в его доме, читая слепцу протоколы конгресса, газеты, политическую литературу, а в Вашингтоне нередко служил поводырем. Юношей Видал сменил свое имя Юджин на имя деда — Гор и с тех пор известен как Гор Видал.

Второй, правда непродолжительный, брак матери с состоятельным банкиром Очинклоссом (отдаленным потомком Бэрра) дал Видалу новых родственников. Расторгнув брак с его матерью, Очинклосс женился на мадам Бувье. У нее была дочь-подросток, будущая Жаклин Кеннеди. С некоторой натяжкой Гор доводится ей сводным братом.

Уже в средней школе — увлечение политикой, в которую ученики последних классов играли с азартом, учредив «сенат»: Гор серьезно чувствовал себя сенатором-изоляционистом; язвительные школьники отмечали, что его больше интересует поза, красивый поворот головы и изящные жесты, нежели существо дискуссии. За самолюбование, которое наложило отпечаток на рассказы и стихи Видала, опубликованные в школьном журнале, с беспощадностью молодости товарищи окрестили его прозвищем «лицемер». С 1943 года в годы войны,— служба на флоте, на унылом транспортном судне бороздившем воды у Алеутских островов. Там, на борту, он написал первый роман «Вилливо» в духе Хемингуэя — о войне. Демобилизация в 1946 году и шумная известность вышедшего тогда же романа.

Несомненный успех, компания молодых литературных гениев, презирающих систематическое образование,— ноги Видала не было в колледже. «Золотая молодежь» и скука. В 1948 году выходит «Город и Столп», роман о двух спортсменах-гомосексуалистах. Критики опешили: духовный нудизм в изящной словесности США был еще на подходе. «Нью-Йорк таймс» отказалась дать объявления о книге, оскорбляющей общественную нравственность, и — сомнительная известность заблудшего сына американской литературы. Шесть лет бесцветной жизни, без моральных ориентиров под крышей собственного очень дорогого дома. Ощутимые удары судьбы для молодого эстета, уже привыкшего жить на широкую ногу.

Видал пробует перо в новой области—пишет для телевидения. Успешно работает в Голливуде, создает сценарии и, наконец, пьесы. К романам он не испытывает большого интереса. Они овладевают почти исключительно его вниманием позднее, в шестидесятых годах, в частности, когда в

1968 году он снова обратился к сексу в «Майре Бреккенридж», но по большей части в юмористическом плане.

На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов — резкий зигзаг в жизни процветающего писателя: он решил преуспеть и в политике. Его внезапно охватила политическая эйфория, оставившая после себя немало жертв. Родившийся на подступах и во время президентских выборов «стиль» Кеннеди Видал, подобно иным скорым на заключения интеллектуалам, принял за рассвет, если угодно, интеллигентности в американской политической жизни.

То, что это был ложный рассвет, писателю предстояло понять, и довольно скоро, а тогда он с головой окунулся в политику под самыми, как ему казалось, благоприятными предзнаменованиями. Он был богат, молод — тридцать пять лет,— поддерживал изящный «образ» (от отточенных формулировок до наимоднейших галстука и прически), не забыл и без устали напоминал другим о маститом деде-сенаторе, был, насколько позволял разрыв в возрасте, на короткой ноге с Элеонорой Рузвельт, наконец, доводился сводным братом Жаклин Кеннеди — все это в совокупности не делало его чужим при «дворе» Джона Фицджеральда Кеннеди. Вдохновляло и то, что написанная им мелодрама «Самый достойный» о закулисной борьбе во время выборов в 1960 году пошла с шумным успехом на Бродвее. Ей была суждена долгая сценическая жизнь — 520 представлений.

Видал, очевидно, уверовал, что нащупал нерв американской политической жизни, а посему в динамической и даже агрессивной манере провел кампанию по выборам в палату представителей конгресса США в 29-м округе штата Нью-Йорк. Он использовал все — от платформы демократической партии до личного участия в кампании именитых интеллектуалов — и тем не менее проиграл. Правда, статистика утешила: никогда, с выборов 1910 года, в этом округе, цитадели республиканцев, не отдавали столько голосов демократу, да и сам кандидат в президенты, Джон Кеннеди, собрал в нем меньше голосов, чем Видал, претендовавший только на место в палате представителей.

Хотя он и не оказался среди 435 конгрессменов, но довольно близко около власть имущих — был принят в Белом доме. При ближайшем рассмотрении обнаружилась громадная дистанция, отделявшая первосвященников политики — правителей страны от простого смертного Видала. Для равенства, пусть очень приблизительного, к человеку должен прилагаться пост. У Видала его не было: писательская слава не в счет. Он попытался, однако, держаться на равных. Как-то на ипподроме Видал уселся за четой Кеннеди; пошутил — снайпер может без труда выстрелить в президента, но пуля наверняка сразит не Джона Кеннеди, а писателя. «Невелика потеря»,— отозвался президент.

На приеме в Белом доме Видал по-братски положил руку на плечо Жаклин. Министр юстиции Роберт Кеннеди в лучшем духе распорядителя балов феодального княжества резко одернул подданного, дерзнувшего коснуться рукой первой дамы великой республики. Последовал обмен оскорбительными (с обеих сторон) репликами, и Видала навсегда изгнали из Белого дома. Это глубоко травмировало литератора, и шрамы от происшедшего легли не только на самолюбие, но легко различимы, стоит прочитать любые страницы книг Видала, посвященные американским политическим нравам. Оскомина от американской политики — отныне неотъемлемая черта его творческого почерка.

Клану Кеннеди он быстро и эффективно отомстил доступным оружием — пером. Сентенции его прозвучали очень громко и вызвали профессиональный интерес историков, занимающихся Соединенными Штатами. Мне самому в книжке «Преступившие грань» довелось писать в конце шестидесятых годов: «Весной 1963 года драматург Г. Видал представил на суд читающей публики свою оценку Роберта: «Нет никакого сомнения, что, когда в 1968 году Бобби предстанет перед конвентом, он прекрасно подойдет». Но, предупреждал Видал, «потребуется гений пропаганды, чтобы представить кандидата приятным человеком. Он не таков. Его самые примечательные качества — энергия, мстительность, прямолинейность в оценке мотивов поведения людей — могут привести к падению. Бобби видит мир только в белых и черных красках. Они и Мы. Он совершенно не обладает качествами брата — легкостью в обращении с людьми и умением очаровывать». По словам Видала, Роберт Кеннеди «окажется опасно-авторитарно настроенным президентом». В заключение он процитировал соратника Р. Кеннеди по государственной службе, который заявил: «Дело не в том, что Бобби против гражданских свобод. Он просто не знает, что это такое».

С тех пор много воды утекло под мостами Тибра в Риме, где с 1963 года живет подавляющую часть времени американский писатель Гор Видал. Были убиты Джон и Роберт Кеннеди, но Видал не меняет своих оценок, хотя они звучат далеким эхом его теперь полузабытых филиппик в адрес клана Кеннеди. Личная вендетта без конца...

Безуспешная попытка проникнуть в Капитолий, горький политический опыт (хотя Видал балуется участием в американской политике и по сей день) подарили миру писателя с обостренным интересом именно к политическим делам США. Во всяком случае, это избавило его от эвентуальной, но оттого не менее страшной, опасности, которую он хотел навлечь на себя. Видал любит повторять без тени юмора: «Единственное, чего бы я действительно хотел в жизни,— стать президентом США». К слову — этого же хотел и Аарон Бэрр, достигший лишь поста вице-президента в первый срок пре-

---

Н. ЯКОВЛЕВ
ГОР ВИДАЛ И ААРОН БЭРР

зидентства Т. Джефферсона. Коль скоро Видала не пустили в профессиональные политики, он занялся исследованием интересующего феномена — функционирования политического механизма в США — со стороны.

Результаты разысканий Видала, по словам журнала «Тайм», поместившего 1 марта 1976 года обзорную статью о его творчестве, малоутешительны: «Его политические эссе (метко названные: «Размышления на тонущем корабле».— Н. Я.) не написаны, а вытравлены кислотой. Он постоянно поносит, хотя и непоследовательно, американских избирателей за то, что они слишком глупы, чтобы избрать должных лидеров, а капиталистическую олигархию — за систематический обман простого люда...» Тем не менее он все еще надеется, вопреки самой надежде, лично присутствуя на предвыборных съездах демократической партии: «Как может писатель отказаться от фантазии: съезд безнадежно зашел в тупик, внезапное пробуждение делегатов, восстание здравого смысла, приглушенные голоса переходят в рев, который не вбить в рамки и молотком председательствующего. В свете юпитеров из леса микрофонов, наконец, выступает Самый достойный. Это, однако, мираж в иссушенной политической пустыне».

Как заметил Видал о выборах 1976 года: «Безразлично, кого выберут. Не работает сама система. Наши выборы — дорогостоящая общественная шарада для прославления владельцев страны».

Как это случилось, как дошла Америка до жизни такой? Быть может, нынешние порядки были изначально запрограммированы в политической модели, по которой создавались и существуют США? Что «опасно-авторитарные» тенденции, обнаруженные Видалом у колоритного представителя клана Кеннеди, Роберта Кеннеди,— только семейное достояние или становой хребет США, прикрытый пухлой плотью американской «демократии»? По всей вероятности, по мере творческого возмужания Видал стал задаваться этими вопросами и попытался ответить на них в трилогии, первый том которой — «Бэрр» увидел свет через шесть лет после третьего — «Вашингтон, округ Колумбия» [1] (о современных политических нравах в США), а последний по времени выхода, но второй в трилогии, «1876 год», появился по весне 1976 года.

Хронология понятна в свете еще не отшумевшей кампании по празднованию 200-летнего юбилея страны: Соединенные Штаты на заре национальной истории, через 100 лет и в канун вступления в третий век своего существования. Логика изложения не менее ясна — в конце XVIII столетия в Америке завязались узлы, которые не развязать и по сей день. Взгляд с высоты сегодняшнего дня, по замыслу Видала, поучителен в том отношении, что можно — с известным трудом — указать: современные тенденции американской политической жизни и сопутствующие им нравы если полностью не обозначились, то были показаны четко различимым пунктиром уже в те времена, когда отцы-основатели США были молоды.

Для этого требовалось выстроить исторические факты в порядке, отвечающем творческому замыслу Видала. Пострадала ли при этом история и если да, то каковы размеры ущерба, нанесенного вторжением романиста в сферу, являвшуюся монопольным достоянием штатных служителей Клио?

■

Видал начал с того, что создал вымышленного героя — журналиста Чарли Скайлера — и отправил его осветить самый темный угол прославленного в американской истории треугольника: Джефферсон—Гамильтон—Бэрр. Руками Скайлера Видал перекопал вековые наслоения в том углу и из них вылепил в чем-то неожиданный для историка и в высшей степени противоречивый образ Бэрра. В художественном отношении успех несомненный.

Видаловский Бэрр вместе со Скайлером бросает ретроспективный взгляд на американскую политическую жизнь 200—150-летней давности. Здесь кончается вымысел писателя и начинается работа исследователя. Сообщаемое Видалом достоверно, и если есть отступления, то они, по крайней мере, весьма правдоподобны, во всяком случае, восполняют пробелы, оставленные историками по нехватке материалов. Уместно ли это, да и сама манера изложения, когда нить повествования разматывается отнюдь не последовательно? Применительно к реконструкции Бэрра не только уместно, но, вероятно, это единственно возможный образ действия.

В отличие от Джефферсона и Гамильтона, литературное наследие Бэрра близко к нулю (дневник и считанные сохранившиеся письма к обеим Теодосиям, жене и дочери, не в счет). Но если бы на старости он взялся за мемуары, то, несомненно, предвосхитил бы Видала, ибо, как заметил Бэрр в письме младшей Теодосии, есть два способа рассказывать: «Один — начинать с самого давнего события и постепенно приближаться к концу. Так обычно поступают философы и историки. Другой — начинать от самых последних событий... как всегда делают влюбленные и поэты. Я могу даже сослаться на Гомера и Виргилия в пользу второго способа...»

По этим соображениям Видал и избрал рекомендованный Бэрром второй способ. Преимущество его налицо. О штормовых годах Войны за независимость и основания Соединенных Штатов рассказывает не юнец офицер, а умудренный и удрученный жизненным опытом старик, пребывающий, конечно по воле писателя, в твердой памяти. Бэрр бойко растолковывает новейшую концепцию Войны за независимость США, которая сложилась в американской историографии в начале второй половины XX века и которую там называют «ревизионистской». В некоторых отношениях она бли-

[1] Роман опубликован в «Иностранной литературе» № 11, 12 за 1968 г.

же к истине, нежели благостные легенды и отработанная мифология о прошлом страны, против которой восстал отнюдь не один Видал, а немало речистых, хотя и уступающих ему в юморе историков.

В Соединенных Штатах под термином «ревизионизм» имеется в виду своего рода пересмотр, с основаниями или без оных, ставшей уже обыденной мудрости, точнее — демифологизация американской истории. Вслед за всеми войнами, которые вела страна, начиная от борьбы за независимость, включая обе мировые и Вьетнам, в общине американских историков возникало «ревизионистское» направление, порой задним числом отстаивавшее аргументацию противников данной войны, объявлявшее ушедший в прошлое очередной вооруженный конфликт ненужным. Это доказывалось с различной степенью страстности и убедительности; как и у каждой волны, у «демифологизации» был свой гребень, на котором возвышались самые одержимые в своих построениях.

С точки зрения типологии американского «ревизионизма» взгляды, вложенные Видалом в уста Бэрра, вероятно, принадлежат умеренному иконоборцу. В романе очень сдержанно ставится под сомнение неизбежность той войны, но не оставлено сомнения: руководители восставших колоний подняли оружие против метрополии не в интересах абстрактной и прекрасной свободы, а руководствуясь очень земными, по большей части меркантильными, соображениями. На бой с королевской ратью позвал не ясноглазый Идеалист, а Собственник, защищавший неприкосновенность своих денежных сундуков, плантаций и рабов от поползновений, пусть слабых, заокеанских любителей поживиться за американский счет.

Отсюда очень заземленные образы хрестоматийных героев, им всем крепко досталось, начиная от воителя Вашингтона и кончая философом Джефферсоном. Реакция специалистов на откровения романа в этом отношении не пойдет вместе с тем дальше восклицания: «Ага, мы это знали!» — причем без малейшего удивления. Шока не последует. Так было.

Недаром в послесловии к роману Видал подчеркнул, что он «старался придерживаться известных фактов», но вместе с тем отметил, что для него «привлекательность исторического романа заключается в том, что можно быть скрупулезным (или беззаботным), подобно историку, однако сохранить за собой право не только перемещать события, но, что гораздо важнее, мотивировать поступки,— а добросовестный историк никогда себе этого не позволит».

Таким образом, факты, события, имеющие место в книге Видала, исторически верны, но самый их выбор, мотивировка поступков героев, их нравственная, психологическая сторона — на совести автора или, вернее, на совести главного его героя, которому писатель по большей части передоверяет повествование: роман построен как автобиография Бэрра. В этом же послесловии Видал говорит: «В общем и целом, о Джефферсоне я гораздо более высокого мнения, чем Бэрр; с другой стороны, я не разделяю пристрастия последнего к Джексону». И далее: «Хотя роман написан с точки зрения Бэрра, рассказанное в нем — история, а не выдумка». Как видим, взаимоотношения Видала и Бэрра отнюдь не просты, при случае они позволяют автору установить определенную дистанцию между собою и своим героем. Видал подобрал нужные ему факты и переставил акценты, показав прежде всего то, что на заре американской истории было отнюдь не возвышенным. Небесполезное напоминание для тех, кто ужасался, полагая, что Уотергейт обнажил разрыв связи времен в стране «бога и моей». Нет, ответил Видал «Бэрром», так было, так будет. Изучайте отечественную историю!

И не потому ли автор романа отходит от канонов американской традиционной историографии и рисует американскую буржуазную революцию и отцов этой революции в виде, далеком от хрестоматийных представлений своих соотечественников?

Итак, повторяю, если говорить о достоверности каждого события Войны за независимость, изображенной в романе, то оно сомнений не вызывает, хотя не обошлось без промахов. Вашингтон не был бедняком, вступая в брак с Мартой, а она не обладала богатейшим состоянием в Виргинии. Едва ли можно согласиться с тем, что, если бы не ошибки американцев, кстати преувеличенные, в сражении при Монмусе «англичане были бы уничтожены». Напрасно пытается Видал спасти репутацию Бенедикта Арнольда и реноме генерала Ли. Неточна характеристика пятитомной биографии Вашингтона, написанной Д. Маршаллом: «Потребовался целый том, чтобы его герой... только появился на свет». Педантичный верховный судья и не думал посвящать первый том Вашингтону, а почитал его «вводным», дав обзор истории Америки со времен Колумба. Эти и иные погрешности простительны у писателя, не наделенного смирением профессионального исследователя.

Все это, однако, меркнет перед тем, что Видал почувствовал дух эпохи и передал его — война без героики. Роман — диалог с нынешними американцами, оплакивающими то, что они-де стали отнюдь не похожи на суровых и воинственных предков. Видал напоминает, что полководцы войны, в огне которой родились Соединенные Штаты, лучше считали за конторскими столами и более искусно владели пером, нежели шпагой. Устами Бэрра очень реалистически сказано о тех причинах победы США над Англией, о которых обычно умалчивают в американских патриотических сочинениях. К исходу войны армию США «почти полностью распустили из-за безденежья и таинственной веры конгресса в победу, которую

Н. ЯКОВЛЕВ
ГОР ВИДАЛ И ААРОН БЭРР

якобы должен был нам неизбежно принести один лишь союз с Францией... В каком-то смысле конгресс оказался прав. Французы и в самом деле победили за нас англичан. Без них мы, конечно, так и остались бы английской колонией, мы давно уже забыли об этом грустном факте, точно так же как и ныне пытаемся выкинуть из памяти, с какой легкостью небольшому английскому отряду удалось выгнать из Белого дома президента Мэдисона и поджечь город Вашингтон. (В августе 1814 года во время англо-американской войны 1812—1814 гг.— Н. Я.). К счастью, наш народ всегда предпочитал легенду действительности».

И все же, деканонизируя традиционных героев американской истории, особенно президентов виргинской династии от Дж. Вашингтона до Дж. Монро — или, как Бэрр именовал их, «хунты», романист в чем-то увлекся. Они действительно приступили к строительству американской империи, но отнюдь не всегда ожидали сиюминутного личного материального вознаграждения за свои труды. Что дело обстояло именно так, подтверждают хотя бы ламентации Бэрра по поводу того, что немало отцов-основателей окончили свою жизнь если не буквально в нищете, то в стесненных обстоятельствах. Джефферсон тому выдающийся пример. Побудительным мотивом их деятельности помимо прочего было стремление к славе, почитанию потомками.

Знаток американской истории этого периода, профессор Дуглас Адэр в серии впечатляющих статей, объединенных заголовком «Слава и отцы-основатели» (книга увидела свет в 1975 году), с большим тактом обошелся с памятью об отцах-основателях, но все же предложил припомнить прошлое. До 1776 года те, кто основал США, уже законодательствовали, но поле их деятельности было ограничено: «свиноводство, клеймение скота или маркировка сортов злаков» С началом Войны за независимость они вообразили, что открывают новую, если не самую великую, главу в истории мира Их охватила «почти болезненная жажда славы. Их невероятно заботило суждение потомков. А поскольку они лихорадочно думали о том, какую память они оставят о себе миру, то «любовь к славе, эта господствующая страсть благородных умов», говоря словами Александра Гамильтона, стала палкой, повинуясь которой иные из них поступали с таким благородством и величием, что никак нельзя было ожидать, если судить по их прошлой жизни».

Самоубийство прервало труды Адэра. он только декларировал, но оставил неисследованным то, что далеко не достаточно разъяснено в американской науке,— как отцы-основатели примеряли и находили себе впору обувь, изношенную героями Плутарха и Тацита, которых все они читали и чтили На берегах Потомака они пытались возвести новый Рим Конечно, времен республики. Цезарь и Брут для них были на удивление современны. Как, впрочем, и для Видала, который с полной серьезностью оповещает, что проследил свою родословную сквозь мрак тысячелетий и вышел к истокам: предки его — легионеры Древнего Рима! Поэтому ему, почти постоянно прописавшему себя на земле обретенных им предков — Риме, было бы уместно поразмыслить над тем, какую роль прецедент прародины самого писателя сыграл при закладке фундамента США. Хотя бы воздать должное атавизму.

Что касается возможностей обогащения истории творческим воображением, то они есть, и это ясно профессиональным историкам. Профессор Артур Шлезингер, с обычным для него снобизмом высказавшийся о «Бэрре» на страницах журнала «Атлантик» (июнь 1974 года), тем не менее признал: «Вдохнув жизнь в исторического деятеля, писатели и драматурги могут ошибиться и едва ли изменят суждения специалистов. Но сила их воображения может побудить историков к новому взгляду... В результате творческое воображение может оплодотворить историческую мысль и послужить расширению и обогащению понимания истории».

«Новый» же взгляд, с которым едва ли согласится Шлезингер, направивший свои изыскания в сторону «имперского президентства», заключается, пожалуй, в том, что для должного понимания политического механизма в США нужно помнить — они возникли 200 лет назад и существуют по сей день как олигархическая республика. Римский прецедент в глазах отцов-основателей, гордившихся своим классическим образованием, был бесконечно ценным, ибо указывал на опасность единоличного правления. Для стабильности американской модели правления совершенно обязательно рассредоточение власти среди олигархии с сопутствующим ему разделением на законодательную, исполнительную и судебную власть, а также на федеральном, штатном и местном уровнях. (Здесь и верность догадки Видала — Бэрра: виргинская «хунта».) Плюс — отсечение противоположных концов спектра политической радуги, центр которой занимает господство денежного мешка, трансформирующего деньги во власть. Центр стоит незыблемо, хотя на периферии спектра бушуют иной раз ожесточенные бои — за или против классической американской «демократии».

Эти, и только эти, сражения в фокусе внимания Видала — от администрации Вашингтона и Джефферсона до «джексоновской демократии». Писатель схватил и отразил внешнюю сторону событий. Его книга — журнал боевых действий на второстепенных театрах. На рубеже XVIII и XIX веков отбивались от покушений справа, а при Джексоне применяли разнообразные средства, включая организацию Таммани-холл, чтобы инкорпорировать популистский протест в рамки укоренившейся системы. Эти бои не могли иметь и не имели решающего исхода, ибо и не были задуманы, чтобы поколебать основу основ заокеанской республики — принцип частной собственности.

Усилия изобличить, например, Джеффер-

сона в смертном грехе авторитаризма, яростная полемика Бэрра против Джефферсона, воскрешенная Видалом, поразят разве не знающих досконально американскую историю — открытий здесь нет. Фактическая сторона, отягощенная куда большими деталями, освещена в книгах, написанных точно на ту же тему, что и роман Видала. «Муки честолюбия. Джефферсон, Гамильтон, Бэрр» Д. Даниелса, вышедшая в 1970 году,— лишь один пример. Повторяю, дело не в пересказе известного, а в интерпретации. Все станет на свои места, если принять в соображение мелкий, но многозначительный штрих: в том же послесловии к роману Видал назвал лишь одну книгу из использованных им, нашел ее «блистательной» и признался в «пристрастии» к ней. Это работа Леонарда У. Леви «Джефферсон и гражданские свободы». Заголовок ее в таком виде мало скажет читателю — тональность книги неясна,— а полностью он выглядит следующим образом: «Джефферсон и гражданские свободы: оборотная сторона медали». Если бы он был воспроизведен полностью, тогда можно было легко понять, что Бэрр в изображении Видала, помимо прочего, обладал качествами провидца, сумев пересказать содержание книги, появившейся через сто с лишним лет после его смерти.

При всем том конфликт Бэрр—Джефферсон, как он выписан Видалом, вызывает жгучий интерес. Вновь звучит рефрен: «так было, так будет»,— в устах автора романа он звучит пессимистически. Попытка исполнительной власти узурпировать не принадлежавшие ей прерогативы с Джефферсоном в роли архизлодея, требования верховного судьи Маршалла, чтобы президент представил суду документы,— чем это отличается от требования, обращенного к Никсону в разгар уортергейтского скандала: передать суду магнитофонные записи бесед в Белом доме? А постоянные сетования на рост федеральной бюрократии? Или попытки президента затеять войну с Испанией под благостными предлогами «освобождения» ее заокеанских подданных, или «освобождение» — путем покупки — жителей Луизианы? Разве не прямая параллель с необъявленной «президентской» войной во Вьетнаме? Наконец, лицемерие, торжествующее в американском обществе — от Белого дома и Капитолия до дома терпимости с его жизнелюбивой содержательницей, рассуждающей с постным видом о боге? Коррупция сверху донизу... Вывод напрашивается сам собой — прошлое США ни на волос не лучше настоящего, при всей условности исторических аналогий.

Уколы искрометной прозы Видала, однако, не выходят за рамки «американской политической традиции», четко выделенной в 1948 году основателем теории «согласия» в историографии США Р. Хофштадтером: все политические споры в этой стране не затрагивают священного института частной собственности. Время от времени и в приглушенных тонах об этом свидетельствует и Видал, начиная от упоминания о восстании Даниэля Шейса (1786—1787) и кончая озабоченностью эгалитарными тенденциями, выявившимися при расширении избирательных прав в период «джексоновской демократии»,— именно на этот период падает основное содержание романа. Он указывает и первоначальный момент, когда стали решительно пресекать любые помыслы о «разделе богатств»: французская революция, происходившая по ту сторону Атлантики, смертельно перепугала власть и собственность имущих в США. Но все же «демократия» расширялась, причем начальный и конечный периоды описанного полустолетия объединяет упадок общественной морали. Безразлично, идет ли речь о революции или будничных временах — тридцатых годах минувшего столетия, связанных в США с именем президента Э. Джексона. В эти годы усилиями профессиональных политиков налаживается Таммани-холл — прообраз современных политических машин в США. А Бэрр стоял у истоков этого процесса еще в начале XIX века! Читатель может сопоставить личную мораль Бэрра с нравами Таммани-холла и найти их тождественными. Если в этом состояла сверхзадача писателя, то, вне всяких сомнений, он выполнил ее.

На многих десятках страниц функционирует американская «демократия», порой физически небезопасная, когда в ход шли увесистые аргументы — камни или дубины. Накал страстей очевиден. А результаты? В разгар «джексоновской демократии» Бэрр, припомнив Гамильтона, наставительно произнес: «Что он теперь бы подумал, когда «быдло», как он называл народ, управляет или мы, по крайней мере, льстим ему тем, делая вид, что он управляет».

Хотя Видал начал писать своего «Бэрра» задолго до Уотергейта, вышла книга тогда, когда скандал в высшем эшелоне власти уже выплеснул на страну лавину грязи. В итоге «Бэрр» и продолжение его, роман «1876 год», естественным образом вошли в обойму американской литературы об Уотергейте, которая примыкает к старой американской традиции «разгребателей грязи». Разоблачения Уотергейта, по большому счету,— лишь очередные раскопки в уже перекопанном месте. Но что достигнут изобличители, к которым можно смело причислить Видала?

Златослов профессор Д. Гэлбрейт заметил по поводу усилий «разгребателей грязи» в связи с Уотергейтом: «Они, конечно, преуспели — что-то, правда немногое, изменится. По крайней мере, хищники-монополисты на какое-то время будут с большей осторожностью вступать в сделки с членами правительства или чиновниками. Организаторы избирательных кампаний отныне будут руководствоваться, в общем, обыденной мудростью — неприличное поведение в политике хотя, быть может, и не аморально, но неразумно, и деньги будут вручаться и тратиться с бóльшей осмотрительностью».

Что же касается целей самих разоблачи-

Н. ЯКОВЛЕВ
ГОР ВИДАЛ И ААРОН БЭРР

телей, которые, разумеется, действуют в очерченных им в США рамках, то Гэлбрейт, хорошо овладевший секретами ремесла, сказал: «Люди любят разоблачение коррупции и даже мошенничества на вершине власти. Это дает им осознание конечной справедливости в мире — плутов рано или поздно изловят... Примерно так обстояло дело с Ричардом Никсоном. Наконец, изобличенные всегда выглядят глупыми. В результате «разгребания грязи» мы можем смотреть на Джона Митчелла или Джона Эрлихмана и положительно гордиться тем, что мы-то умнее. По этим причинам «разгребатель грязи» получает не только профессиональное уважение своих коллег, но и круглую сумму наличными».

Видал куда как преуспел во всем этом, соорудив подмостки, с которых простой смертный может свысока взглянуть на Вашингтона, Адамса, Джефферсона, Мэдисона, Монро и даже на любимого им Джексона, если перечислить только президентов США, не говоря уже о множестве лиц второго положения, особенно американских генералов Войны за независимость. Тенденцию эту он продолжил в романе «1876 год». Вымышленный герой «Бэрра» Ч. Скайлер, теперь 62-летний, является из Европы в США и находит там разгул коррупции и моральной деградации. Направо и налево он бросает замечания типа: «Признаю, что нашим президентам почти нечего делать. Правит конгресс, и именно он в основном ворует... Последние восемь недель кампании по выборам президента самые важные. С точки зрения выяснения, кто у кого крал... Американцы всегда жили настоящим. Нынешнее поколение не отличается от моего, за исключением того, что у него больше прошлого для забвения».

...По «Бэрру» данные о гонорарах Видала встретить не удалось, но стоило романисту предложить издательствам «1876 год», как «Рэндом хауз» и «Баллантин букс» выплатили ему около миллиона долларов аванса. Клуб «Книга месяца» удвоил для Видала свой обычный гонорар, составляющий 85 тысяч долларов. Вероятно, только начало. Гэлбрейт прав... Но уменьшает ли это объективно разоблачительную силу романа?

■

И последнее, тесно связанное со всем предыдущим. Писатель очень серьезно и печально сказал в 1975 году, когда перевалил за пятьдесят лет. Дата, приметная в жизни любого человека, заставляющая оглянуться вокруг. В эти дни он побывал в Вашингтоне, городе политической мечты своей молодости! Встретился со многими торопившимися взглянуть на знаменитость. И вот что произошло, по словам Видала: «Моя сестра пригласила встретиться со мной группу молодых демократов — олицетворение лучших надежд новых либералов. Все они выглядели на восемнадцать лет и обращались ко мне «сэр». Я всмотрелся в их юные взволнованные лица и подумал — какие интересные люди, но мысль эта тут же оборвалась: я заметил, что стоило мне заговорить о Генри Адамсе, как они стали с трудом подавлять зевки».

Новое подтверждение того, что Видал с возрастающей с годами четкостью созерцал в Америке. «Свобода и либерализм — аберрации в истории мира...— высказался он.— Не знаю, как нам удастся избежать периода авторитаризма. В Соединенных Штатах он придет в интересах окружающей среды, во имя всех и всяческих благ.. Я считаю это неизбежным. Нам нужно встретить это либо смехом, либо сложить руки и завыть».

Один человек едва ли способен на что-либо в подобном сверхорганизованном обществе, скованном научно-техническим прогрессом. А один писатель, что делать ему? Перед нами монолог писателя, обращенный через Атлантику к своей стране. Роман представляет интерес и для нашего читателя уже по той причине, что написанное Видалом расширяет представление как об американской революции, так и спорах, которые ведутся по поводу ее в США вплоть до нашего дня. Нет сомнения, что Видал далеко зашел в пересмотре наследия этой революции. При всей ее неизбежной исторической ограниченности революция 1775—1783 годов «прозвучала набатным колоколом для европейской буржуазии»[1]. Она была успешной антиколониальной революцией, в огне которой родилось новое, независимое государство — Соединенные Штаты. Марксисты никогда не отрицали ее прогрессивного значения в этом отношении.

Но у американского писателя Гора Видала и его героя Аарона Бэрра были, очевидно, другие задачи. Вместе с тем надо помнить, что, пользуясь правом романиста, Видал отделил себя от своего героя. Поэтому очевидный нигилизм романа в оценке прошлого собственной страны связан в значительной степени с тем, что повествование ведется в основном от лица Бэрра, точка зрения которого на американскую историю неизбежно отравлена скепсисом политического неудачника. Думается, автор романа отнюдь не стремился к реабилитации осужденного американскими историками Бэрра, пытавшегося «расчленить Соединенные Штаты». Пользуясь красочной биографией Бэрра как уникальным инструментом, Видал сказал читателям, что пороки системы, ставшие очевидными в наши дни, были заложены в исходной точке американской государственности. Факт многозначительный.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 9.

◆

Интервью

ИМРЕ ДОБОЗИ: «Я РОДИЛСЯ В ГОД ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ»

Недавно наш известный прозаик Булчу Берта взял у меня интервью. Так как он написал к нему вступление и так как поставленные им вопросы наводят на дальнейшие размышления и даже требуют переосмыслить то, что прожито (а это естественно, мне шестьдесят лет, и сама дата настраивает если не на окончательное, то на довольно серьезное подведение итогов жизненного пути), я, воспользовавшись этим интервью, попытаюсь дать представление советскому читателю, что же значили для меня — для всех нас в Венгрии — прошедшие шесть десятилетий.

Мне кажется, Берта основательно подготовился к интервью. Меня удивило, как много он обо мне знает. Знает даже то, что раньше у меня самого как-то не складывалось в целостную картину, подметил то, что легче увидеть со стороны — друзьям и знакомым,— увидеть и объективно оценить.

Вот это интервью.

Парк Сент-Иштвана — оазис в XIII районе. Деревья, кустарник, за деревьями — Дунай, посреди Дуная — остров. Красивый, элегантный район. Это город, но с будайских холмов через реку долетает свежий ветер. В просторных квартирах, некогда принадлежавших богачам, живут теперь инженеры, врачи, учителя, директора, руководители, а то и кустари-ремесленники, торговцы. Этот район как бы обособлен от других Дунаем, проспектом Вацы и кольцом Сент-Иштвана, и в то же время он не отделен от них, потому что если идти в сторону моста Арпада, незаметно попадаешь в рабочие кварталы и оказываешься в окружении пыхтящих фабрик и заводов.

С Добози мы договорились встретиться в девять часов. Я пришел чуть раньше, постоял немного перед домом и попытался представить себе, как председатель Союза писателей ругается сейчас, сидя в ванне. Наверняка жалеет, что пригласил меня к девяти. И он прав, я тоже еще сплю. Обычно я просыпаюсь в шесть часов, встаю, что-то делаю, но часов до девяти-десяти сплю. И тут мне в голову приходит мысль, от которой я сразу просыпаюсь. Сегодня особенный день, не похожий на другие. Я пришел сюда пешком. Из прилегающих улочек люди поодиночке и группами устремляются к проспекту Вацы. Они несут флаги, транспаранты. Сегодня Первое мая. Живи я в Португалии, я вместе с другими шел бы сейчас по главной улице Лиссабона, размахивал флагом и кричал до хрипоты. Но я живу в Будапеште, строительство социализма идет успешно, и я знаю, что на проспекте Дёрдя Дожа будет достаточно людей и без меня. Я спокойно могу работать. Однако утром, когда я выглянул в окно и увидел своих соседей, которые грузили в машину вещи, собираясь за город, увидел их довольные, даже самодовольные лица, я невольно призадумался. А не вызывает ли более высокий жизненный уровень у людей — независимо от того, где и кем они работают,— эгоизм, чрезмерное себялюбие и даже обеднение личности?

Позднее, когда я поделился этими мыслями с Имре Добози, он сказал только: «Знаешь, старина, демократии тоже надо учиться. Этой страной тысячу лет не управляли, а только правили».

Я думаю, что бы я сказал, если бы мне

нужно было одним словом охарактеризовать Добози? Я представил себе Имре Добози ребенком в Кишмартонпусте. Он цепко хватается за гриву неоседланной лошади. Потом представил его курсантом офицерской школы Партизаном, капитаном, сражающимся в Буде на стороне Советской Армии. Я думаю о том, как сложилась его судьба в военные годы, и все доискиваюсь до того единственного слова, какое охарактеризовало бы человека, избравшего самую решительную, самую активную форму сопротивления — вооруженную борьбу. И в этой борьбе он был не рядовым бойцом, а командиром. И вот сейчас одно странное слово пришло мне в голову. И пришло оно не в связи с событиями военных лет Я едва осмеливаюсь его написать. Добози совершенен. Как я это понимаю? Никак. Просто это слово само приходит мне в голову, когда я думаю о Добози. В чем его совершенство? Не знаю. Но в чем-то он совершенен, и это ощущается в каждом его поступке. Возможно, совершенен в духовной и телесной жизни? Но у него было три инфаркта Или в политике? Возможно, что в политике. Несомненно, за столом переговоров Добози умеет четко сформулировать мысль, и то, за что он ратует, что утверждает, всегда на пользу общему делу. Этим он служит народу и нам, писателям, служит делу укрепления социалистической Венгрии. Так кто же Добози? Политик? Солдат? Писатель?

Он родился 30 октября 1917 года и вырос в задунайской пусте. Начал он как поэт, был служащим. С 1942 года находился на военной службе. Осенью 1944 года был заместителем командира запасного батальона, но вместе со своими товарищами-офицерами отказался присягнуть на верность фашистскому режиму Салаши. И стал партизаном. После освобождения был секретарем Будайского районного комитета партии, один год учился в партийной школе, затем работал в газетах «Сабад фёльд» и «Сабад неп» заведующим отделом. С 1959 года по 1976 год генеральный секретарь Союза венгерских писателей, с 1976 года — председатель Союза. С 1975 года член Центрального Комитета Венгерской социалистической рабочей партии. Его произведения: «Вот поэтому вода — главное» (очерки об аграрном движении в Венгрии в конце прошлого века, 1950), «Туркеве» (книга репортажей, 1951), «Новый Туркеве» (роман-репортаж, 1952), «Святой колодец» (роман, 1952), «Весенний ветер» (роман, 1952), «Тучи и солнце» (роман, 1953), «Поездка в Москву» (путевые заметки, 1955) [1], «Ружья говорили» (роман, 1955), «Вечер за околицей» (роман, 1956), «Вихрь» (драма, 1958), «Вчера» (роман, 1958), «Вчера» (фильм, 1958), «Рассвет» (фильм, 1959), «Вторник, среда, четверг» (повести, рассказы, 1960), «Вчера и сегодня» (романы и рассказы, 1960), «Косогор» (роман, 1961), «Ливень» (фильм, 1961), «Завтра продолжим» (драма, 1962), «Лебединая песня» (фильм, 1964), «Младший сержант и другие» (роман, 1969), «С осени до весны» (три драмы, 1974), «Скамеечка королевны» (рассказы, 1974), «Семнадцатый день» (телевизионный фильм, 1977), «Скамеечка королевны» (фильм, 1977).

Его произведения переведены на русский, немецкий, польский, чешский, словацкий, сербско-хорватский, румынский, английский, вьетнамский и другие языки.

Имре Добози награжден многими военными и гражданскими наградами, в том числе золотой медалью «За заслуги перед Родиной». В 1952 и 1954 годах он был удостоен премии Аттилы Йожефа, в 1959 году — премии Кошута, в 1964 году — премии Всевенгерского Совета профсоюзов, а в 1975 году — орденом Красного Знамени Венгерской Народной Республики.

Ровно в девять звоню к Добози. Слева от прихожей — кухня. Дверь открыта. Добози сидит у окна на низком стуле и зашнуровывает ботинки. На нем рубашка в черную и красную полосу. Мы пожимаем друг другу руки, на его лице вспыхивает дружеская, открытая улыбка и тотчас гаснет. Наверное, он предпочел бы не улыбаться мне у себя дома в девять часов утра в выходной день. Он продолжает зашнуровывать ботинки, потом, взглянув на меня, говорит что-то, и я невольно вглядываюсь в его лицо. Лицо Добози кажется усталым, даже помятым. Но по тому, как он взглянул на меня, по блеску его глаз я понимаю, что это — утренняя усталость. Через час он снова будет полон сил. Хотя не все морщины разгладятся, ведь если ваза разбилась... А она разбилась? Имре Добози перенес три инфаркта, но даже если бы их не было, усталость от того, что сделано им за последние сорок лет, все равно должна была наложить свой отпечаток. Он устает и в то же время умеет восстанавливать свои силы. В нем живет какая-то загадочная изначальная энергия, о которой мы до поры до времени не ведали и которую он умеет мобилизовать. Добози рассказывал мне о своем прадеде, участнике освободительной борьбы 1849 года, которому прострелили легкое. Генерал Бем отпустил его умирать домой. Несколько недель, а возможно месяцев, трясся он в телеге по разбитым венгерским дорогам, добираясь до дому. На ночлег останавливался в захудалых постоялых дворах. О враче нечего было и мечтать. Но он выздоровел. Если эта внутренняя сила передается по наследству... Я смотрел на него и видел за ним весь Союз писателей. В секретариате стоят кофеварки, как батареи ракет. Приходят делегации, уходят делегации. Проводят за столом заседаний дни, подписывают очень важные документы. А кстати, как обстоят дела с венгерской литературой? Если писатели пишут хорошо, значит, и с литературой все в порядке, если плохо — никакие переговоры не помогут. Писатели при-

[1] Отрывки из книги публикуются в этом номере журнала в рубрике «К 60-летию Великого Октября», стр. 229.

ходят в Союз. Ищут Имре Добози. Жалуются, хвастаются, просят, надеются, сердятся, огорчаются. Что может сделать один председатель? Он обнадеживающе улыбается. Одному писателю, двум, десяти. Ну а двадцатому? Или вот еще — заседание комитетов. Непростое это дело. Стоять за председательским столом и объяснять недоверчивым писателям, как и почему, что будет и чего не будет, а что откладывается на потом. И помнить: не всему, что ты говоришь, верят. Это отвратительное ощущение, когда говоришь правду, а тебе не верят. Почему писатели недоверчивы? Просто так. Такие уж они есть. С Добози у них нет никаких трений, большинство его любит. Но порой не доверяют. Трудно разговаривать с человеком, который тебе не верит И потом, ночью часа в два или три припоминать весь разговор и надеяться, что тебе все-таки поверили Большинство поверило. Да, непростое это дело. Трудно, но надо выдержать.

Кабинет Добози просторен, в нем можно прохаживаться из угла в угол, принимать гостей, думать, писать — работать. Обои безукоризненно чистые, в английском стиле. Красивые ковры, простая удобная мебель. Книжный шкаф в углу кабинета и посередине стены, шкафы и в соседних комнатах У окна небольшой письменный стол. А за окном — балкон, внизу машины, парк, за парком — Дунай. Добози перехватывает мой взгляд.

— У меня четыре тысячи книг.

— А что это за картина?

— Акварель Кончаловского. Получил в подарок от Константина Симонова. Однажды, когда я был на его сухумской даче, он спросил меня, доводилось ли мне когда-нибудь бывать в Сванетии. Я ответил, что нет. И тогда он снял со стены картину — возьми, смотри на нее, и тебе непременно захочется съездить в Сванетию.

Позднее, когда я собрался уходить, я заметил, что позади меня над диваном, на котором я просидел все утро, висит картина Ауреля Берната.

Две бутылки стоят перед нами. В одной коньяк, в другой апельсиновый сок. Добози понемногу отхлебывает коньяк, я — также понемногу — апельсиновый сок. Мы беседуем и прихлебываем из бокалов. Добози становится все увереннее, а я чувствую себя все несчастнее. Мне сегодня вести машину. Хорошо бы изменить кое-что в правилах уличного движения. Но пока изменения не внесены, и мне не остается ничего другого, как расспрашивать Добози:

— Мне хотелось бы узнать побольше о твоем детстве. В литературной энциклопедии сказано, что ты родился 30 октября 1917 года, но не сказано где.

— В селе Вал. Мы там прожили полтора года. Отец был солдатом. И мы до конца войны жили у деда и бабки по материнской линии. Потом перебрались в Вертешдобоз к родителям отца. Мой отец был командиром пулеметного взвода в армии Венгерской советской республики, два года его продержали в тюрьме, а потом выпустили под надзор полиции. Поначалу он занялся хозяйством на земле своего отца, потом в тридцать лет обучился бочарному ремеслу и стал работать в имении. С 1923 года мы жили в Кишмартоне, я — до 1936 года, родители — до освобождения. Самое незабываемое впечатление моего детства — пуста. Поразительная сплоченность людей пусты, особенно бедняков. И необъятность края. Пуста начиналась сразу же за окном, и можно было пройти пять километров и не увидеть ни одного дома... Помню, в детстве я пытался делить всех людей на две категории На хороших и плохих. Позднее понял, что был неправ. Хорошие люди тоже могут совершить и совершают подлость, а бывают минуты, когда плохие люди способны на благородные поступки. Вот тогда-то я и начал понимать, что человек — особенное существо, в нем высокие стремления борются с мелкими, заземленными страстями. И очень нелегко обрести необходимое равновесие... Мне не повезло, ни один из домов, в которых прошло мое детство, не сохранился Они были разрушены в войну, и я не могу оказаться вдруг в той комнате, где сидел ребенком. Это ощущение бездомности, которое у меня возникало при воспоминании о детстве, заставило меня потом исходить за полтора десятилетия всю страну, всю ее, а не одно село считать местом своего рождения.

— А есть такая область, такое село в Венгрии, куда ты возвращаешься как домой?

— Многие мои родственники, которые жили в вальской долине, состарились, умерли, другие переселились в город, работают на заводах, на фабриках. В Вале остался у меня дядя, к которому я и в детстве был очень привязан. Всю свою жизнь он прожил в деревне, но это образованный, умный человек, большой любитель книг. И замечательный виноградарь. Его вино несколько раз удостаивали высоких наград, много моих товарищей, начиная от венгерских собратьев по перу и кончая Евтушенко, пробовали это вино. Так вот, к этому своему дяде я приезжаю как домой, и ко всему, что я сказал о нем, можно, пожалуй, добавить, что самая притягательная его черта — это порядочность. Не думаю, чтобы он хоть раз обманул кого-нибудь. Такие люди не заботятся о том, чтобы произвести впечатление но это как раз и привлекает в них Я очень люблю вальскую долину, она простирается от Барачки до Вертешдобоза, теперь ее называют Алчутдобоз. Это просторный край — не окинешь взглядом — с рощами, перелесками, оврагами. И я не знаю, сколько раз в детстве я прошел пешком от Кишмартона до Вертешдобоза, а дорога эта длиной двадцать восемь километров, но я никогда не ощущал усталости и нисколько не завидовал тем, кто ехал по ней на машине. Да и сейчас я иногда думаю: вот бы снова пройти по ней пешком. Это не просто воспоминание детства или ностальгия Я всегда

чувствовал, а в последние десятилетия все чаще убеждался в том, что на бегу, с налета не узнаешь ни человека, ни края, ни страны. Раньше, если на моем пути попадалось дерево или муравейник, я останавливался, всматривался, подолгу простаивал у норы суслика, дожидаясь, а вдруг он выскочит. А на лугах... Какая жизнь кишит в густой траве! Я любил сидеть на берегу ручья Сент-Ласло. Полдня мог провести под мостом, поджидая, пока выползут раки, и не для того, чтобы поймать одного-двух, а просто любил поглазеть на них. Я и сейчас очень люблю просто посмотреть, понаблюдать. Напрягаешься меньше, а узнаешь много. Когда расслабишься, лучше все воспринимаешь.

— Ты был солдатом. Как сложились ваши судьбы в 1944 году? Ведь тот решительный шаг надо было предпринять вместе со многими людьми, какими ты командовал.

— Я был заместителем командира. Командир Лайош Силади, мой старый друг (тогда он был старшим лейтенантом), в ноябре 1944 года, обсудив с нами ситуацию, принял решение, что находящийся под нашим командованием запасной батальон не будет присягать на верность режиму Салаши. И батальон — куда были призваны и левые, и даже коммунисты-подпольщики — 11 ноября был расформирован. Командование издало приказ об аресте офицеров. Несколько недель мы прожили на вилле, которую приглядели для этого заранее, потом — так как ситуация все осложнялась — несколько человек решились перейти через линию фронта (он проходил поблизости) и установить связь с Советской Армией. Непросто было перейти фронт. Да и не было ничего торжественного в нашей встрече с русскими. Майор Бойцов, командир батальона, который допрашивал нас, верил и не верил тому, что мы говорили. На всякий случай держал нас под стражей до тех пор, пока линия фронта не подошла к той вилле, где мы обосновались. И тогда все выяснилось. Старший лейтенант Силади, который до войны был учителем, стал школьным инспектором в районе — он сам об этом попросил. Пришел и мой черед. Мне поручили организовать роту по охране общественного порядка. А линия фронта из-за упорного сопротивления немцев на долгое время застыла на месте, и рота по охране общественного порядка получила боевое задание. В январе 1945 года меня направили на будайский фронт, там я и воевал, пока не закончилась война. В Буде я познакомился с Борисом Полевым (тогда я знал только, что он полковник), с которым с тех пор нас связывает тесная дружба. Кстати, о войне я писал много, а вот о своем личном участии в ней — мало. И не думаю, что когда-нибудь напишу воспоминания о тех днях. Мне кажется, что жанр этот в какой-то степени самооправдание, хотя, конечно, бывают и исключения. А я в своей памяти хочу остаться таким, каким тогда был: во многих вопросах не разбирался, ко многому относился с подозрением, и даже после того, как мы принимали решение, я все равно оставался при своей точке зрения. Я не хотел воевать. Сначала я попал под власть обстоятельств, потом обстоятельства были подвластны мне — и я воевал...

(И все-таки почему я воевал? Не отрицаю, прежде всего из любви к родине. Я ненавидел фашистов, которые расхаживали по моей родной земле как надсмотрщики по плантации — с нагайками и револьверами. И характерно, что урок любви к родине я получил именно от интернационалистов (сам я тогда еще им не был) — от солдат и офицеров Советской Армии. Они ведь сражались за освобождение других народов, других наций, считая это своим прямым долгом, и, приглядываясь к своим новым знакомым, друзьям и боевым соратникам, я понял, что только интернационалисты поистине глубоко и самоотверженно любят свою родину. «За родину!» — читал я на стенах домов, куда приходила Советская Армия. Я скоро понял (во время боев обучаешься быстро) и усвоил на всю жизнь, что тот, кто не уважает другие народы, не может по-настоящему ценить и свой собственный. И совершенно естественно, что, осознав это, я понял и необходимость социальных перемен в Венгрии. На фронте в декабре 1944 года я подал заявление о приеме в Венгерскую коммунистическую партию. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что самый важный поворот в моей жизни произошел под влиянием советских солдат, их помощи и участия, именно это сыграло большую роль в моем окончательном прозрении.)

— В роте, которой ты командовал, были ли потери, смертельные случаи в последние дни войны? При каких обстоятельствах погибали твои люди?

— Да, погибали и в последние дни войны. Даже в марте у нас был убитый, хотя он и не служил в нашей роте. В будайских горах шли бои по ликвидации эсэсовцев, власовцев, и у нас очень часто бывали офицеры из штаба маршала Ворошилова. Мне кажется, им слегка поднадоела штабная работа. Помню генерал-майора, который первым с одним пистолетом в руке кинулся к дому, набитому эсэсовцами. Я тогда ошалел от страха, а вдруг с ним что случится. Потом бывал у нас капитан по фамилии Иванов, а позднее, при ликвидации последних власовцев — один из переводчиков маршала, старший лейтенант Шараи. Его-то, к сожалению, и скосила автоматная очередь в середине марта! А одного моего бойца — он стоял на посту — убил наповал пулеметчик с «мессершмитта».

— Обычно бывает трудно разграничить, когда человек тревожится, а когда боится. Что внушает тревогу и что страх? Тогда ситуация была более однозначная. может, вспомнишь, испытывал ли ты страх на фронте в сорок пятом году?

— Человек и в мирное время понимает, что в один прекрасный день его жизнь оборвется, и так оно и случается. По-моему, все дело в том, что я не был настоящим

солдатом. То есть у меня не было повышенного чувства самосохранения. Я считал естественным, что на войне — если только здесь применимо слово «естественный» — резко возрастает коэффициент смертности. Говоря точнее, мы должны были знать, и я знал, что в самой страшной битве я могу уцелеть, а потом вдруг на меня рухнет стена какого-нибудь дома или я подорвусь на мине, которую случайно не обезвредили. Позднее, когда у меня были инфаркты, я старался держать себя под контролем. И быть может, мне потому и повезло, что я жил скорее в состоянии настороженности, чем страха.

— А потом, задним числом ты не испытывал страха? По другим поводам тебя никогда не преследовал безотчетный страх?

— Нет. Сердце мое теперь работает на совесть. Но его нельзя перегружать. И я знаю, как бы я ни берегся, однажды оно остановится. Об этом не нужно, нельзя постоянно думать. Но знать об этом надо.

— Какое время суток тебе больше нравится — день или ночь?

— День для жизни, ночь я отвожу для чтения. Я очень много читаю. День — живому миру. Работа, Союз писателей, коллеги, всякие дела, переговоры. Что касается моей работы в Союзе, для меня всегда самое важное — прямо, непосредственно ощущать реакцию писателей, их настроение. И знать, чего они ждут. Я всегда хотел и хочу быть их другом. Я не умею руководить. Это не значит, что у меня нет чувства ответственности, что в трудную минуту я поступлюсь своими принципами. Можно сказать, я не из мягкотелых людей. Но решительность для меня несовместима с окриком, с использованием своего положения или других преимуществ. Для меня очень важным и ценным является также установление и укрепление связей с писателями других стран, с руководителями союзов и прежде всего с писателями из социалистических стран, с их союзами. Конечно, уже со времен войны так сложилось, что сердцем я чаще всего тянулся в Москву. После освобождения я 35 раз приезжал в Советский Союз и горжусь тем, что знаком с выдающимися представителями советской литературы, со многими из них дружен, горжусь искренними, сердечными отношениями с руководителями Союза советских писателей. Нам прекрасно вместе работается, благодаря совместным усилиям, при полном взаимопонимании родилось много новых, интересных и плодотворных форм сотрудничества.

— Что тебе снилось сегодня ночью?

— Не помню.

— А вчера?

— Снилось, что гулял с женой. И вдруг сильный порыв ветра поднял ее юбку, я готов был кинуться на любого, кто посмел бы уставиться на нее.

— Ты ответственный руководитель, у тебя служебный кабинет, секретариат. Когда ты успеваешь писать? И где?

— Я мало времени провожу за письменным столом в кабинете. Больше за столом заседаний в секретариате Союза писателей, а еще чаще где-нибудь в уголке, беседуем за маленьким круглым столом или в креслах, и идет доверительный разговор с глазу на глаз, а бывает, что нас пять-шесть человек. Эта работа поглощает у меня много времени. Конечно, я бы мог сказать, что голова у меня забита великими идеями, темами, но из-за занятости в Союзе и прочих дел я не нахожу времени, чтобы писать. Только это неправда. Прежде всего в современном мире циркулирует не так уж много великих идей. Идет процесс активной ассимиляции, количество оригинальных идей на душу населения отнюдь не возрастает. Я думаю, что происшедшие и происходящие большие социальные перемены — всего лишь фундамент для более полного и многостороннего расцвета личности. Кроме того, что касается меня, я никогда не умел работать планомерно. То пишу запоем и днем и ночью, то совсем ничего не пишу. Я завидую тем, кто всегда выполняет то, что наметил сделать в течение дня, но сам не способен следовать их примеру. Я предпочитаю вынашивать в себе то, о чем хочу сказать, и только когда это созреет, выстроится окончательно, сажусь за письменный стол.

— У тебя служебные обязанности, к тому же ты ведешь большую политическую, общественную работу...

— Да, это так. Но вот что я хочу сказать. У нас установился обычай — чуть ли не каждый имеет «собрание» своих сочинений и ревниво подсчитывает количество изданных томов. Венгерской литературы в год публикуется 380—400 книг, французской — более 6000. Даже составить каталог этих книг — непростое дело. А ведь их нужно прочесть! Что из прочитанных произведений великих венгерских и зарубежных писателей осталось навсегда в моей памяти? Герои. Их поступки. Их обостренное или притупленное восприятие жизни, их заинтересованность в судьбах мира или безразличие к нему. И конечно, манера повествования, стиль автора. Возьмем писателей действительно великих. Они создали неповторимые, самобытные образы. Социальное содержание эпохи выражает не абстрактная схема, а живой человек. Тот, кто не написал сорока томов, но кому удалось создать три-четыре таких образа, чья суть и пафос стали частью национального самосознания, тот в моих глазах и есть настоящий писатель. В твоем замечании был подспудный вопрос: а не жаль мне тратить время на политическую деятельность, на общественную работу? Вопрос следовало бы поставить по-другому: не жалею ли я, что моя жизнь сложилась так, а не иначе? Нет, не жалею. Нам доводилось (как, впрочем, и моему отцу) и напряженно работать, и вышивать по стаканчику вина в погребке, заглядываться на девушек и браться за оружие, рискуя жизнью. В нашей семье, а я помню еще своего прадеда, никому не разрешалось выбросить

кусок хлеба. Хлеб — это наш труд и наша жизнь. Мы и выполняли свой долг перед жизнью, хотя, наверно, его можно было выполнять и как-то иначе

— Политика — страсть многих людей. По мнению одного моего друга-писателя, политика — прекраснейшая из наук. А что ты думаешь по этому поводу? Публичные выступления, политическая деятельность — какое место занимают они в твоей жизни?

— На мой взгляд, одинаково неправильно преуменьшать или преувеличивать роль политики. Для меня она интересна прежде всего тем, что благодаря ей я получаю более точную информацию о людях, о мире, она помогает более правильными, более верными методами руководить, способствовать изменению жизни людей к лучшему. Опыт всех моих прожитых лет говорит, что и обстоятельства жизни человека, и его характер могут изменяться к лучшему. Но тут же добавлю, что для этого нужно не только веление свыше, но и встречное желание. И конечно, чувство ответственности.

— Какой у тебя режим дня? Когда ты ложишься, в котором часу встаешь? Сложился ли у тебя определенный ритм жизни?

— Четкого распорядка в моей жизни нет. Возможно, я не прав, но у меня такое ощущение, что иногда надо уметь не подчиняться установленному режиму, а то из любви к порядку будешь откладывать важные дела и заниматься третьестепенными.

— А какие у тебя увлечения? Что делаешь, когда отдыхаешь?

— Глазею по сторонам. Наблюдаю. Раньше, когда позволяло здоровье, много охотился. Я не всегда выходил на охоту с ружьем, часто просто бродил по полям и лесам. И не всегда стрелял в животных, часто по листьям деревьев, по цветам. Когда-то в молодости я несколько раз занимал первые места в состязаниях по стрельбе. Мне не хотелось утрачивать эти навыки, но когда подстреливал дикую утку, куропатку, фазана или оленя, меня часто охватывало отвращение Для чего я это сделал? Голоден я не был, тогда зачем? Возможно, все это сантименты, но во время войны, когда и в меня стреляли, я хорошо понимал: кого я взял на мушку, в живых не останется. Тогда у меня подобных переживаний не было. Правда, нацисты тоже брали нас на мушку .. Люблю водить машину. Вожу тридцать четыре года, но из-за работы редко сажусь за руль, моя машина чаще всего простаивает в гараже. И любил ездить верхом. В детстве конюхи в имении давали нам по сигарете за то, что мы выгуливали лошадей В начале 1945 года у одного советского подполковника, командира резервного конного полка я выпросил пятнадцать лошадей. «Зачем они тебе?» — спросил он. Я ответил, что мы не можем быстро продвигаться вперед, надо бы организовать конный разведывательный дозор. «Разведка, разведка! Просто пешком ходить не хочешь». Но лошадей дал, потом мы однажды всем дозором приветствовали его. Когда-то я неплохо фехтовал — правой и левой рукой. Я уже был женат, но все еще продолжал давать уроки фехтования, по пять пенгё за час.

Воспоминания взволновали Добози. Он уже не может усидеть за столом. Вскакивает, начинает ходить по комнате. Вспоминает одну старую историю — он еще тогда был новобранцем. Десятью выстрелами он выбил девяносто восемь очков. Старший лейтенант поздравил его, но Добози не протянул ему руки из-за какой-то старой обиды. Так и стоял на стрельбище по стойке смирно. Добози показал, как он стоял. Добози стоит посредине ковра, по-военному подтянутый, лицо серьезное. Он мог бы обучать строевой подготовке. Голоса он не повышает, но тембр его меняется, и поэтому все, что он говорит, звучит категорично. Он рассказывает мне и на глазах молодеет. Ему уже не пятьдесят девять лет, а всего лишь сорок или того меньше. Потом, когда речь заходит о Вертешдобозе, он становится еще моложе. Как-то ворвался к ним в дом бандит с двумя пистолетами. Прадед Добози встретил его на крыльце. Добози показывает, как стоял тогда старый Добози... С удовольствием смотрю на него, слушаю. Он способен воссоздать целый мир несколькими словами, несколькими жестами. Добози прежде всего писатель, но он человек очень беспокойный и просто не в силах усидеть за письменным столом. Он живет социально активной и во всех отношениях насыщенной жизнью, но боюсь, несколько хороших книг он недодаст миру. Вернее говоря, будущим поколениям. Потому что для меня, например, это возмещается его яркой индивидуальностью, и когда я вижу Добози за столом заседаний, я спокоен, так как знаю, Добози отстаивает правое дело и постарается достичь максимальных результатов.

— Где ты обычно ешь — дома или в ресторане?

— Чаще всего дома.

— Какие твои любимые блюда, напитки?

— Я не гурман. Люблю простые блюда, но, конечно, хорошо приготовленные. Напитки? Вальский итальянский рислинг. Я подозреваю, что люблю его не только за аромат, но и потому, что наливает мне его из кувшина мой дядя, к которому я очень привязан.

— Какой твой любимый праздник?

— Двадцатое августа. Не только потому, что это наш официальный праздник — День Конституции, но еще и потому, что в моем родном селе этот день — храмовой праздник. В молодости в этот день мы вволю дурачились, а вечерами до глубокой ночи пели вместе со стариками старинные народные песни. Кроме того, я всегда праздновал дни рождения моих родителей, жены, сестер, братьев и детей. Я и сейчас не могу представить семью разрозненной, разъединенной, когда о ней то вспоминают, то забывают Семья — это фундамент И тому, кто его разворотит, не на чем будет строить. Суть вопроса не в том, чтобы

купить подарок. Хотя и в этом тоже. Суть в том, что к старым и к молодым надо относиться с уважением и помнить об их днях рождения.

— Когда ты последний раз плакал?

— В 1955 году, когда бабушку, мать отца, увидел в гробу. В детстве я обычно приезжал к ним на летние каникулы. У них научился косить, пахать, у них научился понимать, что такое земля. В этой крестьянке, моей бабушке, было много мудрости и достоинства. Другого такого собеседника в моей жизни не было. Если она на какие-то вопросы не могла ответить, она и не отвечала. Хотя она многое знала из того, о чем сегодняшние умники и понятия не имеют.

— Как по-твоему, может писатель оказывать влияние на формирование национального сознания, на духовную жизнь общества?

— Это зависит от многих обстоятельств. От самого произведения, от ситуации, от того, как настроено общественное мнение, и других факторов. Книгу могут превозносить до небес или замалчивать. Но талантливые произведения обладают особой жизнестойкостью. Они действуют на человека исподволь, наталкивая скорее на глубокие размышления, нежели на конкретные решения, и это надо учитывать, когда мы выносим свое суждение о читателе и о произведении. Говорят, хорошее произведение обязательно правдиво. Но правдивость сама по себе еще не означает, что произведение удачно. Мы должны понять — отдавая должное сочинениям, исполненным благих намерений,— что хорошее произведение — это то, которое активно вторгается в жизнь.

— В мире не прекращаются войны, ужас уничтожения все еще висит над людьми. Задумываешься ли ты иногда о будущем человечества?

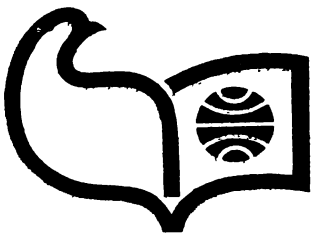
— В мире никогда не было столько сил, способствующих взаимопониманию и успеху переговоров. И никогда в руках человечества не было столько страшных разрушительных средств. Именно поэтому нельзя тешить себя надеждой, что все само собой образуется. Пророчества здесь вряд ли уместны. Во что же можно верить? В необходимость борьбы. В то, что в любой ситуации надо неустанно, день за днем бороться за сохранение мира, за сокращение вооружений, за разоружение. Разумеется, в этой борьбе будут и отступления, и топтание на месте, и острые моменты. Не будет только одного: капитуляции перед трудностями. За последние шесть — десять лет на планете возникли такие силы — Советский Союз, мировая социалистическая система, освобожденные народы,— которые в конечном счете определяют, каким быть миру. В свое шестидесятилетие (а я родился в год Великого Октября) я ощущаю внутреннее спокойствие и решимость. Я стою на стороне правого дела.

Перевод с венгерского Л. ВАСИЛЬЕВОЙ

◆

Публицистика

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ



ВОЗЗВАНИЕ

к писателям Европы, США и Канады, к писателям всего мира

Уважаемые коллеги!

Мы обращаемся к вам по очень важному вопросу.

В наши дни необходимо почувствовать силу писательской совести. Речь идет о мире, которому угрожают небывалый рост вооружений, очаги войны, вспыхивающие то здесь, то там на нашей планете, о мире, который сохраняет культуру, человеческую жизнь, творчество людей, будущее детей.

Мир разделен на страны и континенты; в нем немало преград — социальных, политических, идеологических, языковых, культурных и других. Но в то же время мир неделим: это дом человечества. Мир в этом доме — залог счастья его обитателей.

Нередко говорится, что литература — могучее средство общения между людьми. Это бесспорно, но эту мысль можно выразить и сильнее: литература преодолевает предрассудки, разделяющие людей, а писатель сегодня — посланец мира. Такая мысль о миссии литературы и о роли писателя владеет умами многих наших коллег по профессии. Поэтому мы предлагаем провести встречу на тему: «Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры», на которой в широком и откровенном разговоре обсудить идею об участии писателей в отстаивании мира и гуманизма, в сохранении и приумножении культурных ценностей. Мы предлагаем провести эту встречу в Болгарии, в прекрасной, гостеприимной стране, пережившей ужасы войны и избравшей мир своим будущим.

На эту встречу мы приглашаем видных представителей современной литературы, коллег из всех стран, подписавших Заключительный акт в Хельсинки, в том числе из Канады и США, а также писателей из других стран, которым дорога идея мира.

Мы считаем, что такие встречи имеют хорошие традиции в нашем столетии и что у нас есть опора в недалеком прошлом. Нужно продолжить эти традиции новым разговором по вопросам, волнующим всех нас и исключительно важным для судеб и будущего наших народов и всего человечества.

Публикация материалов, посвященных международной встрече писателей, с успехом завершившейся недавно в Софии, будет продолжена в ближайших номерах.

Обращаясь к вам, мы убеждены, что эта столь важная и ответственная писательская конференция встретит полное понимание с вашей стороны, ибо благородный долг писателя — служить миру, своему народу и всему человечеству.

Чингиз АЙТМАТОВ (СССР), Рафаэль АЛЬБЕРТИ (Испания), Робер АНДРЕ (Франция), Джон АПДАЙК (США), Елисавета БАГРЯНА (Болгария), Эрве БАЗЕН (Франция), Хорст БИНГЕЛЬ (ФРГ), Рита БУМИ-ПАПА (Греция), Пьетро БУТТИТА (Италия), Антонио БУЭРО ВАЛЬЕХО (Испания), Петер ВАЙС (Швеция), Гор ВИДАЛ (США), Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ (СССР), Пьер ГАМАРРА (Франция), Гуго ГУППЕРТ (Австрия), Имре ДОБОЗИ (Венгрия), Евгений ЕВТУШЕНКО (СССР), Эуджен ЖЕБЕЛЯНУ (Румыния), Вилем ЗАВАДА (ЧССР), Пантелей ЗАРЕВ (Болгария), Ярослав ИВАШКЕВИЧ (Польша), Дюла ИЙЕШ (Венгрия), Камен КАЛЧЕВ (Болгария), Герман КАНТ (ГДР), Георгий КАРАСЛАВОВ (Болгария), Хосе Мария КАСТЕЛЬЕТ (Испания), Яшар КЕМАЛЬ (Турция), Ян КОЗАК (ЧССР), Эрскин КОЛДУЭЛЛ (США), Джон КОЛОМБО Канада), Ганс КРЕНДЛЕСБЕРГЕР (Австрия), Дениз ЛЕВЕРТОВ (США), Любомир ЛЕВЧЕВ (Болгария), Мария Тереса ЛЕОН (Испания), Артур ЛУНДКВИСТ (Швеция), Ивар ЛУ-ЮХАНССОН (Швеция), Георгий МАРКОВ (СССР), Ана Мария МАТУТЕ (Испания), Эрнешту МЕЛУ э КАШТРУ (Португалия), Робер МЕРЛЬ (Франция), Айвор МОНТЕГЮ (Англия), Азиз НЕСИН (Турция), Джеймс ОЛДРИДЖ (Англия), Гоффредо ПАРИЗЕ (Италия), Никос ПАПАС (Греция), Андрей ПЛАВКА (ЧССР), Борис ПОЛЕВОЙ (СССР), Богомил РАЙНОВ (Болгария), Людвиг РЕНН (ГДР), Пааво РИНТАЛА (Финляндия), Яннис РИЦОС (Греция), Джанни РОДАРИ (Италия), Тадеуш РУЖЕВИЧ (Польша), Эдоардо САНГВИНЕТИ (Италия), Пьер СЕГЕРС (Франция), Константин СИМОНОВ (СССР), Эмилиан СТАНЕВ (Болгария), Вирджил ТЕОДОРЕСКУ (Румыния), Ив ТЕРИО (Канада), Мириам УОДИНГТОН (Канада), Николай ФЕДОРЕНКО (СССР), Ганс ХАЛЬБЕЙ (ФРГ), Ларс ХУЛЬДЕН (Финляндия), Джон ЧИВЕР (США), Михаэль ШАРАНГ (Австрия), Ханс ШЕРФИГ (Дания), Михаил ШОЛОХОВ (СССР), Альдо де ЯКО (Италия).

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ

Уважаемые дамы и господа!
Дорогие товарищи и друзья!

Разрешите мне от имени Государственного совета и правительства Народной Республики Болгарии и от своего имени сердечно приветствовать вас: добро пожаловать в солнечную Софию! — и пожелать вам плодотворной работы и успеха в вашей благородной миссии, которая собрала вас здесь.

Мы особенно счастливы, что именно в нашей стране проводится этот замечательный форум крупнейших мастеров пера, носителей великих гуманистических традиций, выдающихся творцов — представителей художественной мысли всего мира.

Кто знает историю Болгарии, тот поймет, почему болгарский народ относится к поэтам и писателям с таким уважением, с такой любовью, с таким доверием. В лице своих поэтов и писателей наш народ всегда имел верных сыновей, свою духовную опору, свою совесть, свой голос, свои боевые знамена. В многовековой летописи нашей родины нет такой страницы, на которой не звучало бы вдохновенное слово творца — известного писателя или безымянного народного певца. В наших городах и селах нет такой братской могилы погибших за свободу и счастье народа, в которой бы не покоился прах поэтов и писателей. Имена поэтов и писателей с честью и гордостью носят города и села, фабрики и заводы, кооперативные хозяйства, школы, клубы-читальни, театры. Судьба творцов болгарской литературы неотделима от судьбы болгарского народа.

С огромной любовью и уважением мы произносим и имена великих писателей всех времен и народов, чье творчество уже давно стало частью нашей духовной сокровищницы, которая постоянно пополняется произведениями современных прогрессивных писателей всего мира. Переводная литература издается у нас огромными для наших масштабов тиражами, и нередки случаи, когда тиражи некоторых книг превышают их тиражи на их родном языке, если не по абсолютному числу, то по соотношению на душу населения. При этом спрос на хорошие книги опережает возможности нашего книгоиздательского дела, хотя мы и выделяем значительные средства на его развитие.

Я говорю все это для того, дорогие гости, чтобы подчеркнуть, с каким уважением болгарский народ относится к писателям и их миссии, какое доверие питает он к вам —

видным представителям современной прогрессивной литературы, какие надежды возлагает на вашу встречу, и заверить вас, что в любом уголке Болгарии, куда бы вы ни поехали, вас всегда встретят с открытым сердцем.

Что касается непосредственных хозяев встречи, современных болгарских поэтов и писателей, то вы, наверное, уже почувствовали их сердечное, дружеское отношение. Я не буду представлять их вам, потому что в эти дни вы сами будете иметь возможность познакомиться и взаимно оценить друг друга. Не могу, однако, не подчеркнуть, что наш народ высоко ценит творчество своих современных поэтов и писателей и гордится их верностью прогрессивным и революционным традициям болгарской литературы, кровной сыновней связью писателя с чаяниями народа, его трудом и борьбой за построение развитого социалистического общества в нашей стране, за мир и сотрудничество между народами.

Дорогие товарищи и друзья!

Уважаемые дамы и господа!

Софийская встреча писателей проводится в год 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, первым государственным актом которой был исторический Декрет о мире. В то же время она проводится спустя почти два года после подписания Заключительного акта совещания в Хельсинки, явившегося плодом благородных усилий народов создать прочную атмосферу мира, взаимопонимания и сотрудничества во всем мире. Народная Республика Болгария, которая вместе с другими странами социалистического содружества была одним из инициаторов созыва совещания, по достоинству оценивает достигнутое и прилагает все усилия для дополнения политической разрядки разрядкой в военной области, для дальнейшего развития мира без войн и угнетения, к социальному прогрессу. Стало уже очевидным, что политика, утвержденная в Хельсинки, пользуется полной поддержкой демократических и прогрессивных сил в Европе и во всем мире.

Но не менее очевидно, что влиятельным кругам в некоторых странах не по душе то, к чему стремится человечество, и они развертывают невиданную по своим масштабам и наглости кампанию, сея страх, подозрительность и неверие в возможности и перспективы мирного развития.

В наше время все еще есть люди, которые довольно скептически оценивают возможности писателя влиять на судьбоносный выбор между миром и войной и считают, что будущее мира находится исключительно в руках политиков. Разрешите мне как политику и государственному деятелю решительно возразить против подобной переоценки роли политиков. Никакая политика не может не считаться с мнением как собственного народа, так и мировой общественности и, следовательно, с совестью писателей и словом писателей, тем более в наше время, когда средства массовой информации доносят это слово в самые удаленные уголки планеты.

Я не претендую на то, чтобы рассматривать, как проецируются проблемы мира и войны в вашей сфере. Думаю, однако, что за лаконичным словом «мир» кроется сложный узел вопросов, которые вы все раскрываете и решаете своим путем, но которые в конечном счете всегда сводятся к вопросу о судьбе человека и его будущем. Над этой жизненной проблемой размышляют поэты и философы всех поколений, но она имеет смысл только до тех пор, пока существует выбор между миром и войной, между жизнью и гибелью человеческого рода.

Дорогие гости!

Дорогие товарищи и друзья!

Вы преодолели большие географические расстояния, отложили свою творческую работу и обязанности и приехали в Софию, чтобы сказать свое веское слово в поддержку права человека и человечества жить в мире и быть свободными, развиваться и совершенствоваться, расти духовно и нравственно. На этой вашей встрече присутствуют и ваши великие предшественники, писатели всех времен и народов, для которых человек был содержанием и смыслом литературного творчества, предметом их забот и их большой надеждой. Поэтому я искренне верю, что разговоры на этой встрече будут разговорами о том, что может и должно объединять писателей всего мира — о судьбе мира, о вере в человека, в его возможности и о его будущем.

Разрешите мне еще раз пожелать плодотворной работы во время встречи, здоровья, сил и новых больших успехов в вашем личном творчестве. Пусть встреча в Софии будет хорошим началом более тесного и плодотворного сотрудничества между писателями всего мира во имя мира, на благо человечества!

7 июня 1977 года

ТОДОР ЖИВКОВ
Председатель Государственного Совета
Народной Республики Болгарии

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ, США И КАНАДЫ

Сердечно приветствую участников конференции писателей стран Европы, США и Канады.

Вы собрались в столице народной Болгарии, Софии, спустя почти два года после того, как в другой европейской столице — в Хельсинки завершилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это было знаменательное событие в жизни не только нашего континента. Оно стало и выражением, и символом тех глубоких сдвигов, которые происходят в международных отношениях. Заключительный акт, подписанный тогда, помог и продолжает помогать крепнуть добрым всходам прочного мира, равноправного сотрудничества, надежной безопасности народов, мирного сосуществования государств с различным общественным строем.

Однако и в Европе, и на других континентах есть еще охотники втоптать эти всходы в грязь, отбросить человечество назад, ко временам «холодной войны», не допустить радикального оздоровления международной атмосферы.

И здесь ваш голос, голос писателей, призванных быть совестью своего времени, особенно ценен. Вот почему ваш форум «Писатель и мир: дух Хельсинки и долг мастеров культуры» — событие, которое встречено в Европе и за ее пределами с большим интересом и оправданными надеждами.

Отрадно видеть, что те, чей авторитет в обществе так высок, чье слово способно затронуть сердца, души, разум миллионов, включаются в активную борьбу против гонки вооружений, против всех врагов разрядки, безопасности и социального прогресса.

Советская страна вот уже 60 лет, начиная со знаменитого ленинского декрета, делает все, чтобы отстоять мир, добиться ограничения и прекращения гонки вооружений, развития мирного добрососедского сотрудничества всех народов. Можете быть уверены, что с нашей стороны найдет энергичную и искреннюю поддержку любая инициатива, направленная на упрочение разрядки, ее материализацию, на развитие обмена подлинными духовными ценностями.

От всей души желаю участникам конференции успешной работы, больших творческих свершений во имя настоящего и будущего человечества.

Л. БРЕЖНЕВ

Эрве Базен

ФРАНЦИЯ

МИР — ЭТО БОРЬБА

Дорогие друзья!

Хотя скромность, как говорится, не является самым распространенным писательским качеством, нужно признать, что я смущен необходимостью первым взять слово на этом форуме самых выдающихся прозаиков, поэтов и критиков. И я надеюсь, что вы меня извините, если я сочту, что эта честь выпала мне скорее благодаря алфавиту, чем по заслугам.

Итак, я уверен, что все присоединятся ко мне, если я прежде всего поблагодарю наших хозяев за прием и за организацию этой встречи. Многие из нас, и я в том числе, не впервые приехали в Софию и на собственном опыте знают, что такое сердечность, внимание и радушное гостеприимство болгар. Это значит, что во время любой подобной встречи мы чувствуем себя как дома, в этой стране древней и юной культуры. Мы сознаем, какую работу провел и продолжает вести здесь Союз болгарских писателей. Поэтому наш долг выразить благодарность всем его членам и прежде всего председателю Союза Зареву за приглашение и предоставленную нам возможность взаимно узнать друг друга, возможность совместной работы, раздумий и дружеских споров о роли, призвании, о долге писателя в наше трудное, чреватое угрозами время, время, когда мир изменяется, чтобы, будем надеяться, прийти к пока все еще мифической, но определенно не утопической эре взаимопонимания и общего доверия между всеми членами нашей человеческой семьи.

Но я хочу поблагодарить и вас, дорогие коллеги, за то, что вы откликнулись на воззвание, которое подписали более шестидесяти человек со всех концов земли. Как было подчеркнуто в этом воззвании, наша встреча проходит в духе решений, принятых в Хельсинки. Она вне политики и экономики и относится к так называемой «третьей корзине». Здесь мы должны сразу же уточнить, что в деле сближения людей эта «корзина» не менее важна, чем две первые. Культурный обмен — проблема отнюдь не второстепенная. Наоборот. Только она относится к сфере познания, идей, искусства, философии и т. д., она, как и творчество, охватывает все проявления жизни, до самых возвышенных и самых гуманных включительно.

«Третья корзина» — третья только в порядке счета. Все вы прекрасно знаете это, вы, чья работа, в сущности, и есть общение, вы, для которых не существует границ, вы, чьи книги читают люди, которых вы никогда не увидите, но хотите, чтобы они нашли в ваших книгах как можно больше общечеловеческих ценностей. Вы прекрасно знаете, что в области художественного слова гений, откуда бы он ни пришел, не может не вызывать восхищения, вы обладаете привилегией неведомыми другим путями приходить к человеку, к тому человеку, о котором верующие говорят, что он создан по подобию бога, но который прежде всего и повсюду создан по подобию других людей.

Мы благодарим вас за то, что вы здесь. Я приветствую представителей СССР и США, Италии и Румынии, Греции и Финляндии, как и всех остальных, которых я здесь не имею возможности перечислить. Я приветствую и всех тех, кому их обязанности помешали приехать и кто прислал нам только свои приветствия. Приветствую и тех, кто хотел бы быть с нами, но не мог этого сделать. Одни из них за решеткой, другие умолкли навеки... Вы понимаете, о ком идет речь, и, надеюсь, разрешите мне почтить память отсутствующих одним моим личным воспоминанием. Прошло уже около тридцати лет с тех пор, когда в Вене собрался послевоенный конгресс в защиту мира. Рядом со мной сидел Илья Эренбург, который, склонившись к соседу, жаловался на отсутствие великих. Его сосед тогда ответил: «Но они не отсутствуют. Они присутствуют больше, чем мы. И мы их представляем». Этого человека, сидевшего между Ильей Эренбургом и Ивом Фаржем, человека, произнесшего тогда эти слова рядом со мной, звали Пабло Неруда.

В таком же единстве отсутствующих и присутствующих мы собрались здесь, чтобы обсудить главную тему: ПИСАТЕЛЬ и МИР, обсудить задачи, которые стоят перед нами, творцами литературы, во имя мира. Разумеется, именно вам предстоит выработать программу и определить средства ее осуществления. Я, со своей стороны, хочу только поделиться с вами некоторыми своими мыслями о духе Хельсинки, характере мира и моральном долге писателя.

Прежде всего — о духе Хельсинки. Не будем себя обольщать, признаем, что соглашение, подписанное в Хельсинки, дало повод для самых разных толкований, порой безобидных, а порой прямо стремящихся осложнить отношения

между договаривающимися сторонами: Западом, который обвиняет Восток в одностороннем приложении соглашения, и Востоком, который упрекает Запад в намерении использовать обмены для вмешательства во внутренние дела других стран. Злая воля может исказить самые лучшие идеи. Дух Хельсинки предполагает добросовестность в отношениях между нами, сопротивление мании подозрительности, согласие с тем, что каждый вносит посильный вклад без подсчета того, кто делает больше, а кто меньше. Я не хочу сказать, что дух Хельсинки нас сковывает, хотя — будем откровенны — он не может привести к пересмотру различных социальных взглядов. Я не сказал бы также, что он означает состязание, чтобы не примешивать сюда понятие «соперничество». Но я смело могу заявить, что он не может быть поводом к вмешательству во внутренние дела, ибо это противоречит духу документа. Дух Хельсинки — это не святой дух, который снизойдет на нас в духов день, чтобы помочь нам сразу же разрешить все наши проблемы. Дух Хельсинки — и это уже немало — означает взаимное осознание риска, которому мы все подвержены вследствие политического, географического и языкового разделения, вследствие гонки вооружений. Он означает «нет» раздорам во имя всего того, что нам завещано Он означает преклонение перед тремя миллионами лет, превратившими примата в мыслящее существо, нашу планету — в сокровищницу, а Космос — в бескрайние просторы для человеческих дерзаний.

Перейдем теперь ко второму пункту наших размышлений, к миру. Сейчас уже считается чуть ли не избитой фразой та истина, что без мира все человеческие искания не имеют будущего. Столь же банальным было бы повторять, что конфликты, даже локальные, продолжают оставаться исключительно опасными, потому что они могут привести к более серьезным столкновениям, к ядерному пожару. И все же, рискуя обеспокоить некоторых, считающих мир автоматическим и благоразумным сохранением существующего статус-кво, статичного и пусть даже несправедливого, я скажу, что мы должны опасаться подобных взглядов, потому что они несут в себе собственный приговор. Мир — это не просто отсутствие противоречий. Он сам — борьба за ограничение и уничтожение конфликтов. Но мир не означает и примирения с установлениями тирании, его можно уподобить вулкану, готовому взорваться резервуару с бензином. Разве пресловутый римский мир, узаконивший порабощение народов — пятидесяти миллионов рабов,— был настоящим миром? А подобный ему колониальный мир XIX века, поглотивший две трети мира? Разве оба они не несли в себе зародыш войны? Мне не раз случалось сталкиваться с наивными или лицемерными людьми, которые с притворным удивлением спрашивали: «Вы претендуете на звание защитника мира, а поддерживаете любую борьбу за освобождение, когда проливается столько крови. О нет, одно никогда не может идти рядом с другим». Разумеется, не может. Верно, что одно с другим плохо сочетается, тем более что нас часто раздирают компромиссы, к которым заставляют нас прибегать обстоятельства, мучает тревожное стремление положить конец тому или иному конфликту и поводам, которые его вызывают. Борьба за мир неотделима от борьбы за исконные права человека. И мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности там, где они поруганы. Видимость не должна ни в коем случае нас обманывать. Есть войны жестокие и все же на поверхности невидимые. Мы знаем правителей, которые никогда не посягали на соседей, но чья подлинная профессия — это организация ужасных внутренних войн. Например, Форстер или Пиночет.

Мир не существует как некая отдельная данность. Все в нем взаимозависимо. Он — часть целого, подобно тому как каждая сторона треугольника является его частью. Мир неотделим от справедливости и свободы.

Это заключение, может быть, даст нам возможность подойти к третьему пункту — нашей роли в разрешении этих проблем. Я знаю, что для некоторых из нас пренебрежение долгом, самоизоляция в искусстве для искусства — мода, даже принцип, результатом чего явился так называемый «новый роман», и какими бы смелыми ни были личные позиции его создателей, с одной стороны, и каким бы ощутимым ни был вклад, внесенный их исканиями,— с другой, читатель отворачивается от них, так как хорошо знает, что художественное слово, не выражающее представления автора о человеке и не являющееся летописью своего времени,— просто зря потраченные чернила. И все же есть люди, которые рассуждают как тот юноша, которого мы с Альбером Камю встретили на фестивале в Анжере: «Самое своеобразное в вашем ремесле — это то, что писатель берет слово, не дожидаясь, чтобы ему его дали. Без полномочий». Это заставило Камю возмутиться. «Как это без полномочий! — воскликнул он.— У нас есть полномочия. И самые высокие — наша совесть».

И в самом деле, спрашиваю я: есть ли среди вас хотя бы один, кого удовлетворила бы блестящая карьера, кто не испытывал бы тревоги Стендаля, кто не был огорчен успехом, если он только личный, и счастьем, в котором отказано другим? Есть ли среди вас хоть

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ

один, который гордится своим талантом, этим божьим даром, но не желает нести бремя ответственности, возложенной на него этим самым талантом? «Я дал вам голос, чтобы вы защитили братьев своих»,— гласит Екклесиаст. Данный от природы дар — это долг, который нужно выплатить обществу. Нет более высокого и неотложного дела, чем борьба за мир и его будущее. Издательства, газеты, радио, телевидение открывают нам свои двери, мы становимся все ближе читателю, становимся доверенными своих народов. Ни у кого нет больших возможностей, чем у нас. И, несмотря на опасность злоупотребления ими, можем ли мы не считать их своим долгом? Долгом бороться против всего, что вызывает ненависть. Быть выразителями безмолвного человеческого страдания. И если нам действительно это дано, то даже второстепенный писатель будет вознагражден, прикоснувшись к бесконечности... Друзья, вы заняты не обычным ремеслом, у вас призвание. Ваши возможности и ваше влияние дают людям право требовать от вас больше, чем от других. Будьте авангардом в битве за мир! (Аплодисменты).

Простите, что я опять беру слово. Мы должны выбрать, как это принято, председателя нашей встречи. Я думаю, что выражу мнение всех, если предложу избрать председателем нашего друга Пантелея Зарева, члена Академии наук, председателя Союза болгарских писателей. Именно ему принадлежит идея этой встречи, для организации которой он приложил столько усилий Но это не только выражение благодарности. В его лице мы выражаем наше уважение к Болгарии. Предлагаю подтвердить его избрание горячими аплодисментами.

Пантелей Зарев

БОЛГАРИЯ

НАС ОБЪЕДИНЯЮТ ВЕЛИКИЕ И ГУМАННЫЕ ЦЕЛИ

Уважаемые дамы и господа, друзья, товарищи!

Мы оставили на время свои пишущие машинки и авторучки, произведения, над которыми мы работаем, и записные книжки, чтобы встретиться в этом зале и поговорить. На пути к этой встрече у нас были самые разные переживания. Одни, чтобы вовремя приехать сюда, перелетели через континенты и океаны. Другие, побуждаемые чувством ответственности, отложили свои личные дела. Обо всем этом невозможно рассказать в нескольких словах, но упомянуть о самом этом факте необходимо. И у меня, как хозяина, тоже были свои переживания. Было у меня почти приключение: на вокзале в Кёльне я должен был встретиться около цветочного киоска с одним западногерманским писателем, который, изменив свою внешность, торопился куда-то по неведомому мне своему писательскому делу. Мы поговорили с ним в течение 20 минут, даже не присев. Были и другие приключения, какие-то из них забавные, случалось — неприятные. Но все это забудется. Важно, что наша встреча началась в духовном и эстетическом климате, сотворенном только что отзвучавшей в этом зале бетховенской одой «К радости». Сейчас, когда наши машинки молчат, а наши мысли и воображение отвлеклись от непосредственной творческой работы, мы начинаем откровенный обмен нашими раздумьями и заботами о мире — великой надежде современного человечества.

Позвольте мне как хозяину прежде всего сердечно вас приветствовать и пожелать вам приятного пребывания в нашей стране и успеха в вашей работе.

А теперь разрешите перейти непосредственно к тому, что нас здесь собрало, и объяснить, насколько это в моих силах, что оторвало нас от творчества и привело сюда, в Софию.

Согласно статистическим выкладкам историков, человечеству пришлось до настоящего времени пережить не менее 4513 войн крупных, в расчет не принимались войны незначительного масштаба. Следовательно, возможность 4514-й серьезной войны теоретически не исключается. Цифра изменилась бы очень мало всего на какую-то одну единицу. Но физики, люди науки, утверждают, что сейчас существует такое оружие, которого не знала ни одна другая эпоха. Говорят, что если только одну современную атомную бомбу взорвать в воздухе где-нибудь над границей суши и океана, то вода, земля и воздух обратятся в хаос, и, когда буря уляжется, останутся расплескавшееся мертвое море, сожженная взрывом, мертвая земля, а в воздухе

образуется коридор, по которому из ионосферы на мертвую землю будут свободно падать все убивающие солнечные лучи.

Я говорю только об одной бомбе, но ведь таких бомб сейчас очень много. Они нависли над телом нашей кормилицы, нашей любвеобильной, дарящей жизнь земли. Следовательно, картина, которую я довольно неумело нарисовал, должна быть увеличена еще во много, много раз.

Вот что, уважаемые друзья, тревожит нашу совесть и что собрало нас сюда, на этот форум. То, что я сообщил вам,— не вольная импровизация по мотивам Апокалипсиса или легенд о конце света, сложенных в прошлом человеческим воображением, это — реальный потенциал современных, созданных человеком систем оружия.

Ведь, в самом деле, может найтись некто, задумавший жестоко подшутить над человечеством и сбросить такую бомбу на спокойную и мирную землю, рукой, дрожащей от озлобления или от приступов страха. И тогда в кошмаре катастрофы дело дойдет до действительного исчезновения целых народов и стран с их историей, их культурой, со всем живым и неповторимым, что есть в их духовном и материальном бытии. Насколько же эта возможность противоречит радостным, победительным звукам бетховенской оды, насколько противоречит она той красоте, что живет в произведениях искусства и которую мы с вами сами созидаем. Все это я говорю не из сентиментальности, а движимый, как и вы, тревогой за судьбы мира.

Говорят, что совесть — судья и советчик в вопросах морали. И часто добавляют при этом, что именно писатели — совесть человечества. Кому мы можем давать свои советы в условиях современной действительности? Есть пресса, которая, синея от натуги, запугивает людей, добиваясь, чтобы они регулярно платили налоги на военные нужды. Военный бюджет уплывает в сейфы фабрикантов оружия, безостановочно работают машины на военных заводах, растет их производство, появляются новые заводы и новые изобретения — все потому, что доходы и прибыли обеспечивают процветание владельцев. Ну, а как же насчет того неожиданного дня, который может выпасть на долю планеты, если откажет разум и восторжествует безумие, то страшное решение, которое, быть может, припасено для нас в не столь отдаленном будущем, подобно тому решению безумца, которое в свое время привело к началу второй мировой войны?

Два года назад, уважаемые друзья, в Хельсинки состоялась встреча ведущих государственных деятелей, тех, кто вершит судьбы народов. Там, в Хельсинки, прозвучали мудрые голоса. Но сумеет ли разум сохранить достаточную силу и трезвость, упрочится ли начавшаяся разрядка, восторжествует ли дух Хельсинки? — вот вопрос, волнующий сегодня и деятелей культуры, побуждающий их сказать свое слово.

Кое-кто пытается успокоить нас, говоря: «Оставьте политику политикам, занимайтесь своим божественным искусством, собой, своей любовью к себе. Как прекрасна стихия вдохновения, когда оно ищет само себя в самом себе».

Подобные голоса порождают иллюзии, которым, как известно, верят порой даже иные политики. После того как несколько политиков собрались в 1938 году в Мюнхене, они принялись трубить на весь свет, что мир обеспечен на десятилетия, чуть ли не на века вперед. А всего через год разразилась вторая мировая война. Вот почему мы не должны прислушиваться к баюкающим голосам и забывать о действительности. Такого рода иллюзии вредны и нам, и человечеству. Наш долг, долг деятелей культуры, писателей — сохранить культуру, сделать спокойным, насколько это в наших силах, сон матерей и, насколько это в наших силах, оберегать улыбки детей. Поэтому нас волнует вопрос о мире. Поэтому мы вступаем в область политики.

Какую политику я имею в виду?

Некогда великий немецкий писатель, классик нашего века Томас Манн сказал, что художественная литература — есть не что иное, как гуманизм в соединении с политикой. Вот о какой политике идет речь. За что голосуем мы, мастера культуры? За войну или за мир?

Разумеется, наш ответ: за мир. Мы хотим, чтобы люди услышали это, знали об этом, сказали об этом своим государственным деятелям. Мы хотим будить сознание людей, сделать так, чтобы их не покидало чувство ответственности.

В нашем воззвании, призывающем к сегодняшней встрече, справедливо сказано, что мир разделен не только на географические, но и на социально, политически и культурно различные регионы. У тех, кто собрался здесь, не только разные творческие лица, но и различные убеждения, различный стиль мышления. Однако нас объединяют великие и гуманные цели защиты мира. Вместе с нашими народами мы хотим разрядки.

Когда-то слово «гуманизм» звучало для уха прекрасной музыкой. Сейчас такая светлая и оптимистическая музыка звучит в слове «разрядка». Сейчас синонимом гуманизма стала именно разрядка международных, межчеловеческих отношений — разрядка политическая, культурная, социальная, военная.

У гуманизма множество самых разных аспектов: он может выражаться и в любви к людям вообще, и в защите конкретного человека. Политические, социальные, религиозные и другие убеждения могут придавать ему самые различные оттенки. Он может быть боевым, порой же он проникает в сознание людей через наше слово, не отмеченное прямой общественной целеустремленностью. Но какими бы ни были

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ

эти оттенки, в гуманизме всегда остается нечто очень важное: защита человечества, отрицание войны, несущей горе и беды, особенно современной мировой войны, которая может оказаться бедствием с неизмеримыми последствиями.

Я думаю, что мы должны выполнить свой долг и обратиться к людям науки — нашим союзникам в великом деле защиты мира. Как и мы, они — совесть человечества, созидатели благ, творцы прогресса. К сожалению, есть ученые, которые открывают новые средства разрушения и исследуют в своих лабораториях новые системы, предназначенные для уничтожения человечества. Они подчиняются требованиям неких генералов, которые не думают ни о чем, кроме того, какой смертоносной силы груз можно сбросить на противника, пусть даже при этом погибнет половина человечества, а другая потеряет здоровье и будет поставлена в условия, когда все, что создано цивилизацией и техникой, перестанет существовать.

Большую озабоченность вызывает у нас и та духовная атмосфера, которая складывается сейчас в мире с помощью «масс-медиа», кино и литературы. «Фильмы ужасов», которые производятся в некоторых странах, ожесточают человека, учат его быть безжалостным по отношению к ближним, зачеркивают все то доброе и гуманное, к чему стремится наше искусство и чем мы хотим служить человечеству.

Фронт мира, уважаемые друзья, исключительно широк. Он начинается с призыва осознать свою ответственность за судьбы человечества и проходит через все те произведения, которые, воспевая насилие и жестокость, формируют психологию убийцы, врага человечества, как это было во времена фашизма и во время второй мировой войны. Мы должны возвышать нравственность человека, ибо только так мы будем способствовать его совершенствованию, его моральному обогащению, поддерживая тем самым фронт мира против войны. Я говорю это не как пацифист, который абстрактно славословит мир, а как человек, так же как и вы, встревоженный всем тем, что сегодня поддерживает войну и мешает миру, что питает заблуждения и завязывает глаза нашей совести, нашему сознанию ответственности.

Позвольте мне напомнить, что большая литература всегда была гуманистической. Есть такая необъятная область духа, где Человек был, есть и останется в будущем центром, «святая святых», истинной сутью всех творческих исканий и дерзновений, эта область — искусство. Еще на заре своего развития литература и искусство делают Человека и его судьбу смыслом своего существования, целью своих усилий. В одном случае этот Человек может носить имя Эдипа, в другом — Дон Кихота или Гамлета, имена его множатся, звучат то как Анна Каренина, то как Жюльен Сорель, то как Оливер Твист, заполняют тысячи страниц, говорят на десятках языков, но все они лишают нас сна и делают нас сопричастными своим радостям и трагедиям.

Так и сейчас. И теперь литература, созданная во имя Человека и ради Человека, не имеет и не может иметь более великого призвания, чем верность Человеку, чем участие в вечной, быть может изнурительной, битве за его счастье, за его торжество над голодом, над дурными инстинктами, растлением, жестокостью и эгоизмом, над отступничеством и равнодушием, над инерцией чувств. Гуманизм — это не привнесенное извне качество, а глубочайшее, внутреннее ядро художественного творчества. Гуманизм — это попытка разума устоять против хаоса и безумия.

Максим Горький — патриарх советской литературы — назвал однажды настоящее и будущее всего мира творчеством, целью которого является непрестанное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека для победы над силами природы... для великого счастья жить на земле, которую он хочет преобразить в прекрасное жилище человечества, объединившегося в единую семью.

А много лет спустя, когда призрак атомного конфликта уже отчетливо вырисовывался перед народами, другой великий писатель, с той стороны океана, американец Уильям Фолкнер заявил: «Я отказываюсь принять конец человека... Я верю в то, что человек не только выстоит, но и победит... Поэт должен не просто создавать летопись человеческой жизни, его произведение может стать фундаментом, столпом, поддерживающим человека, помогающим ему выстоять и победить».

Эти мысли высказаны двумя великими творцами, принадлежащими к разным поколениям, писавшими на разных языках и исповедовавшими различные взгляды. Но оба они с одинаковой силой выступают за гуманистическую концепцию исторического оптимизма, основанного на вере в человека, в его возможности, в его будущее.

Без любви к человеку, без сострадания к его горестям я не могу себе представить сегодня большой литературы. Не против человека, а во имя человека мы, писатели, посягаем на чистоту белого листа бумаги. Именно эти чувства мы с трепетом и восхищением открываем во многих книгах, во многих произведениях авторов, в том числе и тех, что находятся сегодня здесь, в этом зале. И пусть тревога за человека и за человечество будет прежде всего тревогой за судьбу маленьких детей, пусть литература станет великой защитой завтрашнего дня человечества, чья память уже познала и трагедию бомбы, газовых камер и крематориев, где сжигали живых людей, и превращенные в мертвые пустыни города и сады.

Не по чьему-то внушению, а по собственному побуждению наша совесть ставит нас сегодня перед самыми жгучими проблемами эпохи, перед насущными, жизненно важными вопросами сохранения цивилизации, перед драматической альтернативой будущего. Еще звучат в наших ушах гнев-

ные протесты недавнего прошлого, слова таких наших предшественников, как Ромен Роллан; мы слышим предупреждения потрясенного Стефана Цвейга. Эта традиция жива, она напоминает нам о той первой встрече писателей всего мира, которая проходила сначала в обстреливаемом снарядами Мадриде, потом в Париже и которая энергично и честно предупредила тогда мир о черных тучах безумия, затянувших вскоре небо над Европой. Это прошлое, одновременно светлое и мрачное, невозможно забыть. Там, на той давней встрече, рядом с ныне покойным большим болгарским писателем Людмилом Стояновым мы видели обаятельные образы стольких замечательных мастеров художественного слова — Ромена Роллана и Рафаэля Альберти, Брехта и Фейхтвангера, Андре Мальро и Алексея Толстого, седовласых прозаиков и начинающих поэтов, известных и только восходящих, атеистов и верующих, объединенных одними опасениями и одной решимостью — не допустить, чтобы власть фашизма превратилась в одну бесконечную ночь страха и рабства.

Пусть темы войны и мира, вдохновившие уже не одно значительное произведение, и ныне входят в литературу, чтобы защитить современное человечество. Пусть эти темы роднят литературы разных стран и воздвигают между ними мосты. И да будем мы единодушны в своем единении, ведь мы знаем, что планета принадлежит всему человеческому роду.

Перед нами стоят и другие важные проблемы: широкий обмен духовными ценностями между нациями, близость и взаимопонимание между писателями, несмотря на все различия, связанные с политическими, социальными, национальными и индивидуальными взглядами. Это общение между нами будет сближать народы, оно сделает невозможным наступление завтра или послезавтра апокалипсических ужасов, оно заставит нас вслушиваться в голоса друг друга с доверием и пониманием.

Иногда нам пытаются внушить, что нас разделяет нечто огромное и непреодолимое, что между нашими взглядами, вкусами, предпочтениями, образом жизни и т. д. лежат глубокие пропасти. Но действительно ли они правы, не слишком ли они свободно манипулируют истиной? Потому что нас волнуют произведения, которые затрагивают струны нашей души и которые вселяют в нас радостную надежду, что мир изменится и станет другим — более добрым и человечным.

Оглянитесь вокруг себя и вспомните прочитанные вами книги тех, кто сидит рядом, здесь, в этом зале, и вам станет ясно без всяких предубеждений, что у всех этих книг есть одна общая любовь — Человек.

Трезвый и честный голос всех больших писателей земли — это не голос, звучащий в пользу конфронтации, ненависти, национальной замкнутости и эгоизма, как пытаются нас убедить некоторые,— а голос взаимопонимания, духовной солидарности.

Мы не обольщаемся иллюзиями и очень хорошо знаем, что не от нас зависит повлиять на ход мировых событий немедленно, категорически, радикально. Но, начиная с глубокой древности и до сегодняшнего дня, мы знаем, как знают и все люди, что перо художника — его оружие, что оно может выставить к позорному столбу, что оно способно формировать и постепенно изменять общественное мнение.

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, товарищи!

Мне бы хотелось высказать одну, может быть, слишком дерзкую мысль, за которую я заранее прошу извинения у любителей осторожных формулировок. Имена тех, кто собрался в этом зале, как и тех, кто подписался под воззванием о созыве этой встречи в Софии, будут еще долго жить в будущем. Они будут жить в галерее созданных ими образов, в размахе и полете чувств, которые они запечатлели в своей поэзии, в своей тревоге за человека, которая чувствуется в каждом слове, в каждой строфе, в каждой реплике, вышедшей из-под их пера. Потому что биография книги — это прежде всего биография справедливости, истины. Но я убежден, что эти имена останутся в будущем и благодаря их участию в этой встрече. Я глубоко убежден в этом, потому что дело мира — дело, выше которого нет ничего, сейчас это понимают даже дети. Потому что, как я уже сказал, человечество держит в своих не всегда опытных руках ключи, с помощью которых можно выпустить неожиданную для нас энергию; потому что оно, человечество, все еще плутает по лабиринту темных сил, а путь вперед освещает лишь слабый огонек все еще неокрепшего разума; потому что оно прикоснулось к «божественным» тайнам вселенной, не успев разрешить как должно свои земные дела. А мы несем ему разум и истину, мы ищем правды и справедливости.

Можно только сожалеть, что некоторые писатели из-за болезни, или занятости, или по другим причинам не смогли прибыть на нашу встречу, хотя они и поняли ее исторический смысл, значение диалога, который мы здесь ведем, наше желание открыть окно в будущее, а не заколотить его гвоздями отчаяния.

На этой встрече могут быть подняты различные вопросы. Время, в которое мы живем,— сложное и переходное время, человечество воюет с природой с помощью техники, есть противоречия между Севером и Югом, между материально богатыми и отсталыми странами, между угнетенными и их угнетателями. Но глобальным вопросом нашей современности и планеты остается вопрос о мире. И в сохранении мира — победа разума.

Уважаемые друзья!

Я позволю себе еще немного расширить эту свою мысль. Ученые всего мира делают

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ В СОФИИ

героические попытки обнаружить в том огромном и бесконечном «нечто», называемом вселенной, признаки другой цивилизации. Я не могу определить, происходит ли это от возросших технических возможностей или от все расширяющейся активности человечества. Но я вижу в этом акцию разума. Смысл этой акции — укрепить веру человеческого рода в свои силы и путем сравнения подсказать ему убежденность в его бессмертии. К сожалению или к счастью, единственный разум, который нам пока известен, это человеческий разум. Страшно и величественно становится, когда подумаешь, что в этой гигантской сфере мы на миллиарды километров вокруг являемся наивысшим достижением природы. Природа создала нас, чтобы услышать себя, увидеть свое отражение, познать самое себя. Человек — существо не только разумное, одаренное способностью мыслить, он также совершенен эмоционально. он тот, кто реализует великую миссию воспринимать и создавать искусство. Он научился отделять красивое от безобразного, познакомился с эмоциональной силой гармонии и боли, страдания, великой надежды и счастья. Он единственный, кто способен поставить что-то выше себя, пожертвовать собой ради ближнего, он единственный, у кого есть совесть и беспокойство. Все остальное — материя или неосознанная сила. Каждая человеческая личность заключает в себе целую вселенную, а по сложности, может быть, даже ее превосходит. Сейчас во всем мире говорят о сохранении окружающей среды, о защите природы. На это расходуются миллионы, хотя в то же время в тысячу крат бóльшие средства расходуются на создание видов оружия, которые могут уничтожить человека. Неужели не настало, наконец, время заговорить об охране самого человека как наиболее редкого и более всего этого заслуживающего вида из всех живых существ?

Я вспоминаю, что те же ученые дальновидно и без всякой иронии пытаются решить довольно сложный вопрос: «Разумен ли человек на самом деле?» И я думаю, что если мы склонимся к самоуничтожению, если это окажется самой сильной и непредотвратимой акцией нашего сознания, то мы действительно не слишком разумны. Давайте мы с вами попытаемся ответить на этот вопрос и потом оповестим о нашем мнении весь мир — потому что именно мы можем это сделать, потому что в начале было слово. Потому что мир, как гласит лозунг нашего воззвания,— это светлая надежда планеты.

Добро пожаловать в нашу древнюю и юную Софию! И позвольте мне напомнить, что ее имя означает Мудрость!

Перевод с болгарского Л. ЛИХАЧЕВОЙ

◆

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Я ВИДЕЛ БУДУЩЕЕ

Зарубежные писатели
о Советском Союзе:
путевые очерки, дневники,
воспоминания, статьи.
1917—1977

ИМРЕ ДОБОЗИ

Венгрия

Из книги
«Поездка в Москву»,
1955 г.

ИМРЕ ДОБОЗИ (род. в 1917 г.) — венгерский писатель, драматург, публицист. Автор романов, пьес, очерков, сборников рассказов, киносценариев. Председатель Союза венгерских писателей, лауреат премий имени Кошута и Аттилы Йожефа. В «Иностранной литературе» (№ 6, 1968) напечатана его повесть «Вторник, среда, четверг», издательство «Прогресс» выпустило сборник рассказов «Человек в кожаной тужурке» (1969), в периодической печати неоднократно публиковались его рассказы. В этом номере журнала, в рубрике «Интервью», Имре Добози рассказывает о себе и своей работе.

Здание вокзала сверкало чистотой. Отполированные деревянные пульты со всех сторон огораживают просторную таможенную площадку, и такие же полированные расставлены в зале ожидания светлые деревянные скамьи с высокими спинками. Нигде ни мусоринки, ни клочка бумаги, ни сигаретного окурка. В одном из углов зала тихо булькает кипящий самовар, рядом с ним в маленьком застекленном шкафу — колбаса, котлеты, сыр и какая-то булочка с мясом. У нас это называется мясная слойка; не знаю, как это называется здесь. Просто так, из любопыт-

Продолжение. Начало см. в № 5—7.

ства, спрашиваю, сколько стоит стакан горячего чаю. Буфетчик, балагур с подмигивающим глазом, с мелкими быстрыми движениями, невысокий усач, который с каждым поданным стаканом чаю дарит своим клиентам пару добродушных шуток — и больше всех над ними хохочет сам,— уже пододвигает мне полнехонький стакан. Тридцать копеек. Да-а, ну и влип же я. Без гроша в кармане — у всех на виду. Буфетчик протягивает ладонь, а я объясняю, как могу: увы, у меня нет денег, будут, но только попозже... Коротыш смеется. Венгр, что ли? Да, киваю быстро и поворачиваюсь, чтобы уйти: что делать в буфете без денег? Но он не отпускает. Бог с ними, с тридцатью копейками, говорит, пейте за так, пейте на здоровье.

Но это уж слишком. Не могу взять на душу греха чаевничать за счет буфетчика. На счастье, подворачивается один из моих товарищей, побывавший в Советском Союзе в прошлом году и сохранивший на память ровно сорок копеек, и выручает из беды: выкладывает две блестящие монеты по двадцать копеек и протягивает их буфетчику.

Смех, да и только. Из огня да прямо в полымя угодил!

Невеличка, спрятав деньги, наливает стакан чаю уже и моему товарищу.

— Пожалста, пожалста.

— Но у нас ведь только сорок копеек!

— Ничиво, пожалста...

Лучше отойти от стойки подальше. А то он нас за эти два двугривенных колбасой угощать станет.

На углу площади спорят двое парнишек. Говорят по-венгерски[1]. Один утверждает, что на вечерних курсах, на которых он учится, преподаватель руководствуется при оценке знаний исключительно своим настроением. Когда он в духе, ставит хорошую отметку, когда не в духе — плохую. Другому тоже упрямства не занимать: преподаватель прекрасный человек, и он не обязан потакать тому, кто ленится. Спор разгорается, обе стороны пускают в ход все новые и новые аргументы. Подходит седой железнодорожник, некоторое время слушает, потом тоже вступает в дискуссию. И вот уже — как в былые времена на афинской агоре — на площади спорят впятером, превращая ситуацию с выставлением отметок чуть ли не в общественное дело... Явление мелкое, но все же явление. И оно говорит не только о том, что здесь не в обычае держать рот на замке, но и о том, что людям есть дело друг до друга, что им небезразлично многое из того, от чего у нас, в Венгрии, мы порою отмахиваемся, говоря, что, мол, какое нам дело, пусть у других голова болит...

...И чистота. Сверкающая чистота в купе, в коридоре, в туалетных кабинах, повсюду. Не знаю, какими были старые русские поезда. Я в них не ездил. И не знаю, на каком уровне была чистота в царское время. Судя по описаниям великих русских писателей, она была не первостепенной жизненной необходимостью и социальной добродетелью, так сказать, не считалась...

Но сейчас она именно этим и стала: жизненной необходимостью, социальной добродетелью.

И думаю, что мало только замечать, признавать все изменения в этой области за каких-нибудь четыре десятка лет. Им следует удивляться, потому что эта чрезвычайно основательная и чрезвычайно освежающая душу чистота, которая в СССР повсюду тотчас бросается в глаза, поистине необыкновенна. Как ее добились? Какая уйма усилий, какая политика, какая прекрасная агитация, какое терпение при воспитании людей кроется в этих замечательных результатах? Ответить на это с нескольких словах было бы затруднительно. Но факт, что повсюду где бы мы впоследствии ни бывали,— от сельских полустанков, залов ожидания, привокзальных ресторанов, чайных и кончая улицей Горького и пышно позолоченными ложами Большого театра,— повсюду чистота, на все распространяющаяся и всеми соблюдаемая, подобной я еще не видел.

Позднее я смог ближе познакомиться со многими достижениями Октябрьской социалистической революции, поучительными для всего мира. Видел незабываемо красивые новые здания с благородными линиями — такие, какие можно увидеть только здесь. Видел детские сады, которые так и просятся в сказку. Видел в огромном количестве первоклассную технику, начиная с крупнейших новых экскаваторов и кончая точнейшими и сложнейшими научными приборами. Видел в Большом театре спектакль, такое изумительное драматически-оперное представление, которое запомню надолго до мельчайших деталей. Видел и ощущал теплоту семейного очага советского человека.

И все же самым многозначительным и устойчивым из всех впечатлений о Советском Союзе осталась для меня чистота. Двухсотмиллионный народ, не терпящий вокруг себя мусора...

Брянск запечатлелся в моей памяти двумя картинами. Белая скульптура, сверкающая на фоне зеленой листвы: памятник партизанам, павшим в боях с фашистами. И другое воспоминание. Маленькое и трогательно простое. Воспоминание о коренас-

[1] В Закарпатской Украине, где находится Чоп, пограничная железнодорожная станция, первый советский город, куда прибывают поезда из Венгрии, проживает венгерское национальное меньшинство. *(Здесь и далее—прим. перев.)*

том капитане артиллерии, на груди которого мерцал орден Красного Знамени. Имени его не знаю, да черты лица тоже размылись в памяти. Но картина осталась во всех деталях. Капитан артиллерии сидел на скамейке перед зданием брянского вокзала. Он держал на коленях своего двух,- трехлетнего сына, который, разбросав ножки и свесив ручку, глубоко и сладко спал. Капитан левой рукой обнимал мальчика, а правой держал свою фуражку над его лицом, чтобы жаркое утреннее солнце не палило малышу в глаза. По большому вокзалу быстро семенили взад и вперед женщины с корзинками, наполненными всяческой снедью: яблоками, жареными цыплятами, маслом, булочками,— которую они громкими голосами предлагали пассажирам. Но капитан не смотрел ни вправо, ни влево; его прищуренные от солнца глаза неподвижно покоились на сыне, полноватое лицо капитана светилось невыразимой радостью и счастьем. Только рука чуть подрагивала. И тогда я заметил, что на его правом запястье огромный шрам и нет двух пальцев. Наверное, осколок снаряда или гранаты изуродовал руку Кто знает? И этой покалеченной рукой он держал над личиком малыша фуражку. Он мог бы сменить руку, взять фуражку в другую, но тогда бы ему пришлось потревожить своего сына. Мы стояли на брянском вокзале двадцать пять минут. И все эти двадцать пять минут капитан артиллерии даже не шевельнулся. И фуражка над лицом малыша вздрагивала, когда чуть дергалась от напряжения израненная рука...

Кто-то из наших громко восклицает, что до Москвы осталось шестьдесят километров.

Человек десять — пятнадцать уже считают километровые отметки вдоль железнодорожного пути.

Никто не находит себе места. Наперебой болтают восторженные; даже холодные, невозмутимые скептики возбужденно перебегают от окна к окну.

Говорим все сразу. Поминаем башни Кремля, Москву-реку в дугах мостов, старинные здания Кузнецкого моста, широкий асфальтовый поток Охотного ряда, одетые в мрамор станции метро, ржаво-красные гранитные камни, которые Гитлер свез под Москву во время одного из своих приступов безумия, чтобы возвести для себя триумфальную арку после взятия города, и которым москвичи не дали пропасть, а красиво опоясали ими здания на пути к Моссовету и памятнику Долгорукому...

Приближаемся к Москве. Во всех нас живет неистребимая личная память, связывающая каждого с этим городом. Даже тех, кто еще никогда не видел Москвы, а только знает, что она есть: знает, символом чего является этот город в Советском Союзе для нас, венгров, для всех жителей земного шара.

Молодая девушка, венгерская трактористка, не может излить своего возбуждения от ожидания иначе чем в песне: звонко и громко заводит по-венгерски: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва...» Все больше и больше людей подхватывают знакомую мелодию. Пожилой седовласый венгерский академик, всю дорогу казавшийся нам таким сдержанно-неприступным, высунул голову в окно и подпевает. Текста песни он не знает или, по крайней мере, не знает хорошо. Но он знает мелодию и напевает.

Когда мы пили кофе, заметили, что администратор кафе — высокая, стройная женщина лет сорока с мягкими движениями — то и дело посматривала в нашу сторону, едва скрывая свое любопытство. Потом она вышла и вскоре вернулась с немецким экземпляром журнала «За прочный мир, за народную демократию». Встала к нам боком и взяла журнал так, чтобы мы обязательно заметили, что она читает немецкий журнал или хотя бы что она знает немецкий.

Мы вопросительно уставились друг на друга. В самом деле, чего она хочет? На что стремится обратить наше внимание? Но так ни до чего и не смогли додуматься. Когда же расплатились и собрались было уйти, она подошла к нам.

— Извините... вы — немцы?

Мы ответили, что венгры. С виноватой улыбкой она словно искала выход из положения. Ей бы хотелось знать, сказала она, убрали ли уже развалины там, где она была, построены ли новые дома... как живут люди, не сказалась ли война на детях?

Мы подумали, что в Германии у нее, наверное, родственники. Вопрос предназначался не нам, и отвечать на него мы не могли.

Она еще раз попросила извинения, что задержала нас. На прощанье протянула руку. И тогда мы увидели ниже локтя выжженный номер, ужасное клеймо месяцев или лет, проведенных в концентрационном лагере.

Мы молча шли к станции метро, что у Манежной площади.

Уже не раз я убеждался, какое глубокое уважение и искреннюю любовь питают советские люди к другим народам. Но эта женщина? С которой мы столкнулись случайно и только на одну минуту? Она вернулась домой из концентрационного лагеря... Чего она там только не пережила. И она хочет знать, не сказалась ли там война на детях...

Так вот она какая, Москва!

Город широких площадей и крошечных, с ладонь; удивительно прекрасных архитектурных поэм и древних, ветхих домишек; проспектов шириною в двадцать саже-

ней и извилистых узких улочек; великолепных ресторанов и битком набитых закусочных; и памятников, парков, театров, станций метро, изогнутых уличных фонарей и книг. Москва — сама история, настоящее и будущее страны. Облик города кажется немного схожим с поэтической асимметрией православных церквей. Редко можно встретить парнодвуглавые церкви, геометрически правильные основные корпуса у храмов и пристроек, спаренные и счетверенные башни. Пять, семь или девять куполов поблескивают на барабанах самой различной высоты и формы, фундаменты зданий представляют в своей проекции не четырехугольник, и не круг, и не звезду, а нечто совершенно иное. Не поддаются никаким правилам меры и конструкции и всевозможные приделы и пристроечки, как будто строили их не зодчие, а поэты-сказочники. Но попробуй-ка выпрямить ось капризно разбросанных башен и попробуй-ка — конечно только в воображении — воссоздать так называемую гармонию сооружения согласно конструктивным принципам, принятым в других местах и эпохах, тут же выяснится, что ты все испортил, разрушил архитектурное единство здания, его интересную, особенную, художественную гармонию и создал что-то серое, скучное, шаблонное.

Ну, конечно, зодческое искусство не тождественно геометрическим мерам — науке о четырехугольниках, трапециях, параллелограммах и кругах...

Во всяком случае, Москва такова — точнее говоря, и т о л ь к о такова,— какова она есть.

Ты не можешь изъять из нее старое, ибо тогда она перестает быть Москвой. Впрочем же, здесь всегда будут старые улицы, старые дома, старые камни: в городе, растущем и ширящемся захватывающими темпами, быстро становится вчерашним днем то, что еще сегодня считается днем завтрашним...

С любопытством оглядываясь по сторонам, мы идем по маленькой улочке. Один из нас тихо спрашивает — то ли у меня, то ли у себя самого: «А в самом деле, красивая ли Москва, красивее ли, чем Будапешт?» Не знаю, есть ли смысл в подобных сравнениях. Тот город прекрасен, который красив на своем месте, который не может быть нигде, а только там, где расположен, если он настолько своеобразен, настолько неповторим, что даже в эпоху современных зданий, строго функциональных геометрических конструкций и правильных небоскребов сохраняет почерк своих создателей.

Москва очень красива. Красива по-своему. Красив и Будапешт и тоже по-своему. И как красив!

Только здесь, вдали, на расстоянии двух тысяч километров, только вдали от дорогого до боли в сердце Будапешта, с его шумом, движением, с его трамваем номер шесть, его набитыми битком кафе и «эспрессо» — только тогда чувствуешь, как он красив...

Один мой московский знакомый спросил меня: какой город красивее — Москва или Будапешт? Мы быстро пришли к согласию. Он откровенно спросил, я откровенно ответил. Ему больше нравится Москва. Мне — Будапешт.

Вхожу в огромный, очень красиво оборудованный и очень людный гастроном, расположенный на первом этаже гостиницы «Москва». Покупаю шоколад и рассматриваю окружающих. Людей столько, что и здесь надо ждать очереди, ну прямо как в круглосуточном «Кёзэрт» Будапешта. Подходит генерал-полковник. И, как положено, становится в очередь за пожилым туркменом. Присматриваюсь к знакам воинского звания — ведь не так уж и много генерал-полковников, но никакого сомнения: на золотом шитье погонов сверкают три большие звезды. К тому же на груди генерал-полковника еще одна звезда — Золотая Звезда Героя Советского Союза.

Пожилой туркмен поворачивается. Теперь вижу, что на его груди — тоже золотая звезда, звезда Героя Социалистического Труда. Потом туркмен спокойно отворачивается и продолжает стоять на своем месте. Его совершенно не стесняет, что за ним стоит офицер такого высокого ранга, и ему в голову не приходит уступить место в очереди. А генерал-полковнику не приходит в голову опередить старика. Он ждет своей очереди. Когда его обслужили, он встает в очередь в кассу и к упаковочному столу.

Выходим на улицу одновременно. Никакой машины у входа! Генерал-полковник закуривает и размеренным шагом, как ни в чем не бывало, идет к метро. В руках у него раскачивается сверток.

Сдерживая дыхание, входим из наружного сияния во внутреннее, в Оружейную палату Кремля. На самом деле это не оружейная палата, она просто так называется. Судя по всему, это музей. Вы можете найти там и оружие: кольчуги древних русских витязей, богатырей, копья, мечи, панцири,— но огромные сводчатые залы наполнены в основном не оружием, а драгоценностями...

Пока стою посреди зала, мне приходит в голову жвачка, которую десятилетиями жуют буржуазные газеты: как московские коммунисты разбазарили сокровища Кремля, в том числе и коронационные драгоценности. Те, кто это придумал, и сами, конечно, знают, что лгут. И все же лгут безудержно. Не помешало бы ткнуть их головой (насколько можно назвать головой их черепную коробку) в витрину с толстым стеклом, которую я сейчас вижу прямо перед собой и в которой экспонируются коронационные драгоценности. За ней блистает алмазами, драгоценными камнями, коричне-

вой меховой опушкой знаменитая шапка Владимира Мономаха. Тут же великолепно сработанный скипетр, держава, меч и прочие предметы коронации.

Все налицо, в целости и сохранности.

Но, конечно, не в руках царей. И не во владении бояр. И не в сейфах какого-нибудь капиталистического банка.

Думаю, что именно это и причиняет столь большие страдания господам буржуям. Потому-то они и сочинили постоянную сенсацию, потому-то и шумят на протяжении стольких лет.

Вот именно. Ведь если бы они смогли как-то заполучить эти самые «разбазаренные» коронационные драгоценности, то уж наверное бы помалкивали в тряпочку, Вы спрашиваете, почему я так решил? А потому, что здесь, в сокровищнице Кремля, с болью в сердце вспомнил наши сокровища: корону первого венгерского короля Иштвана и золото Национального банка[1], которые у нас украли и теперь хранят по этому поводу гробовое молчание.

Почему же западные газеты не трезвонят, где золотая корона короля Иштвана? И почему преступники не возвращают нашему народу выкраденные сокровища?

Эх, да что спрашивать! Ведь они обирают и свои народы...

Но сокровища Кремля они похитить не смогли. Надежно бережет их Советское государство. И в любой момент может отчитаться перед их законным владельцем — народом.

Перевод с венгерского А. НАУМЕНКО

ЭЛЕН ПАРМЕЛЕН

Франция

Из книги «Тайны Москвы», 1956 г.

ЭЛЕН ПАРМЕЛЕН (род. в 1915 г.) — французская писательница. Автор повести «Подъем к стене» (1950), отмеченной премией Фенеон, документальной повести «Солдатский номер 2078» (1953), посвященной подвигу Анри Мартена, борца против колониальной войны во Вьетнаме, романов «Черным по белому» (1954), «Леонар в ином мире» (1957), «Черная манера» (1970), о событиях в мае—июне 1968 г. во Франции, и других произведений. Известна также как автор критических эссе об изобразительном искусстве.

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ...

Я знала, что приезд мой совпадает с важнейшим периодом в эволюции первого социалистического общества, и мне хотелось за несколько недель разобраться в сумбуре никак не сочетающихся представлений о России, почерпнутых из книг и из современных источников информации; мне хотелось пробить брешь в китайской стене поверхностных туристских впечатлений, увидеть повседневную жизнь и для этого поездить по стране; увидеть тех русских, которых мы знаем, в общем-то, по книгам, музыке, танцам, произведениям искусства, и понять, что же такое русские сегодня.

Меньше чем месяц назад здесь проходил XX съезд Коммунистической партии Советского Союза...

Никогда раньше в Советском Союзе я не бывала.

В первый же вечер я увидела Москву точно в сказке — загадочный город, с непонятной, но прекрасной архитектурой...

Такой она предстала передо мной, покрытая традиционным снегом, которым она всегда окутана в нашем воображении. Снег разукрасил арабесками удивительный памятник, стоящий особняком, в конце Красной площади,— музей-собор Василия Блаженного. Казалось, будто его разноцветные купола, одетые в такие яркие тона, что даже ночь была не в силах притушить их, обвиты золотым дождем, сверкающие гирлянды которого вешают обычно на новогоднюю елку. Вновь позолоченные купола Кремля сияли, словно драгоценности, красные звезды башен подчеркивали их высоту. Перед Мавзолеем сменялся почетный караул...

Мне показывают гигантскую карту СССР. И говорят:

— Выбирайте, товарищ, любой маршрут; единственное, что может вам помешать,— это снег...

Первой моей мыслью было поехать в Самарканд и воплотить мечту всей жизни — побывать в Средней Азии и увидеть гробницу Тамерлана. К счастью (или нет), утро оказалось мудренее вечера, и я, не без колебаний, решила избрать маршрут более разумный для человека, не знающего ничего об этой стране.

Результат превзошел все мои ожидания. Организация поездки, случай и мое, хоть

[1] Вывезены из Венгрии приспешниками Салаши незадолго до Освобождения.

и весьма неполное, знание русского языка оказали мне большую помощь. Повсюду: в самолете и в поезде, на телеге и на пароходе, у рабочих, в Ленинграде или на Волге, у старых революционеров, в высотных домах Москвы и в избах, на черноморских лайнерах и у колхозников Украины, у донских казаков и у крестьян, живущих в песках Азербайджана,— я узнавала правду о том, «что происходит», как принято говорить, в Советском Союзе, и о том, что там происходило всегда.

Я видела неподвижные, укрытые снегом полноводные реки; я видела узкую Москву-реку и несравненную Неву; Волгу, в том самом месте... откуда Михаил Строганов отправился в Сибирь; красавец Нижний Новгород, который сейчас называется городом Горький. Я видела Днепр в Киеве, где лошади тянули рыбацкие сети у подножия холмов, чьи склоны хранят священные пещеры, реликвии и бесчисленные останки монахов. Я видела в Одессе знаменитую лестницу, по которой скатывалась белая смерть — в фильме «Броненосец «Потемкин» и в действительности. Я видела Ростов-на-Дону, тихом, как никогда, под своим ледяным покровом. Я проехала до самого Баку по степям, где скакали джигиты в огромных папахах и пастухи гнали отары овец. Я видела закованное льдом Балтийское море и яростный Каспий, атакующий нефтяные вышки, что вздымаются на высоких опорах; я видела и сказочный город на море, в пяти часах езды от Баку, возникающий из ничего, посреди водного простора.

Какое счастье удостовериться за несколько недель: то, чему мы изумлялись в старой России, оказалось попросту мифом, не считая, правда, волжских бурлаков и тройки; страна, которая развернулась перед нами, оказалась совсем иной, чем мы ее себе представляли; самое современное общество не только уважает тысячи своих традиций, но развивает их, оберегая все, что составляет неизъяснимое очарование русского национального характера.

На следующий день после приезда я заблудилась на московских улицах. Это как раз то, что нужно,— вслушаться в город без всяких посредников.

Огромные проспекты. Огромные улицы. Огромные площади. Где я? Вот фигура, стоящая на постаменте, в ярких пятнах мимозы и тронутой морозом сирени, с охапкой снега в руках — это Пушкин. Каждый день какие-то люди приносят каменному поэту цветы. Случается даже, что в день своего рождения он получает письма,— так в этой стране, где меньше чем сорок лет назад большая часть населения не умела читать, поэты, художники прошлого удостаиваются таких же почестей, как если бы они еще жили.

Что же такое Москва? Огромный, своеобразный город, сердце которого — Красная площадь; полный парков, библиотек, танцевальных залов, лекториев, спортивных площадок. В парке Горького красное зимнее солнце освещает каток. Я провела целый час на маленьком мостике, разглядывая катающихся — молодых и старых, детей и подростков, скользящих парами или в одиночку, со смехом, криками, песнями; то тут, то там вдруг мелькнет какая-нибудь модница, с более длинными, чем у других, волосами, в обтягивающих бедра брюках, и принимает манерные позы. А внизу, под мостиком, течет людской поток: рабочая и студенческая молодежь, очаровательные пары, которые, как мне казалось, походили на Кити и Левина из «Анны Карениной»; то тут, то там раздаются смех, радостные возгласы, удивленные восклицания, на которые так щедры русские женщины и девушки.

Праздновался Женский день. Большой театр блистал золотом, пурпуром, хрусталем. Слова Ленина горели на фоне бархата балконов. По очереди выступали то рабочая, то сельская учительница, то студентка, то колхозница, то актриса. В глубине сцены солдаты, летчики, моряки представляли все рода войск и сменялись в нескончаемом карауле у бархатных знамен, перед которыми сидели руководители женских организаций и все руководители Коммунистической партии.

Пионеры маршем проходили под музыку из зала на сцену, наполняли театр песнями и танцами, пели веселые куплеты с упреками в адрес родителей и пожеланиями правительству (прежде всего они требовали, чтобы по телевидению показывали больше детских фильмов), декламировали... юмористические стихи, в которых не щадили и самих себя, а я время от времени поднимала голову и видела, что все первые ряды лож занимают седовласые женщины, увешанные орденами; они смеялись и аплодировали. «Это старые большевички»,— объяснили мне.

После многих чудесных дней, проведенных в Москве, куда я возвращалась всякий раз после очередной поездки по стране, у меня начало складываться более точное представление как о советской жизни, так и о людях и об их заботах.

Едва только представлялась возможность, я шла в гости к кому-нибудь из москвичей. Я видела прекрасные квартиры и видела другие, где в шести комнатах живут шесть семей. У них общий телефон в коридоре. На кухне — целый парад чайников и обязательный господин в пижаме, который носится по коридору и посылает к черту соседа за то, что тот надел не свою шапку или не свои калоши или плохо вымыл за собой ванну. Я поняла, что значит «коммуналка», обитатели которой с нетерпением ждут получения отдельной квартиры.

Но при этом я видела гигантские стройки, где стрелы подъемных кранов уходят

в небеса. Целые кварталы вырастают из-под земли, вернее, из-под снега, расширяя границы города. Юная Москва новыми каменными громадами и строительными лесами опоясывает старый город. Я видела километры кварталов строящихся домов (не высотных дворцов, а обычных зданий), окружающих деревянные домишки с телевизионными антеннами на крыше, которые ждут окончания строительства, чтобы в свою очередь исчезнуть. Я видела, как возникают новые магазины, улицы, величественные площади; здесь больше, чем где бы то ни было, принято переносить здания, транспортировать больницы (хирург при этом, говорят, продолжает начатую операцию), расчищать пространство, отодвигая метров на двести огромные ансамбли домов, да еще и разворачивая их на несколько десятков градусов...

В Ленинграде столько каналов и маленьких горбатых мостиков, что местами он похож на большой Амстердам. Нева — подо льдом, и по ней еще можно ходить. Восхитительный город раскинулся над замерзшей Невой, по одну сторону которой в туманное небо вздымается игла Петропавловской крепости, по другую находятся площадь Зимнего дворца и Эрмитаж, а далеко вдали — заводы, дым от которых слегка чернит снег на улицах.

Ленинград так сильно пострадал во время войны и блокады, что повсюду видны отстроенные заново здания. В уцелевших старых домах двери некоторых магазинов ниже уровня тротуара, как в Голландии.

В глубокий снег воткнута табличка: «Внимание, тюльпаны!» Снега настолько много, так много льда на Неве, так порывист балтийский ветер, что совершенно непонятно, как под этим снегом выживают в своих луковичках цветы.

Ленинград великолепен, «музеен», у него все основания считаться одним из самых прекрасных городов мира, и в него влюбляешься как во Флоренцию. В Москву же влюбляешься как в Рим. Москва — теплая, а Ленинград — холодный (во всяком случае, таким я его видела). Ленинградцы говорят, что от души любят Москву. А жители Москвы часто и вполне искренне говорят, что предпочитают своему городу Ленинград.

Во дворцах, которые Екатерина дарила своим любовникам, теперь царят дети.

Нижний Новгород ассоциируется у меня с ярмаркой. Нижегородский кремль предстает в пестроте красных колоколенок с зелеными крышами; уступами сбегает он по холмам до самой Волги. Под стенами этой крепости раньше ютились люмпен-пролетарии, трагическую нищету которых описывал Горький.

В этом городе я посетила типичный для старой России дом — дом Горького, стоящий на узенькой улочке, которая круто спускается к Волге. Все или почти все в этом доме сохранено без изменений.

По пути в Сормово находится судостроительный завод, где развертывается действие повести Горького «Мать» и где жил рабочий Заломов (Павел). Путь этот, как говорят, «омыт слезами». По нему уходили в царские времена рекруты.

— Будьте как дома,— сказал мне самый старый в Горьком революционер, товарищ Рыбаков, с зачесанными назад густыми серо-стальными волосами и пышными усами. Его знают и любят во всей стране, и дети пишут ему письма, адресованные «Василию Алексеевичу Рыбакову, старому большевику».

Рабочий из Сормова, в 1905-м он дрался на баррикадах с оружием, тайно изготовленным на заводе

Жена его хлопотала на кухне, готовя праздничный чай. В баррикадных боях 1905-го она была санитаркой. Рыбаков рассказывал мне, как, безоружные или почти безоружные, они сражались с царскими казаками, вооруженными винтовками; как после поражения первой революции он был арестован; как его забрали в царскую армию; наконец, как в 1917-м, он, уже бывалый солдат, стал во главе партизанского отряда, сражавшегося с Колчаком.

В тот вечер я услышала все волжские военные и лирические песни, все песни бурлаков и все революционные песни. Какой чудесный вечер провела я в Нижнем Новгороде!.. Жена Рыбакова принесла небольшую книгу с текстом волжских песен. И они сели рядом, чтобы читать забытые слова. Это было настоящее братство. Слезы застилали мне глаза, когда Рыбаков пел замечательные революционные песни 1905 года.

Одесса для нас — это прежде всего «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна. С каким волнением, стоя на берегу Черного моря, смотрела я на знаменитые ступени лестницы «Потемкина»! Когда мне вручили букет цветов, чтобы я возложила его на могилу Жанны Лябурб — француженки, которая во время революции выступала в Одессе перед французскими моряками с речью в защиту пролетарского интернационализма и была схвачена и расстреляна интервентами, я сохранила половину букета, чтобы отнести его на могилу Григория Вакуленчука, погибшего героя «Броненосца «Потемкина».

Одесса похожа чем-то на Марсель.

Из своего окна я вижу Черное море, которое редко «схватывается» льдом, сады и толлы советских моряков с длинными, развевающимися на ветру ленточками на бескозырках. Вдоль всего пляжа густо, точно шампиньоны, стоят дома отдыха.

Неподалеку от Ростова раскинулся «город казаков» Новочеркасск, где есть замечательный музей.

На первом этаже выставлены экспонаты, повествующие о героической борьбе казаков против царизма и против татар. Тут пушки и кольчуги, подарки Петра Великого донским казакам, эмблемы и сабли атаманов, их одежда и генеральские мундиры, их винные фляги, серебряные трубы времен войны с турками и знамя первого казацкого полка, перешедшего на сторону красных.

А на втором этаже — цифры, схемы, образцы продукции местных заводов, портреты казаков-ударников, фотографии породистых рысаков, самый красивый местный каракуль, донские вина, ростовское шампанское и модели локомотивов, собранных здесь.

Труд в Советском Союзе — это повседневный творческий процесс, и творец там правит всем. Он может быть рабочим на заводе или главным инженером самой мощной гидроэлектростанции, служащим или продавцом в бакалейном магазине, администратором гостиницы или шофером такси. Личная инициатива (и ее немедленное и всеобщее применение) — вот мощный двигатель общественного развития и прогресса, в соответствии с осуществлением решений Коммунистической партии и правительства. Другими словами, созданы благоприятнейшие условия для максимального развития личности.

Расскажу подробнее, как выглядит посещение какого-нибудь завода в СССР. Вы обращаетесь к первому встречному рабочему и с неимоверными трудностями пытаетесь завязать с ним разговор. Обе стороны смущены. Такое впечатление, что нам «не о чем говорить», кроме взаимных любезностей и вопросов, у кого сколько детей. Затем потихоньку начинают подходить и слушать другие рабочие. Мало-помалу беседа оживляется. И вы оказываетесь в центре плотной группы, любопытство которой намного превосходит ваше; работа останавливается, все говорят разом, и вы уходите только тогда, когда вас охватывают (запоздалые) угрызения совести за учиненный беспорядок.

Я нахожусь на крупном заводе по выпуску турбин в Ленинграде.

В дни блокады, когда бывало по восемнадцать — двадцать бомбардировок за сутки, завод производил знаменитые «катюши». Помещения не отапливались. «Прикоснешься голой рукой к металлу, да так и отдерешь его вместе с кожей». Отец, мать, сын работали иногда вместе, в одном цехе; иногда там же и умирали, один за другим, от голода, от холода. Но работа не прекращалась даже во время бомбардировок...

Я хожу по цехам, среди колоссальных турбин. Вот эта группа молодежи вечерами учится в институте. Один, два, десять, тридцать рабочих, которые работают здесь по десять — двадцать лет и являются, как говорят, квалифицированными рабочими, но без нужных технических знаний; слушают курсы по повышению квалификации, созданные специально для них.

— Когда приедете в следующий раз,— говорит смеясь один из них,— и спросите, кто тут инженер,— это буду я.

— Если б заводу не пришлось дважды переключаться на выпуск военной продукции, наши турбины давно уже разлили бы Волгу по бутылкам.— Этот рабочий отметил свой «двадцатипятилетний юбилей», у него на заводе работают дочь и сын; сын учится в вечерней школе, а еще одна дочь кончает университет.

Другой рабочий рассказывает:

— Дед мой работал на заводе. Отец мой работал на заводе. Сам я проработаю тут до ста лет. И сын мой тоже тут, у этой же машины. Он учится на третьем курсе института. А внук мой родится в турбине — шутит он.

Трудно представить себе, до какой степени завод становится родным для людей, которые на нем работают. Все рассказывали мне о свадьбе, которая праздновалась... во время монтажа турбины.

Выходя с завода, я вполне серьезно спросила одного инженера, не будет ли скоро недостатка в рабочих, раз почти все они заканчивают институты...

— Наоборот,— ответил он смеясь,— это будет армия, где на одного солдата придется по сто полковников. В один прекрасный день все солдаты станут полковниками возле своих модернизированных машин...

Мы — далеко от Горького; лесная дорога занесена снегом, а совсем рядом, в чаще, живут еще медведи и серебристые лисы. Нам показывают одно из звеньев цепи волжских электростанций, располагающихся вдоль реки, до самого Сталинграда и Астрахани.

— Волга превратится в огромную водную лестницу,— сказал мне инженер.— И каждая ступень ее станет озером. Причем глубоким — по нему пройдут суда большого водоизмещения. Отсюда будет идти электроэнергия в Горький и Москву...

Горьковскую станцию обслуживают пятнадцать тысяч рабочих.

— Вам не безынтересно будет узнать, что мы уже построили целый город вокруг электростанции,— рассказывали мне. И каждый раз, как создается новая электростанция, рядом располагается какой-нибудь крупный завод.

Автомобильный завод в Горьком — сорок две тысячи рабочих. Почти весь труд автоматизирован. Закладка завода состоялась в 1930 году. В 1932-м он начал, с грехом пополам, выпускать машины по моделям Форда.

В 1930 году здесь была деревня, два ряда изб, грязь и маленький американский заводик, окруженный коттеджами.

В распоряжении русских была лишь земля, полная неосведомленность во всем, что касается производства автомобилей,— да несколько молодых инженеров, прошедших стажировку на заводах Форда. «Американцы, по крайней мере, хоть что-то понимали»,— вздохнув, сказал мне один из пионеров этого завода (который является сейчас заместителем главного редактора «Правды»).

Русские взялись набирать будущих рабочих; приходили крестьяне, в валенках или лаптях, которые очень хотели бы делать все, что нужно, но совершенно ничего не умели. Американцы скептически смотрели на все это. «Перестаньте выбрасывать на ветер миллионы,— говорили они.— Лучше покупайте масло. Как можно создать завод без техники и без рабочих?» Правда, они давали технические советы. Увы, начало было малообещающим. Инженеры-новички и крестьяне в качестве рабочих по неопытности ломали машины. Крестьяне с трудом привыкали к жизни в городских домах; нужно было все строить, всему обучать, тем более что и сам Горький был довольно отсталым городом... Наконец, первые автомобили вышли из стен завода

Эта история типична для периода индустриализации СССР, и особенно ярко она показывает, как меняется советский человек.

А теперь я сажусь в новую «волгу» — пятиместный автомобиль, с четырьмя скоростями и автоматическим их переключением. Рабочие очень гордятся машиной. Конвейер по сборке моторов показался мне недостаточно быстрым. Со мной согласились и добавили, что, несмотря на автоматизацию, производительность еще недостаточно высока. Соревнование между капитализмом и социализмом во многих областях индустрии еще принесет свои плоды.

Дочь одного рабочего, которая изучает французский язык, сказала мне:

— Теперь больше учат английский.

— Где же,— сказала я,— те счастливые времена царей, когда в хорошем обществе так бегло говорили по-французски, что высшим шиком считалось говорить с акцентом по-русски!

— Да, а я в это время плел лапти у себя в избе,— услышала я чей-то голос.

Ростовский завод сельскохозяйственных машин получил орден Ленина «за заслуги в механизации земледелия». После войны завод был восстановлен, и сейчас он выпускает сто тридцать пять — сто сорок машин в день, причем среди них есть огромные комбайны, которые жнут, молотят, вяжут, прессуют и т. д.

Завод имеет свой собственный институт (в производстве занято восемнадцать тысяч рабочих). Конструкторское бюро — сердце завода — создает проекты новых машин, улучшает старые, а кроме того, собирает и претворяет в жизнь «рационализаторские предложения», число которых весьма значительно, ибо исходят они не только от рабочих, но и от крестьян. Все предложения по созданию машин изучаются конструкторами.

Водитель машины предложил новую схему. И вот мне показывают эту машину уже в производстве.

Механик комбайна изобрел новую машину по уборке подсолнечника. Выпустили сотню таких машин.

Завод и его подсобные помещения растянулись на километры; рядами стоят сверкающие выкрашенные в яркие краски машины, похожие на гигантских насекомых. А в дни оккупации хищные птицы вили здесь, в руинах, свои гнезда.

В Азербайджане с довоенного времени число научных работников увеличилось вдвое.

Жена этого шофера такси — врач. А жена того инженера — токарь. Муж этого инженера — токарь. А муж той женщины-шофера — химик.

На нефтеперегонном заводе в Баку я побывала (помимо привычных яслей, Дворца культуры и т. д.) в «ночном» доме отдыха. Рабочий, не возвращаясь домой, в течение двух недель живет там и отдыхает, вечерами и ночью, под наблюдением врача. Советский Союз не только готовит огромное количество инженеров и техников, но и посылает их, так же как и рационализаторов, во все страны народной демократии.

Труд правит всем и оживляет все, к чему прикасается,— это ясно с первой же встречи с представителями тех социальных категорий, которые мы привыкли рассматривать как слои общества, стоящие вне культуры. Но и то, что перед книжными магазинами всегда стоит очередь, что любимые книги (классика) исчезают с такой скоростью, несмотря на внушительные тиражи, что многие не успевают даже взглянуть на них, то, что заводские рабочие знают классику не хуже интеллигенции, то, что персонажи Толстого или Гоголя, Пушкина или Чехова вошли в жизнь наравне с героями Виктора Гюго Бальзака, Анатоля Франса, Дюма и Жюля Верна, то, что князь Андрей Толстого или отец Горио знакомы всем точно так же, как во Франции,— становится понятно после первых нескольких дней, проведенных в Советском Союзе.

Все это отражает огромную просветительскую роль заводов в жизни народа. И не только благодаря заводским культурным учреждениям, не только потому, что предприятия часто располагают билетами на концерты или балеты и даже время от времени снимают весь театр целиком, но и потому, что самая суть труда, перспективы, которые он открывает перед разумом, постоянное поощрение творческого инстинкта, равно как и мысли, требуют нового и нового культурного импульса.

Если кто-нибудь хочет петь или танцевать, читать или играть в пьесе, заниматься камерной, симфонической или народной музыкой, учиться играть на аккордеоне или балалайке, завод предоставляет ему такую возможность.

Если во Дворце культуры обнаруживают талант, об этом сообщают на завод или по месту работы, и певцы, танцовщики, музыканты или актеры отправляются учиться и меняют профессию

Такой путь прошли в СССР очень многие профессиональные артисты.

Завод поощряет призвание и таким образом вносит свою лепту в развитие способностей к музыке театру, танцу, которыми так щедро наделен русский народ. Впрочем, профессиональные актеры и писатели — частые гости в заводских кружках и домах культуры. Там происходят жаркие дискуссии по вопросам искусства и литературы.

Нефтяники, которые работают на бьющих в море скважинах (по восемь человек), держат связь с землей по радио каждые два часа. Добыча нефти не прекращается ни на минуту и идет в три смены. Случается, что Каспий вынуждает людей оставаться в море. Тогда корабли, ведомые отважными мореходами, снабжают их продовольствием. Рабочие нефтяного города, который тоже находится в море, живут там двенадцать дней подряд, а потом восемь проводят на берегу. При этом в море у них есть дома, библиотека, клуб. Летом туда приезжают артисты и дают спектакли прямо посреди Каспия.

Если резюмировать впечатления о жизни интеллигенции в СССР, я бы сказала, что ей очень повезло и что, несмотря на многообразие индивидуальностей, которые сталкиваются там, как и всюду, все то, что в целом питает жизненными соками интеллект, уважение, каким в СССР окружено творчество и умственный труд,— не имеет границ. Это не значит, что не бывает людей непонятых, или что достаточно взять в руки перо, чтобы безбедно жить, или что гений прокладывает себе путь с той же уверенностью, с какой комсомольцы шагают по целинным землям, или что общество не может ошибаться в оценке творчества. Но условия жизни в самой полной мере благоприятствуют творчеству, народ с непомерной жадностью ждет все новых и новых произведений, которые всегда найдут «применение».

Пока я записываю некоторые свои размышления и воспоминания о путешествии, жизнь в Советском Союзе идет своим ходом. Каждый день приносит нам оттуда целый поток новостей.

И никто не сомневается в том, что русские страстно хотят жить в мире. И мы тоже!

Перевод с французского НИНЫ КУДРЯВЦЕВОЙ

(Продолжение следует)

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ

НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

Фрагменты книги

Перевод с польского С. ЛАРИНА

Горизонты Анголы

Рышард Капусцинский приехал в Анголу в качестве корреспондента польского информационного агентства ПАП в середине 1975 года. Он не был новичком на африканской земле, за его плечами были годы работы в Африке. И все же новая открывавшаяся перед ним страна ошеломляла. Она переживала межвременье: рухнула, рассыпалась машина колониального угнетения, а новый государственный аппарат не был создан, борьба за независимость еще не завершена. В столице страны Луанде, в провинции Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА), сплотившее в своих рядах все патриотические силы народа, вело огромную работу, закладывая фундамент будущей республики. Но это дело наталкивалось на колоссальные трудности.

Из прошлого вырастали тысячи сложнейших проблем. Одна из самых страшных — экономическая разруха с ее неизбежными спутниками — голодом и эпидемиями. Все хозяйство страны: банки, торговля, промышленность, плантации сахарного тростника и кофе — находилось в руках португальцев. А они уехали. Что заставляло десятки тысяч людей покидать страну, которая стала их родиной, была родиной их отцов и дедов? Нечистая совесть? Страх? Расизм? Или пример соседа? Наверное, все эти причины действовали одновременно.

Экономика Анголы в результате оказалась на какое-то время полностью парализованной. Из магазинов исчезли товары первой необходимости. Остановились заводы, и тысячи рабочих остались без куска хлеба.

Положение еще больше обострила военная угроза.

«Бог — на небе, Холден Роберто — на земле»,— кричали листовки банд, двигавшихся на Луанду. Воспитанник американских миссионеров, подобранный и пригретый разведслужбами США, Холден Роберто сколотил свои отряды из соплеменников — баконго. Его базы находились на территории Заира. Оттуда направлялись и все действия этого возомнившего себя полубогом авантюриста.

А на юге всплыл некий Жонас Савимби. В африканской печати не раз сообщалось, что он был связан с португальской службой безопасности — ПИДЕ, а позднее — с южноафриканской разведкой. Именно из ЮАР он получал вооружение и деньги для отрядов, в которые вербовались либо загонялись силой уроженцы центральных и южных провинций Анголы.

И Холден Роберто и Жонас Савимби торопились захватить власть в стране до провозглашения ее независимости, намеченного на 11 ноября 1975 года. Видимо, они были убеждены в успехе, ведь за их спиной стояли интересы США. К тому же Заир ввел на ангольскую территорию подразделения своих вооруженных сил. Мощный экспедиционный корпус был направлен в Анголу правительством ЮАР.

С предельной достоверностью воссоздает Рышард Капусцинский тревожную обстановку тех дней. Он описывает исход из Анголы португальцев, натиск банд Холдена Роберто на столицу, напряженные бои в провинции, хаос и неразбериху, царившие повсюду. Выстоит ли МПЛА? Многим в те дни могло показаться, что враги ангольской независимости контролируют развитие событий.

Они заблуждались.

Еще в годы борьбы ангольского народа против португальского колониализма тесные узы солидарности связали его с народами социалистического содружества. Советский Союз, Куба, другие социалистические страны издавна оказывали ангольским патриотам всестороннюю помощь. В тяжелую для Анголы годину она сыграла решающую роль в защите завоеваний народа.

Рышард Капусцинский покинул страну, когда разгром южноафриканских интервентов и реакционных банд только обозначился. Война продолжалась еще долго, лишь 27 марта 1976 года последний отряд экспедиционного корпуса ЮАР был вытеснен с территории республики. Тем не менее, как ни драматичны временами сцены, описываемые журналистом, за их стремительной чередой явственно ощутимо глубокое убеждение автора в том, что ангольский народ выстоит.

Его репортаж — это бесценное историческое свидетельство очевидца. В одном из интервью Рышард Капусцинский говорил, что «ищет в мире самые важные для его будущего события». В далекой африканской стране ему не в первый раз повезло: умный, вдумчивый наблюдатель оказался сопричастен рождению не только нового государства, но больше того — нового общества.

Он следующими словами охарактеризовал свои творческие принципы: «Все, о чем я пишу, я должен сначала увидеть, пережить. Я не мог бы писать о поступках людей, если бы не пережил вместе с ними того же, что пережили они. Это необходимо мне, чтобы быть честным с самим собой». В ангольском репортаже Рышард Капусцинский до конца верен себе.

Прошло менее двух лет со времени рассказанных польским журналистом событий. Ничтожно малый в истории любого народа срок. И все же именно тогда в жизни Анголы определился решающий перелом.

Отстояв независимость, патриотические силы страны приступили к решению огромных задач по восстановлению экономики, занялись созданием государственного аппарата, смогли уделить, наконец, пристальное внимание культурному строительству. Многие из возникавших при этом трудностей были обусловлены тем, что территория Анголы больше территории Италии, Франции и ФРГ, вместе взятых, тогда как население составляет всего 6—7 миллионов человек. В недрах страны уже давно обнаружены нефть, алмазы, железная руда, медь, титан, марганец. Но как поставить все эти богатства на службу народу?

Началась эпоха великого эксперимента, каким всегда является поиск новых идей, выработка нового политического курса. Свое слово сказал народ: рабочие сами восстановили некоторые брошенные хозяевами предприятия, пустили их в ход. Был разработан и начал осуществляться трехлетний план. По решению правительства были национализированы банки, крупные кофейные плантации, морское рыболовство, некоторые отрасли промышленности. В стране были введены бесплатное образование и медицинское обслуживание населения.

Постепенно определился магистральный курс молодого государства — строительство в стране социалистического общества.

Председатель МПЛА, президент Народной Республики Анголы Агостиньо Нето в одном из своих выступлений перечислил главные задачи, встающие в эти дни. Подчеркнув жизненную необходимость обеспечить государственный контроль над средствами производства и сырьевыми ресурсами страны, он назвал главной политической проблемой укрепление МПЛА.

За свою более чем двадцатилетнюю историю эта ведущая организация ангольского народа проделала огромный путь. Она сумела объединить все свободолюбивые силы нации в борьбе против колониального режима и завоевать в глазах народа исключительный авторитет. Однако этому движению были присущи и определенные органические слабости. Они выявились, когда после победы в его ряды хлынули разнородные в социальном и идейном отношении элементы. Чтобы обеспечить надежное политическое руководство страной, потребовалось укрепить организационную структуру партии, четко очертить ее социальную базу.

Работа в этом направлении уже начата. В конце года ожидается созыв съезда МПЛА, на котором будет рассмотрен весь круг вопросов, связанных с перестройкой этой организации.

В октябре 1976 года Агостиньо Нето был с официальным визитом в Советском Союзе. Эта поездка послужила дальнейшему упрочению отношений между двумя стра-

нами. В Кремле состоялось подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРА.

Выступая по возвращении на родину перед курсантами — первыми выпускниками офицерского училища в Уамбо, президент Анголы сказал: «Если мы всегда выделяем помощь Советского Союза и Кубы, то это потому, что она действительно является весьма значительной. Эта помощь служит выражением международной солидарности и пролетарского интернационализма в отношениях между нашими странами».

Сейчас на границах молодого независимого государства неспокойно. Расистские власти ЮАР не примирились с торжеством в Анголе патриотических сил, они продолжают финансировать и вооружать банды отщепенцев, совершающих налеты на территорию Анголы. Тревожно и на границе с Заиром, где нашли приют отряды Холдена Роберто. Это вынуждает ангольский народ сохранять бдительность.

Однако самые тяжелые для страны дни позади. Как говорят сегодня сами ангольцы, борьба продолжается, но победа не вызывает сомнений.

В. ИОРДАНСКИЙ

СОЗРЕВАТЬ ДЛЯ БОРЬБЫ

Команданте [1] Ндози стоит в тени раскидистого мангового дерева, отирая потное лицо. Выиграть сражение — это тоже физическая нагрузка. Все равно как рубка леса. Группе солдат он приказывает похоронить погибших. Своих и чужих можно хоронить вместе, после смерти это никакого значения не имеет. К тому же ангольская пословица гласит: враги на земле — братья на небесах! Ндози интересуется, ушла ли машина с ранеными в Луанду? Нет, не ушла: водитель ждет, когда привезут бензин. Раненые в кузове стонут и молят о помощи. На фронте ни одного врача. Если не подбросят бензин, половина раненых умрет от потери крови. Потом Ндози посылает связного в сторону, где слышна перестрелка, выяснить, стычка ли это с отступающим противником или парни палят в воздух, празднуя победу. У него впечатление, что они впустую расстреливают патроны, которые и так на исходе. Завтра противник ударит, и придется оставить город, так как нечем будет обороняться.

Он говорит, что у них вечно не хватает боеприпасов. Это «вечно» произносится с явным преувеличением. Ведь война в широких масштабах только начинается, и его отряд существует всего лишь с месяц. За плечами у самого Ндози годы партизанской борьбы, но отряд, которым он командует, совсем молод, ему не хватает боевого опыта. Необстрелянный солдат всего боится. Оказавшись на передовой, он думает, что со всех сторон его подстерегает смерть. Что любой выстрел направлен в него. На глаз он не умеет определить ни расстояния, ни направления огня. Поэтому и сам он беспорядочно палит, лишь бы сделать побольше выстрелов, не прекращать огня ни на миг. Такой солдат думает не о том, чтобы успешнее поразить противника,— все его помыслы сосредоточены на стремлении подавить собственный страх. Он мечтает избавиться от этого страха, парализующего все его существо, не дающего возможности ни о чем подумать. Вернее, задуматься над тем, что происходит вокруг, как победить в бою, в котором участвует отряд, ибо ему в этот момент предстоит одержать победу в более серьезной схватке — одолеть терзающий душу страх.

Необстрелянный солдат считает, будто самое главное произвести больше шума. Он палит как сумасшедший, вслепую, потому что речь идет только о шуме, о том, чтобы показать врагу, какая надвигается сила. Это своеобразная форма предостережения, попытка вызвать у противника страх, который оказался бы сильнее, чем наш собственный. И в таком поведении есть своя логика. Потому что враг тоже не приучен к войне, к огню, и, приведенный в замешательство внезапной стрельбой, он отступает, обращается в бегство.

В первые дни войны все сводилось именно к такой демонстрации огня. Редко доходило до непосредственных схваток.

— Однажды случилось так,— рассказывает Ндози,— что мои люди в самом начале сражения расстреляли вхолостую весь запас патронов, а потом с пустыми руками невозможно было наступать. В местечко, которое нам предстояло атаковать, я направил разведчика. Он вернулся и доложил, что там ни души. Враг бежал, и, когда мы входили туда, ни у кого из моих солдат не оказалось ни одного патрона в магазине.

Мы этой войны не хотели! Но Холден Роберто ударил с севера, а Жонас Савимби — с юга. В этой стране война длится пять столетий, с той поры как сюда пришли португальцы. Им требовались невольники для продажи, для отправки в Бразилию, на Карибы, словом, за океан. Из всех африканских стран Ангола поставила туда самое большое число невольников. У половины бразильских, кубинских, доминиканских крестьян предки — выходцы из Анголы. Когда-то Ангола была густонаселенной страной, а по-

[1] Так называли всех командиров в партизанских армиях МПЛА (Ангола) и ПАИГК Гвинея-Бисау. *(Прим. переводчика).*

том обезлюдела, словно по ней прокатилась эпидемия. На протяжении сотен километров ни одной живой души, как в Сахаре. Войны ради захвата невольников были общенародным бедствием. Вожди наших племен наживались на этом. Сильные племена нападали на более слабые, захватывали пленных, направляя их в качестве товара на рынок. Подчас им приходилось так поступать — это служило формой уплаты налогов португальцам. Из поколения в поколение племена жили в постоянном страхе, ненавидя друг друга. Военные походы приходились на засушливую пору: тогда легче передвигаться. Кончался период дождей, и все знали: начинается время недоли, время охоты за людьми. Когда лили дожди и страна утопала в воде и грязи, воцарялось перемирие. Но вожди племен уже вынашивали планы новых войн и новых походов. Обо всем этом люди помнят и поныне, потому что в нашем сознании прошлое занимает бо́льшее место, чем будущее.

Лет десять назад я начал сражаться в отряде команданте Батальи. Это происходило в восточной Анголе. Нам пришлось изучать языки тамошних племен и поступать, следуя их обычаям. Это служило непременным залогом того, чтобы уцелеть, иначе на нас смотрели как на чужаков, явившихся на их землю. А ведь мы все были ангольцами! Но они не знали, что эта страна зовется Анголой. Земля для них кончается за пределами последней деревушки, где люди говорят на понятном им языке. И это граница их мира. А что за его пределами? — спрашивали мы. Там уже другая планета, заселенная нгангвела, то есть нелюдями. Этих нелюдей надо остерегаться, так как их несметные полчища и они говорят на непонятном языке, пользуясь им для сокрытия своих недобрых намерений.

Темнота народа на руку нашим врагам, они платят большие деньги, чтобы война племен длилась без конца. Они подкупили Холдена Роберто, чтобы он из баконго создал ФНЛА. Они подкупили Жонаса Савимби, чтобы овимбунду он завербовал в УНИТА. У нас сотни племен, из которых нам предстоит создать один народ. Сколько времени на это уйдет? Никто не знает. Мы должны отучить людей от ненависти. Когда два незнакомых человека в этой стране встречаются впервые, они вначале разговаривают на дистанции. Иногда переговоры ведутся из укрытия, покуда не выяснится, кто из них кто...

Солдаты, которые вместе со мной,— это парни, мобилизованные прямо на улице и посланные на фронт. Им следовало посещать школу, но школы пришлось закрыть, чтобы создать армию, ведь мы вынуждены защищаться. Войну нам навязали; мы — богатая страна, у нас пять миллионов безграмотных, темных бедняков, которые не умеют обращаться с безоткатной 86-миллиметровкой. Враги думают, что двадцати танков достаточно для того, чтобы по-прежнему владеть нашей нефтью и алмазами, по-прежнему держать нас в ярме. Они застали нас врасплох, у нас необстрелянные солдаты, которым приходится постигать самые «азы» военной науки. Мне жаль этих ребят, им бы сидеть за партой, учиться читать и писать, учиться строить города, лечить людей. А они вынуждены учиться убивать. Им приходится овладевать военными знаниями, чтобы с нашей стороны меньше было бездумной пальбы, а у врага — больше жертв. Есть ли другой выход в этой навязанной нам войне?

Мы в Кашиту, в шестидесяти километрах от Луанды. Сегодня утром мне позвонил команданте Жужу и сказал, что на рассвете был бой за Кашиту и отряд команданте Ндози отбил местечко у ФНЛА: сейчас можно будет туда поехать. Жужу — политический комиссар генштаба армии МПЛА и ежедневно в восемь вечера читает по радио сводку о положении на фронтах в Анголе. Эти сводки звучат патетически, так как Жужу вкладывает в них все свое сердце и все свои чувства...

Когда на фронтах благополучно, сводки Жужу кратки и сдержанны. Факты говорят сами за себя, добрые вести в украшениях не нуждаются. Если же обстановка осложняется и дела приобретают дурной оборот, сводки становятся пространными, витиеватыми, они изобилуют прилагательными: множатся похвалы по собственному адресу и язвительные эпитеты по адресу противника. Я иду по улицам Луанды, и из открытых окон до меня доносится голос Жужу. На таком расстоянии я не разбираю слов, но так как говорит он не более минуты, знаю: все в порядке, они держатся и что-то снова захватили у врага. А вчера я прошел почти половину города, а Жужу все говорил и говорил. Видно, на фронте дела обстоят неважно. Меня сразу охватили тысячи сомнений: выстоят ли они, одержат ли победу?

Жужу — белый анголец, то есть родители его из Португалии, но сам он уроженец Анголы. В МПЛА таких сотни. Они сражаются на фронте, работают в штабе или в административных учреждениях. Все носят бороды. Борода здесь — символ единства; белый бородач — это человек здешний, никто не потребует у него документов, никто не задержит для выяснения личности. Черный говорит ему «камарада» и с уважением относится к нему, потому что белый бородач наверняка выполняет какие-то функции: он или командир отряда, или и того выше. У Жужу борода византийского патриарха: импозантная, по самую грудь. Во всем его облике борода прежде всего бросается в глаза, сам он маленький, щуплый, сутулый, носит большие очки и смахива-

ет на аспиранта кафедры египтологии какого-нибудь из старейших университетов Европы.

При овладении Кашиту командантe Ндози взял в плен сто двадцать солдат ФНЛА, которых Жужу сейчас допрашивает. Их поочередно вызывают под большой каштан, где на ящике из-под боеприпасов (гранаты французского производства, захваченные у противника) сидит политический комиссар Жужу, человек по природе своей мягкий, с каждым пленником он разговаривает вежливо, словно бы извиняясь, а после беседы читает ему мораль, надеясь наставить на путь праведный и в жизни, и в борьбе.

Начинает он с того, что у приведенного на допрос стремится пробудить чувство стыда и сознание своей вины.

— Не стыдно ли вам,— спрашивает политкомиссар,— сражаться в рядах ФНЛА, агентуры империализма?

Мрачный, туповатый баконго, с кожей настолько черной, что она кажется фиолетовой, и с такой толстой губой, что мурашки ходят по спине, потупясь, молчит. Он поправляет на голове окровавленную тряпку — пулей ему оторвало ухо,— вздыхает и, кажется, вот-вот заплачет, но по-прежнему продолжает хранить молчание.

Жужу убеждает, вызывает на разговор, даже пододвигает к нему сигареты, хотя в Анголе это колоссальное богатство — пачка сигарет, даже полпачки, может жизнь спасти.

Наконец, пленный рассказывает, что в Киншасе устраивают облавы на баконго из Анголы и мобилизуют в ФНЛА. Эти облавы проводят солдаты Мобуту. При наличии франков можно откупиться, но у него франков нет: он безработный, его схватили, заставили сражаться. В ФНЛА неплохо: там кормят. Дают маниоку и баранину, а по субботам еще и пиво. Если одерживают победу, платят деньги. Ему участвовать в таком сражении не пришлось. Он ничего не украл, так как от границ Заира до Кашиту все разграблено и разорено начисто. Холдена Роберто он не видел. Читать и писать не умеет. Сегодня утром они попали в окружение, решили сдаться, теперь они здесь. Он никого не убивал.

Жужу приказывает привести следующего... Следующий пленный смахивает на двенадцатилетнего подростка, но утверждает, что ему уже шестнадцать. Он знает, сражаться в ФНЛА — постыдное дело, но ему обещали, что, если пойдет воевать, потом пошлют учиться. А он мечтает закончить школу, чтоб стать художником. Если ему дадут бумагу и карандаш, он сразу же что-нибудь изобразит. Может исполнить чей-нибудь портрет. Будь здесь у него краски, он написал бы картину. Кроме того, он ваятель и хотел бы показать свои скульптуры, оставшиеся в Кармоне. Это — мечта всей его жизни, он хотел бы учиться, ему пообещали, если сначала он отправится на фронт. Ему ясно: получается так — хочешь рисовать, научись сначала убивать, но он не убил никого.

Уже стемнело, когда я вышел к рынку. Вокруг пустые, темные дома с выбитыми стеклами, разграбленные лавки. У колодца какие-то собаки. Беспризорная корова, щиплющая траву.

Фронт.

Рядом мрачная стена буша, а в буше, возможно, те солдаты из ФНЛА, которым без воды долго не выдержать: завтра они сдадутся в плен, чтоб не погибнуть от жажды.

Вымершее местечко, леденящее душу запустение и ночь.

Только в единственном месте, на другом конце рынка, слышны голоса, разговоры, даже смех. Это там, где виднеется маленький, обнесенный бетонной загородкой сквер, с купой деревьев посредине.

Я направился туда, спотыкаясь о камни, гильзы артиллерийских снарядов и брошенный кем-то велосипед.

Внутри вдоль ограды стояли пленные из ФНЛА, те сто двадцать человек, захваченные утром при взятии Кашиту. Снаружи, со стороны улицы и рынка, вдоль ограды часовые из МПЛА. Их десятка полтора.

Пленные и охраняющие оживленно переговаривались: спорили по поводу результатов вчерашнего матча. Вчера, в воскресенье, на стадионе в Луанде «Бенфика» выиграла у «Ферровиариу» со счетом 2 . 1. Команда «Ферровиариу», побеждавшая два года подряд, покинула стадион, освистанная своими же болельщиками. Она проиграла потому, что центральный нападающий, кумир футболистов Шику Горду оставил свой клуб и теперь играет в Португалии, в «Спортинг ди Браге».

— Они могли бы выиграть.

— Нет, не могли.

— Что там Шику Горду! Норберту не хуже его, и все-таки они проиграли!

— Норберту?! Да Норберту и в подметки ему не годится!

Парни спорят, ссорятся, разделенные на две группы, они готовы выцарапать друг другу глаза. При этом линия раздела проходит не по бетонной ограде. У «Ферровиариу» болельщики как среди пленных, так и среди охраняющих. А в противоположном лагере, среди болеющих за команду «Бенфика», у которой сегодня триумфальный успех, точно так же есть и пленники и стража.

Это яростный спор, он полон юношеского азарта, такие споры мы наблюдаем на всем белом свете среди парней, покидающих стадион после решающего матча.

И это хорошо, что можно забыть обо всем!..

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

МЫ ЗАПИРАЕМ ГОРОД

Я три месяца жил в Луанде, в гостинице «Тиволи». Из окна — вид на залив и порт. У причала — несколько торговых судов европейских морских линий. Их капитаны поддерживали радиосвязь с Европой и лучше знали о том, что происходит в Анголе, чем мы, запертые в осажденном городе. Когда по миру разносилась весть, что назревает сражение за Луанду, суда уходили в море и маячили на горизонте. Вместе с ними исчезала и последняя надежда на спасение, так как берегом спастись было невозможно, а слухи о том, что с минуты на минуту противник разбомбит и выведет из строя аэродром, не прекращались. Потом оказывалось, что дата наступления на Луанду передвинута, и суда возвращались в гавань в нескончаемом ожидании погрузки кофе и хлопка.

Передвижение этих судов для меня являлось важным источником информации. Когда залив пустовал, я начинал готовиться к худшему. Я вслушивался, не приближаются ли отзвуки артиллерийской канонады. Я размышлял, какая доля правды в том, что шепотом передавали друг другу португальцы, якобы в городе укрываются две тысячи солдат Холдена Роберто, ждущие только сигнала, чтобы начать резню. Но посреди этих тревог суда снова возвращались в гавань. Неведомых мне моряков я мысленно приветствовал как избавителей: на какое-то время их возвращение служило залогом спокойствия.

В соседнем номере обитала пожилая чета — дон Силва, торговец алмазами, и его жена — дона Эсмеральда, которая умирала от рака. Она доживала последние дни без помощи и надежды, поскольку больницы закрылись, а врачи выехали. Ее тело, сжавшееся от боли, утопало в ворохе подушек. Я боялся заглядывать к ним. Как-то я вошел и спросил, не мешает ли ей по ночам стук моей пишущей машинки. Ее мысль на секунду вырвалась из юдоли муки, всего лишь на миг, только для того, чтобы успеть произнести:

— Нет, Рикарду, мне уже ничто не помешает дойти до конца.

Дон Силва часами слонялся по коридору. Он ругался со всеми, поносил весь мир, затылок бурел у него от дурной крови. Он орал даже на черных, хотя тогда уже все держались с ними предупредительно, а один из наших соседей завел такой обычай: останавливал абсолютно незнакомых африканцев, подавал им руку и униженно кланялся. Решив, что он из-за войны немного тронулся, они торопливо отходили. Дон Силва ждал прихода Холдена Роберто и допытывался у меня, известно ли мне что-нибудь об этом. Вид отплывающих судов наполнял его неописуемой радостью. Он довольно потирал руки, распрямлял спину, обнажая в улыбке вставные зубы. Несмотря на убийственную жару, он неизменно ходил в плотной одежде. В фалды его пиджака были зашиты алмазы. Однажды, когда казалось — ФНЛА уже у порога гостиницы, не в силах сдержать радость, он показал мне горсть прозрачных камешков, которые напоминали мелко толченное стекло. Это были алмазы. В гостинице поговаривали, что Силва носит на себе полумиллионное состояние. Старик порывался бежать со своим богатством, но его удерживала на месте болезнь доны Эсмеральды. Дон Силва опасался, что, если немедленно не уедет, кто-нибудь донесет на него и он лишится своих сокровищ. Он никогда не выходил на улицу и даже хотел вставить дополнительный замок, но все специалисты выехали, в Луанде не нашлось человека, способного это сделать.

Напротив меня жила молодая пара — Артуру и Мария. Он был служащим колониальной компании, она — уравновешенная, молчаливая блондинка с затуманенным, томным взором. Они ждали выезда, но сперва требовалось обменять ангольские деньги на португальские, процедура длилась недели: очереди в банки были километровыми. Наша уборщица, живая, отзывчивая старушка дона Картажина, негодующим шепотом сообщила мне, что Артуру и Мария сожительствуют, то есть живут как негры, как эти безбожники из МПЛА. В ее системе ценностей это была самая низкая ступень деградации и падения белого человека. Дона Картажина тоже ждала прихода Холдена Роберто. Она и понятия не имела, где находятся его войска, и осторожно выведывала у меня новости. Она пыталась также дознаться, хорошо ли я пишу о ФНЛА. И я убеждал ее, что пишу о них с энтузиазмом. Из чувства признательности она всегда доводила мой номер до полного блеска, а когда в городе не было ни капли влаги, приносила — неведомо откуда — бутылку воды.

Мария считала меня безумцем, поскольку я заявил ей, что пробуду в Луанде до 11 ноября, дня провозглашения независимости Анголы. По ее мнению, к тому времени от города камня на камне не останется, он превратится в громадное кладбище, прибежище стервятников и гиен. Я побился с ней об заклад на бутылку вина, что выживу и что мы встретимся в Лиссабоне, в фешенебельной гостинице «Алтиш» 15 ноября в 17 часов. Я несколько запоздал на это свидание, но Мария оставила на мое имя записку, что ждала меня и что завтра уезжает с Артуру в Бразилию.

Подобно нашим вокзалам послевоенной поры, гостиница была забита до предела попеременно то апатичными, то возбужденными толпами и грудами кое-как увязанных узлов. Всюду стоял дур-

ной, кислый запах, здание заполняла липкая, давящая духота. Люди обливались потом от зноя и страха. Доминировало апокалипсическое настроение, ожидание близкой гибели. Один приносил весть о том, что ночью будут бомбить город. Другой сообщал, будто черные в своих кварталах точат ножи и собираются испытать их остроту на глотках португальцев. В любой момент может вспыхнуть восстание. Какое восстание?— допытывался я, чтобы сообщить об этом в Варшаву. Подробностей никто не знал. Восстание — и все, а что за восстание, узнаем, когда начнется.

Слухи изводили всех, выматывали нервы, мешали думать. Город жил в атмосфере истерии, дрожал от страха. Люди не знали, как приноровиться к действительности, которая их теперь окружала. Как ее объяснить и понять. Мужчины постоянно толклись в коридорах гостиницы и проводили штабные совещания. Узколобые прагматики требовали баррикадировать гостиницу на ночь. Те, кто способен был шире смотреть на вещи и мыслить в глобальном масштабе, считали, что необходимо направить телеграмму в ООН с призывом вмешаться. Но проблема, в соответствии с романской традицией, исчерпывалась диспутами.

Вечерами над городом кружил самолет и сбрасывал листовки. Самолет был выкрашен черной краской, без огней и опознавательных знаков. Листовки гласили, что войска Холдена Роберто стоят на подступах к Луанде и готовы вступить в нее хоть завтра. Чтобы облегчить им эту задачу, население призывали убивать всех русских, венгров и поляков, которые командуют отрядами МПЛА и являются зачинщиками настоящей войны и всех несчастий, свалившихся на плечи истерзанного народа. Это происходило в сентябре, когда во всей Анголе я был единственным представителем Восточной Европы. По городу рыскали громилы из ПИДЕ, являлись в гостиницу, выясняли, кто здесь живет. Действовали они с полнейшей безнаказанностью: какая-либо власть в Луанде отсутствовала, а им хотелось рассчитаться за все — за революцию, за утраченную Анголу, за свои загубленные карьеры. Любой стук в дверь для меня мог оказаться роковым. Я старался об этом не думать — единственное спасение в подобной ситуации.

Весь сентябрь я укладывался спать, не зная, что произойдет ночью и на следующий день. Возле меня вертелось несколько типов, я узнавал их по лицам. Мы постоянно сталкивались, не обмениваясь ни единым словом.

Сперва я намеревался бодрствовать, мне не хотелось, чтоб меня захватили во время сна. Но в середине ночи напряжение падало и я засыпал в одежде, в ботинках на широкой кровати, великолепно застланной доной Картажиной.

МПЛА не могла меня защитить: ее люди были далеко, в африканских кварталах, или еще дальше — на фронте. Европейский район, в котором я жил, им в ту пору не принадлежал. Поэтому я предпочитал выезжать в район военных действий, там было безопаснее и надежнее. Но такое случалось редко. Никто, даже представители штаба не могли точно обозначить на карте линию фронта. Не существовало никаких коммуникаций. Изолированные друг от друга, малочисленные отряды необстрелянных, малоопытных партизан возникали то здесь, то там, действуя не по единому плану и замыслу. Эту войну каждый такой отряд вел самостийно, будучи предоставлен самому себе.

Ежедневно в девять вечера отзывалась Варшава. На телексе вспыхивал свет, и аппарат начинал отстукивать: **добрый вечер просим передавать**, или **наконец удалось с вами связаться**, или: **есть что-нибудь сегодня для передачи?** Я отвечал **ОК ОК**[1] и передавал текст депеши. Для меня эти девять часов вечера были самым значительным мгновением суток, ежедневным, повторяющимся переживанием. Я писал каждый день, писал из чисто эгоистических побуждений, я преодолевал внутреннюю инертность и депрессию, чтобы подготовить хотя бы самую краткую информацию и получить связь с Варшавой, ибо это спасало меня от одиночества и ощущения заброшенности. Я начинал дежурить у телекса задолго до девяти. Вспыхивавший свет вызывал у меня тот же энтузиазм, что у человека, заблудившегося в пустыне, возбуждает внезапно обнаруженный источник. Я старался насколько возможно растянуть время этих сеансов. Подробно описывал все сражения. Расспрашивал, какая погода в стране, и жаловался, что я голодаю. Но в конце концов наступал момент, когда Варшава передавала: **слышим хорошо выходим на связь завтра 20 00 бай.бай**,— свет гас, и вновь я оставался наедине со своими думами.

Луанда погибала иначе, нежели наши города в годы войны. Не было ни налетов, ни карательных экспедиций, ни уничтожения квартала за кварталом. Не было кладбищ на улицах и площадях. Я не помню ни одного пожара. Город умирал, как умирает оазис, в котором иссякли источники, он пустел, впадал в оцепенение, погружался в забытье. Но сама агония наступила позже, теперь же повсюду царило лихорадочное оживление. В Луанду стягивались португальцы со всей Анголы. Все спешили, все уезжали. Каждый стремился улететь ближайшим самолетом в Европу, в Америку, куда угодно. Из самых отдаленных уголков прибывали караваны автомашин, набитых людьми и багажом. Зарос-

[1] Все правильно.

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

шие мужчины, помятые и растрепанные женщины, грязные, сонные дети. В пути беженцы объединялись в длинные колонны и так пересекали страну: чем больше людей, тем безопаснее. Сначала они занимали в Луанде гостиницы, но потом места там кончились, и они следовали прямо на аэродром. Возле аэродрома образовался город кочевников, без улиц и домов. Люди жили под открытым небом, вечно мокрые, так как шли беспрерывные дожди. Жили они теперь хуже, чем черные в африканском районе по соседству с аэродромом, но реагировали на это апатично, с мрачной отрешенностью, не зная, кого проклинать за злосчастную судьбу: Салазар уже умер, Каэтано сбежал в Бразилию, правительства в Лиссабоне непрестанно менялись. Корили революцию· дескать, раньше царило спокойствие. Теперешнее правительство пообещало черным свободу, а те передрались между собою, стреляют и убивают друг друга. Им не под силу управлять страной. Много ли черному надо: выпил, а потом целый день дрыхнет. Навешает на себя бус и разгуливает довольный. Работа? Здесь никто не работает. Они живут. как жили сто лет назад!..

Люди спят на узлах, прикрывшись полиэтиленовой пленкой — дождь сыплет и сыплет; люди размышляют, взвешивают все за и против. Подчас в этой отринутой толпе вспыхивает искра бунта. Женщины набрасываются на солдат, назначенных для поддержания порядка, а мужчины пытаются захватить самолет, чтобы мир узнал, до какого отчаяния их довели. Никому не известно, когда и куда улетят они отсюда. Царит вселенский хаос. Организовать португальцев трудно, все они ярые индивидуалисты, натуры, не способные жить в тесноте, в общей массе...

Предстоит перебросить по воздуху на другой край света полмиллиона беженцев. История не знает операций такого масштаба.

Всем известно, почему они хотят уехать. Они знают, что в сентябре как-нибудь просуществуют в октябре станет значительно хуже, ноября не переживет никто. Откуда подобные сведения? «Чем спрашивать о таких вещах, вы прежде подумали бы! Я прожил здесь двадцать восемь лет и могу об этой стране кое-что рассказать. Вы знаете, что я здесь заработал? Я сделался владельцем подержанного такси, которое бросил прямо посреди улицы».

Люди бежали как перед надвигающейся эпидемией, как перед моровым поветрием, которое неразличимо, но которое несет смерть. Потом налетит ветер и песок засыплет следы последнего человека.

Ты этому веришь?— спрашивал я Артуру. Артуру не верит, но предпочитает уехать. А вы, дона Картажина, вы этому верите? Да, дона Картажина убеждена в этом. Если мы останемся до ноября, мы погибнем. Тут старушка энергичным жестом проводит пальцем по горлу, на котором ее ноготь оставляет красноватый след.

Разные вещи происходили до того, как город был заперт и обречен на гибель. Подобно тому, как к больному в минуту агонии внезапно возвращаются на секунду бодрость и силы, так в конце сентября жизнь в Луанде приобрела особый темперамент и ритм. Тротуары были запружены, на улицах возникали пробки. Люди суетились, взволнованные, спешили, утрясали тысячи дел. Только бы убраться поскорее, уехать прежде, нежели первая волна морового поветрия ворвется в город.

Ангола их не интересовала.

Они были сыты по горло этой страной, которая должна была стать их землей обетованной, а приносит сплошные разочарования и унижения. Со своим африканским домом они расставались со смешанными чувствами отчаяния и злобы, сожаления и бессилия, с ощущением, что уезжают навсегда. Они жаждали одного — живыми выбраться отсюда, сохранив свое добро.

Все были заняты сколачиванием ящиков. Навезли горы досок и фанеры. Подскочили цены на молотки и гвозди. Ящики сделались главной темой разговоров — как их сколачивать и как лучше всего укреплять. Появились самозваные специалисты — доморощенные мастера ящичного дела, ящичные стили, школы. направления. Внутри Луанды, возведенной из бетона и кирпича, начал возникать новый, деревянный город. Я ходил теперь по улицам как по грандиозной строительной площадке. Некоторые ящики достигали размеров дачных домиков, потому что неожиданно выявилась ящичная шкала престижа — чем богаче оказывался владелец, тем больший сколачивался ящик. Импозантно выглядели ящики миллионеров — с балочными перекрытиями, обитые изнутри парусным полотном, их стенки имели солидный, элегантный вид; ящики изготовлялись из самых ценных пород тропических деревьев с настолько великолепно пригнанными и столь тщательно отполированными досками, что напоминали античную мебель...

Ящики бедного люда несравнимо хуже. Прежде всего они меньше, а часто просто малы и невзрачны. Они не могут претендовать на знак качества, поскольку на их изготовление затрачен минимум рабочего времени. В противовес богачам, которые способны нанять мастеров-краснодеревщиков, беднота вынуждена сколачивать ящики собственными руками. Материалом служат обрезки досок, кривые балки, разбухшая фанера, все деревянные отходы, какие можно получить за гроши на третьеразрядном складе.

Постройка деревянного города, города ящиков, продолжается целыми днями, с рассвета до сумерек. Трудятся все, под

проливным дождем и палящим солнцем, даже миллионеры, если они способны к физическому труду, принимаются за дело. Воодушевление взрослых передается и детям. Они тоже сбивают себе ящики для кукол и игрушек. Упаковка вещей совершается под покровом ночи. Так надежнее, потому что тогда никто не сунет нос в чужие дела, никто не будет подсчитывать, кто сколько и чего вывозит, а известно, что вокруг вертится уйма таких, которые выслуживаются перед МПЛА и хотели бы донести.

Итак, по ночам, в самую темную пору, содержимое каменного города перемещается внутрь деревянного. Это достигается ценой тяжелых усилий и пролитого пота, беготни и хлопот, ломоты в руках от возни с багажом, боли в коленях от уминания вещей, ибо все должно уместиться, ведь каменный город огромен, а деревянный — невелик.

Постепенно из ночи в ночь богатства каменного города поубавились с пользой для деревянного. Постепенно менялся и образ мыслей самих людей. Люди перестали думать в категориях дома, квартиры, они рассуждали только о ящиках. Вместо того чтобы сказать: «Мне пора пойти поглядеть, что происходит дома», говорили: «Как-то там мой ящик?» Это было единственное, что продолжало их занимать и волновать. Луанда, которую они покидали, для них превращалась в искусственный и посторонний макет, в сцену, застроенную, но опустевшую, как после закончившегося представления.

Такого города мне еще не доводилось видеть, и, может, я уже больше никогда не увижу. Он просуществовал с месяц и вдруг начал таять. Вернее, квартал за кварталом был на грузовиках доставлен в порт. Теперь он разместился на самом берегу моря, освещаемый по ночам портовыми фонарями и огнями стоящих на рейде кораблей. Днем на его беспорядочных улочках сновали люди, малевавшие на дощечках свои фамилии и адреса, как это делается повсюду, если кто-то построит дом Можно было бы вообразить, что это взаправдашний деревянный город, всего лишь запертый своими обитателями, которым по непонятным причинам пришлось в спешке его покинуть.

А потом, когда в каменном городе стало уж вовсе невмоготу и мы, горстка его жителей, как обреченные, ждали гибели, деревянный город уплыл по морю. Его унес большой флот, и через несколько часов он вместе с ним исчез за горизонтом Это произошло так внезапно, словно в порт ворвалась пиратская флотилия, похитила бесценное сокровище и скрылась в морских просторах.

И все же я успел увидеть, как уплывает город. На рассвете он еще покачивался у берега, беспорядочно сгрудившись, обезлюдевший, безжизненный, как превращенный в музей город древнего Востока после ухода оттуда последней экскурсии. В этот час было туманно и прохладно. Я стоял на берегу вместе с группой ангольских солдат и толпой черных оборванных и озябших детей.

— Все у нас забрали,— произнес один из солдат, скорее беззлобно, и принялся разрезать ананас: плоды эти, почти все настолько перезревшие, что при надрезе сок из них лил как вода из кружки, служили тогда единственной нашей пищей.— Все у нас забрали,— повторил он и погрузил свою физиономию в золотистую пиалу плода. Беспризорные портовые дети взирали на него алчными, восхищенными глазами. Солдат поднял вымазанное соком лицо, усмехнулся и добавил: — Зато у нас теперь есть дом. Мы своего добились.— Он встал и, обрадованный мыслью, что Ангола теперь принадлежит ему, выпустил в воздух очередь из автомата. Отозвались сирены, их звуки вырвались и покатились над водой, город дрогнул и медленно отвалил от берега...

А теперь деревянный город пересекал воды Атлантики, сотрясаемые стремительной штормовой волной. Где-то посреди океана он распался: первая (бо́льшая) его часть поплыла в Лиссабон, вторая — в Рио-де-Жанейро, а третья — в Кейптаун. Все они благополучно достигли мест своего назначения. Я знаю об этом из различных источников. Мария писала мне, что ее ящики уже в Бразилии, а ведь они были частицей деревянного города. О том, что другая его часть счастливо достигла Кейптауна, сообщалось во многих газетах. А теперь о том, что я видел сам. Выехав из Луанды, я оказался в Лиссабоне. Мой коллега вез меня на машине по широкой улице над устьем Тажу. близ порта. И вдруг я увидел фантастическое нагромождение ящиков, достигавшее рискованной высоты, заброшенных, недвижимых, как бы ничейных. Это был крупнейший район Луанды, прибывший к берегам Европы.

Но в те дни, когда к постройке деревянного города только приступили, больше всего забот было у торговцев. Что сделать со всей массой разного рода товаров, которые заполняли склады вплоть до затянутых паутиной крыш? Никто не в состоянии представить себе такого ящика, в котором уместилось бы все, что вмещали склады основного поставщика оптовых товаров в Луанде дона Каштру Соременью-и-Соза. А другие оптовики? А многотысячный клан более мелких торговцев?

Вдобавок импортеры вели себя так, словно у них винтика в голове не хватало. Европейские фирмы (неужели там никто не читает газет?) шлют в Луанду давно заказанные товары, не обращая внимания на то, что Ангола охвачена пламенем военного пожара. Кому теперь нужно комплексное оборудование для

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

ванной (цвета: розовый, светло-сиреневый, голубой, может быть, слишком яркий), присланное вчера из Гамбурга фирмой «Кёниг и сыновья»?.. Как в насмешку, из Марселя поступает крупная партия инсектицидных опрыскивателей, заказанная владельцами кофейных плантаций, тех самых, которые как раз дерутся за места на самолет, отправляющийся в Европу.

Дон Урбану Тавариш, владелец ювелирного магазина на центральной улице, несмотря на бушующие вокруг страсти, может быть доволен. Сделавшись ювелиром много лет назад, он угодил в «десятку»: на золото всегда спрос, а то, что останется, без труда уместится в ручной клади. В его заведении сейчас наблюдается заметное оживление. Но спрос не только на золото. В первую очередь люди бросаются в продовольственные магазины, а с продуктами все туже и туже. Толчея и давка в магазинах готового платья, в обувных лавках. Хорошим сбытом пользуются часы и транзисторы, косметика и лекарства. Все это удобные и легкие вещи, которые могут оказаться полезными на новом жизненном пути там, в заморских краях.

Грустное впечатление остается от посещения книжного магазина на улице Ларгу ду Португал. Там пусто. Пыль серым налетом покрывает старый прилавок. Ни одного покупателя. У кого теперь книги в голове? Солдаты давно скупили последние порнографические издания и увезли их на фронт. То, что осталось — штабеля произведений классической литературы вперемежку с посредственным чтивом,— никого не интересует. Труженики пера могут получить здесь наглядный урок скромности. Бессмертный шедевр или пустенький роман одинаково обременительны для беженцев по самой простой причине: бумага слишком тяжела.

В магазине с благочестивой вывеской «Gruz de Cristo» [1] тоже пусто. Специализация заведения — продажа и прокат свадебных платьев. Владелица, дона Аманда, часами просиживает недвижимо, в бездействии посреди толпы столь же неподвижных манекенов, молчаливых, завороженных незримой волшебницей. Платьев — как на коллективных свадьбах, доныне практикуемых в Мексике. Все они белоснежные, до самой земли, но каждое скроено по-иному, каждое великолепно в своем барочном богатстве оборок и кружев. На что надеется владелица салона, дона Аманда? Достаточно взглянуть сквозь витрину на ее поникшее, хмурое лицо. Времена радости и свадеб миновали, и дона Аманда осталась в окружении ненужных реквизитов той эпохи, которая угасла.

Больше посчастливилось, если это подходящее слово (в чем я не уверен), дону Франсишку Амаралу Рейшу, владельцу мастерской «Caminho ao Ceu» [1], деликатно укрытой в боковой улочке на краю центрального городского района. Его продукция: гробы, кладбищенские кресты, искусственные венки и другие похоронные принадлежности. В эти дни много смертей, поскольку чувства страха, безнадежности, отчаяния сводят людей в могилу...

Я повествую о людях, с которыми познакомила меня дона Картажина. Старушка являлась добрым гением гостиницы, стремилась уладить все проблемы. Она была единственной, кто проявлял интерес к платьям доны Аманды, так как ей грезилась свадьба Марии и Артуру. С доном Франсишку она повздорила по поводу последних услуг, какие потребовалось оказать доне Эсмералде, уже не приходившей в сознание. Мы похоронили ее на кладбище, расположенном на крутом и столь белом откосе у моря, что кажется, будто он покрыт вечными снегами... На следующий день уехал дон Силва, исстрадавшийся скопидом, в своем костюме, начиненном алмазами. Потом я проводил на аэродром Марию и Артуру.

Теперь прибывало по нескольку самолетов ежедневно — французских, португальских, советских, итальянских. Пилоты выходили из машин, оглядывали аэродром Я взирал на них с удивлением, думая о том, что еще несколько часов назад они находились в Европе. Я взирал на них как на людей с другой планеты. Европа — это был отдаленный, нереальный пункт в галактике воображения. Вечером они улетали, отяжелевшие машины катили по взлетной полосе, с трудом набирали высоту и исчезали среди звезд... Город с каждым днем все больше пустел.

В это время кто-то принес в гостиницу весть, что выехали все полицейские. Луанда — единственный город на свете — существовала без полиции. Каждый, оказавшись в подобном положении, испытывает странное чувство. С одной стороны, ему легко и свободно, с другой — он ощущает некоторое беспокойство. Горсточка белых, которая здесь еще блуждала, встретила эту весть с ужасом. Разнесся слух, что черные кварталы ринутся на каменный город...

Исчезли все пожарники! Никто уже не спасет город от пожара. Сначала люди не могли поверить в то, что пожарники покинули свой пост, но имели возможность удостовериться в этом, побывав в центральном пожарном депо на приморском бульваре. Ворота были распахнуты настежь. В глубине замерли громадные (красные с золотом) машины, высились лестницы и насосы. На полках сияли медные каски. И ни единой живой души.

Пропали мусорщики! Сперва на это никто и внимания не обратил. Город был

[1] «Крест Христа» *(португ.)*.

[1] «Дорога в небеса» *(португ.)*.

грязный, запущенный, и людям казалось, что мусорщики уже давно исчезли. Тем временем выяснилось, что Это произошло только вчера. И вдруг непонятно откуда начали расти груды отбросов. Ведь осталась только горстка жителей, которые вдобавок пребывали в такой апатии и бездействии, что их невозможно было заподозрить в возведении мусорных куч. Однако же они продолжали расти на улицах опустевшего города. Они появились на лестницах, на мостовых, на площадях. В подъездах каменных зданий и на вымерших рынках.

Потом, когда исчезли все пекари, электрики, почтальоны и дворники, каменный город утратил самый смысл своего существования.

Только собаки еще продолжали жить. Это были домашние псы, брошенные своими в панике бежавшими хозяевами. Встречались беспризорные собаки самых разнообразных пород — боксеры, бульдоги, борзые и доберманы, таксы и пинчеры, спаниели, даже скоч-терьеры, доги, мопсы и пудели. Покинутые, запущенные, они бродили большой стаей в поисках пищи. Пока оставались португальские воинские части, эта несметная собачья орава каждое утро собиралась на площади возле здания генерального штаба, где часовые кормили их консервами из солдатских пайков армий НАТО. Создавалось впечатление, будто присутствуешь на всемирной выставке породистых собак...

После ухода воинских частей собаки начали голодать и терять в весе. Какое-то время они шныряли беспорядочной стаей по помойкам в безуспешных поисках еды. Но однажды они исчезли.

Можно полагать, что у собак появился энергичный вожак, который увел стаю из умирающего города.

После исчезновения оравы псов город погрузился в окончательное оцепенение. Я же решил отправиться на фронт.

ФРОНТОВЫЕ СЦЕНЫ

Уже давно я совершаю прогулки в генеральный штаб за пропуском на Южный фронт. Без пропуска передвигаться по стране невозможно — на дорогах установлены контрольно-пропускные пункты, которые проверяют документы у путешественников.

На важных магистралях, там, где выставлены посты высокого ранга, шоссе перекрыто ярким, издали различимым шлагбаумом. Но так как процветает самодеятельность и ощутима нехватка материалов, каждый устраивается, как может.

Наиболее изобретательными оказались люди на контрольно-пропускном пункте в Мулондо. Из придорожной корчмы, покинутой владельцем-португальцем, они выволокли на середину шоссе двухъярусный буфет, выполненный в виде гигантского триптиха, с вмонтированным в центре подвижным хрустальным зеркалом. Манипулируя этим зеркалом так, чтобы оно отражало солнечный свет, они ослепляли водителей, которые, не решаясь продолжать движение, тормозили на значительном расстоянии и пешком направлялись к контрольно-пропускному пункту, чтобы объяснить, кто они и куда держат путь.

Каждая встреча с контрольно-пропускным пунктом слагается из: а) пояснительной части, б) переговоров, в) дружественной беседы. К контрольно-пропускному пункту следует подъезжать не спеша и останавливаться на приличном расстоянии. Всякое резкое торможение и скрип покрышек — это крайне дурное вступление, постовым не по душе подобные демонстрации. Покинув машину, мы подходим к месту, где дорогу перекрывает шлагбаум, бочка из-под бензина, груда камней, ствол дерева или буфет. Если это происходит в прифронтовой зоне, наши ноги будут подгибаться от страха, а сердце подкатывать к самому горлу. Ведь нам неизвестно, чей это контрольно-пропускной пункт: МПЛА, ФНЛА или УНИТА ..

Теперь наступает самый драматический момент встречи — обоюдное знакомство. Чтобы уяснить смысл этой сцены, нам следует помнить, что армии, сражающиеся друг с другом, одинаково одеты (или не одеты) и что огромные пространства страны — ничейная территория, куда углубляются то одни, то другие, друзья и враги, выставляя свои контрольно-пропускные пункты. Поэтому поначалу мы не знаем, кто же те, что вышли к нам из укрытий, и как они намерены с нами поступить.

Если постовые — люди Агостиньо Нето, которые здороваются, употребляя слово «камарада», мы будем жить! Но если они окажутся приверженцами Холдена Роберто или Жонаса Савимбы, которые при обращении друг к другу пользуются словом «ирмау» (брат), мы завершим наше земное существование. Через минуту нас погонят рыть собственную могилу. Возле старых, оседлых контрольно-пропускных пунктов возникают кладбища тех, кому не повезло, кто приветствовал постовых не тем обращением, каким следовало.

Странствуя подобным образом от одного контрольно-пропускного пункта к другому в попеременной смене страхов и радостей, я добрался до Бенгелы. От Луан-

---

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ
НЕМНОГО ОБ АНГОЛЕ

ды до Бенгелы шестьсот километров пути по пустынным, плоским и невыразительным местам. Серый и однообразный пейзаж образует случайный конгломерат камней, сухих, спутанных кустов, грязного песка и поломанных дорожных указателей. В дождливую пору тучи клубятся здесь у самой земли, ливни длятся часами, и в воздухе так мало света, словно бы дня и вовсе не было, а только сплошные сумерки да ночь. Даже в жару, несмотря на обилие солнца, ландшафт напоминает покинутое пожарище, он пепельного цвета, мертвый и неприглядный. Люди, которые вынуждены ехать этой дорогой, спешат побыстрее преодолеть непривлекательные места и с облегчением добраться до конечной цели путешествия, до оазиса. Луанда — это оазис, Бенгела — тоже оазис в той пустыне, которая простирается вдоль побережья Анголы.

Бенгела — сонный, почти безлюдный городок, дремлющий в тени акаций, пальм и киперсолей. Кварталы вилл пусты, запертые на замок дома утопают в цветах. Неописуемая роскошь квартир, излишки жилой площади таковы, что голова идет кругом, перед воротами на улицах брошенные автомашины: «шевроле», «альфа-ромео», «ягуары» — кажется, на ходу, хотя никто и не пытается поехать на них. А рядом, сотней метров далее, сплошная пустыня, в этой местности — белая и блестящая, как горы соли, без единой травинки и деревца, без всякой надежды на растительность. Здесь раскинулись африканские кварталы: душные и приземистые домишки, кое-как слепленные из глины и навоза, сколоченные из фанеры и жести, густо забитые людьми. Хотя эти два мира — комфорта и нищеты — соседствуют, никто не охраняет богатые европейские кварталы, черные обитатели мазанок не стремятся их захватить. Подобная мысль просто никому не приходит в голову. Это, вероятно, лучшее объяснение их пассивности, ибо такие вещи, как угрызения совести или опасения, что, вернувшись, белые начнут мстить, принимать в расчет не следует.

Какое-то время я шел по самой границе двух кварталов, а потом свернул к центру городка. Я разыскал маленькую улочку, где в просторной двухэтажной вилле размещался штаб Центрального фронта. У калитки, издавая стоны, сидел часовой, с физиономией, чудовищно распухшей от воспаления надкостницы, он сдавливал голову руками, скорее всего из опасения, что через минуту она у него лопнет. С этим страдальцем объясняться было невозможно, для него в данный момент ничего на свете не существовало. Я открыл калитку. В саду в тени пылающих бугенвиллей на клумбах валялись ящики с боеприпасами, минометные стволы и груды солдатских фляг. Далее, на веранде и в холле, вповалку спали бойцы. Я поднялся на второй этаж и открыл первую с краю дверь. В комнате стоял один только стол, за которым сидел белый, крепкого сложения, крупный мужчина.

Это был команданте Монти, командующий фронтом.

Он сидел и отстукивал на машинке рапорт в Луанду о нехватке людей и оружия. Единственный бронетранспортер, каким они располагали, вчера подбит наемниками. Если теперь неприятель возобновит наступление при поддержке бронетранспортеров, им придется оставить этот район. Монти прочел рекомендательное письмо, привезенное мной, попросил меня присесть на подоконник, потому что стульев не было, и продолжал печатать. Через четверть часа на ступеньках послышались шаги и вошли четверо, группа с Лиссабонского телевидения, они прибыли сюда на два дня, а потом возвращаются своим самолетом в Португалию. Руководителем группы оказался Луиш Алберту, энергичный, подвижной мулат, решительный и мужественный. Мы сразу же подружились. Монти и Алберту знали друг друга давно, оба были из Анголы, чуть ли даже не отсюда, из Бенгелы. Не приходилось, следовательно, тратить время на взаимное знакомство и представление.

Алберту и я хотели ехать на фронт, а остальная группа противилась этому. Остальная группа — то есть Карвалью, Фернандеш и Барбоза заявили, что у них жены и дети, что они начали строить одноквартирные домики под Лиссабоном (в действительно очаровательном месте возле Каскайш) и поэтому вовсе не собираются погибать в этой сумасшедшей, бессмысленной войне, в которой никому ничего не известно, где противники не в состоянии опознать друг друга до последней минуты и где можно погибнуть, даже не участвуя в борьбе, просто из-за дикой неразберихи...

Словом, заявили, что хотят жить.

Разгорелась дискуссия, которую так обожают представители романских народов. Алберту прибег в этом споре к тому аргументу, что они отснимут много пленки и заработают уйму столь необходимых им денег. Но успокоил их только Монти, который сказал, что в эту пору (близился полдень) на фронте не сражаются. И дал самое естественное объяснение:

— Ужасно жарко!

За окном ощущалось перемещение воздуха, напоминавшего раскаленное железо, и каждое движение требовало усилий. Мы стали готовиться в дорогу. Монти спустился вниз, разбудил одного из бойцов и послал его куда-то в город, где находились водители. Прибыли «ситроен»-ДС и «форд-мустанг». Монти хотелось сделать нам приятное, и он назначил нам в качестве охраны девушку-солдата по имени Карлотта.

(Окончание следует)

◆

РУМЫНСКАЯ ЭПИГРАММА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

■

Перевод с румынского МИХАИЛА ХАЗИНА

АРОН ДЕНСУСИАНУ

1838—1900

УТЕШЕНИЕ ДРАМАТУРГУ

Тебя не освистал народ,
Ты публикой почти что признан...
Когда зеваешь во весь рот,
Тогда, конечно, не до свиста.

Й. Л. КАРАДЖАЛЕ

1852—1912

СВЕРХНАЧИТАННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Взгляните на этого человека.
В голове его — целая библиотека.
Горы книг, ворох идей.
Библиотекаря бы ей.

Д. ТЕЛЕОР (Д. КОНСТАНТИНЕСКУ)

1858—1920

ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Мне твои знакомы ритмы.
Издан труд? Хвала и честь.
Можешь смело подарить мне:
Обещаю... не прочесть.

КОНСТАНТИН РЫУЛЕЦ

1882—1966

НЕДРУГУ

В его душе захламлено и пусто.
А я его героем называю.
Поистине, способно лишь искусство
Героя сотворить из негодяя.

ШТЕФАН ИВАНОВИЧ-ТЕРЕНЦИУ

1884—1967

ЗЛОБСТВУЮЩЕМУ СОБРАТУ

У тебя, брат, никогда я
Не заимствовал стихи.
Что ж меня ты обвиняешь
В сочиненье чепухи?

Г. ТОПЫРЧАНУ

1886—1937

ДРУГУ-СКРИПАЧУ

Да, в мире яростном подлунном
Любой свою тропу торит.
Один скрипит смычком по струнам,
Другой своим пером скрипит.

АУРЕЛИАН ПЭУНЕСКУ

Род. в 1894 г.

ПРИЯТЕЛЮ, ПОСАДИВШЕМУ ВИНОГРАДНИК НА НЕФТЕНОСНОМ УЧАСТКЕ

Мудрость эта известна давно:
Взрасти виноградник — и пей вино.
А мой знакомый, чудак один,
Посадил виноградник — и пьет керосин.

ЭУДЖЕНИУ ПЕТРОВАНУ

Род. в 1898 г.

НАШИ ЛЕСА

Живет ими разный народ —
Корчует, растит, вырубает...
Так много зверья в них живет,
А сами леса... вымирают.

ФЛОРИН ИОРДЭКЕСКУ

Род. в 1899 г.

ТРУБКА ЮМОРИСТА

Не без сочувствия и пристально
Смотрю, как трубку он сосет...
Лишь в этой трубке, в ней единственной
Порою искорка сверкнет.

Н. КРЕВЕДИА

Род. в 1902 г.

ПОЭТ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Ни кола у меня, ни двора.
Но мечтанья бездомного сбудутся
И наступит такая пора —
Назовут моим именем улицу.

И. С. БОГЗА

Род. в 1905 г.

ОВСЯНЫЙ КОФЕ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

На праздник или в день рождения
Овсяным кофе угощали.
И мы тогда от наслаждения
Ржали.

МИРЧА ПАВЕЛЕСКУ

Род. в 1908 г.

УГРЮМЫЙ КРИТИК

Навстречу — критик. Руку мне пожал он.
«Погода хороша»,— промолвил и пошел.
Вот это да! Впервые он, пожалуй,
О чем-то отозвался хорошо.

МИРЧА ТРЫФУ

Род. в 1925 г.

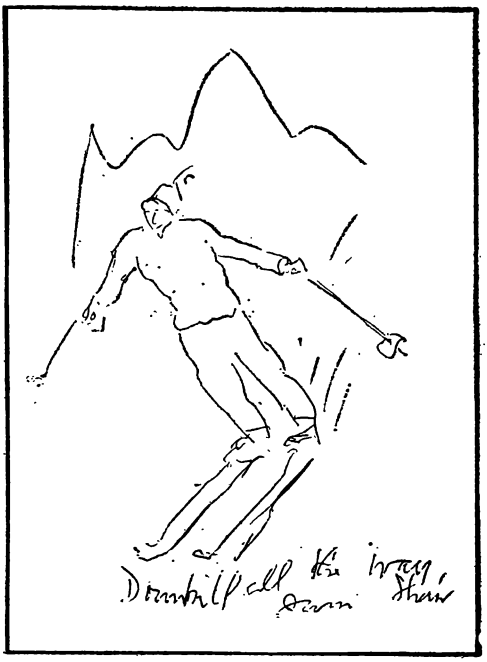
ЮМОРУ — «БЕДНОМУ РОДСТВЕННИКУ» ЛИТЕРАТУРЫ

Заманчив и к родне богатой путь,
Обильны и весомы там обеды.
Но кто на славу хочет отдохнуть,
Тот все же к бедным родственникам едет.

ПИСАТЕЛИ РИСУЮТ СЕБЯ

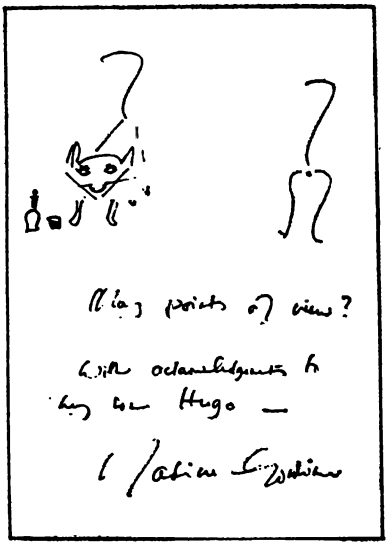
Пятнадцать лет назад Берт Бриттон, тогда сотрудник нью-йоркского книжного магазина, во время разговора с Норманом Мейлером неожиданно для себя самого предложил тому набросать в чистом блокноте, лежавшем перед ними, автопортрет. С этого рисунка началась коллекция Берта Бриттона. Ее охотно пополняли писатели, и с годами она становилась все более притягательной для издателей. И вот, наконец, осенью 1976 года Бриттон согласился опубликовать ее в издательстве «Рэндом хаус» под названием «Автопортреты. Книга, в которой люди рисуют себя».

Два американских журнала «Харперс» и «Пэрис ревью» отобрали из книги Бриттона для своих читателей автопортреты тех писателей, которые пользуются у них популярностью. Наш журнал предлагает читателям автопортреты известных английских и американских писателей, чьи произведения публиковались на страницах «Иностранной литературы».



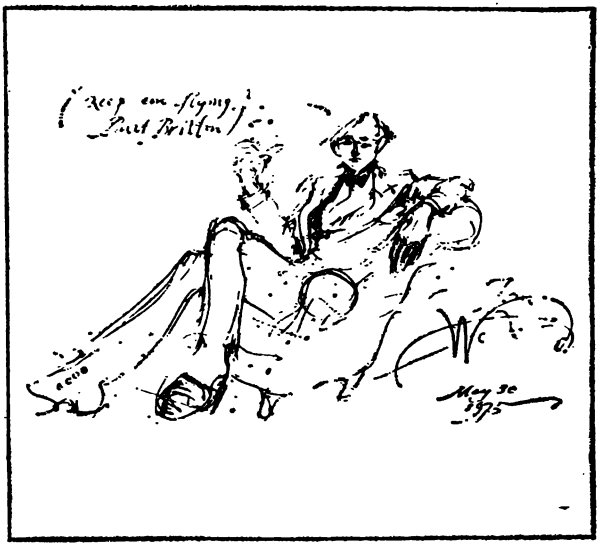
▲

Ирвин Шоу



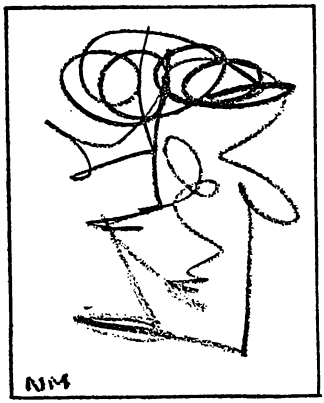
▲

Надин Гордимер

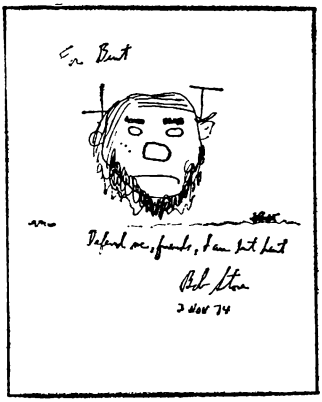


▲

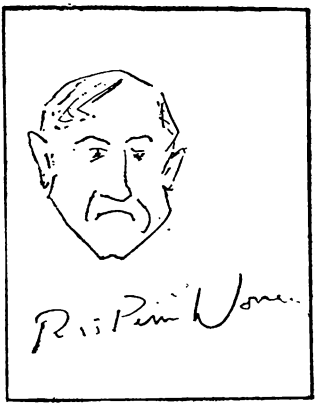
Том Вулф



▲ *Норман Мейлер*

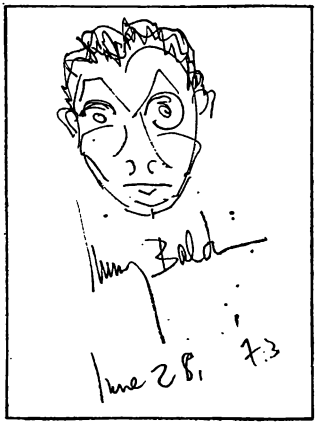


▲ *Роберт Стоун*

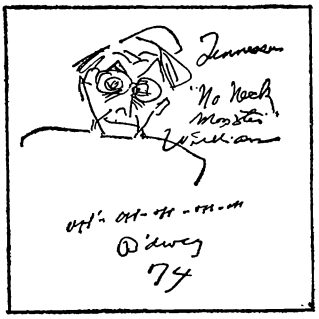


▲ *Роберт Пенн Уоррен*

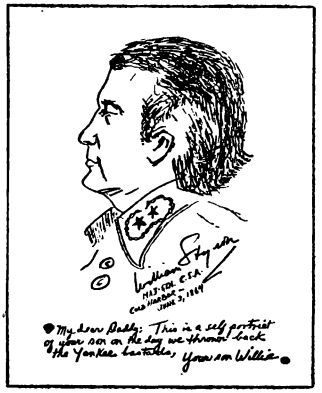
▲ *Джон Гарднер*



▲ *Джеймс Болдуин*



▲ *Теннесси Уильямс*



▲ *Уильям Стайрон*

СТЕФАНИЯ ГРОДЗЕНЬСКА

РАССКАЗЫ

■

Перевод с польского ЛЕОНИДА ЛЕНЧА

Лиссабон

День стоял еще вполне зимний, но что-то весеннее уже было в нем. Что именно? Может быть, неясная тоска, которая вдруг возникает в такие дни в вашей душе, какая-то странная дымка меланхолии, окутывающая все, на чем останавливается ваш взгляд.

В такие дни женщины мечтают о новом платье, а мужчины — о новой жене. Но тут же приходит мысль: «А что делать со старым (или со старой)?». И мечта скоропостижно умирает. Особенно если это мечта о платье.

В точно такой зимне-весенний день, полный смутной тревоги, робких надежд и томительной грусти, я вышла на улицу. Солнце пригревало уже по-настоящему — первый раз в этом году, и его ласковые лучи возбудили в моей душе желание чего-то нового, неведомого. Мне страстно захотелось сломать так обычно начавшуюся серую будничную неделю.

Я как раз проходила мимо дома, в котором размещалось Бюро путешествий. Путешествие!.. Господи — вот то, что мне сейчас нужно!.. «Скорый поезд до Праги... Вены... Парижа... отправляется со второго пути первой платформы...»

Уехать немедленно!.. Да, да — уехать. И все!

Вхожу в помещение Бюро путешествий.

— Пожалуйста... мне нужен билет второго класса...— в моем голосе звенят колокольчики мечты.

— Куда, простите? — спрашивает сотрудник Бюро. Симпатичный!

— Куда-нибудь... туда... подальше!

— Могу предложить Кошалин?

— А подальше нельзя?

— За Кошалином остается только Мелсоне.

— А дальше?

— Дальше, простите, уже море.

— Жаль! А что у вас есть на суше?

— На суше? Вот, пожалуйста,— Сверадов. И далеко, и абсолютно на суше.

— А если еще дальше?

— Дальше, простите, уже заграница.

— Неважно. Что вы мне можете предложить за границей?

— Чтобы было далеко?

— Да, чтобы далеко-далеко!

— Пожалуйста — Лиссабон!

— А это действительно далеко?

— Действительно далеко!

— Тогда, пожалуйста, один билет второго класса до Лиссабона.

Симпатичный сотрудник после минутной паузы говорит:

— Но для этого вам сначала нужно позаботиться о паспорте и визе.

— Но мне же только прокатиться туда и обратно. Я даже из вагона не буду вылезать. Доеду до Лиссабона и сейчас же назад! Такая весна на улице, такое солнышко. Хочется проветриться. Это так естественно.

— Я все понимаю. Я бы и сам охотно проветрился. Но... существуют определенные правила. Я бы посоветовал вам выбрать какой-нибудь отечественный маршрут. Возьмите — Познань. Красивый, чистый город. Университетский!..

— Ну что ж... в конце концов можно взять и Познань. Давайте! Один билет второго класса до Познани. Когда отходит поезд?

— Ночью. В ноль часов двадцать семь минут.

— О нет, спасибо! Ночью надо спать, а не проветриваться. Что у вас есть на дневные часы?

— Есть Краков. Прекрасный город. Древности, старые костелы, Вавель, королевский дворец. Одним словом — Краков как таковой!

— Хорошо, пусть будет Краков как таковой, чтобы не морочить вам больше голову. Сколько стоит один билет второго класса до Кракова?

— Девяносто один двадцать!

— В один конец?

— Да.

— Значит, туда и обратно — сто восемьдесят два сорок?

— Совершенно верно.

— Дороговато, вы не находите? В конце концов почти двести злотых выбросить на ветер... просто так... ради фантазии... Если бы дело было какое-то... а то... Скажите, нельзя ли мне как-нибудь подешевле проветриться с вашей помощью?

— Конечно, можно. У нас имеются недорогие маршруты. Вот, пожалуйста,— Вышкув. Билет стоит девятнадцать двадцать, туда и обратно — тридцать восемь сорок. Дешево и сердито.

— А что там интересного, в вашем Вышкуве?

— Ну, если быть честным, то до Лиссабона Вышкув, конечно, не дотягивает. Но зато в смысле стоимости проезда... Какие могут быть сравнения!.. Могу еще предложить Плешоев. Или вот — Урсуе. Или Влохыв. И туда люди ездят. Тем более что проезд — дешевле семечек. Мне бы не хотелось, чтобы вы ушли от нас с пустыми руками.

Я подумала и сказала:

— А какое ваше мнение как специалиста по путешествиям о Виланове?

— Самое наилучшее! Рекомендую вам Виланов с чистой совестью. Заплатите полтора злотых — и получите полное удовольствие. Какой парк, какие достопримечательности!..

— Тогда... один билет до Виланова.

— К сожалению, билеты на городские автобусы мы не продаем.

— Жаль! Очень жаль! Такой хороший совет вы мне подали, а деньги придется отдать вашему конкуренту... поскольку с автобусом вы, выходит, ничем не сможете мне помочь...

Я горестно вздохнула и посмотрела на сотрудника Бюро путешествий. Симпатичный. И глаза — красивые. Даже очень красивые.

Он быстро сказал:

— Мой рабочий день кончается через двадцать минут. Если вы можете подождать, я вам все устрою... с автобусом. Для нас воля клиента — закон!

Был чудный, необыкновенный зимне-весенний день. До сумерек мы бродили по слякоти вилановского парка. На деревьях его уже набухали почки. Да, у этого сотрудника Бюро путешествий действительно красивые глаза. Интересно, весна в Лиссабоне лучше нашей или хуже?

Впрочем, какое это имеет сейчас значение!

Руководство для посещения театра

Просмотрев значительное количество современных пьес на наши отечественные и зарубежные темы, я хотела поделиться со зрителями своим опытом. Прийти к ним, так сказать, на помощь.

Так вот — когда по ходу пьесы на сцене появляется новый персонаж, вы, не ожидая, пока он откроет рот, легко определите, что он из себя представляет и какая сценическая судьба его ожидает.

Запоминайте:

Толстяк в очках — отрицательный интеллигент. Он будет разоблачен.

Худой, в очках — положительный интеллигент — поможет общему делу.

В очках, с румянцем во всю щеку — интеллигент-выдвиженец. Выполнит план.

В очках, невзрачный — сомневающийся интеллигент. Его убедят, и он перестанет сомневаться.

Безусый старик — представитель отмирающих классов. А помрет — туда ему и дорога!

Усатый старик — представитель рабочего класса. Будет колебаться, но временно.

Старик с усиками — в прошлом высокопоставленный чиновник эпохи санации. Скомпрометирует сам себя. Пользуйтесь моими советами-наблюдениями. Это поможет вам не скучать в театре.

Бессилие

(Мой любимый рассказ)

Игнат живет у меня в ванне. Он — рыба, карп. Его рыбья судьба соединилась с моей женской просто и случайно. Но разве в литературе мало примеров того, во что превращаются потом эти простые и случайные встречи?

Молодые люди, он и она, пришли порознь в один дом в гости и познакомились, его звали Ромео, ее — Джульетта. Другая парочка — Тристан и Изольда — отдыхала вместе у моря. Пан Ваючак и пани Петрашевская стали работать на одной фабрике и превратились в героев популярного произведения «Наша фабрика выпускает...».

Заметьте, что я привожу примеры только из классики.

Особенность истории с Игнатом заключается лишь в том, что он — карп.

Я купила его в канун какого-то праздника, намеревалась прикончить, а потом зажарить и съесть. Но тут выяснилось, что наш дворник, выполняющий в таких случаях функции палача, отбыл к сыну, живущему в Казле. Заменить его в нашем доме, сплошь заселенном высокогуманными личностями, никто не смог. Мне пришлось пойти в рыбный бар, купить другого, уже зажаренного карпа, а Игнат... поселился в ванне. Это случилось девять лет тому назад.

...Я всегда мечтала о том, чтобы у меня в квартире обитало какое-то живое существо. Но вот какое именно? Собака? У меня не те условия, ведь то, что нравится человеку, не всегда подходит собаке. И наоборот.

Я нашла выход и приручила трех мышей. они жили на кухне. Судьба их была печальной. Однажды, возвращаясь поздно вечером домой, я наткнулась у подъезда нашего дома на полузамерзшего котенка. Я принесла его к себе, он отогрелся, подрос и сожрал всех трех моих мышей, одну за другой. Вместе с мышами это маленькое чудовище сожрало и мое чувство к нему, которое могло бы стать сильным и стойким. Я отдала котенка дворнику, а тот отвез его в Казле сыну, которого одолевали мыши. Но в Казле кот предпочел хозяйским мышам хозяйское сало — стащил здоровенный кусище и тут же слопал, урча от наслаждения. Поэтому он совершенно бесстрастно глядел на мышей, суетившихся рядом с ним. Разгневанный сын дворника вышвырнул кота на улицу. И он погиб — пропал без вести.

А ведь мог бы жить да жить! Странно сложилась судьба у этого кота: он преждевременно погиб отчасти из-за того, что жрал мышей, тогда как ему не надо было их жрать, а отчасти из-за того, что не жрал, когда это нужно было делать.

Впрочем, вернемся к Игнату. Само провидение сохранило ему жизнь. А потом я вообще решила не превращать его в продукт питания. Больше — я к нему привязалась. Так начался этот конфликт.

Игнат был ко мне совершенно равнодушен. Он никак и ничем не реагировал на мое появление в ванной. Я для него не существовала. Я стояла, склонившись над ванной, а он, не обращая на меня ни малейшего внимания, продолжал плавать в ней, тихо шевеля плавниками.

Согласитесь, что этого мало для любящего женского сердца.

Я понимала, что только терпение может мне помочь. Говорят, карпы живут до ста лет, значит время у меня еще есть, думала я. Правда, я не знаю, сколько лет Игнату, но выглядит он молодо. Ему нельзя дать пятидесяти.

Я сажусь на корточки возле ванны и тихо говорю:

— Игнат, это я!

И больше ни слова! Ведь я уже все этим сказала, правда?

— Игнат, это я! Я к тебе пришла, Игнат!

Я поднимаюсь с корточек и склоняюсь к воде, чтобы он меня увидел. Хотя бы одним глазком! Он, конечно, видит. Но каждый раз, когда я протягиваю к нему руку, он с явным отвращением быстро отплывает в другой конец ванны.

Девять лет со всем спокойствием и со всей нежностью, на которые я способна, я повторяю этот жест: протягиваю к нему руку. Меня не покидает надежда, что вот сейчас, в эту прекрасную секунду он подплывет и ткнется в мою ладонь мокрой, холодной, милой мордочкой.

— Игнат, это я!

А он продолжает плавать в ванне так же равнодушно, как плавал в первый день своего вселения. И я знаю, что даже мой самый безумный, самый отчаянный поступок не выведет его из состояния его проклятого рыбьего равновесия.

Он равнодушен ко мне, как вещь. Нет, как мужчина, который бросил женщину — и забыл ее.

А ведь прошло только девять лет! Может быть, он еще одумается?!

Но вечером, когда за стеной кто-то барабанит на рояле, разучивая — который уже год! — все ту же сонату Моцарта и ошибаясь все эти годы в одном и том же месте, а за окном летят с неба на грешную землю мокрые хлопья мерзкого неуютного варшавского снега, мною овладевают мечты. Однажды я склонюсь над ванной и шепну, как обычно:

— Игнат, это я!

И вдруг Игнат высунет из воды головку и скажет... Нет, он же все-таки рыба, он не скажет, а пролает. Нет, не пролает, а просвистит. Даже не просвистит, а тихо-тихо свистнет. А потом, когда я уеду в отпуск,— он загрустит. И мои домашние будут говорить:

— Ты даже представить не можешь, как он по тебе скучал. Не пил, не ел — ужас! В следующий раз возьми его с собой в Ястарию. В конце концов для него и миски хватит. Ведь для него главное — это чтобы ты была рядом.

Но все это, конечно, одни пустые мечты. На самом деле мне ничего от него не надо, пусть лишь он, увидев меня, моргнет глазом. Один разок моргнет — и все! Да, дорогие мои,— только моргнет. Неужели вы меня не понимаете?

Из нашей почты

В этом номере редакции хотелось бы рассказать об отклике наших читателей только на одну публикацию журнала 1976 года, на роман венгерского писателя Лайоша Мештерхази «Загадка Прометея». Роман вызвал обширную читательскую почту. Это и многостраничные рецензии, и письма, в которых обсуждается, цитируется понравившееся произведение, и открытки, где всего несколько строчек — мгновенный «отклик благодарности».

Вот одна такая открытка:

Спасибо за «Загадку Прометея» Большое спасибо редакции, переводчику И, конечно, спасибо Лайошу Мештерхази за блеск эрудиции, ума, фантазии, за блеск иронии и стиля.

Еще раз спасибо! Потрясена!

Пока пространных слов нет.

С уважением

НОВЕЛЛА ПАНИКАРОВСКАЯ, искусствовед.
Запорожье

Письма адресованы редакции, переводчику, автору.

Одних читателей подкупила злободневность книги, актуальность философских и моральных проблем, которые исследует автор, других увлекла мифологическая сторона произведения. Авторы писем высказывают свои версии загадки Прометея, спрашивают мнение Лайоша Мештерхази о судьбах других античных героев, иногда спорят с ним и, конечно, выражают признательность создателю романа, переводчику, а также журналу за то, что «не пропустили, не проглядели».

Почему читателю так пришелся по душе роман Л. Мештерхази, в чем секрет успеха? В своеобразии жанра? В интересе к античности? А может быть, в героях романа угадываются черты, характерные для людей XX века, и эта книга — о негасимости прометеева огня, о поисках смысла жизни, о стремлении человека к добру, красоте, счастью? Или же секрет успеха в изрядной доле юмора, в той стихии иронии, которая нисколько не мешает бережному исследованию мифа о Прометее? («В стране Гоголя, думается мне, эта ирония полюбится читателям»,— делает предположение автор, и, как мы видим, он не ошибся.)

А возможно, успех объясняется открытой, доверительной манерой повествования, когда писатель приглашает читателя «пойти с ним рука об руку», поразмыслить вместе — и читатель охотно принимает приглашение и тоже отправляется по следам Прометея.

Вероятно, причина успеха и в одном, и в другом, и в третьем... Но предоставим слово читателям.

Дорогой Мештерхази!

Простите, что пишу по-русски: к сожалению, не знаю венгерского языка и не имею возможности прибегнуть к чьей-то помощи для перевода...

Надеюсь, это не помешает узнать Вам, что роман «Загадка Прометея» доставил мне великое чувство сопричастности в деле глубокого гуманизма, вызвал большую и светлую радость общения с Вами — с Вашими мыслями, Вашими чувствами Вашими героями... Образы романа великолепны. Мысль движется и развивается тонко и остро, красиво и проникновенно. Поэтому и не удержался от письма к Вам, понимая, что замечательное это произведение Вам дорого и молчать мне, читателю, нельзя.

Спасибо Вам, дорогой Лайош!

С любовью и уважением

Н. СОЛОХИН.
Ленинград

...Спешу выразить читательскую благодарность венгерскому писателю Лайошу Мештерхази за его роман о Прометее.

Ничего подобного ранее читать не приходилось. Ирония в романе удивительно современная, по-человечески мудрая и понятная.

Роман «Прометей», смею утверждать,— выдающееся художественное произведение (событие) в современной мировой литературе. Это произведение нельзя прочитать один раз и забыть. Оно достойно пристального изучения. Отнюдь не о сказочном прошлом, навеки ушедшем в пучину времени, рассказывается в нем. Это роман о бурной современности, о трудных и мучительных поисках истинного смысла жизни, о стремлении к истинному добру и всеобщему человеческому счастью — коммунизму.

Роман «Прометей» — проникновенное раздумье писателя о великой жизни человечества, где нет и не должно быть какого-то мертвого прошедшего времени, а есть единое и вечное современное время. Этот роман серьезно тревожит разум и сердце, потому что он создан, как видно, настоящим Человеком и Художником.

Писатель Лайош Мештерхази (показалось мне!), подобно Прометею, подобно многим истинным творцам, подарил нам, русским читателям, частицу того могучего и животворящего огня своей души, благодаря которому, собственно, и возможно продолжение разумной и целеустремленной жизни всех людей. И никакие боги не в силах наказать его за это. Мы, читатели, благодарны!

С глубоким уважением

ПИВОВАРОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ,
рабочий железобетонного завода № 3.
Волгоград

...Лучшее, что напечатано в журнале за последнее время,— «Загадка Прометея» Л. Мештерхази.

Как случилось, чем объяснить, что такое имя до сих пор было нам неизвестно? Или это только мне?

Мне захотелось задать автору вопрос: что правда и что вымысел в легенде о Прометее? Как сам автор думает об этом? Очень хотелось бы, чтобы редакция обратилась к нему с просьбой ответить на этот совсем не простой и не маленький вопрос, передавая при этом автору мою огромную благодарность за редкую радость, доставленную им своим романом.

КУЗНЕЦОВА.
Ленинград

...Немного есть писателей, которых я читаю, перечитываю и снова читаю.

И вот неожиданный подарок — роман «Загадка Прометея». Прочитав его, я тот же час начала просматривать его и незаметно перечитала сызнова. Во время чтения я несколько раз возвращалась на страницу, где помещен портрет автора. Хотела проникнуть, понять, поближе узнать автора так задевшего меня романа. Высокий лоб, широкий нос, набрякшие веки глаз. Год рождения — 1916. Значит, 60 лет. Возраст не из лучших, но и не самый худший...

Роман доставил мне много радости, наслаждения. Сколько остроумных, иронических сравнений с современностью эпохи, отстоящей от наших дней на расстоянии трех тысяч лет!..

К сожалению, я не имею никакого отношения к искусству, к мифологии в частности. Мифы помню только в объеме средней школы.

Работаю в строительстве. И хочу, и действительно добиваюсь, чтобы «строить другому такой дом, чтобы сам тоже с удовольствием стал бы жить в нем».

Спасибо, товарищ Лайош Мештерхази, за доставленные радость, удовольствие, наслаждение.

Спасибо, товарищ Малыхина, за перевод.

Спасибо, тов. Н. Т. Федоренко, что поместили в журнале роман.

Е. КАПИТОНОВА.
Ташкент

Уважаемые товарищи!

Я прочитала в № 4—5 «Иностранной литературы» совершенно замечательную вещь — роман Мештерхази «Загадка Прометея». Я когда-то слушала курс античной литературы и мифологии в Ленинграде, у академика Ив. Ив. Толстого. Знаменитый античник был как дома в этом мире, среди богов и героев. Такое же впечатление производит и автор романа. Интересно, как бы среагировал мой покойный учитель на то, что Диоскуры — хулиганы, а Одиссей — человек подлый? Чтобы проверить все это, мне пришлось перелистать «Мифологию» Куна. В сущности, хоть все это и смело до дерзости, но правильно. Мне и самой не раз приходило в голову, что спор богинь о яблоке — сплошная нелепость, а десятилетняя война из-за женщины легкого поведения — и того глупее, что Одиссей — человек жестокий, как и другие герои, впрочем. Вот такие кощунственные мысли часто приходили мне в голову еще до чтения этого романа. Вообще античный мир поражает своей жестокостью. Лучший аргумент в споре — убийство. Убить 160 женихов! Кровь льется рекой, жизнь копейка. Два героя не вызывают у автора сомнений: Геракл и Ахилл. Но почему же Ахилл? В «Мифологии» Куна есть древний рисунок: «Ахилл убивает сына Приама, Троила». Огромный мужчина держит левой рукой за волосы худенького мальчика, а правой занес над ним меч. Благородно и героично — убивать женщин и детей! Если бы я могла объясниться с автором! Что он думает об этом эпизоде из жизни Ахилла?

Поблагодарите, пожалуйста, Лайоша Мештерхази за его замечательное произведение, которое так обогащает и так потрясает. Спасибо вам за эту публикацию.

С уважением

ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА НЕШИНСКАЯ.
Киев.

Уважаемый Писатель!

Я никогда не писала незнакомым мне людям, но Вы стали для меня очень близким и родным, что не писать Вам не могла.

Ваша книга — о качественном росте человека. Если качественно он вырос, то, понятно, что создаваемое им будет иметь «Знак качества».

Человек начнет получать удовольствие от себя, т. е. будет доволен самим собой, а также от своей работы, от того, что удалось выполнить задачи, поставленные на XXV съезде КПСС. А это все приведет к тому, что уйдут в прошлое сердечно-сосудистые, нервные, психические и многие, многие другие заболевания. И мы дойдем до Коммунизма здоровыми, бодрыми, добрыми, умными.

И уже тогда, я с моими коллегами-врачами, будем заниматься только профилактикой заболевания.

Спасибо Вам за редкий, обогащающий душу дар!

ХАЧАТУРЯН АРУСЯК СЕРГЕЕВНА.
Ереван

...Прометей Мештерхази существенно отличается от своих «романтических» предшественников, созданных Гёте, Байроном, Шелли и даже от Прометея Эсхила, ибо венгерский писатель обращается не к Прикованному, а к Освобожденному Прометею. И вместо бунтующего, страдающего и непреклонного титана—олицетворения яркого, но абстрактного революционного идеала мы, неожиданно для себя, встречаемся с пожилым, усталым, начисто лишенным атрибутов героического Прометеем Но именно этот понятный, даже обыденный Прометей несет с собой загадку — загадку Прометея, которая на самом деле оказывается загадкой Человека, жившего тысячелетия назад и живущего теперь.

Роман Мештерхази — пример удачного сочетания художественного и научного подхода к древнейшей истории человечества, ее оптимального приближения к современности. Он еще раз показал, что античная мифология служит щедрым источником для воплощения борьбы идей и мировоззрений сегодняшнего дня, доказательством того, что Сизиф и Прометей борются в каждом из нас и от результатов этой борьбы зависит завтрашний день Человечества.

Т. А. МОИСЕЕВА,
кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории древнего мира Воронежского университета

Суждения читателей разнообразны, иногда спорны, но безусловно одно: авторы писем тонко почувствовали глубинный философский замысел романа, оценили и живописность повествования, и остроумие «мифолога».

В этой содержательной почте попалось и курьезное письмо. Читатель из Челябинска попросил сообщить ему правила игры в «улти» — распространенной в Венгрии карточной игры, упомнпаемой Мештерхази. К сожалению, любознательность читателя из Челябииска мы не смогли удовлетворнть, так как с правилами игры не знакомы, знаем только, что в «улти» играют втроем. Да и не было увереиностн, что именно этот способ проведения досуга следует популяризировать. Но такое письмо—исключение.

Редакцня выражает признательность нашим читателям, приславшим свои письма. Отклнки на «Загадку Прометея» — в соответствии с пожеланиямн корреспондентов и по просьбе автора — мы переслали в Будапешт, Лайошу Мештерхази.

В скором временн в издательстве «Прогресс» выйдет в свет том избранных произведеннй Л. Мештерхази, куда войдет «Загадка Прометея» и новеллы писателя. Хочется думать, что эта иовая встреча с замечательным венгерским прозаиком будет также большой радостью для советских читателей.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ЧЕРТЫ ПОКОЛЕНИЯ

Из современной болгарской поэзии. Составление и справки об авторах Л. Дымовой. Предисловие А. Туркова. Редактор Ю. Левитанский. Москва, «Прогресс», 1976.

Не могу не вспомнить, как неожиданно и, пожалуй, необычно открылся мне мир современной болгарской поэзии. Произошло это не в Софии и не в Пловдиве, не в живописных долинах Родоп и не среди золотых нив Добруджи, а чуть ли не в противоположном конце мира — на Сахалине. Долгим осенним вечером в поселке Новоалександровске, близ Южно-Сахалинска, в тесной квартире, обстановкой напоминавшей походную палатку, молодой вулканолог Геннадий Прашкевич читал мне в своих переводах стихи поэтов братской страны, в которой ему случалось бывать по своим профессиональным делам. Разумеется, и раньше я кое-что читал: журнальные подборки и даже целые сборники Кое-что успел и сам перевести. Но лишь в тот памятный сахалинский вечер со всей отчетливостью понял, что слова «современная болгарская поэзия» значат больше, чем просто «поэзия данной страны в данное время», что речь идет о явлении безусловно общеевропейского масштаба. Прашкевич перевел целую книгу — без какого-либо заказа, договора, просто «по любви», по велению сердца. и думаю, что в летописях дружбы двух наших литератур этот факт заслуживает быть отмеченным хотя бы строчкой тем более что часть его переводов на сегодняшний день уже опубликована в периодике.

При всей близости культур, при всей широте контактов нужно, однако, признать, что болгарскую поэзию во всем ее богатстве мы знаем еще далеко недостаточно Новая ступень в этом познании — сборник произведений пяти болгарских поэтов, вышедший в издательстве «Прогресс» Книга подготовлена любовно и солидно: обстоятельное предисловие А. Туркова, отличный «справочный отдел» Л Дымовой (она же — составитель книги), внушительный «переводческий корпус». Пять поэтов предстают здесь перед нами. Пять «хороших и разных», как это и должно быть. Но нельзя не сказать и об их несомненных общих чертах — тех, которые и делают современную болгарскую поэзию явлением цельным и самостоятельным Главная и определяющая из этих черт—последовательный, принципиальный демократизм Отнюдь не чураясь современных форм, болгарские поэты обращаются к широкой читательской аудитории, ищут слова ясного и точного, сохраняют прочную корневую связь с родной землей. Немаловажно отметить и тот факт, что все пятеро — люди одного поколения: самый старший — Иван Давидков—родился в 1926 году, самый младший — Андрей Германов — шестью годами позже. Именно его стихами (но, видимо, по соображениям алфавита, а не возраста) открывается книга.

Его поэзия — предельно земная и человечная, менее всего парадная и приглаженная. Есть у Германова стихотворение с названием, отчасти даже вызывающим· «Наилучший из людей». Каков же он, вернее, каков он был — этот наилучший?

> Возвращался он вечером с нивы —
> башмаки набиты песком,
> патлы потной, слипшейся гривы
> и щетина — торчком.

Был неотесан, груб—лишь перед самой смертью «приголубил» впервые свою старуху, сказав знаменательные слова:

Ты прости, был я лют. Кулаками
в кровь тебя избивал. Но поверь,
был не в сердце, на сердце—камень,
и не я, а судьба моя—зверь.

Это стихотворение о прошлом, но в то же время и о категориях вечных. Здесь нет любования «грязью жизни» (существует ведь и такой вид снобизма) — есть любовь к человеку, к живой душе его, которую, коли уж она есть, не раздавить никакими катками и прессами. Перевод «Наилучшего из людей» (как и соседнего, написанного в близком «ключе» стихотворения «Притча о тесовом одре») принадлежит Ю. Мориц. Это заслуживает быть отмеченным особо, ибо угловатый, тяжеловатый, с «крестьянской» походкой стих, который мы встречаем здесь, мало похож на собственную манеру поэтессы. Думается, что это хорошо: слишком часто даже квалифицированные переводчики перекладывают переводимого поэта «на свой образец». Между тем переводчик обязан владеть — в той или иной степени — искусством перевоплощения.

Мы встречаем Германова то радостно упоенным жизнью («мир сладок для меня, как утром синим росой покрытый на бахче арбуз»), то озабоченным — в житейской суете порой кажется, что «вечные и подлинные вещи все так же, как и раньше, далеки». Но неизменно остается он верен своим земным, народным началам, для него активно неприемлемы те, кто «упавший хлеб ногой растопчут и перед гостем дверь запрут». И мы, читатели, не можем не порадоваться новой — уже не первой — встрече с поэзией талантливого мастера стиха.

Если вообще позволительно сравнивать поэтов друг с другом, то стихи Александра Герова после Германова кажутся несколько более строгими. Главное для него — философская мысль, выраженная нередко почти впрямую. Характерны даже названия стихов: «Поэт», «Сказка», «Покой», «Земля», «Время», «Путь», «Констатация», «Вера», «Сужденье». Это не уютные комнатные философствования, а сложные, порой мучительные раздумья — недаром вдруг возникает нечто вроде зависти к «чудному миру братьев наших меньших»:

Сомнение их не коснется —
что им наш философский взгляд!
Они лишь греются на солнце,
глядят, и слушают и спят.

Чудесен мир для них, и молод,
и полон жизни и любви.
абстрактной мыслью не размолот—
блаженствуй радуйся живи!

(«Чудный мир», перевод В. Сикорского)

Но эта мимолетная, чуть ироническая «зависть» — лишь своеобразная форма выражения гордости за человека, за его трудный и высокий жребий:

В космической мгле сокровенной
вселенная слепо блуждает...
и лишь человек во вселенной
страдает, и мыслит, и знает...

(«Человек», перевод Г. Плисецкого)

Такие миниатюры особенно удаются Герову:

Я заблудился, заплутался.
Я мог обувку починять,
а вместо этого пытался
вселенскому страданью внять.

(«Ошибка»)

И рядом с этим четверостишием я поставил бы «Надежду»— тоже в переводе Ю. Мориц:

А время все течет и все смывает,
в ничто любое нечто превратит.
Но что-то в этом сите застревает —
бессмертная надежда в нем блестит.

Иван Давидков — мечтатель и фантазер. Герой одного из его стихотворений — художник, «немного чудак», который, работая за мольбертом среди холмов, «советовался с жаворонком полевым». Поэт видит седую звездную пыль на детских сандалиях — ведь это только кажется, что дети ночами спят, на самом-то деле они путешествуют среди звезд. Ему нравятся детские рисунки на асфальте — и жаль, что взрослому никогда уже не сесть в цветной вагончик нарисованного поезда. Впрочем, и со взрослыми людьми случаются порой чудеса — особенно в пору влюбленности:

В ту июльскую ночь
столько падало с неба звезд,
что они прожгли нашу одежду.
Когда мы возвратились домой
и ты повесила мой пиджак на балконе—
сквозь него были видны звезды...

(«Однажды в июле», перевод Е. Винокурова)

Впрочем, кто его знает, может быть, просто прохудившимся был тот пиджак в пору студенческой бедности? Но по-своему видит молодость. По-своему видит любовь. По-своему видит поэзия.

«Красоте... не присуща круглая, приглаженная форма»,— говорит в одном из стихотворений Пырван Стефанов. Тезис в общем виде, может быть, и спорный: солнце кругло — и оно прекрасно,— мог бы возразить другой поэт. Но вот именно другой. Не такой, как Пырван Стефанов. В сильном его стихотворении «Из бесед Константина — Кирилла» (напомню, что Константин и Кирилл — два имени, монашеское и схимническое, одного из двух творцов славянской письменности, весьма почитаемых в Болгарии) говорится:

...спросили вы, кто чертит рамки Догмы?
Какие человеческие силы?

Не силы, нет—а слабость человека.

(Перевод Л. Дымовой)

Эта мысль в дальнейшем вырастает до значительного обобщения: когда поставлены пределы дерзанию, когда воздвигнут некий Стадион, ристалище, условную черту которого переступать нельзя, тогда человек обречен на движение по кругу, тогда «героев нет, есть только состязатели». Поэт верит в Человека, в его разум, его дух, который сродни самому солнцу,— недаром, вспоминает он, в детстве, когда его за шалости запирали в чулане, само солнце

«сквозь скважину замочную сочувственно просовывало луч!».

Поэзия Станки Пенчевой — тонка, богата оттенками, порой грустна, ибо «смеются постоянно только маски». Стихотворение, завершаемое этой афористичной строкой, начинается так: «Да, человек имеет право быть печальным!» Но не лишне заметить, что называется стихотворение «Мужество».

Любимый в стихах Станки Пенчевой может быть «безжалостно-добрым», а власть, дарованная любимой и любящей женщине,— бременем, сладким и трудным:

Такую власть ты дал мне над собой,
что я перед тобой молчу смиренно.

Тончайшее стихотворение это переведено Ю. Левитанским. Перевод вполне можно считать удачным, и стихотворение обращает на себя внимание. Однако, думается, здесь — тот случай, когда к одной и той же вещи есть смысл возвращаться еще и еще, иметь несколько «состязающихся» переводов.

Не только о любви пишет поэтесса: хлеборобы и виноградари, партизанские матери, дети, не видевшие войны,— полноправные герои ее стихов, в музее внимание ее привлекает «оружье партизан — оружье чести». Кстати, первая строка этого стихотворения в переводе Р. Казаковой («В Музее революции лежит...») буквально совпадает с первой же строкой известного стихотворения Я. Смелякова. Таких совпадений, конечно же, следует избегать и устранять при последующих публикациях, если таковые будут.

Сборник, озаглавленный скромно — «Из современной болгарской поэзии»,— это по существу пять книг в одной обложке. Такого рода сборники дают представление не только о творческом лице каждого поэта в отдельности, но и о некоторых общих закономерностях в развитии поэзии той или иной страны. В данном случае—братской Болгарии.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ

ЭСА ДЕ КЕЙРОШ — В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Эса де Кейрош. Новеллы. Перевод с португальского. Составление А. Бреверн. Предисловие М. Кораллова. Москва, «Художественная литература», 1976.

ВСЕГДА ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

Судьба Эсы де Кейроша — человеческая и писательская— сложна и неоднозначна. Вот почему сегодняшней Португалии творчество его представляется сплетением противоречий (порою мнимых). Самые различные группы, течения и направления пытаются объявить прославленного писателя своим идейным предтечей и толкуют написанное им в угоду собственным пристрастиям.

А между тем таким — непростым и противоречивым — вышел он из горнила напряженной общественно-политической и идейной борьбы, отличавшей бурный XIX век — век, когда рушились старые режимы и закладывались основы новых социальных систем. Активно участвуя в остром столкновении эстетических идей своего времени, он сумел создать новый для нашей литературы — реалистический стиль. И его творения, полные неувядаемой свежести и красоты, выдержали испытание временем, устояв против весьма ожесточенных нападок.

Вдумываясь в обширное и разнообразное наследие Эсы, безошибочно обнаруживаешь то главное, заветное, что вдохновляло его — художника и революционера. Это была высокая цель — разоблачение «прогнившего общества», против которого, как считал Эса, «необходимо вести борьбу везде и повсюду — в городе и деревне, в литературе и искусстве, в мире человеческих чувств и мыслей...».

Подчас, извращая смысл острой писательской критики, пытаются отрицать прогрессивную направленность его творчества. Но она с очевидностью проявляется и в выборе тем, и в обрисовке персонажей, и в подаче жизненного материала, и, наконец, в выводах, к которым писатель приходил. Этим в первую очередь и объясняется успех произведений Эсы де Кейроша у сегодняшнего читателя, в эпоху глубоких социальных перемен. Именно это и позволяет нам считать писателя нашим современником.

Яростно нападая на буржуазию, изобличая ее пороки, издеваясь над ее духовным убожеством, он не скрывал своих идейных убеждений. С ними органично сочетались эстетические взгляды и вкусы Эсы — это и определило поразительную гармонию формы и содержания в его произведениях.

«Дать всем хлеб и кров,— провозглашал он,— вот самое неотложное дело в мире!» И это не было эффектной фразой — в призыве Эсы заключалась целая программа требований. Но можно уловить в нем и некоторую горечь: горечь человека-борца, владеющего (увы!) только одним оружием — пером. Впрочем, разило оно без промаха.

Свойственные писателю участие к людям, благородство и доброта проявились и в период его дипломатической деятельности (после кратковременной пробы сил в адвокатуре и на административной службе). Исполняя обязанности консула на Кубе, во Франции, Эса де Кейрош неизменно поступал как чуткий к чужой беде человек: в двери его дома стучалось множество одолеваемых невзгодами людей — и каждый из них находил здесь помощь и поддержку.

Уже в самом начале дипломатической карьеры, будучи португальским консулом в Гаване, Эса де Кейрош совершил акт большого гражданского мужества. Об этом эпизоде рассказал журналист Эрману Невиш [1]

[1] Эрману Невиш (1884—1929) — известный португальский публицист, отец автора статьи *(прим. ред.)*.

в посвященной памяти писателя книге «In memoriam» (1920): «В те времена на Кубе процветала торговля рабами-китайцами, считавшимися номинально португальцами, ибо привозили их из португальского порта Макао. Оттуда рабы попадали в «зеленый ад» — пекло в подлинном смысле слова — на сахарные плантации Кубы. Португальскому консулу надлежало следить за тем, чтобы работорговля шла беспрепятственно. Положение консула даже позволяло извлекать немалые доходы из работорговли. Однако именно консул — и это был Эса де Кейрош — активно выступил против продажи китайцев в рабство и в конце концов добился ее запрещения».

Издание произведений Эсы де Кейроша в Советском Союзе свидетельствует о признании значимости его творчества, о глубоком понимании его яркой и многогранной личности. Не сомневаюсь, что советские читатели оценят в нем художника поистине мирового масштаба, создателя неповторимо прекрасной прозы, страстного борца против социального зла, неравенства и несправедливости.

Подлинное и полное представление о Португалии и португальцах у советских людей начинает создаваться, пожалуй, только сейчас, и это понятно: ведь в течение многих лет наше общение было невозможно. Поэтому каждое новое издание в Советском Союзе книг Эсы де Кейроша — доброе дело, способствующее нашему взаимному сближению не только в чисто культурном, но и человеческом плане, ибо сам писатель и его творения — лучшее воплощение тех благородных чувств, которые одушевляют наш народ, жаждущий крепить узы братской дружбы со всеми народами мира.

г. Лиссабон **МАРИУ НЕВИШ**

ПОЗИЦИЯ ПИСАТЕЛЯ

Писательская интонация Эсы де Кейроша сложна: в ней слышится ритм души и ритм эпохи. Сразу же следует сказать, что художественное творчество для Эсы де Кейроша было неотрывно от выбора и борьбы, а борьба была тем более беспощадной, что часто оказывалась борьбою с самим собой.

Центральный конфликт прозы Эсы де Кейроша — это конфликт между временем и вечностью, порывом и совершенством, становлением и «ставшим». Одна из наиболее значительных новелл, так и озаглавленная «Совершенство», уводит на лазурные острова античного Средиземноморья. Стилизуя эпический ритм, писатель по-своему пересказывает общеизвестный эпизод из поэмы Гомера.

Долгие годы в плену на острове нимфы Калипсо в тоске и томлении провел хитроумный Улисс. Под вечно блистающими небесами, на берегу безбурного моря, холодный к ласкам бессмертной своей любовницы. Но как только вмешательством богов Улисс был освобожден из плена и выброшен навстречу коварству рока, неумолимости времени, состарившего Пенелопу, и человеческому естественному уделу — смерти, трепетный ветер снова ожег его, в жилах проснулась кровь мореплавателя и бойца, он как бы очнулся после обморока...

Очевидно, в Улиссе Эса де Кейрош олицетворил свое представление о человеческом достоинстве, которое заключается в том, чтобы совершенству и неподвижности остановленного времени предпочесть бури и тревоги быстротечной яви, потому что, по мысли писателя, человек от века не предназначен для блаженства. Это как будто бы очевидно. Однако самому Эсе де Кейрошу дорого доставалась подобная очевидность. Обманчива прозрачная легкость его псевдоантичной притчи. Ее лукавая, остроумная вязь — покров, скрывающий надсаду и горечь. Ни у кого ведь не вызовет сомнений, что не об острове Калипсо — о своей земле, о Португалии, думал, работая над «Совершенством», Эса де Кейрош. О чем бы он ни писал, он думал всегда об одном и том же. Этот автор широкоформатных реалистических романов («Преступление падре Амаро», «Знатный род Рамирес», «Реликвия» и некоторые другие переведены на русский язык), где много подробностей и деталей, образующих панораму сменяющихся эпох, этот любопытный и скептический наблюдатель «человеческой комедии» был, по сути дела, писателем одной локальной всепоглощающей темы — темы о родине.

И надо постараться понять, почему родина представлялась ему так, как она ему представлялась: очарованным островом, где время не течет, потерянным и невозвратимым раем, чтобы стал понятен и метод писателя, и его сложная, жесткая и меланхолическая, интонация.

Португалия, какой она вырисовывается на страницах прозы Эсы де Кейроша, то есть современная ему Португалия середины XIX века,— это страна, в которой парадоксально прервалась связь с общеевропейским развитием цивилизации, «закрытая», глухая и косная страна, не только географически, но и культурно — «окраина Европы». Она вызывает у писателя ощущение удушья, горький беспощадный сарказм. Но Эса де Кейрош решительно не согласен оставаться в кругу одних только негативных эмоций. Взглянуть «с другой стороны» — эту потребность диктует ему не только естественный патриотизм, усугубленный писательской связью с наречием родины; такова же потребность пытливого и добросовестного ума, нуждающегося в объяснении некоторых специфических черт португальского уклада.

И вот, если взглянуть «с другой стороны», выяснится, что череда веков обособленного, как бы безысторического существования привела к тому, что в Португалии почти нетронутым остался патриархальный уклад, включающий простоту нравов, благодетельный контакт с природой и память о предании, на котором основана наивная, но действенная мораль. Нравы и обычаи, о которых в других странах давно вспоминают с ностальгической тоской, Эса де Кейрош видит вокруг себя. Он — просвещенный ев-

ропеец, либерал, мыслью он — в будущем, но настоящее писателя отягощено и обусловлено до странности близким прошлым. Эса де Кейрош отнюдь не идеализирует это прошлое—он просто чувствует его как «свое». Оттуда его память, там его корни: это его родина. И он расщеплен: он понимает, что ради светлого будущего родины должен стремиться к взрыванию темных толщ ее неподвижного прошлого.

О том, как это противоречие между памятью и долгом, между происхождением и упованием Эса де Кейрош разрешал в жизни, рассказывается в предисловии к сборнику. «Новеллы» дают объемную и представительную картину чисто художественных поисков и решений писателя.

В юношеской поэме в прозе «Лиссабон», сопоставив мировые столицы — так сказать, города-светочи — с первым городом своего отечества, Эса де Кейрош констатировал, что Лиссабон не является светочем человечества, но зато нет у него и «пороков свечения: он безмятежен, неуязвим и безмолвен». По простоте и простодушию своих проявлений Лиссабон Эсы де Кейроша ближе к природе, нежели к истории, и мысль писателя естественно склонялась к признанию примата природы над историей. В скорбном и сладостном сумраке безличного космоса растворился замерзший в лесу дровосек: он изнемог от непосильной тяготы жизни («Снег»). Природа лучше людей, чище, нравственней — в этом смысл патетических монологов, произнесенных писателем от лица дерева («Мемуары виселицы») и от лица огня («Огонь»).

В тех ранних вещах ясно слышался сумрачный романтизм Эсы де Кейроша, составлявший, пожалуй, глубинную основу его мироощущения. Но этот романтик по мироощущению был еще реалистом по письму, скептиком по умственному складу. Ему было тесно в темнице собственного романтизма, и он не мог довольствоваться взглядом на человека с точки зрения стихий.

Он писал стилизованные притчи из жизни средневековой Португалии, обставляя их заботливо и умело отобранной бутафорией (это новеллы «Кормилица», «Покойник», «Клад»). По форме это были именно притчи, но Эсу де Кейроша, разумеется, меньше всего интересовало моральное назидание. На деле это была чистая словесная живопись, витиеватый и прихотливый арабеск, любовное рисование по канве родовой памяти. Но получалось, что и в этих опытах литературной реконструкции прошлого предметы и стиль заслоняли собой человека, человек оставался фигурой страдательной, деталью орнамента в ряду других.

И только в группе «современных» рассказов Эсы де Кейроша — безусловно, самых значительных в сборнике—речь прямо идет о вещах, жизненно важных как для него самого, так и для того узкого круга прогрессивных португальских интеллигентов, к которому он принадлежал. На этих рассказах лежит отпечаток духовной автобиографии, что усиливает их достоверность и составляет для нас главный интерес. Эти рассказы отличаются той особой, трезвой и, пожалуй, еще жесткой, насмешливой интонацией, с которой всегда ведется нелицеприятный разговор с самим собой. Их внутренняя задача—разоблачение розовых туманов консервативного романтизма.

Эса де Кейрош изобразил целую вереницу монстров и мучеников романтически-нереального отношения к жизни. Вот пламенный стихотворец, служащий официантом в лондонском ресторане, книжный вор и несчастный палладин некой толстухи, предпочитающей ему ражего полицейского («Поэт-лирик»). Вот романтический клерк, очарованный голубоокой феей: он во имя ее совершает чудеса, она же оказывается воровкой («Странности юной блондинки»). Вот, наконец, и вовсе серафическое видение — Жозе Матиас, который отвергает реальную близость с любимой ради возвышенного поклонения ей — поклонения, однако, подозрительно похожего на подглядывание. Этот Жозе Матиас, портрет которого в одноименном рассказе выписан особенно блестяще, был в такой степени не способен к жизни, что перестал даже нуждаться в ней, и жизнь покарала его за это, унизив и поразив.

Пожалуй, трудно говорить о конкретном положительном идеале Эсы де Кейроша: самому писателю, не приемлющему настоящее, он рисовался в неопределенной перспективе будущего Сила писателя — в борьбе за выбор верного направления такой перспективы, и в этом — залог его сегодняшней актуальности.

А. ЧАНЦЕВ

ОТКРЫТИЕ КРАСОТЫ

«И была любовь, и была ненависть». Рассказы японских писателей XX века. Составление и послесловие Т. П. Григорьевой. Москва, «Наука», 1975.

Уже обложка раскрывает замысел: тревожная, сине-черная гамма меч и хризантема — древний самурайский символ, означающий жестокость и нежность. Тонкая рука на рукоятке длинного меча самурая и рядом, чуть пониже, его соблазнительница, сделавшая убийство своим ремеслом. Любовь может обернуться ненавистью, а ненависть — любовью. Не случайно сборник назван именно так: «И была любовь, и была ненависть». И книга, представляющая нам столь не похожих друг на друга современных классиков Японии, воспринимается не как собрание отдельных, между собой не связанных рассказов, а как нечто цельное, имеющее общую основу.

Несмотря на самобытность, творчество каждого писателя так или иначе связано с эстетическими традициями национальной культуры, с классическим прошлым Японии. Кикути Кан (1889—1948), Танидзаки Дзю-

нъитиро (1886—1965), Дадзай Осаму (1909—1948), Сига Наоя (1883—1972) и Кавабата Ясунари (1889—1972) писали в те годы, когда японская литература приобщалась к европейской и испытывала на себе ее влияние. Позднее Кавабата Ясунари признавался: «Увлекаясь современной литературой Запада, я порой пытался подражать ее образцам. Но в корне я — восточный человек и никогда не терял из виду своего собственного пути».

Почти все рассказы, включенные в сборник,— ранние произведения их авторов. У одних влияние западной литературы почти не ощутимо, у других же оно проявилось с большой силой. Прочитав рассказ Дадзай Осаму «Припадаю к вашим стопам», удивляешься, как быстро японцы освоили прежде не характерную для них тему раздвоения личности. Дадзай Осаму начал писать в тяжелое для Японии время политических репрессий тридцатых годов. Студентом он принимал участие в бунте, был арестован, тяжело это переживал, пытался покончить с собой.

И отсюда — душевный надлом и тревога в творчестве молодого писателя. Первый же сборник рассказов он назвал «На склоне лет», а в качестве эпиграфа к рассказу «Дас гемайнэ» дал фразу: «В то время каждый день для меня был последним». Четыре героя рассказа не похожи друг на друга — все это разные ипостаси авторского «я». Фантазер и мечтатель Баба хочет создать журнал по образцу европейских, он движим страстным желанием «посрамить Пруста, Равеля, не уступить Бирдслею». Но эта затея с самого начала обречена — в нее никто не верит. Все четверо страдают от «избыточного самосознания», мечутся, не могут найти себя, живут как во сне. «Если мы проснемся, мы не сможем жить»,— говорит Баба. Он любил приходить с пустым футляром для скрипки: «Футляр был символом современности, за внешним блеском которой скрывалась холодная пустота». Не выдержав разлада с жизнью, писатель в 1948 году покончил с собой.

Кикути Кан, Танидзаки Дзюнъитиро и Сига Наоя вступили в литературу на двадцать лет раньше, чем Дадзай Осаму, в десятые годы нашего века, почти одновременно, но каждый шел своим путем.

Кикути Кан, прославившийся впоследствии как автор «массовых романов», начал свой путь, резко отойдя от традиционной конфуцианской морали. На протяжении веков идея субординации, долга повиновения младшего старшему воспринималась японцами как нечто естественное и необходимое для сохранения порядка и гармонии в мире. Считалось, что, если в обществе нет четких различий, это порождает столкновения, а столкновения означают беспорядок, беспорядок же приводит к бедности. Поэтому тот, кто не признает «верха и низа», несет людям великое зло. Такое зло в повести «И была любовь, и была ненависть» олицетворяет Итикуро, который совершил тягчайшее преступление, убив своего господина. Он знал, что никакие добрые дела не спасут его от мести сына убитого: долг чести и сыновней почтительности повелят ему отплатить за кровь отца. Господин же, позволивший собственному слуге убить себя, считался навеки опозоренным: «Сабуробэ, погибший от руки своего слуги Итикуро, тем самым показал себя ненадежным вассалом, и род Накагава был предан забвению». Но когда после долгих лет поисков сын убитого самурая находит своего врага, он, пораженный его самоотверженностью, забывает о мести, человеческое начало берет в нем верх. Конфликт между долгом, диктуемым ненавистью, и возникшим в душе самурая чувством восторга и любви к человеку, отдавшему все силы во имя спасения человеческих жизней, разрешается в пользу последнего.

Взаимоотношения героев в повести Танидзаки Дзюнъитиро «История Сюнкин» — слепой красавицы Сюнкин и верного Сасукэ — имеют как бы две стороны: внешнюю и внутреннюю. Внешне, для окружающих, они всю жизнь старались соблюдать дистанцию, предписываемую законом для господи и слуги, для «учительницы» и «ученика». И даже после смерти Сасукэ, способный на беззаветную любовь и любые жертвы, остался «почтительным к любимой учительнице»: надгробная плита на его могиле была в два раза меньше, чем на могиле Сюнкин, а сама могила «с виду напоминала преданного слугу, стоящего на коленях».

Но, пожалуй, наиболее «японскими» из всех авторов сборника, наиболее близкими национальной японской традиции являются Сига Наоя и Кавабата Ясунари.

В Японии Сига Наоя считают непревзойденным стилистом. Писал он главным образом небольшие рассказы, основанные на переживаниях и ощущениях героя, которым обычно является сам автор, хотя повествование и не всегда ведется от первого лица. По манере рассказы Сига близки к произведениям классической литературы: для них характерна некоторая эскизность, незаконченность изображения. Порой кажется, что писатель просто нанизывает случайные, совершенно не связанные между собой эпизоды, но для самого автора эти эпизоды всегда взаимосвязаны и мотивированы. В произведениях Сига чувствуется влияние дзэн-буддизма, который сыграл огромную роль в развитии японской культуры. Зная, что, согласно этому учению, человек представляет собой одно из явлений природы и находится с ней в нерасторжимом союзе, нетрудно понять, почему писатель сравнивает себя то с мертвой пчелой, то с тонущей мышью, то со случайно им убитым тритоном («На водах в Киносаки»). Размышление о бренности всего сущего, отвращение к жизненной суете, желание покоя также обусловлены буддийскими идеалами. Но хотя рассказы Сига Наоя окрашены в основном в мрачные тона, в них ощутимо пробиваются свойственные писателю жажда жизни и мечта о прекрасном.

Много веков назад, на заре своей истории, японцы научились ценить красоту и наслаждаться ею, выработав особое отноше-

ние к прекрасному. Если по определению Аристотеля красота заключается «в величине и порядке» и «ни чрезмерно малое, ни чрезмерно большое» не может стать прекрасным, то для японцев красота вездесуща. И это нельзя не почувствовать, читая эссе Кавабата «Существование и открытие красоты». Человек, воспитанный на традиционной японской эстетике, способен восхищаться красотой обыкновенных стаканов, сверкающих на утреннем солнце. В эссе «Красотой Японии рожденный» Кавабата говорит, что еще в эпоху Хэйан (VIII—XII вв.) «была заложена традиция прекрасного, которая не только в течение восьми веков влияла на последующую литературу, но и определила ее характер». Открытие пробуждающей добрые чувства красоты — вот принцип, который лежит в основе лучших образцов японской литературы всех времен. Находя в повседневной жизни прекрасное, не замеченное другими, верит Кавабата, художник выполняет свое назначение, ибо «созерцание красоты пробуждает сильнейшее чувство сострадания и любви к людям».

Прочитав рассказы, в которых речь идет порой о самых неприглядных сторонах человеческой жизни, мы все-таки ощущаем, что соприкоснулись с миром прекрасного. И способствует этому та вера в красоту и человека, которая объединяет писателей, представленных в сборнике, удачно составленном и завершающемся интересным послесловием Т. Григорьевой.

Л. ЛЕВЫКИНА

Издано за рубежом

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ

Dinu Săraru. Clipa. Bucureşti, Editura Eminescu, 1977.

Первый тираж этой книги — 30 000 экземпляров — полностью разошелся в течение нескольких дней. Через два месяца дополнительный тираж (дошедший до 48 000 экземпляров) также был молниеносно раскуплен. Довольно убедительные факты, свидетельствующие о несомненном успехе романа Дину Сэрару «Мгновение». Годом раньше автор выпустил свой первый роман «Крестьяне», имевший у читателей и критики не меньший успех. Это был удачный дебют в прозе хорошо известного театрального критика, многие годы выступавшего на страницах различных газет и журналов у нас в Румынии.

— Что же побудило вас попробовать свои силы в прозе? Когда возникло у вас желание обратиться к этому жанру? — спросила я у автора.

— Прозу я пишу давно,— ответил Дину Сэрару.— Первые опыты в этой области относятся к годам моей ранней молодости. Еще учась в средней школе, я написал роман, но он затерялся. То же самое произошло и со вторым романом, написанным несколько позднее. Только на этот раз его потерял издатель. В те годы мне удалось опубликовать лишь небольшой рассказ из жизни крестьянства... И вот прошло почти двадцать лет. Однажды в дружеской беседе поэт Адриан Пэунеску предложил мне расширить небольшой очерк о крестьянах, напечатанный в журнале «Флакэра» («Факел»), главным редактором которого он сам и является. И он предложил мне печатать мой будущий роман с продолжением. Я дал первые обещанные двадцать страниц, надеясь ими отделаться. Но они были напечатаны с указанием «продолжение следует». Однако никакого продолжения у меня не было. Страх осрамиться перед читателями, не сдержать обещание признаться публично в своей неспособности написать это «продолжение» заставил меня взяться за перо... И родился роман «Крестьяне».

— Ваш новый роман «Мгновение» связан с предыдущим?

— Внешне нет. Это другой мир, другие герои, но внутренняя связь существует: общая эпоха, постановка сходных проблем. Между прочим, хочу признаться, что работаю сейчас над новым романом под названием «Любовь и революция». Все эти три книги будут связаны между собой. В романе «Любовь и революция» я переношу действие в более отдаленное прошлое, к знаменательному дню — 23 августа 1944 года и последующим событиям. Однако это будет не просто историческая фреска. Мне хочется сопоставить и сравнить две эпохи: прошлое — истоки нашей революции — и настоящее. Это найдет отражение и в судьбах моих героев; читая роман, читатель должен будет почувствовать ход времени и его отдельные этапы.

— После знакомства с романом «Мгновение» создается впечатление, что вы уделяете большое внимание фактору времени — и при описании жизни героев, и при построении книги. Как можно понять заглавие романа? Придаете ли вы ему символическое значение?

— Несомненно. Мгновение — это самый важный аргумент в защиту нашего существования, нашего присутствия и участия в жизни, в мире, как отдельных личностей, так и коллектива. Мгновение и вечность — вот два полюса, между которыми бьется человеческая мысль, человеческое сердце — в поисках счастья, личного и всеобщего. Случается, что мы задаемся вопросом: борясь за вечность, за будущее, за счастье будущих поколений, не утрачиваю ли я мгновение, настоящее, не жертвую ли я своим человеческим личным счастьем? И наоборот,

пользуясь мгновением, настоящим, живя в нем и для себя, не отказываюсь ли я от продолжения себя и своего труда в труде и жизни потомков? Этот вопрос, над которым размышляет мой герой Думитру Думитру, проходит через весь роман. Да ведь вы же сами его читали, так что знаете...

Действительно, роман начинается со знаменательных слов: «Мы упустили мгновение! Мы упустили мгновение, рассчитывая на вечность, но вечность не принадлежит нам!», а заканчивается он репликой: «...все, что останется после нас, принадлежит нам же: Вечность. Это дело рук наших, возведенное нами здание, это наше имя. Ни одно мгновение не проходит слишком быстро... ни одно мгновение не проходит бесследно...» И если первую фразу выкрикивает надрывно старый американец-капиталист, как бы подводящий итоги собственному существованию и существованию своего класса, то вторая реплика принадлежит Марии Нобилу, коммунистке, выражающей собственную веру и веру своих товарищей в будущее

Фактор времени, так много значащий для Дину Сэрару, определяет в какой-то мере и структуру книги своеобразную манеру сочетания планов — прошлого и настоящего, воспоминаний и сегодняшнего дня, в котором живут герои романа соревнуясь, враждуя со временем, стремясь обогнать и подчинить его себе, своим задачам по строительству нового мира. Отсюда и подчеркнуто динамичный ритм повествования, и применение драматургических приемов. Автору одинаково удаются и массовые сцены, и лирические, и диалоги на острые политические и социальные темы

Соотношение человек — время в романе Дину Сэрару внешне напоминает конфликт со временем и борьбу с ним, которую вели герои романов «Время, вперед!» В Катаева или «Не переводя дыхания» И Эренбурга. По сути же своей это несколько иной конфликт, в основе его — поиски решения философской и нравственной проблемы времени.

В центре романа — образы коммунистов, партийных работников Как признается сам автор, он посвятил книгу «тем, кто боролся, не ел, не спал, отказывался от личного счастья во имя счастья других» Таков и главный герой романа — секретарь райкома, затем крайкома Думитру Думитру — человек, служащий правде и ценящий правду превыше всего Энергичный, умный, принципиальный, не терпящий фальши, борющийся за искренность в отношениях между людьми, Думитру Думитру мыслит политически, по-государственному Он сознает ответственность коммунистов перед народом, перед историей, творцом которой он чувствует и себя,— отсюда обязанность говорить правду и бороться за нее Такая же жизненная программа и у другого персонажа, инженера Тудору Черната, своеобразного alter ego главного героя.

И Думитру Думитру, и его соратники — Петре и Мария Нобилу, Тудор Чернат, убежденные в правоте избранного пути, в правоте дела, которому они служат, решают дилемму «мгновение — вечность» в духе подлинно коммунистической морали: «Нет, мы не упустили мгновение! Мы ничего не упустили, мгновение было неотделимо от нашей цели, нашего идеала, нашего сознания, нашей борьбы, нашей веры... Мгновение принадлежало нам и когда мы были счастливы... и когда переживали неудачи. Каждое мгновение было для нас кирпичом, заложенным в фундамент светлого будущего!»

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ

г. Бухарест

НОВЫЕ КНИГИ АНДЖЕЯ БРАУНА

Andrzej Braun. Próba ognia i wody. Gdańsk, Wydawnictwo morskie. 1975.
Andrzej Braun. Bunt. Warszawa, Państwowy Institut Wydawniczy, 1976.

Изображение человека в сложных, чаще всего в драматических и даже трагических ситуациях, а в конечном итоге поиски пути в жизни — вот что привлекало А. Брауна во всех его последних книгах. При этом судьбы героев Брауна подтверждают, что жизнь предоставляет человеку огромные возможности проявить свои лучшие нравственные качества — героизм, чувство долга, патриотизм, верность идейным и моральным убеждениям.

В ответственный, кризисный момент предстает перед нами герой романа Анджея Брауна «Сердце колокола» (1969) [1]. Действие происходит в первый послевоенный год — трудный год установления народной власти в Польше. Воинская часть, в которой служит сержант Костек Курыло, преследуя банду, попадает в деревню, где бандиты зверски расправились с местными коммунистами и активистами. Отряд уходит дальше, а Курыло остается налаживать мирную жизнь. Конфликт романа несколько искусственно осложнен тем, что Курыло действует почти в одиночку, без поддержки крестьян. В деревню вновь врывается банда. Погибает один из оставшихся с Костеком товарищей, предательски сбегает второй. Минуты Костека сочтены, но он не раскаивается в выборе. Он поступил единственно верно...

По словам самого писателя, в этом романе его волновала «проблема ответственности героя, вышедшего из народа, человека, который отвечает за последствия принятого им решения,— проблема, всегда актуальная в нашей стране».

Как и в «Сердце колокола», в новых книгах Брауна по-прежнему интересует человек в критических ситуациях, в ситуациях «решающего выбора», являющихся испыта-

[1] Анджей Браун. Сердце колокола, М., «Прогресс», 1976.

нием его нравственной прочности. Действие романа «Испытание огнем и водой» (1975) происходит в начале 60-х годов, его главный герой — инженер Стефан Роман — представитель поколения, выросшего в Народной Польше. Надо сказать, что это нечастый в современной польской прозе положительный герой, который в сложном сплетении обстоятельств остается верным своему долгу, обязанностям, возложенным на него обществом.

В гданьской верфи на танкере «Карпаты» ведутся монтажные работы, которыми руководит энергичный, талантливый тридцатипятилетний инженер Роман. На танкере возникает пожар, и Роман оказывается перед необходимостью принять решение: либо попытаться спасти двадцать рабочих, находящихся в трюме (но в этом случае пожар может уничтожить и танкер, и всю верфь), либо спасти судно, предотвратить возможную гибель верфи и сотен людей ценой жизни двадцати человек. Роман избирает второй вариант и становится — не с точки зрения правосудия, ибо его решение правомерно, а в глазах окружающих, в том числе невесты, и, прежде всего, в своих собственных — виновником гибели рабочих. Его мучает вопрос — правильно ли он поступил, все ли он сделал для спасения людей. Ведь «кроме дисциплинарной или юридической точки зрения, устанавливающей степень и характер служебных упущений, существует еще личное моральное чувство... то, что мы называем совестью»,—так объясняет причины ухода Романа с верфи ее директор.

После этого Роман работает в провинции, а затем поступает механиком на тот же танкер «Карпаты». Танкер уходит в дальний рейс к берегам Кубы, и в этом рейсе герою книги предоставляется возможность проверить самого себя, свою готовность к самопожертвованию во имя людей, во имя общего дела. Автор специально создает такие обстоятельства, которые помогли бы выявить черты характера своего героя. Танкер с грузом нефти терпит аварию в Карибском море — выходит из строя главный двигатель. К тому же надвигается шторм, а танкеру угрожает неизвестный торпедный катер (дело происходит в тревожные дни блокады острова Свободы военным флотом США и кубинскими контрреволюционерами). И Роман, рискуя жизнью, один, без помощников, устраняет аварию, спасает танкер и его команду от катастрофы.

Произведения Брауна заставляют вспомнить Джозефа Конрада, любимого писателя Брауна, которому он посвятил книгу «По следам Конрада» (1972) — репортаж о путешествии на Дальний Восток по маршрутам конрадовских героев. Схема конрадовского «Лорда Джима» — компрометация героя, а затем его моральная реабилитация, утверждение его достоинства и мужества, обретение веры в себя — определяет и движение романов Брауна. Но если герои Конрада верны самим себе и своим обязательствам перед пассажирами судна либо перед его владельцем, то герои Брауна — ведь действие происходит в совершенно иной общественно-исторической обстановке — и Курыло, и Роман, и главный персонаж романа «Бунт», о котором еще пойдет речь, верны своему долгу перед обществом.

Роман Брауна «Испытание огнем и водой» — об ответственности человека за свои решения, касающиеся не только его самого, но и судеб других людей. И в то же время это роман о высшем смысле человеческой жизни — о труде. Именно отношением к труду, к порученному делу определяет Браун подлинную ценность человеческой личности в социалистическом обществе. Двадцать пять лет назад, в 1952 году, А. Браун издал роман «Леванты» — о жизни и труде рабочих судоверфи. В «Испытании огнем и водой» писатель возвращается к вопросам, которые волновали его в «Левантах». Обогащенный опытом развития литературы за эти годы, своим собственным жизненным и художественным опытом, Браун достигает здесь значительных художественных результатов. В отличие от «производственных» романов 40—50-х годов, да и некоторых современных произведений о труде, в центре внимания здесь не производственные процессы и бытовые зарисовки, хотя автор мастерски рисует работу верфи, испытательный рейс судна, ликвидацию пожара на танкере, напряженный труд экипажа танкера. Главное для него — показать отношение к труду кораблестроителей и моряков, раскрыть мироощущение и моральные реакции героев. Иначе говоря, в романе Брауна тема труда имеет под собой прочное морально-философское основание.

На первый взгляд, роман «Испытание огнем и водой» можно назвать своего рода сенсационным репортажем. Повествование ведет некий репортер, задумавший создать сценарий для кинофильма и расследующий в этих целях обстоятельства катастрофы. Облик главного героя произведения и перипетии его жизни вырисовываются из отзывов людей, его окружающих: директора верфи, сослуживцев, рабочих, моряков, бывшей жены, любимой девушки, друзей и недоброжелателей. Над этими свидетельствами рассказчик размышляет вместе с читателем, вовлекая его в занимательное следствие «по делу инженера Романа» и вместе с ним убеждаясь в благородстве героя, в его преданности общественным интересам.

Во многом близок «Испытанию огнем и водой» и новый роман писателя «Бунт» (1976). Здесь та же «конрадовская» проблема «моральной реабилитации» личности, та же нравственная активность героя, которому приходится действовать в исключительных обстоятельствах. Присуще новому роману и использование приемов приключенческого и детективного жанра при постановке серьезных морально-философских вопросов, столь характерных для прежних

произведений автора. Недавно, отвечая на анкету «Писатель среди читателей» еженедельника «Жиче литерацке», А. Браун говорил о том, что стремится ставить в своих книгах трудные проблемы, но при этом вовсе не избегает «многочисленных способов и приемов, с помощью которых можно заинтересовать читателя, привлечь его внимание».

Действие романа «Бунт» происходит в 1952 году. Герой его, капитан Густав Смоляж, ответственный работник польского торгового флота, прибывает в Гонконг через Пекин, чтобы принять от японского посредника купленный Польшей сухогруз «Панама», плававший ранее под панамским флагом.

Ситуация для выполнения миссии капитаном Смоляжем — крайне неблагоприятная. Идет война в Корее, блокирована Китайская Народная Республика, гражданам социалистических стран попасть в Гонконг практически невозможно. А Смоляжу предстоит вывести судно из порта в течение семи дней, иначе сделка будет признана недействительной и пропадет большой задаток, уплаченный Польшей посреднику. Смоляж все же попадает в Гонконг, хотя и без команды, не получившей виз, а затем с невероятными трудностями ему удается поднять польский флаг на судне, переименованном в «Мир», вывести его из Гонконга, скомплектовать смешанный польско-китайский экипаж и выйти в нейтральные воды. Но оказавшийся здесь гоминьдановский торпедный катер приказывает польскому судну следовать за ним на Тайвань. Капитан Смоляж, желая сохранить судно и экипаж, подчиняется требованию. «Я не могу допустить обстрела судна. Это мой долг, я отвечаю за жизнь каждого на нем... Судно стоит миллионы, и оно доверено нам. Пока я здесь, я не подвергну его риску быть уничтоженным», — заявляет он команде. Однако экипаж решает иначе: ведь больше половины матросов на судне — граждане КНР, которым на Тайване грозит смерть.

Перед Смоляжем моральная дилемма: отказаться от взятого на себя обязательства доставить теплоход в Польшу и тем самым изменить самому себе или идти до конца, поставив на карту не только свою репутацию, но и жизнь, спасать то, что в этой ситуации было единственно возможным спасти — доверенное ему судно.

В решающий момент один из членов экипажа узнает в Смоляже бывшего унтерофицера гитлеровской армии. Как агента империализма капитана арестовывают и запирают в каюте. Экипаж разрушает главный двигатель, судно лишается управления, налетевший тайфун выбрасывает его на прибрежные скалы. Гоминьдановский катер скрывается из виду, экипаж спасен, но судно потеряно, и из каюты капитана Смоляжа доносится глухой пистолетный выстрел.

Густав Смоляж не был империалистическим агентом. Уроженец Силезии, он юношей пробрался в Испанию и сражался с фашистами в рядах интербригадовцев, а затем с трудом возвратился на родину. В то время, захватив Польшу и развязав войну с Советским Союзом, гитлеровцы насильно мобилизовывали жителей Силезии в свою армию. Два брата Густава Смоляжа погибли на Восточном фронте, а сам он был призван в гитлеровскую армию, хотя в то же время активно действовал в польском подполье, участвуя в дерзких операциях специального отряда Армии Крайовой, боровшейся против оккупантов, но руководимой реакционными силами. После освобождения страны ему непросто начать новую жизнь, и он скрывает свое прошлое от всех, даже от любимой женщины, Хелены, которая все же узнает о службе Смоляжа в вермахте и покидает его. Хелена, да и другие, знавшие Смоляжа, не могли понять, что он прячется скорее от самого себя, пытается осознать свои действия и свой личный и общественный долг.

Наконец он решает «выйти жизни навстречу». Испанское прошлое помогает Смоляжу. Он служит на флоте, получает диплом капитана, вступает в партию, продвигается по службе, становится хорошим специалистом. Но сложной правды о себе он так никому и не рассказал. И вот «после стольких лет, когда Смоляж уже поверил в правильность своего решения, он вновь услышал то же самое обвинение. И ему нечего было сказать в свою защиту».

Приключенческая фабула романа подчинена главной задаче — показу трудных путей в Народной Польше многих честных поляков, анализу сложных психологических процессов вызревания новых убеждений, новых понятий о долге перед страной и самим собой. Подобно роману Е. Брошкевича «Долго и счастливо»[1], «Бунт» — это роман о «польской судьбе» в XX веке, ибо в судьбе Смоляжа отразилась немалая частица современной истории Польши.

«Бунт» — роман многоплановый. Важное место занимает в нем и тема труда как неотъемлемой части жизни подлинно нравственного человека, утверждение честного отношения к выполнению своих обязанностей перед обществом. «Как это получается, что ваши профессиональные хлопоты оборачиваются для вас спасением родины?» — спрашивает Смоляжа единственный свидетель его борьбы за судно в Гонконге — польский журналист, поначалу скептически смотревший на «фанатика долга», но в конце концов покоренный его целеустремленностью и настойчивостью в выполнении задания.

Конечно, не все в романах Брауна равноценно. Есть в них и неорганичные, чересчур растянутые эпизоды. Ощущается порой некоторая заданность, «сконструированность» сюжета, повторение художественных приемов. Но главное, разумеется, в том, что талантливые, остросюжетные и вместе с тем глубокие по мысли романы А. Брауна о жизни современной Польши утверждают духовное благородство членов ее общества.

[1] Этот роман был опубликован в «ИЛ» № 6—8, 1972 г.

В. ХОРЕВ

«ДНЕЙ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ...»

Collection «Petite sirène». Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1967—1977.

Серии наводняют французский книжный рынок. Что только не издается в одинаковых переплетах под номерами и индексами: и детективы, и комиксы, и солидное литературоведение, и современная поэзия. Поэтическим сериям поистине несть числа, возникают и умирают группки-однодневки, вспыхивают и исчезают навеки новые имена, привычными становятся рассуждения о кризисе французского стиха, сетования на все уменьшающийся интерес к поэзии, на падающие тиражи поэтических сборников. Выделиться в этом книжном потоке, завоевать аудиторию крайне непросто. Однако уже десять лет существует поэтическая серия, выпускаемая издательством «Эдитер франсе реюни», и можно сказать, что сегодня она занимает уже прочное место в поэзии Франции. Легкий, но обманчивый путь — пытаться обобщать и делать выводы, анализируя серии или антологии. Слишком велик соблазн распространить единство оформления на единство видения, да и слишком разные четыре десятка поэтов издали за это время свои книги под грифом «Птит сирен» («Маленькая сирена»), чтобы подыскивать им общие определения. За эти годы вышли сборники крупнейших французских поэтов, в большинстве своем хорошо известных и нашим читателям: Пьера Сегерса, Эжена Гильвика, Жана Руссело, Жана Лансельма, Алена Боске, Жана Марсенака, Пьера Гамарра, Рубена Мелика, Шарля Добжинского и многих других. У каждого из них за спиной свой долгий путь в литературе, и редко эти пути параллельны, но тем не менее целый ряд примет нынешнего дня французской поэзии явственно различим в их строках.

Пожалуй, одной из наиболее характерных для современной французской поэзии является триада понятий: время — забвение — память. «Родник времен», «зерна времени», «часовня утраченного времени», «пыль времен», «дней связующая нить» — эти образы проходят сквозь стихи большинства поэтов, отражая отношения с временем как таковым, с ходом времени, то есть истории, с сиюминутным, то есть с современностью.

В столице осажденной воспоминаниями
Я вслушиваюсь как звенят
И падают зерна времени[1]—

это главный мотив сборника Пьера Сегерса «Скрытые слова» (Pierre Seghers, «Les mots couverts», 1970), целиком посвященного времени, вечному ходу времен, поиску связей с прошлым, погружению в утраченное время. Известный поэт и издатель, один из организаторов литературы Сопротивления, Сегерс не так давно выпустил книгу «Сопротивление и его поэты» — антологию, исследование, своеобразный сплав литературы и мемуаров о звездных и тяжелых часах французской поэзии. В ней есть строки: «Я пишу для тех, кто ничего не знает или хочет забыть. И если скажут мне, зачем ворошить пепел, я отвечу: для меня, как и для многих других, пепел этот еще горяч. Это пепел моих погибших друзей, моих близких. Забыть? Все стереть, а потом начать снова?! Нет!.. Забвение приравнивается и действительно является потенциальной возможностью повторения горьких уроков истории. И Сегерс не воздвигает еще одну, свою «часовню утраченного времени», а стремится остановить в стихах время, помешать ему пойти вспять. Сегерсу свойственно не просто обостренное чувство истории, ему органически присуща способность ощущать свою сопричастность ей, неразрывность дня вчерашнего и завтрашнего. И, несмотря на то что в «Скрытых словах» Сегерс совершает свой собственный путь сквозь память, вслушивается в звон «колоколов прошедшего», это путь, как говорит сам поэт, «одного из многих других». И память не дает забыть прошлое:

Он пел девятьсот дней, в одиночке.
Не забывайте, он пел, приговоренный
к смерти,
юный, живой.
Он пел, и его тюремщики, проходя
по двору,
говорили: «Послушайте! Невозможно
его убить!»

В поэзию Антуана Витеза (создателя известного театра в рабочем предместье Парижа — Иври, режиссера, поставившего «Электру» Софокла, «Фауста» Гёте, «Баню» Маяковского) время, напротив, включено непосредственно — датами под стихами. Каждое стихотворение его сборника «Трагедия — это история слез» («La tragedie c'est l'histoir des larmes», 1976) — словно заметки на полях, отрывок из дневника, и дата здесь равна строке:

«Мы были солдатами, которые вступают на вражескую территорию, не встречая сопротивления. Они занимают дом, деревню, форсируют реку, и враг невидим по-прежнему, возможно, он обратился в бегство. Но он здесь, он нас видит, мы все на виду, а там, в роще, может быть, пулеметный дот? Нет, ничего. Все ушли. Мы рады, в конце концов, мы в это верим. Мы заняли страну без единого выстрела, она перед нами, мирная, свежая, не тронутая войной, мы можем здесь жить спокойно. И мы поем, танцуем, чертим планы будущих городов. Но мы знаем, что это невозможно, невозможно...

...И вот я различаю первый пушечный залп. Артиллерийская подготовка началась».

Дата 31 мая 1968 года здесь не просто конкретизирует стих, она возвращает читателей к грозному маю, развеевшему в прах так много иллюзий. Витез сам иллюстрировал свою книгу — хрупкие карандашные линии словно перетекают одна в другую,

[1] Здесь и далее переводы стихов принадлежат автору статьи.

подхваченные вихрем дома, сметаемые ветром со страницы,— мир Витеза не просто непрочен, он рушится на глазах, колеблется под ногами, исчезает, и единственное, что сохраняет в нем устойчивость,— это слово. Запечатлеть — значит остановить мгновение, спасти его от разрушительного действия времени, сообщить устойчивость хотя бы одному дню. И стих Витеза превращается в непрерывную смену стоп-кадров, обрывки записей, где количество деталей часто затмевает картину, а оттенки — цвет.

Фиксация действительности, стремление запечатлеть время может обернуться и трагедией, об этом — одно из сильнейших стихотворений в книге Жана Лансельма «Ярмарка лома» («La Foire à la ferraille», 1974). Язык Жана Лансельма, отдавшего в разные периоды своей жизни дань различного рода экспериментам со словом, близок Витезу: тоже стихи в прозе, подчеркнутая бесстрастность авторского голоса. Правда, его поэзия сохраняет все интонации именно прозы, каждая миниатюра — законченная новелла, спрессованная в страницу или несколько строк.

Об одном стихотворении Лансельма «Смерть моей матери» стоит сказать особо. Скорее эта маленькая поэма с несоответствующим, на первый взгляд, подзаголовком «Искусство поэзии» — произведение полемическое, беспощадное, даже жестокое и, безусловно, трагическое Поэт у постели умирающей матери понимает, что он утратил непосредственность чувств а привычка механически зарисовывать окружающее обернулась бездушием, игра в слова — черствостью Нет слов для истинного горя, есть литературные ассоциации, но нет подлинного творчества Раздвоение души приводит к полному распаду сознания, потере всего человеческого, и над телом умершей матери поэт лишь продолжает машинально перебирать слова: «Смерть моей матери, смерть материи, термины смерти, траур. Лючия де Ламермур амур, аммиак, аминь...» Такова расплата за умозрительные конструкции стиха Это и исповедь, и предостережение.

В сборнике Шарля Добжинского «Суть земная» («Capital terrestre» 1975) поэзия напротив, насыщена приметами сегодняшнего дня Стихам о Греции, о Чили, об Испании о пасторе-негре в алабамской больнице отведена большая часть книги, которую поэт считает для себя этапной. Добжинский сам называет себя политическим поэтом, и его новая книга действительно неотделима от сегодняшних газетных полос, от строк последних известий. В интервью, данном газете «Франс нувель», он говорил о своем пути к этому сборнику: «...После войны живо ощущалось влияние поэзии Сопротивления Многие молодые поэты и я в том числе увлекались стихами, непосредственно связанными с обстоятельствами. Поэта, недостаточно требовательного к себе, подстерегает на этом пути опасность риторики и декларативности, которым отдал дань и я, оставаясь при этом столь же искренним, сколь и наивным». Сегодня в поэме «Кантата неизвестным» Добжинский снова возвращается к Сопротивлению, чтобы также напомнить о прошлом. Важное место принадлежит в книге и поэме «Родник времен» — об обретении своего места во времени и в жизни, о поисках связей с прошлым, без которого нет настоящего:

Я спускался в недра эпох
В остывший кратер столетий
Во мрак и глубины души
Где имена и речи скрываются в магме времен
В пепле древних пожаров.

В стихах видного поэта Жана Марсенака сегодня нет ни пафоса, ни глобальной тематики. Он редко оперирует понятиями времени, эпохи, поколения. Язык его книги «Ремесла» («Les petits metiers», 1969) прост, будничен и незамысловат: образ, возникающий на стыке понятий, чаще всего вырастает из самой речи, раскрывает метафору. Марсенак ищет точное слово для определения реальности, лежащей прямо перед глазами. Половина его книги — это старинный бестиарий (в средние века описание и аллегорическое толкование животных), своеобразная вселенная, заимствованная из мира басен, зарисовки зверей, каждая из которых— маленькая притча. Поговорки, приметы, поверья смешиваются в этих непритязательных, но многочисленных картинках. Вторая часть книги называется «Ремесла». Определения профессий, краткие, почти афористичные, но моментальные фотоснимки иногда обладают способностью лучше передавать дух времени, чем монументальные панно, а Марсенак неизменно стремится к емкости и подлинности. Он не доверяет слову громкому, он доверяет слову единственному, и время также оживает в его стихах:

Мои лучшие воспоминания о хлебе войны
Люди его дожидались и жевали свой голод
И верили булочнику когда он им говорил
Что будущее белого хлеба чисто словно заря.

(«Булочник»)

«Бестиарий» входит и в новую книгу Жана Руссело «Говорящему о жизни» («A qui parle de vie», 1972) Правда, здесь это скорее лишь повод для игры со словом затейливого описания. Один из патриархов французской литературы, романист, новеллист и литературовед Жан Руссело смело объединяет в сборнике вещи крайне непохожие: и философское сложное произведение «Письма кому-нибудь», во многом перекликающееся с «Цитаделью» Сент-Экзюпери, посвященное поискам нравственного абсолюта, и изящную любовную лирику, и прозрачные зарисовки, пронизанные ощущением текучести, неуловимости мира, непобедимости времени:

Странный закон жить всегда в прошлом
Так воды рек уплывают
Пока к ним подносишь руки
Так с пор ретов взирают
На нас одни мертвецы
Так слова на бумаге
Смысл теряют пока высыхают чернила.

Перу Руссело принадлежит множество литературоведческих работ, он вдумчивый

и тонкий исследователь, умеющий дать определение емкое и глубокое. Обращаясь к новой книге Рубена Мелика «Моя живая плоть» («Le corps vivant de moi», 1976), хочется процитировать слова, сказанные о нем Жаном Руссело: «Как Деснос, как Арагон, он (Мелик) верит, что классический французский стих может передать самое современное, самое активное поэтическое содержание. Он верит во вдохновение, вверяет себя воле его волн и приближается к берегу своей поэмы с грузом картин одновременно легендарных и реальных, причудливых, но исполненных человечного значения». Мелик и в новом, уже четырнадцатом, сборнике по-прежнему верен своей преданности классическому стиху. Сонатам Мелика присуща стройность, граничность рисунка, подчиненность логики движения стиха логике мысли.

Верен любви к традиционному стиху и Пьер Гамарра — писатель, очень хорошо известный в нашей стране, многие прозаические произведения которого переведены на русский язык. Сборник «Рябина, птицы» («Le Sorbier, des oiseaux». 1976) по-настоящему лиричен, обаяние поэта — в искренности интонации, в подлинной свежести взгляда. Память пронизывает и стихи Гамарра:

Воспоминанья как дети
Как кочевые народы
По тропам уходят годы
В сердце вступает ветер

(«Память»)

Память превращает мгновенно вспыхнувший образ в символ, ассоциацию — в аллегорию, включает строку в цепь времен.

Книгу Алена Ланса «Личные впечатления» («Les réactions du personnel», 1977) тоже хочется назвать традиционной, хотя манера ее автора далека от классической строфики и рифмовки. Многие стихи Алена Ланса продолжают традицию поэзии Жака Превера, с ее насмешливым взглядом, каламбуром, игрой слов, необычным поворотом темы:

Свойства жизни
Вчера
Я видел муху
Асимметричные крылья
Нежно дрожали
Она казалась точкой
На кафельной плитке
Около восемнадцати часов
В коридоре станции метро Республики
Где ничего не предусмотрено для мух

Назвать, определить, то есть познать, включить в ход времени — постоянный мотив поэзии Эжена Гильвика, по-новому звучащий в его книге «Зарубки» («Encoches», 1971). Один из крупнейших и старейших поэтов сегодняшней Франции, Гильвик давно и прочно занимает свое место в пестром потоке французской поэзии, держась в ней несколько особняком, и в то же время накрепко связанный с ее истоками. Его мир всегда вещен и реален, а слово сохраняет первозданность звучания и значения. Краткость и конкретность его речи неизменны: пройдя через опыт сонета и доказав, что он владеет им блестяще, Гильвик давно уже верен своей излюбленной краткой строке, ритм которой подчинен только дыханию. Предметы, вещи долгое время составляли основу мира Гильвика. Для него характерно ощущение любого предмета как звена в цепи мироздания:

Соломинка в твоем кармане
Потребовались вихри
Крушенья катастрофы
Приезды и отъезды
Чтоб ей попасть туда

(«Соломинка»)

План всегда предельно укрупнен, иерархия масштабов явлений полностью отсутствует, солнце и подсолнух равновелики. Гильвик шаг за шагом осваивает мир, устанавливая в нем свои связи и проверяя на прочность ценности истинные и мнимые. Сотворение этого мира происходит на наших глазах, поэт сродни мастеру, и читатели призываются в подмастерья. Поступок каждого что-то меняет в этом мире, человек включается в мир живой и неживой природы как равноправный участник и строитель.

И поэт приглашает к соучастию, чтобы всем вместе

Сделать из невозможной
Возможную радость.

Чтобы протянулась дальше «дней связующая нить», не прерывающаяся в стихах сегодняшних французских поэтов.

Н. СТРИЖЕВСКАЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АФРИКАНЦЕВ

Cyprian Ekwensi. Restless City and Christmas Gold with other Stories. London, Heinemann, 1975.

Очевидцы утверждают, что в 1948 году видели в Лагосе очереди за книгами — факт для колониальной Африки беспрецедентный. Внимание читающей публики привлекла тогда книга Киприана Эквенси «Когда шепчет любовь» — повесть о молодой африканке, которая отказалась от любимого человека и благополучной семейной жизни ради борьбы за свободу родины. Киприан Эквенси, ранее известный лишь публикациями сказок народа ибо и сериями радиопередач, приобрел популярность как в Нигерии, так и за границей.

Сейчас его называют и «нигерийским Дефо», и «отцом современного африканского романа»—«явлением, столь же важным для литературы Западной Африки, сколь Нкрума для ее политики». Зарубежному читателю, в том числе и советскому, К. Эквенси известен прежде всего как автор повестей и романов большинство которых вошло в золотой фонд африкан-

ской литературы[1]. А между тем рассказы играют в творчестве писателя весьма существенную, если не сказать определяющую, роль. И около десятка сборников, изданных К. Эквенси, тематически предвосхищают почти все, созданное им в жанре большой прозы. Достаточно заметить, что его первый роман «Люди города» (1954) — своеобразная переработка рассказов, объединенных общим действующим лицом.

Новый сборник рассказов «Беспокойный город и рождественское золото», вышедший в Англии, можно назвать хрестоматией малой прозы писателя. В него вошли пятнадцать рассказов, написанных в разное время. И тот, кто знаком с творчеством К. Эквенси, без труда узнает в некоторых из них прототипы героев «Людей города», «Прекрасного оперения» и «Локотауна». К. Эквенси уже давно утвердился как мастер городской темы, и в новом сборнике писатель повествует в основном о жителях Лагоса, их проблемах и заботах.

В африканской литературе уже немало написано о «побывавших» — тех, кто получил образование за границей и в какой-то степени утратил духовный контакт с родиной. В Лагосе встречаются три приятеля (рассказ «Беспокойный город») — Сокони, Тойекун и Вальтер. Дипломированные специалисты, они стремятся найти свое место в жизни. Вальтер, бывший студенческий лидер, устроился чиновником, но мечтает о политической карьере. Тойекун думает, где бы раздобыть денег, чтобы основать собственное «дело». Сокони, вернувшийся на родину с белой женой, тщетно ищет работу по специальности. Да, все не так, как они предполагали, и Сокони хмуро бросает Тойекуну:

«— Знаешь, я всерьез подумываю о том, чтобы вернуться.

— Куда, в Англию?

— А почему бы нет? Там у меня была работа, дом и родственники жены под боком».

В своей родной стране Сокони чувствует себя чужаком. И он жалуется: «Пока у тебя не появится покровитель, ты ничего не сможешь здесь добиться».

Рассказы К. Эквенси, как правило, незамысловаты по сюжету, но содержат четкий моральный вывод. Некоторые критики упрекают писателя в недостатке художественного мастерства, ставят ему в вину нравоучительность, дидактичность, заимствованные, как они считают, из африканского фольклора. Другие же, напротив, ценят в его произведениях образность речи и оригинальность стиля. И действительно, в новом сборнике без труда узнаешь легкое и точное перо Эквенси, а также привычные для него иронию и грусть, вызванные, быть может, тем, что не все в Африке происходит так, как хотелось бы писателю.

Большинство рассказов нового сборника повествуют о событиях, происходящих в канун рождества.

Забастовка. Главный бухгалтер прячется на складе универмага. Он не хочет бастовать, потому что компания предоставила его дочери стипендию. А голос из репродуктора призывает: «Оставайтесь на своих местах. Продолжаем мирное пикетирование».

Призыв забастовщиков порождает в душе бухгалтера смятение: «Нет, это обращаются не ко мне. Я же не бастую. Но уже три дня, целых три дня прячусь здесь, как крыса. А ведь на дворе рождество, и мне надо быть с семьей».

В этом рассказе («Черное рождество») автор вскрывает психологию африканского служащего, еще не поднявшегося до «верхов», но уже и оторвавшегося от «низов». Не случайно по дороге домой бухгалтера мучает видение: по одну сторону осмеивающие его забастовщики, по другую — управляющий, одобрительно говорящий: «Ты хорошо поступил, Канем, но ты нам больше не нужен... Спасибо».

Как и в предыдущих сборниках, в некоторые рассказы Эквенси вплетает сказочные мотивы. Они связаны в его творчестве с африканским фольклором, удачно переработанным и естественно укладывающимся в современный сюжет.

Хоронят Иколо, человека, умевшего смеяться и часто заставлявшего смеяться других («Великий потусторонний мир»). Он, бывало, говаривал, что еще придет к людям после смерти. И вдруг похоронная процессия слышит доносящийся из гроба громкий стук и властный зов: «Джоке! Джоке!» — Иколо зовет свою жену. Когда она открыла крышку гроба, то поднялся возмущенный Иколо и чихнул. Ворча, он приблизил к себе супругу и зашептал что-то на ухо. Джоке успокоила мужа, заботливо уложила и сама заколотила гроб. Тело Иколо предали земле.

Через две недели Джоке явилась к одному торговцу и потребовала деньги, которые ему якобы одолжил ее муж. «Ложь!» — закричал торговец. Но деньги пришлось отдать — ведь не мог же человек восстать из гроба для того, чтобы солгать. Да и деньги по его завещанию священник должен был раздать бедным.

Много вопросов волнует писателя и его героев. Среди них и вопросы извечные, но актуально звучащие на новом повороте африканской истории, в условиях изменения общественных структур и становления новой морали: что такое человеческое счастье («Рождественское золото»), как сочетать личные интересы с общественными, какой вклад может и должен внести каждый член общества в строительство независимой Африки («Необходимый»).

В свое время, после выхода романа «Джагуа Нана», один из читателей упрекнул Киприана Эквенси в том, что, сделав героиней падшую женщину, он представил Нигерию в искаженном свете. Отвечая, К. Эквенси сравнил писателя с зеркалом, которое должно отражать правду жизни. И если писателю это удается, то он выполняет главное свое предназначение.

В. ПЕРЕХВАТОВ

[1] На русском языке вышли основные произведения К. Эквенси: повесть «Когда горит трава», роман «Люди города» и ряд рассказов.

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПАТРИКА УАЙТА

Книги известнейшего австралийского писателя Патрика Уайта, лауреата Нобелевской премии 1973 года, автора десяти романов, четырех пьес, нескольких сборников рассказов, внесшего значительный вклад в современную англоязычную литературу, публикуются слишком редко и не пользуются большим спросом у читателей. К этому грустному выводу приходит рецензеит журнала «Маклинс» в статье о новом романе Уайта. Такое положение вещей, по его мнению, еще раз свидетельствует о том, что массовый читатель «предпочитает ремесленников от литературы, не имеющих никакого отношения к подлинной культуре».

Критик опасается, как бы подобная недооценка не постигла и недавно вышедший роман Патрика Уайта «Бахрома листьев». В книге повествуется о женщине, возвращавшейся в 1836 году из Австралии в Англию. По пути ее похищает и обращает в рабство племя аборигенов. В конце концов с помощью беглого каторжника ей удается освободиться. К цивилизации она возвращается совсем другой — не пассивной, покорной своей судьбе женщиной, а человеком, научившимся бороться, полностью раскрепощенным и уверенным в своих силах. «Это самая независимая и внутренне ничем не скованная из героинь Уайта»,— замечает критик. Преодолевая условности, она открывает для себя мир чувственных радостей, и это тоже помогает становлению ее личности — мотив, впервые появляющийся у писателя.

Книга Уайта вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд, она полна глубокого философского смысла, пишет рецензент, отмечающий также богатство языка и глубокий психологизм романа «Бахрома листьев».

АЛЖИР

«ДРУГАЯ ФРАНЦИЯ»

В дни празднования 22-й годовщины начала национально-освободительной революции в Алжире, сообщает журнал «Ас-Сакафа», в г. Константина состоялась премьера фильма «Другая Фраиция», поставленного известным алжирским кинорежиссером Али Ганемом. В фильме рассказывается о тяжелой жизни алжирских рабочих-эмигрантов во Франции, подвергающихся жестокой эксплуатации со стороны предпринимателей и преследованиям расистов.

«Другая Франция» — второй фильм Али Ганема. Первый его фильм — «Мектуб», вышедший на экраны в 1970 году, также был посвящен жизни и борьбе алжирских рабочих-эмигрантов.

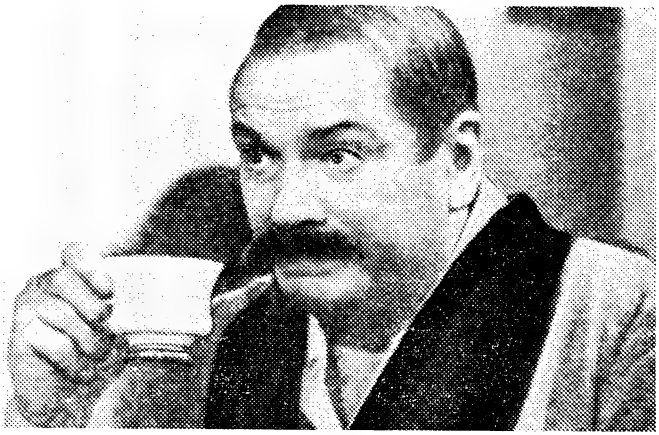
АНГЛИЯ

ДЖ. ОЛДРИДЖ О ХЕМИНГУЭЕ И ФИЦДЖЕРАЛЬДЕ

Новой книгой Джеймса Олдриджа стала романизированная биография двух крупнейших американских писателей XX столетия — Эрнеста Хемингуэя и Скотта Фицджеральда, с которыми автор был лично знаком в юности.

«Последний взгляд» — так называется произведение Дж. Олдриджа, оно вышло в издательстве «Майкл Джозеф» и сразу же привлекло внимание британских критиков.

В книге, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» Г. Бивер, описывается 1929 год — время, когда обоим писателям было по тридцать. Скотт Фицджеральд успел уже опубликовать



С большим успехом в Англии прошла пьеса известного драматурга Гарольда Пинтера «Коллекция». Этому немало способствовало, как отмечает критика, исполнение главной роли Лоуренсом Оливье.
На снимке: Лоуренс Оливье в спектакле «Коллекция».

(Журнал «Лиснер»)

«Великого Гэтсби» и приступил к работе над романом «Ночь нежна», а Э. Хемингуэй прославился книгой «Прощай, оружие!».

Изображенную жизненную и творческую ситуацию Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя, пишет рецензент, Дж. Олдридж рассматривает как современную модификацию истории двух героев Л. Кэрролла из «Алисы в стране чудес»: Твидалдама и Твидалди. Только вместо знаменитой погремушки, из-за которой между ними и разгорелась ссора, у героев Олдриджа — «другие игрушки»: у Скотта Фицджеральда бутылка (намек на его трагические запои), у Хемингуэя ружье — как символ его увлечения охотой и будущего самоубийства, а причина ссоры, продолжавшейся всю жизнь, разные взгляды на искусство.

Основываясь на личности и характере писателей, Дж. Олдридж, пишет рецензент, создает в своей книге определенную литературную теорию. Один тип художника — это Хемингуэй, убежденный в нужности и правильности изображения жизни такой, какой она видится, а второй тип художника — Фицджеральд, верящий во власть и силу воображения и интуиции.

Несомненной заслугой книги Дж. Олдриджа, считает Бивер, можно считать мастерское изображение творческого кризиса в жизни и Хемингуэя и Фицджеральда. Причину этого кризиса Дж. Олдридж в значительной степени видит в шумихе, «паблисити», которые были созданы вокруг имен этих писателей и которые извратили личную сторону их жизни. В такой ситуации, пишет Бивер, для Хемингуэя выходом стало сознательное подавление личности, импульсов, для Фицджеральда, напротив, выведение всего подсознательного наружу. Но, считает Дж. Олдридж, источник их поведения был общим — страх за потерю их нравственной цельности — и общим стал конец: преждевременная смерть.

БРАЗИЛИЯ

ГЕРОИ ЖОРЖИ АМАДУ НА ЭКРАНЕ

На телеэкранах Бразилии, как сообщает выходящий в Рио-де-Жанейро еженедельник «Опиньяу», с большим успехом демонстрировался фильм «Габриэла», поставленный по роману Жоржи Амаду при участии популярной актрисы Сониа Брага. Недавно закончились съемки еще двух фильмов по произведениям Амаду: «Лавка чудес» (режиссер Нелсон Перейра дус Сантус) и «Дона Флор и два ее мужа» (молодой режиссер Бруну Баррету, фильмы которого «Девочка Тати» и «Звезда восходит» демонстрировались на VIII и IX международных кинофестивалях в Москве).

БОЛГАРИЯ

ЛИРИЗМ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ

Внимание болгарской критики за последнее время привлекает творчество Слава Христова Караславова, главного секретаря Союза болгарских писателей.

Слав Хр. Караславов приобрел популярность прежде всего как поэт, в чьих стихах, отличающихся задушевностью и лиризмом, находят отклик самые животрепещущие вопросы современности.

Вышедший в 1976 году поэтический сборник «Апрельские пространства», включающий две поэмы, как отмечает журнал «Септември», раскрывает новую грань его таланта. Автор осмысливает опыт своего поэтического поколения, вступившего в литературу после Апрельского пленума ЦК БКП (1956 г.), говорит от его имени с новой сменой, с грядущими поколениями.

Не порывая с поэзией, Слав Хр. Караславов все чаще выступает как одаренный прозаик, как автор рассказов и исторических романов, и его присутствие ощутимо не только в поэзии, но и в прозе, куда он привносит метафорическую образность, романтическую приподнятость, лирическую струю, придающие, как подчеркивает «Септември», новому сбор-

нику его рассказов «И имя у тебя красивое...» поэтическое звучание. Сборник посвящен теме антифашистской борьбы, к которой Слав Хр. Караславов не раз обращался, находя свой ракурс для ее воплощения. Он проявляет ярко выраженную склонность к исключительным ситуациям, к изображению событий в подчеркнуто драматическом и даже трагическом аспекте. Однако все необычные ситуации, описываемые в его рассказах, жизненно достоверны. Слав Хр. Караславов показывает сложные взаимоотношения героев, раскрывает столкновение противоположных чувств, поднимает острые нравственные вопросы о долге и ответственности человека перед собой и другими людьми, проблемы, решающиеся в конкретной исторической обстановке, но обретающие, как пишет журнал «Септември», глубокое общечеловеческое звучание.

Сборник рассказов обращен к недавнему прошлому, которое, однако, становится уже историей, давно привлекающей внимание писателя. Критик Иван Руж справедливо пишет в рецензии на его роман «И возвысился род Асенов...», опубликованной в еженедельнике «Литературен фронт», что Слав Хр. Караславов все больше утверждается как автор исторических произведений.

С успехом идет пьеса Караславова «Солунские братья» — о великих славянских просветителях и создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. В романе же «И возвысился род Асенов...» писателя привлекает другая славная эпоха в истории Болгарии — XII век, решающие годы объединения болгарского государства после освобождения от владычества Византии, годы сплочения патриотических сил, во главе которых стоял царь Калоян, в борьбе против непокорных бояр-раскольников, движимых жаждой личной власти, а не государственными интересами.

Интерес к истории не уводит писателя от проблем сегодняшнего дня. Свидетельством тому служит последняя из его работ — публицистическая книга «Письма моему другу из книжного мира», написанная в редком сейчас эпистолярном жанре. В ней от размышлений о выдающихся деятелях болгарской истории Василе Левском и Христо Ботеве, о творчестве писателей-классиков, которые служат примером верности народу, честного выполнения гражданского долга, писатель переходит к раздумьям о роли художника в современном мире, о проблемах политической жизни сегодня, о переменах в болгарском селе, о новом облике человека социалистического общества.

Слав Хр. Караславов, подчеркивает газета «Пулс», находит сильные, страстные слова, «которые могут нас убедить, вдохновить, покорить своим теплом, внушить нам ощущение, что мы сами их произнесли».

ВЕНГРИЯ

СТРАНИЦЫ ИЗ БИОГРАФИИ ЭРВИНА САБО

В Будапеште в издательстве «Кошут» готовится к выпуску однотомник переписки известного марксиста, деятеля венгерского ра-

---

В Будапеште в залах Национальной галереи экспонируется выставка работ Шандора Бортника — известного венгерского художника, лауреата Государственной премии имени Мункача, автора многих произведений, посвященных теме венгерской революции 1919 года и жизни рабочих и крестьян.
На снимке: одна из графических работ Ш. Бортника.

(Журнал «Уй тюкор»)

бочего движения Эрвина Сабо (1877—1918).

В 1898 году, будучи в Вене, Эрвин Сабо знакомится с русским революционером Павлом Федоровичем Тепловым. 19 октября 1899 года П. Ф. Теплов в письме, посланном из Берна, спросил Эрвина Сабо: «Сможете ли Вы в ближайшем будущем поехать на несколько дней на мою родину? Выполните поручение и вернетесь обратно. Все подробности я сообщу Вам после того, как Вы дадите принципиальное согласие». Ответ, как явствует из следующего письма П. Ф. Теплова, был утвердительным, но поездка по ряду причин не состоялась. В августе 1900 года Эрвин Сабо получил из Лиона письмо другого русского революционера И. Пескина, в котором сообщалось, что П. Ф. Теплов арестован царской охранкой в Пскове, куда он нелегально ездил на свидание с Лениным и Мартовым. Как доверенное лицо русских социал-демократов, И. Пескин писал, что будет информировать Эрвина Сабо о положении Теплова, и просил его взять на себя роль связного между европейскими и русскими социал-демократами. Эрвин Сабо это предложение принял.

В апреле 1901 года П. Ф. Теплов писал Эрвину Сабо уже из сибирской ссылки, прося выслать ему материалы о венгерских конгрессах рабочей партии за последние три года и о профсоюзном и крестьянском движении.

В 1906 году, после амнистии политических заключенных в России, П. Ф. Теплов вновь оказывается за границей. В письме из Вены он сообщает Сабо: «Еду в Будапешт навестить своего доброго друга». Но свидание не состоялось из-за болезни Эрвина Сабо. Теплов же возвратился в Петербург и вскоре умер от туберкулеза. Связь с русскими революционерами Эрвин Сабо не прекращал и в последующем. В 1918 году он был избран почетным членом Московской социалистической Академии.

ВЬЕТНАМ

IV ВСЕВЬЕТНАМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

В городе Хошимине состоялся IV Всевьетнамский кинофестиваль, проходивший под девизом «За социалистическое отечество и счастье народа, за развитие национальной кинематографии». Впервые в истории вьетнамского киноискусства подобный смотр проводился на юге страны. 13 киностудий представили на конкурс 86 картин различных жанров, которые демонстрировались в 50 лучших кинотеатрах города, а также в учреждениях, на предприятиях и в высших учебных заведениях, где проходили встречи кинематографистов со зрителями.

Высшей награды кинофестиваля — премии «Золотой лотос» — были удостоены документальные ленты «Историческая победа весной 1975 года» (киностудия вьетнамской Народной армии), «Город на заре» и «Августовские звезды» (киностудия художественных фильмов Вьетнама), мультипликационные фильмы «Муравей и рисовое зернышко», «Мечта» и «Самая красивая метелка».

Многие картины были удостоены премии «Серебряный лотос» и почетных дипломов. Среди них художественные фильмы «Святой праздник» и «Беспокойный рейс», представленные киностудией художественных фильмов Вьетнама, а также две ленты, созданные кинематографистами города Хошимина: полнометражный телевизионный фильм «Девушка Нир» и экранизация популярной пьесы «Падение тиража». Специальный приз кинофестиваля завоевал фильм «Приемный ребенок», почетные дипломы — картины «Две матери», «Раскрытая ученическая тетрадь» и «Меч предводительницы».

Премии за лучшее исполнение женской роли удостоены актрисы Ча Зянг (роль Нян в «Святом празднике») и Тхань Ту (роль Ню в «Августовских звездах»); лучшим исполнителем мужской роли признан актер Хюи Конг (роль Кы в фильме «Приемный ребенок»).

Премии за лучший сценарий присуждены Бань Бао и Чан Ву (фильм «Беспокойная поездка»), за лучшую постановку — режиссеру Нгуен Кхак Лою и лучшую операторскую работу — Нгуен Кхань Зы (фильм «Две матери»).

С большим успехом в Хайфонском театре идет пьеса советского драматурга Александра Гельмана «Протокол одного заседания».
На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Нян зан»)

ГДР

НАГРАДЫ ПИСАТЕЛЯМ

Литературная премия имени Генриха Манна за 1977 год присуждена писателям Эриху Кёлеру и Иоахиму Новотному. Премию вручал президент Немецкой Академии искусств Конрад Вольф.

Эрих Кёлер — известный прозаик, автор рассказов и романов. В решении Академии о присуждении ему премии отмечается «своеобразие его стиля и характерное для его творческой манеры использование элементов фантастики».

Иоахим Новотный, известный до последнего времени как автор рассказов и драматических произведений для детей и для взрослых, недавно выпустил свой первый роман «Некто Робель». Как говорится в решении Академии, «роман обогатил нашу литературу, по-новому показав современного рабочего».

Высокой награды удостоена и писательница Рут Вернер, недавно отметившая свое семидесятилетие. Ей вручен орден Карла Маркса.

Орденом «Знамя труда» награжден известный драматург и театральный критик Райнер Кериндль и ряд литературоведов и литературных критиков.

«ЖЕЛТОЕ ОКНО, ЖЕЛТЫЙ КАМЕНЬ»

«Фольксгеатер» города Росток ознаменовал свое торжественное открытие после реконструкции новой пьесой известного драматурга Клауса Хаммеля «Желтое окно, желтый камень» (режиссер — Ансельм Пертен).

Сюжет пьесы Хаммель связал с историей похищения знаменитой Янтарной комнаты. Немецкие оккупанты вывезли ее в Кёнигсберг, откуда она бесследно исчезла. По одной из версий сокровища, оцениваемые сейчас в 50 миллионов долларов, затонули в Балтийском море вместе с кораблем, на котором их пытались увезти. В поисках этих сокровищ, преследуя мародерские, разбойничьи цели и прикрываясь фразами о гуманизме, рыскает небольшая группа, состоящая из двух мужчин и одной женщины. Во время шторма они, якобы потеряв дорогу, ищут приюта у старого капитана Андерсона, уединенно живущего на берегу Балтийского моря.

Более 30 лет прошло с тех пор, как корабль, на котором капитан спасал беженцев из концлагерей, подорвался на мине. Погибло много людей, и вместе с людьми погибли ящики с каким-то ценным грузом. Как подозревает капитан, это были ценности, награбленные гитлеровцами, никакого отношения к Янтарной комнате не имеющие. Андерсон старается не вспоминать о происшедшем, так как оно связано с глубоко личной трагедией: ему пришлось стрелять в штурмана, жениха дочери, заключившего позорную сделку с фашистами.

Ночные «гости» хорошо знают эту историю. Не брезгуя никакими средствами, используя шантаж и даже пытаясь подвергнуть на глазах капитана его дочь электрошоку, они хотят выведать у капитана «тайну» Янтарной комнаты, узнать место гибели корабля. Ни в какие сделки капитан вступать не хочет, а чтобы спасти дочь, ему приходится второй раз выстрелить из того же пистолета, из которого он стрелял много лет назад. Неожиданный приход помощника полицейского Хоппе, который исправляет поврежденную во время бури электропроводку, спасает капитана и его дочь. Но оба они понимают теперь, что от проблем современной жизни не уйти, что от них не спасает то уединение, в котором они прожили много лет, что прошлое властно напоминает о себе.

«Это — пьеса о нашей современности, о том, что каждый человек должен решить, на чьей он стороне и за что он должен бороться»,—пишет рецензент еженедельника «Зонntаг».

«Сталкивая представителей двух разных общественных систем, Хаммель ставит в своей пьесе важные и нужные вопросы,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» Райнер Кериндль.

«В пьесе Хаммеля сочетается актуальность и политическая острота с увлекательным, детективным построением сюжета»,— пишет газета «Берлинер цайтунг».

ИЗРАИЛЬ

ОКТЯБРЬСКАЯ ВОЙНА И ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

События, связанные с военными действиями на Синайском полуострове в октябре 1973 года, по-прежнему находят отражение в израильской литературе.

Для многих произведений, посвященных этой теме, теперь характерны более трезвая оценка действительности, правдивый показ взаимоотношений еврейской и арабской частей населения страны.

К числу произведений такого характера прогрессивная критика относит, в частности, недавно опубликованный на иврите первый роман А. Б. Иехошуа «Любовник». До этого писателем было опубликовано несколько сборников рассказов — «Смерть старухи» (1962), «Перед лесом» (1968), «В начале лета 1970 года» (1971) и две пьесы: «Ночь в мае» и «Последние прикосновения».

Действие романа «Любовник» начинается в период, предшествовавший важным событиям октября 1973 года, и завершается после их окончания.

Один из персонажей романа — владелец гаража Адам, наживающийся на эксплуатации тридцати рабочих-арабов.

Другой герой романа — молодой араб Наим, работающий в гараже Адама и влюбленный в дочь хозяина. Наим и его товарищи-

рабочие — представители молодого поколения арабов, выросших в Израиле. Они свободно владеют ивритом, хорошо знакомы с еврейской историей и литературой. Тем не менее все они для Адама и его бухгалтера Эрлиха — люди из чужого, враждебного мира.

Атмосфера подозрительности и отчужденности между владельцем гаража и рабочими-арабами достигает высшего накала после начала октябрьской военной кампании. Наим так выражает свое отношение к этой войне: «Опять они убивают, а когда они убивают, нам следует сжаться в комок и понизить голос до шепота».

На пресс-конференции, организованной в связи с публикацией романа «Любовник», Иехошуа спросили: каким образом он сумел «влезть в шкуру» простого арабского парня, полюбившего еврейскую девушку? Писатель ответил: «Мне потребовалось только почувствовать себя солидарным с этим персонажем и как-то проникнуться его мироощущением... Ведь арабы живут здесь, возле нас».

ИНДИЯ

РОМАН О ХОЖДЕНИИ В НАРОД

Газета «Джан юг» опубликовала рецензию на роман «Свои люди» известного прогрессивного поэта и прозаика хинди Рамдараша Мишры. Это четвертое крупное произведение писателя. Три предшествующих его романа о жизни современной североиндийской деревни были тепло встречены читательской общественностью. В рецензии отмечается, что «во всех своих произведениях, проявляя искреннюю симпатию к угнетенным и обездоленным, писатель беспощадно разоблачает реакционные силы, которые, прикрываясь громкими словами о религии, касте, общине, добиваются своих корыстных целей». Как говорится в предисловии к книге, автор касается актуальных проблем, имеющих отношение к политической, социальной, экономической, литературной и семейной сфере, а также показывает «тяготы, заблуждения и борьбу простого человека».

В центре романа — преподаватель колледжа Прамод. Движимый романтической идеей служения «народу», он покидает Дели и переезжает в деревню, однако очень скоро разочаровывается, столкнувшись с неприглядной картиной жизни. Выходец из мелкобуржуазной среды, Прамод не находит в себе сил бороться и уже готов уехать обратно в столицу, но дело, начатое им, подхватывает его сын Паван, который к тому времени успел познакомиться с марксизмом и выбрать себе жизненный путь.

Оценивая роман как несомненное достижение автора, рецензент вместе с тем не может полностью принять данную им трактовку центрального образа. «Писатель ошибается, когда проявляет к Прамоду избыток симпатии и старается как-то оправдать его,— пишет рецензент,— но он верен жизненной правде там, где в конкретном контексте показывает ограниченность мировоззрения и жизненного уклада своего героя».

ИТАЛИЯ

«НЕФТЬ И НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Так называется четырехчасовой телевизионный репортаж, который собирается осуществить режиссер Джанни Барчеллони в содружестве с двумя крупнейшими итальянскими писателями — Альберто Моравиа и Гоффредо Паризе. Писатели, кроме того, сами будут комментировать с телеэкрана все, что будет заснято на пленку во время предстоящего путешествия по странам арабского Востока. Тема телерепортажа — перемены в жизни народов арабских стран, разбогатевших на поставках нефти.

Альберто Моравиа уже дважды участвовал в поездках по Африке при подготовке телепередач. В беседе с журналистами писатель сказал, что «феномен влияния нефти на жизнь арабских стран сравнительно нов. Всего за каких-нибудь двадцать лет нефть внесла огромные перемены в экономическую и политическую жизнь арабских государств, а также в сферу их нравов, обычаев, быта». Хлынувшие с Запада деньги в страны — производительницы нефти, по словам Моравиа, резко изменили всю жизнь этих кочевых народов. Возникают новые сложные проблемы, в частности, проблема рабочей силы, которую придется, по-видимому, ввозить из-за границы. Ускорился процесс эмансипации арабской женщины. Нефть, с одной стороны, несет прогресс арабскому обществу, с другой— она подвергает серьезным опасностям всю арабскую цивилизацию и культуру, сказал писатель. «Меня особенно волнует мысль, что такое мощное экономическое и политическое оружие родилось в столь бедных странах».

«У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ»

Эти слова написал на полях своей рукописи один из создателей современной математики Эварист Галуа. Он очень спешил: назавтра была назначена дуэль. Эварист Галуа скончался двадцати лет от роду.

На голубые экраны Италии вышел трехсерийный фильм о великом французском математике. Фильм так и назван: «У меня нет времени». Создатель его, режиссер Ансано Джаннарелли (сценарий написан им совместно с известным поэтом, публицистом и драматургом Эдоардо Сангвинети), раскрывает короткую и яркую, драматическую жизнь Галуа на фоне важнейших событий эпохи: последние годы жизни Наполеона, реставрация Бурбонов, революция 1830 года, появление на исторической арене пролетариата.

Фильм «У меня нет времени» был закончен почти

На снимке: Марио Гарриба в роли Эвариста Галуа.

(Газета «Паэзе сера:)

пять лет назад, однако цензура долго не разрешала его показывать.

Критики особо отмечают исполнение главной роли молодым актером Марио Гарриба. Большой вклад в создание телефильма внес научный консультант, известный в стране математик, педагог и редактор журнала «Риформа делла скуола», публицист Лючио Ломбардо Радиче. Выступает он здесь и в совершенно новом для него качестве... актера. Радиче снялся в роли профессора математики — единственного, кто сумел оценить гений Галуа, творившего в обстановке полного непонимания и подозрительности со стороны представителей официальной, академической науки.

ЛИВАН

«КОНЬ САТАНЫ»

Сирийский журнал «Аль-Марифа» опубликовал рецензию на роман ливанской писательницы Ханан аш-Шейх «Конь сатаны», выпущенный бейрутским издательством «Дар ан-Нахар».

Автор рецензии Адиб Изаат отмечает как одну из особенностей арабской литературы последних лет то, что писатели уделяют все больше внимания отображению внутренней жизни своих героев. Они не рассказывают о событиях, а показывают их через восприятие персонажей произведений, через их воспоминания и внутренние монологи. В центре внимания этих писателей — повседневная, будничная жизнь человека, обычно скрытая от посторонних глаз.

«Конь сатаны» — во многом автобиографическая книга. Главная героиня романа Сара работает диктором телевидения и по роду своей профессии часто бывает в поездках, встречаясь со множеством людей, подобно самой писательнице, которая вначале была газетным репортером, а потом диктором ливанского телевидения. Автобиографичность романа, наличие в нем ситуаций, подобных тем, с которыми ей приходилось сталкиваться в повседневной жизни, признает и сама Ханан аш-Шейх.

Новый ее роман построен в форме воспоминаний героини. Вначале мы встречаем Сару девочкой в южноливанском провинциальном городке с его затхлым религиозным бытом, убогими развлечениями, презрительным, животным отношением к женщине. Во второй части книги Сара — взрослая девушка, студентка в Бейруте. Она влюблена в юношу по имени Мерван. Все ей кажется прекрасным, все окрашено присутствием любимого человека. У нее нет прежнего страха перед жизнью, она с оптимизмом смотрит в будущее. Но вот Сара выходит замуж за Мервана, возвращается с ним в свой родной город, и ее поглощает рутина повседневной будничной жизни. Рушатся прекрасные мечты. «Счастье, которого так искала Сара, оказывается химерой, миражем».

По мнению критика, несмотря на общий пессимистический тон заключительной части романа, в нем теплятся все же «слабые лучи надежды — надежды на то, что радость, несомненно, придет».

МЕКСИКА

ОСОБЫЙ ЖАНР

Издательство «Агилар» выпустило в свет двухтомник «Роман и мексиканская революция». Как указывает Мануэль Бланко, обозреватель выходящей в Мехико газеты «Насиональ», национальная критика не так уж часто обращается к этой важной теме, хотя большинство литературоведов страны сходятся во мнении, что романы о мексиканской революции 1910—1917 гг. следует выделять как особый жанр исторической беллетристики. Произведения Мариано Асуэлы, Мартина Луиса Гусмана, Грегорио Лопеса-и-Фуэнтеса, Хосе Рубена Ромеро, посвященные героическому времени борьбы мексиканского народа против тирании Диаса и гнета англо-американских капиталистов, вошли в сокровищницу национальной литературы. К сожалению, современные писатели страны полагают, что тема истории мексиканской революции исчерпана, и почти не затрагивают ее в своем творчестве. М. Бланко замечает, что как не может исчерпать себя революционный процесс, так и не может истощиться отображение его в литературе. К лучшим романам современных писателей, воплотившим идеи борьбы мексиканского народа, по мнению обозревателя, следует от-

нести, в частности, произведения Агустина Яньеса и Карлоса Фуэнтеса.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ БАЛЕТ

За последние годы Фольклорный балет Мексики приобрел известность далеко за пределами страны. Он побывал с гастролями во многих странах мира, и его выступления повсюду сопровождаются восторженными комментариями прессы. «Это Мексика, увиденная через магический кристалл искусства»,— пишет о Фольклорном балете журнал «Висьон».

История балетного коллектива тесно связана с выдающейся мексиканской танцовщицей и хореографом Амалией Эрнандес. Деятельность ее началась в Национальном институте изящных искусств Мексики, в 1952 году она создала собственную труппу, которая в первую очередь занялась пропагандой фольклорного наследия мексиканского народа. Задача была нелегкой, но энтузиазм Амалии Эрнандес преодолевал все препятствия.

Год от года росло мастерство артистов, руководимых Амалией Эрнандес, и в 1959 году тогдашний президент Мексики Адольфо Лопес Матеос предложил труппе необходимую помощь, с тем чтобы создать в стране «один из лучших балетов в мире». Это было первым официальным признанием заслуг коллектива, что открыло самые широкие перспективы перед его артистами. В 1961 году Фольклорный балет стал обладателем «Гран-при» Парижского фестиваля наций. С тех пор слава его стала поистине всемирной.

В настоящее время Фольклорный балет имеет две труппы. Второй из них руководит дочь Амалии — Норма Лопес Эрнандес. Успешно работает также школа балета, готовящая профессиональных артистов. В ней изучаются индейские танцы, танцы мексиканских метисов, а также классический и современный танец.

На снимке: выступление группы Фольклорного балета Мексики.

(Журнал «Висьон»)

В хореографии Фольклорного балета сочетаются исторические исследования и новые образные решения. Скульптура, графика, настенные росписи — «мурали» — всегда были для артистов балета неиссякаемым источником творческой фантазии. «Поиск подлинного, исконно народного — вот главное в нашей работе»,— говорит Амалия Эрнандес.

ПОЛЬША

В ЧЕСТЬ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

По сообщению газеты «Жице Варшавы», в ознаменование празднования Великой Октябрьской социалистической революции три ведущих польских издательства — Государственный издательский институт, «Чительник», Издательство Министерства национальной обороны — выпустят в свет серию «Избранные произведения советской литературы». В нее войдут произведения советских писателей, вышедшие в течение шестидесяти лет существования советской власти. Издание книг намечено на 1977—1978 годы.

В 1977 году в Государственном издательском институте выйдут «Дело Артамоновых» Максима Горького, «Белый пароход» и «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова, «Тишина» Юрия Бондарева, «Любавины» Василия Шукшина, а также «Антология советской новеллы».

В издательстве «Чительник» увидят свет «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Фронтовой дневник» Эффенди Капиева, «Начало неведомого века» Константина Паустовского.

Издательство Министерства национальной обороны познакомит польских читателей с книгами «Железный поток» Александра Серафимовича, «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето» Константина Симонова.

В 1978 году будут изданы книги В. Маяковского «Избранное», Михаила Шолохова «Тихий Дон», Александра Фадеева «Разгром», Леонида Леонова «Вор», Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», Сергея Залыгина «Соленая Падь», Владимира Тендрякова «Кончина», Василя Быкова «Дожить до рассвета», Фазиля Искандера «Рассказы», Юрия Три-

фонова «Предварительные итоги», «Долгое прощание».

Будут также изданы антологии советской драматургии, поэзии, литературных эссе.

«МАСКАРАД» ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

В театре «Польски» в Варшаве поставлен спектакль по пьесе классика польской литературы Ярослава Ивашкевича «Маскарад». Пресса отмечает, что давно не было на этой сцене такого яркого спектакля.

Главные действующие лица в спектакле Пушкин, его жена и царь Николай I.

Режиссер спектакля и исполнитель роли Пушкина Игнацы Гоголевский обогатил текст пьесы стихами Пушкина.

Художник Мариан Колодзей создал отличные декорации.

Перед зрителем проходит целая галерея людей, сыгравших видную роль в истории России.

Спектакль рассказывает о последних днях Пушкина, раскрывает трагическую правду о поэте. Он повествует о сущности призвания поэта, наделенного великим даром, который поэт не может принести в жертву царю.

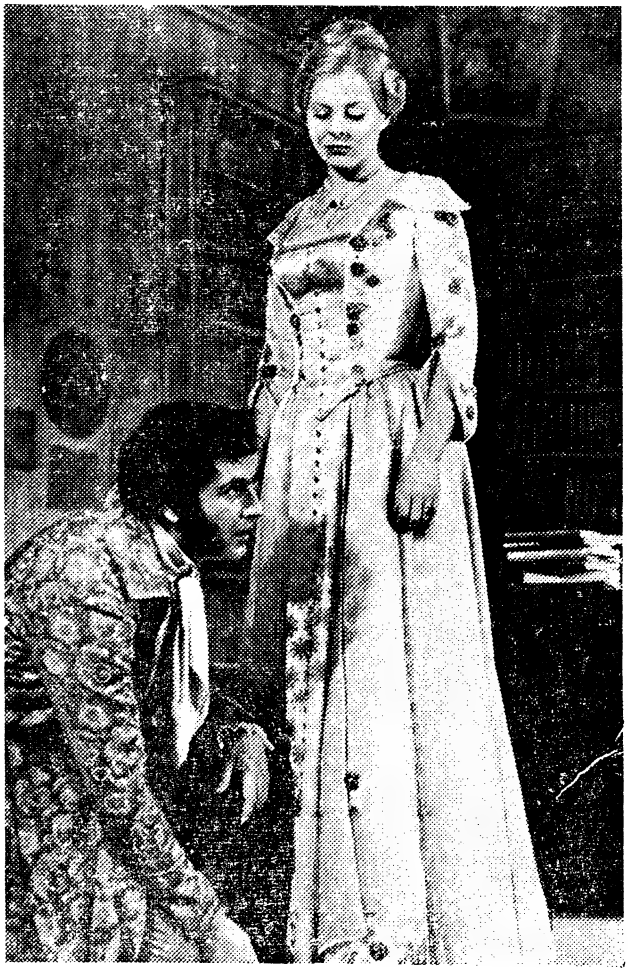
Игнацы Гоголевский сознательно и последовательно акцентирует затравленность своего героя, его одиночество, его неравное единоборство с царем.

Роль царя исполняет Кшиштоф Хамец. Он показывает душевную грубость самодержца, исполненного сознания своей чуть ли не «божественной» власти. Актер создал образ гротескный и в то же время страшный.

Название пьесы Ярослава Ивашкевича, как пишет критик Войцех Натансон в газете «Жице Варшавы», имеет двойное значение: это бал масок во дворце и маскарад в жизни, где действующие лица в зависимости от ситуации, кроме одного Пушкина, меняют маски, включаясь в игру, так трагически закончившуюся для поэта.

На снимке: Анна Нехребецкая в роли Натальи Николаевны и Игнацы Гоголевский в роли Пушкина.

(Журнал «Театр»)



РУМЫНИЯ

ТЕАТР «МАНУСКРИПТУМ»

Об интересном начинании Литературного музея СРР рассказывает его директор Ал. Опря. Стремясь ознакомить театральную и литературную общественность с неопубликованными пьесами писателей XIX и XX вв., музей выступил инициатором организации экспериментального театра, названного, как и издаваемый музеем журнал, «Манускриптум» («Рукопись»). До сих пор на страницах журнала было опубликовано 17 пьес — среди них произведения Дж. Кэлинеску, Т. Аргези, Дж. Михэску и др. Некоторые из них уже были показаны на сцене экспериментального театра. В нынешнем году — 100-летия независимости Румынии и 30-летия народной республики — намечено осуществить постановку неизвестных исторических драм М. Эминеску, В. Войкулеску, Б. П. Хашдеу, К. Петреску и других.

Своеобразие постановок заключается, по словам

На снимке: Бен Газзара в роли отца Ричи, Робби Бенсон в роли Ричи.

(«Еженедельник ТВ»)

Ал. Опри, в том, что они осуществляются не режиссерами, а писателями. Используя архивные материалы, хранящиеся в музее, писатели-постановщики имеют возможность раскрыть с особой глубиной своеобразие содержания исторических драм, найти более верные пути их трактовки.

Среди приглашенных зрителей — руководители столичных театров, писатели, представители промышленных предприятий. В театре «Манускриптум», отмечает Ал. Опря, зритель играет особую роль, от его отношения зависит дальнейшая судьба пьесы — вызовет ли она интерес у тех, от кого зависит репертуар театра.

Назначение театра «Манускриптум» — извлечь из мрака забвения пьесы, которые могут обогатить современный репертуар и, по словам Ал. Опри. «дать более полную картину многогранного духовного мира нашего народа».

США

ТЕЛЕФИЛЬМ «РИЧИ»

Телевизионная студия Эн-Би-Си поставила телефильм **«Ричи»** по книге американского журналиста Томаса Томпсона. На страницах «Еженедельника ТВ» Томпсон рассказывает, как в качестве представителя журнала «Лайф» он был послан в феврале 1972 года в один из пригородов Нью-Йорка, чтобы изучить обстоятельства убийства отцом подростка сына.

«Я приехал в уютный Ист-Медоу, этакий символ «американской мечты», и нашел на Лонгфелло авеню особняк, за стенами которого больше года бушевала война, окончившаяся трагедией,— пишет Томпсон.— В то утро Большое жюри вынесло решение не привлекать коммивояжера Джорджа Динера к суду за убийство 17-летнего сына, учтя его заявление, что он выстрелил в порядке самозащиты».

Если писать, так уж опишите все как было, сказал Динер журналисту и включил магнитофон, на который в течение долгого времени записывал телефонные разговоры сына с торговцами наркотиками. «Комната наполнилась хрипловатым, срывающимся голосом мальчика, ныне зарытого в промерзшей земле,— продолжает журналист.— Динер повел меня в подвал, показал, где стоял тогда Ричи, одурманенный марихуаной, с кухонным ножом в руке. Он крикнул: — Стреляй! — И отец выстрелил. Прямо в сердце.— Я любил его,— со слезами говорил Динер,— но он превратился в чудовище. Мы потеряли его задолго до того, как я совершил это... вынужден был совершить».

Статья в «Лайф» вызвала огромный поток писем и была перепечатана во многих странах мира. «Затем в течение полугода,— пишет Томпсон,— я изучал досконально Ист-Медоу — его школы и их темные стороны, атмосферу в них, отношения между взрослыми и подростками. Я сдвинул с места глыбы камней и обнаружил под ними страшные вещи. Это и заставило меня написать книгу.

...И вот вчера в маленьком просмотровом зале я вместе с киноработниками присутствовал на первой демонстрации телефильма «Ричи». Это необыкновенно волнующий фильм. Когда он кончился, все сидели потрясенные. Рядом со мной громко всхлипывал Генри Фонда, потом, с трудом справившись с собою, он поздравил актеров Бена Газзара, игравшего отца, Эйлин Бреннан, игравшую мать, и юного Робби Бенсона, талантливо исполнившего роль Ричи.

А я вспоминал благополучный Ист-Медоу, где подростки могли покупать барбитураты, героин и даже опиум в стенах своих же школ. Вспоминал многие часы, проведенные в семье Динеров, что помогло мне самому отчасти понять кое-что, когда мои собственные сыновья-подростки тоже пристрастились к наркотикам.

Авторы фильма,— продолжает Томпсон, — рассказали эту печальную повесть талантливо и с большим тактом. Фамилии изменены, а вместо Ист-Медоу фигурирует некий большой неназванный американский город. Да подлинный адрес и не нужен, ибо эта проблема существует повсюду. И она ничуть не устарела, хотя со времени события прошло шесть лет. Потреблe-

ние наркотиков столь же широко распространено среди подростков и сегодня. Только вчера по радио передавали о крупном хищении из одной лос-анджелесской лаборатории чистых барбитуратов на сумму 750 тысяч долларов. Из этого количества можно изготовить сотни тысяч снотворных таблеток.

После просмотра я позвонил Динерам по телефону, рассказал, какое сильное впечатление произвел фильм на всех смотревших его киноработников и заметил, что он должен потрясти каждого родителя и каждого подростка.

«Я заставлю себя посмотреть его,— сказала Карол Динер.— Только в конце... там, где показывают это... я выключу телевизор... Хочу верить, что кому-нибудь фильм будет полезен. Вот почему мы разрешили вам писать с самого начала. Это было главное, что придало нам силы жить».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Готовясь к встрече 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, журнал «Литерарни месичник» перепечатал некоторые материалы, впервые опубликованные в 1937 году в связи с 20-летием Советского государства. Материалы были напечатаны в 1937 году в журнале «У-Блок». Среди публикаций — письмо писателей Чехословакии Союзу советских писателей, стихотворение Иржи Тауфера «Двадцать революционных лет» и ответы ряда деятелей культуры на вопрос: «Чем является Советский Союз для антифашистских творческих работников?»

В письме к Союзу советских писателей говорится: «За все время существования нового, Советского государства оно было для нас великим вождем и учителем как в области своих социальных, так и культурных преобразований. Все эти двадцать лет мы чувствовали, что сердце мира бьется сейчас в нем. В эти дни, дни мирового кризиса, наши взоры, как и взоры всех людей труда и творчества, обращаются к нему как передовому бойцу за нового, освобожденного человека и за его дальнейший социальный и культурный расцвет...

...Ваши произведения, которые мы переводим, знаем и любим, стали для нас живым свидетельством свободной жизни вашего народа и его радостного творческого подъема. Примите наши уверения, что мы сделаем для своего народа все, что будет в наших силах, и что идеей социалистического гуманизма будет проникнуто все наше сегодняшнее и будущее творчество».

Ответы на анкету журнала «У-Блок» прислали многие писатели. Среди них Мария Пуйманова, Йозеф Томан, Франя Краль, Йозеф Чапек, Иван Ольбрахт, Ярослав Кратохвил, Иржи Тауфер, Петр Илемницкий.

Мария Пуйманова на вопрос «Чем является для меня СССР?» ответила так: «Радостной действительностью, живой надеждой, защитником мира на земле, глашатаем равенства людей, светом, указывающим путь развития. В истории человечества различают древние века, средние века и новое время. От создания СССР начинается Будущий век».

Йозеф Томан писал: «Вы спрашиваете, что значит СССР для писателя-антифашиста. СССР — это защита культуры, которая для фашистских режимов обуза или топливо; это импульс для мыслящих, которых фашисты ненавидят; это опора для деятельности духа, который, по мнению фашистов, обязан спать; это гарантия спокойной будущности человечества, которую фашизм стремится подорвать войной; это образец той отваги, с какой революционное дело проводится последовательно и до конца; это прославление труда, который движет мир, это защита прав и достоинства человека; это родина несгибаемых людей; это рождение новой формы любви к человеку; это прекрасный сигнал к такой жизни, за какую люди столетиями безрезультатно сражались; это общественный строй, противостоящий произволу империалистического мира; это начало новой эпохи освобождения человека; это осуществление идеи, о которой веками люди могли лишь мечтать; это страж мира и человечности; это здоровая кровь мира, и пусть она наполнит кровеносные сосуды всех трудящихся людей планеты!»

Ответ Ивана Ольбрахта гласил: «Как и двадцать лет назад, для меня Советский Союз — это уверенность в лучшем будущем человечества, в которое я никогда не переставал верить».

Публикуя эти материалы, редакция пишет, что они и сегодня звучат настолько живо и современно, что как бы «вводят в атмосферу юбилейного года, в котором чехословацкие писатели будут подводить итоги развития социалистической литературы своей страны к 60-й годовщине Великого Октября».

◆

Авторы этого номера

■

МИРОСЛАВ ВАЛЕК — MIROSLAV VÁLEK (род. в 1927 г.).

Словацкий поэт. Ранние стихи М. Валека стали появляться в печати в 1946—1947 гг. Первый поэтический сборник поэта «Прикосновения» («Dotyky») вышел в 1959 г. Затем появились книги стихов «Притяжение» («Pritažlivosť», 1961), «Беспокойство» («Nepokoj», 1963), «Любовь в гусиной коже» («Milovanie v husiej koži», 1965), несколько поэтических книг для детей — «В страну Трамтарию» («Do Tramtárie», 1970) и др.; из советской поэзии М. Валек переводил на словацкий язык стихи В. Маяковского, А. Вознесенского, из польской Ю. Тувима, из французской П. Верлена.

На русский язык переведен его сборник стихов «Прикосновения».

М. Валек был редактором литературных журналов, избирался секретарем и председателем Союза словацких писателей. С 1970 г.— министр культуры Словацкой Социалистической Республики.

(О творчестве поэта см. вступление Ю. Богданова.)

Мы публикуем фрагменты из его новой книги «Слово» («Slovo». Bratislava, Smena, 1976).

■

ХОАНГ ФУ НГАУК ТЫОНГ — HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG.

Вьетнамский прозаик, поэт и публицист, участник патриотической войны в Южном Вьетнаме против американских интервентов и сайгонского марионеточного режима. Его произведения вошли в антологии поэзии и публицистики, выпущенные на Юге издательством «Освобождение» к 10-й годовщине Национального фронта освобождения (1970). Наиболее известна его документальная повесть об уличных боях в Хюэ весной 1968 г. «Звезда над Фу-ван-лау» («Ngôi sao trên Phu-van-lâu»).

Рассказ «Как много огней...» взят из еженедельника «Ван нге» («Van nghe», август 1976 г.)

■

ТО ХОАЙ — TÔ HOÀI (род. в 1920 г.).

Вьетнамский писатель, заместитель генерального секретаря Союза писателей Вьетнама. Участник войны Сопротивления 1946—1954 гг. Первые сборники его новелл вышли в начале 40-х годов. Перу То Хоая принадлежит около 40 книг — романы, сборники рассказов, сатирические сказки, очерки и путевые заметки, пьесы и киносценарии, эссе, книги для детей. Многие из них переведены на иностранные языки.

На русский язык переведен роман «Западный край», «Рассказы о Северо-Западе», «Приключения кузнечика Мена» и др. Издательство «Прогресс» выпустило том избранных произведений То Хоая в серии «Мастера зарубежной прозы». В периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе», публиковались его рассказы.

То Хоай — лауреат международной литературной премии «Лотос» литературной премии Ассоциации культуры Вьетнама и др.

Публикуемый рассказ был напечатан в еженедельнике «Ван нге» (январь 1976 г.)

НГУЕН КОНГ ХОАН — NGUYÊN CÔNG HOAN (1903—1977).

Вьетнамский писатель. Известен как автор многочисленных сатирических и юмористических рассказов. Ему принадлежит также несколько романов: «В тупике» («Bước đường cùng», 1936), «Полутень и полусвет» («Tranh tối tranh sáng», 1956), «Куча старого хлама» («Đống rác cũ», 1963) и др.

В переводе на русский язык выходили сборники рассказов Нгуен Конг Хоана — «Женщина — слабое создание» (1959), «Заколдованная монета» (1973). В «Иностранной литературе» и других журналах печатались его рассказы.

Рассказ «В пути» взят из еженедельника «Ван нге» (1975).

■

В разделе «Литературное наследие» публикуются впервые переведенные с санскрита образцы древнеиндийской антологической лирики, в том числе стихи поэтов Бхартрихари (прибл. VII в.), Калидасы (прибл. V в.), Йогешвары (не позднее IX в.), Вишакхадатты, Дандина, Мурари (IX—X вв.), южноиндийской поэтессы Видьи (VIII—IX вв.) и других (см. вступление И. Д. Серебрякова).

Стихи взяты из древних антологий, составленных в первые века второго тысячелетия нашей эры, а также из «Шатакатраямы» Бхартрихари и лирической поэмы Калидасы «Ритусамхары».

■

ПОТАПОВА ВЕРА АРКАДЬЕВНА.

Советский поэт-переводчик. Основные работы из индийской классической поэзии: переводы с санскрита «Рамаяны» Вальмики, драм Бхасы и Харши, перевод с урду «Лирики» Мирзы Галиба, с бенгальского стихотворений Р. Тагора. Из классической поэзии зарубежного Востока ею переведена «Лирика Древнего Египта» (в содружестве с А. А. Ахматовой). Из английской классики — стихи Дж. Драйдена, Уильяма Блейка, Дж. Китса, Р. Киплинга. Из скандинавской поэзии — книга стихов Густава Фрёдинга, стихи шведских поэтов XVII в., датские народные баллады. Из восточноевропейской поэзии — песни южных славян. Переводила поэтов советских национальных республик, в том числе с украинского «Энеиду» И. П. Котляревского.

■

КАРОЛ РОЗЕНБАУМ — KAROL ROSENBAUM (род. в 1920 г.).

Словацкий литературовед, критик, доктор филологических наук, профессор, директор Института литературоведения Словацкой Академии наук. Автор многих исследований по истории словацкой литературы XIX—XX вв.— «Поэзия национального возрождения (концепции и произведения)» («Poézia národného obrodenia (koncepcie a diela», 1970) и др.; сборника статей «В просторе литературы» («Priestorom literatúry», 1970).

Статья «Диалог с эпохой» получена от автора в рукописи.

■

ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1927 г.)

Советский историк, доктор исторических наук, профессор. Автор книг «Франклин Рузвельт. Человек и политик» (1970), «Преступившие грань» (1971), «Первое августа 1914 года» (1974), «Вашингтон» (1976) и др.

■

РЫШАРД КАПУСЦИНСКИЙ — RYSZARD KAPUŚCIŃSKI (род. в 1932 г.).

Польский журналист. Будучи зарубежным корреспондентом Польского агентства печати (ПАП), работал во многих странах Африки, Латинской Америки. Его сборники очерков «Буш по-польски» («Busz po polski», 1962), «Черные звезды» («Czarne gwiazdy», 1963), «Если бы вся Африка» («Gdyby cała Afryka», 1969) и другие неоднократно удостаивались отечественных и международных наград (в частности, за африканские репортажи он получил в 1967 г. премию Министра культуры и искусства ПНР).

За книгу о Латинской Америке «Христос с карабином на плече» («Chrystus z karabinem na ramieniu», 1976) и цикл очерков о сражающейся Анголе «Немного об Анголе» («Trochę Angoli», «Kultura», 1976), которые мы воспроизводим с некоторыми сокращениями, Р. Капусцинский удостоен Государственной премии II степени.

■

СТЕФАНИЯ ГРОДЗЕНЬСКА — STEFANIA GRODZIEŃSKA (род. в 1914 г.).

Польская писательница-сатирик. Автор сборников сатирических рассказов и фельe-

тонов «Разговорчики» («Rozmówki», 1949), «Звонок сатирика» («Dzionek satyryka», 1953), «Фельетоны и юморески 1944—1954» («Felietony i humoreski 1944—1954»), «Карманные трагедии» («Kieszonkowe tragedie», 1958), и др.

В советской периодической печати неоднократно печатались переводы юморесок и фельетонов Стефании Гродзеньской.

Публикуемые рассказы взяты из сборника «Уродливый сад» («Brzydki ogród», Lodz, Wydawnictwo Lodzkie, 1974).

■

МАРИУ НЕВИШ — MARIO NEVES (род. в 1912 г.).

Португальский литератор, общественный деятель, дипломат. Приобрел известность своими репортажами о гражданской войне в Испании. Автор ряда работ по истории печати и литературы в Португалии.

Статья «Всегда живое наследие» получена в рукописи.

■

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — TATIANA NICOLESCU (род. в 1923 г.).

Румынский критик, литературовед. Многие работы Т. Николеску посвящены русской и советской литературе; в 1963 году вышла книга «Толстой и румынская литература» («Tolstoi şi literatura română»), в 1971 г.— монография об И. А. Бунине Статьи и рецензии Т. Николеску неоднократно печатались в советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе».

Статья «С верой в будущее» получена в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

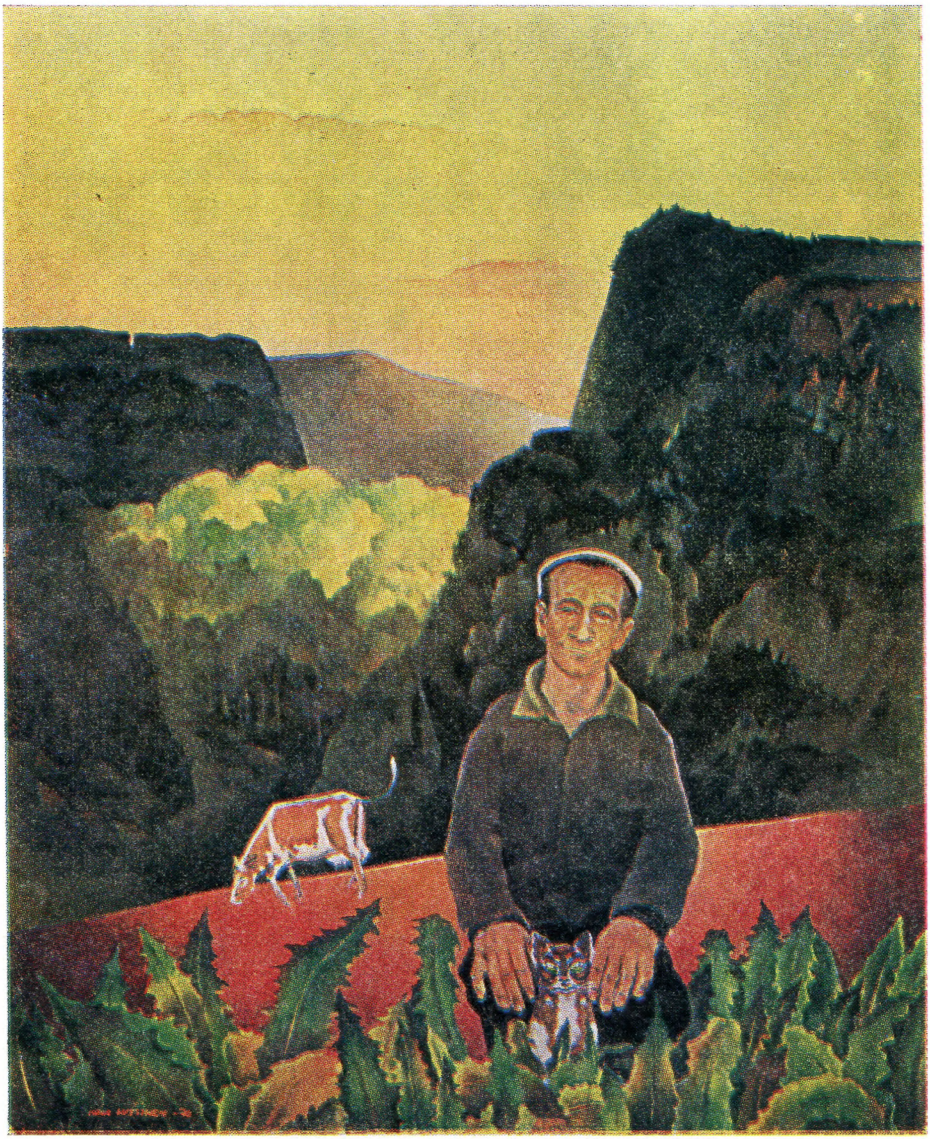
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/VI 1977 г. А 10561. Подписано в печать 5/VII 1977 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,00.

Тираж 595 000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.). Зак. 1765.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.



НИИЛО ХЮТТИНЕН. Финляндия. Портрет.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394